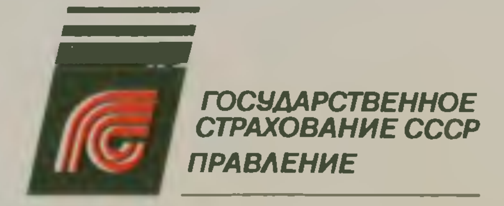


ISSN 0130-1616. Знамя. 1990. № 3. 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1990

Март



Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

Выходит
с января 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Содержание

3

МАРТ
1990

Москва
Издательство
«Правда»

Галина Умывакина

РУССКИЕ ВОПРОСЫ

Над родимой землей, над Рассеею,
— будет этому край или нет? —
лишь затянут: «А мы просо сеяли...»,
«А мы вытопчем!» — грянут в ответ.
Или, вправду, беспамятным лыком мы
шиты вкривь, на авось, абы как?
Или мало позора помыкали
по судилищам да кабакам?
Нас такими аршинами мерили,
задавали такого ума!
Иль по нраву батыи да берии,
иль по сердцу тюрьма да сума?
Не подначкою, так зуботычиной,
не доносом, выходит, — дубьем.
— Ой, мы сеяли...
— Эх, а мы вытопчем, —
не хулой, так хвальбою добьем!
Ну, давай же стращай, перебарщивай,
выдавай полной мерою впрок:
мы татарщине, царщине, барщине,
знать, не весь заплатили оброк.
Нету удержа гульбищу русскому,
меры нет куражу, как ни кинь!
Снова брата на брата науськивай
да на дыбу сестру волоки?
Одесную еще не отслушали,
а ошуюю в лад завели...
Иль кровавую подать подушную
не собрали мы с нашей земли?
Или мало тут выжжено дочерна
да погублено жизни самой?

Как ты, дитятко, родина, доченька,
еще веришь нам, боже ты мой?!

Е. А. Керсновская

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Что это? Мемуары? Нет! «Наброски» прошлого — вроде выцветших фамильных фотографий, которые дороги лишь тем, кто в расплывчатых изображениях узнает лица давно умерших—родных, друзей,.. а в данном случае — и врагов? Нет! Что же? Это — «наскальная живопись», пусть неумелые рисунки, начертанные неопытной рукой на стенах пещер, но помогающие людям представить себе, как их отдаленные предки охотились на мамонта, каким оружием они пользовались — одним словом, понять их быт, их жизнь.

Время бежит. Нас, современников той эпохи, тех событий, о которых здесь пойдет речь, становится все меньше, инстинкт самосохранения (вернее, то, что называется «житейской мудростью») заставляет сперва — молчать, затем — поддакивать, а в конце концов почти поверить всей той лжи, которая, как пыль, толстым слоем садится на картину прошлого. И когда уже совсем невозможно ничего разглядеть, ее подменяют тем, что выгодно выдавать за правду. Кто из «живых свидетелей» осмелится опровергнуть официальную версию?!

Свидетели умирают. С ними умирает правда.

Дома, в Цепилове. Смерть отца и первые самостоятельные шаги в жизни. Неожиданный поворот судьбы.

Этого хотела ты, моя добрая старушка! Ты меня не раз просила записать — хотя бы в общих чертах — историю тех лет, ужасных лет моих университетов... «...Ты иногда рассказываешь то — отсюда кусочек, то — отсюда... Я никак не разберусь! Напиши все подряд! И тогда ты мне прочтешь и я, может быть, пойму...»

Нет, дорогая моя! Ты всей этой грустной эпопеи так и не узнала. И не оттого, что ты там, «идеже несть воздыхания», а оттого, что вся моя жизнь в те годы была цепью таких безобразных и нелепых событий, которые не умещаются в разуме нормального человека... и не доходят до чувства того, кто этого не пережил.

Ты этого хотела, моя старушка! В последние дни, когда ты угасала, и я была в отчаянии, что не могу взять тебя на руки, прижать к сердцу и грудью своей заслонить тебя от надвигающегося неумолимого рока, ты хотела, чтобы я пошла развлечься, а не сидела все время с тобой... Единственное, что я могла придумать, это... рисовать. И я расположилась со своими красками у твоего кресла. Ты не поняла моей хитрости. Ты обрадовалась. Ты смотрела на меня своими ласковыми любящими глазами и говорила: «Ты так хорошо рисуешь! И пишешь. Напиши все, что ты пережила за эти годы. Ты мне это обещаешь?»

Теперь я пишу. Правду. Только правду. То, что я пережила сама, или то, что на моих глазах переживали люди.

Журнальный вариант первой книги.

Когда умер отец, которого я боготворила, надо было спасать маму, чуть было не умершую с горя. Спасать надо было не только ее жизнь, но и рассудок, которого она чуть не лишилась — до того велико было ее горе. Кроме того — что греха таить? — Румыния была страна средневековая, феодальная, и когда главою семьи оказалась девушка, то многие акулы ринулись в надежде поживиться. Папа — видный юрист-криминолог и «джентльмен до кончика ногтей» — был отнюдь не образцовым хозяином-землевладельцем, зато пользовался неограниченным кредитом у местных богачей — скупщиков зерна и владельцев мельниц: денег он брал сколько хотел, а расплачивался, когда реализовывал урожай, т. е. к весне. Умер он в самый разгар осенних полевых работ, и кредиторы предъявили к оплате его векселя раньше, чем покойника в гроб положили. Но они просчитались: вместо того, чтобы подписать кабальные обязательства, я через голову местных «акул» заключила сделку с Государственным Федеральным банком, обязавшись поставить для экспорта зерно самой высокой кондиции. Один Бог знает, сколько мне пришлось потрудиться, чтобы довести зерно до требуемой кондиции! Но это было потом! А пока что, едва похоронив отца, я сразу же расплатилась со всеми долгами. И в дальнейшем ни разу не воспользовалась кредитом, который мне предлагали наши местные финансовые тузы. Но для того, чтобы доказать, что я твердо стою на ногах, пришлось не на шутку проявить «...глазомер, быстроту, натиск».

Я решила твердо стать на ноги, добиться независимости и для того прежде всего обзавестись идеальным сельскохозяйственным инвентарем — из Лейпцига, фирмы «Эдельвайс» — пожалуй, лучшей в мире.

В Европе разгоралась непонятная для нас, «странная война». При поверхностном осмотре казалось, что «лава застыла», хотя подземные удары заставляли настораживаться... Но я ничего не замечала. Я работала, и результаты уже сказывались: я акклиматизировала новые виды злаков и поставляла местному отделению Министерства земледелия сортовые семена, а они предоставляли мне трактора для вспашки земли. Одновременно «стала на рельсы» ферма племенного скота — свиньи Ланкастер и овцы-метисы Каракуль.

Шел 1940-й год.

В марте я внесла последние деньги за инвентарь: хозяйство было чисто от долгов и процветало.

И наступил июнь месяц.

27-го июня, вернувшись вечером с поля и управившись с хозяйством, я подсела к маме — попить чаю. Лампу не зажигали: за окнами горел закат — любимое «освещение» моей мамы, и мы сидели у открытого окна, пили не спеша чай и слушали радио. Девять часов. Из Бухареста передают последние новости. Сперва — положение на фронте: «из Лондона сообщают...» и дальше следует описание печальной судьбы Франции. Немцы без всякого сопротивления шагают на юг; в Савойю вторглись итальянцы, но были отброшены; в Греции... и т. д. и т. д. И вдруг... Тем же монотонным голосом диктор продолжает: Советский Союз потребовал возвращения Бессарабии. Специальная комиссия, в составе (имярек) генералов, вылетает в Одессу, для урегулирования этого вопроса...

Мама подносила ко рту чашку. Рука ее задрожала, и чашка со звоном опустилась на блюдце.

Я помню ее растерянный взгляд: «...как же так? что же это будет?»

До меня, кажется, не дошло то, что мы услышали. Или показалось чем-то несерьезным — очередной уткой. «Что будет — увидим! А пока что пей чай!» — сказала я невозмутимо.

Теперь даже трудно себе представить, что сердце, которое почему-то называется вещуном, ничего не возвестило... Как будто еще совсем недавно в прибалтийских республиках не произошло нечто подобное и как будто мы не могли догадаться, во что это выльется! Одно лишь несомненно: в этот вечер мы в последний раз уселись безмятежно за стол.

Чай мы не допили и из-за стола встали в подавленном настроении. Мама расстроилась, а я... О! Я не имела ни малейшего представления о том, что нас ждет. Ночью по Сорокской горе непрерывной вереницей следовали автомашины с зажженными фарами. Мы думали, что это румынские. Нам и в голову не приходило, что в Бужеровке наведен понтон-

ный мост и что это — советские танки и бронемашины. Не имела я ни малейшего предчувствия, что в нашей жизни произошел крутой поворот и что все привычное, незыблемое оказалось уже где-то, за чертою горизонта! Утром, отправляясь в поле на пропашку сои, я зашла к маме и, поцеловав ее, сказала: «Когда встанешь, проследи-ка, какие новости сообщат по радио».

Не пришлось прибегать к помощи радио! «Новости» явились сначала в виде советского самолета, приземлившегося невдалеке от нашего поля. Еще несколько таких же самолетов на небольшой высоте с ревом пронеслись на запад.

Бросив работу, я вернулась домой. По дороге через село проходили грязные, защитного цвета бронемашины, танкетки... То тут, то там стояли у обочины, и измазанные бойцы что-то починяли. Черные лужи смазочного масла виднелись на дорожной пыли. Одна машина вышла из строя против нашего дома. Из нее текло что-то черное, а парни, подталкивая друг друга локтями, хихикали и острили: «...как овечки: где стал — там и лужа...» Они, шушукаясь, подталкивали уже немолодого мужичка, пока тот наконец не шагнул вперед и не спросил:

— Что же это вы, ребята? Только границу перешли и сразу — на ремонт?

Механик буркнул сквозь зубы:

— Мы уже три месяца в походе...

Первые дни советской власти и первые неверные шаги, обошедшиеся мне очень дорого.

Дома я мамы не застала: она ушла в город, за новостями. Я пошла туда же. За Сорокским мостом, на подъеме, метрах в 50-ти выше моста, под откосом лежала перевернутая автомашина. Рядом с нею — труп солдата, покрытый плащ-палаткой. Лицо под каской.

На обочине сидел с унылом видом солдат с винтовкой.

— Как это случилось? — спросила я.

— Горы-то какие! Разве выдержат тормоза?

Я удивилась: какие же это «горы»? Маленький уклон!

Встреча с новыми «хозяевами положения» имела место и на следующий день.

Воскресенье. В поле работ нет. Я отпустила в город не то на митинг, не то на парад своих рабочих — мальчишку Тодора и бездомного старика пьяницу дедушку Тому, приблудившегося как-то в ненастную зимнюю ночь к нам и так и оставшегося «при хозяйстве». Сама же я, задав корм всем находящимся дома животным, занялась огрынжами*. Работа грязная, неприятная: пыль, соломенная труха и сухой навоз сыпались мне на голову, и, смешавшись с потом, текли ручьями по лицу.

Вдруг со стороны леса появилась группа всадников. Один из них, подъехав ко мне, обратился с нескрываемой насмешкой:

— А скажи-ка, где здесь у вас ба-а-арин?

Я внимательно осмотрела его и его довольно неказистую лошадку, воткнула вилы н, смахнув тыльной стороной руки пыль с лица, не спеша ответила:

— Барин — это я.

У них был такой оторопелый вид, что я, чтобы вывести их из неловкого положения, продолжала:

— А что вам от меня нужно?

— У вас тут стог сена. Мы его возьмем для конной артиллерии.

* Если не всем известно, что такое огрынжи, то могу объяснить. Зимой коровы и овцы получают кукурузные стебли. Скот объедает листья, а более грубые части стеблей остаются в яслях н их выгребают оттуда наружу. Весной огрынжи подсушивают в маленьких копнах, а затем складывают в узкие скирды. Зимой это хорошее топливо.

Трудно сказать, что руководило мною. Было ли то желание «порисоваться», удивить? Или я решила, что лучше самой отдать, чем ждать, чтобы отобрали, или подсознательно чувствовала, что таким путем я хоть что-нибудь сохраню, — не знаю. Помню только, что душой я тянулась навстречу этим людям: ведь это были — свои, русские.

И я сказала:

— Это сено — лесное, неважное; есть у меня, в трех верстах отсюда, хорошее полевое сено. Чистый пырей. И его — много.

Они переглянулись.

— Это очень похвально, что вы идете нам навстречу. Кто же нам укажет, где это сено?

— Я поеду с вами. Мама! — продолжала я, оборачиваясь к маме, вышедшей на кухонное крыльцо: — Мама, я съезжу с конноартиллеристами на поле, выдам им сено.

Я пошла, чтобы умыться, а четверо конников подъехали к дому:

— Мамаша, дайте напиться...

Мама вышла с кувшином красного вина и кружкой. Она ласково и немного смущенно их угощала, наливая чуть дрожащей рукой холодное, ароматное вино. Когда я, наскоро приведя себя в порядок, выходила из дома, в коридорчике, между кухней и столовой, мама меня остановила и, поцеловав, сказала:

— Ты обратила внимание, как он сказал «мамаша»? Мне он сразу стал близок, как сын... Ведь и мой сын где-то в чужой стороне... Даст ли ему там кто-нибудь напиться? «Мамаша»! Они, право же, очень славные ребята, не так ли?

Что могла я ей сказать? Я хотела верить, что это так...

Едем размашистой рысью. Я — без седла, на молодой вороной кобылице Свастике (названа так — не в честь Гитлера, а просто у нее на лбу звездочка, в виде свастики).

До могилы Марина все шло хорошо. От могилы — крутой спуск. Я, не сбавляя темпа, устремляюсь вниз, перескакивая водоемы. Оглядываюсь. Моих спутников нет... Удивленная, останавливаюсь. Трое моих спутников — ветеринар, политрук и третий — кажется, старшина — далеко позади. Спешились и ведут своих коней в поводу.

Вот-те и на!

Вспоминаю машину, у которой не выдержали тормоза на совсем пустяковом (с моей точки зрения) уклоне. Позже — уже осенью — видела, как растерянный солдат разогнался вниз от синагоги, из Верхнего Города, в Старый Город (в Сороках). Он бежал, испуганно повторяя: «вот она — страна Бессарабия!» Оказывается, все это были жители Полтавщины. У них, говорят, местность равнинная и наши холмы им кажутся горами.

Сено подсчитали, обмерили, реквизировали.

— Сейчас выдам вам расписку.

— Зачем? Это сено оплате не подлежит. К чему расписка?

— Чтобы с вас это же сено вторично не потребовали.

— Неужели и такое может случиться? — Мотаю на ус.

Сидим под стогом сена. Жарко. Легкий ветерок. Как пахнет нагретое сено!

Завязалась оживленная беседа. Вернее — словесная дуэль. Политрук — и я. Ветеринар улегся под стогом и уснул. Странно! Он спит, но... почему-то, время от времени, приоткрывает глаза и делает мне какие-то знаки. Не то — подмигивает, не то — предупреждает. Не пойму! Как далека я была от мысли, что можно поплатиться, высказывая свои взгляды! Это — в XX-м веке! Никогда бы этому не поверила! А чтобы мог пострадать не только тот, кто говорит, но и тот, кто слушает и... не бежит, тотчас, чтобы «донесть». Нет, такого, наверное, в самые дикие времена Инквизиции не было! Сколько горьких уроков я получила с тех пор! И кто знает, может быть, еще и в будущем ждет меня не один урок!

Но тогда все мои «университеты» были еще впереди... Тогда было простительно ничего этого не знать...

Политрук говорил о непогрешимости партии... я его просила объяснить, отчего в непогрешимой партии оказались грешники вроде Тухачевского, Якира, Уборевича — «имя же им — легион» — и в чем критерий непогрешимости? Политрук воспевал коллективизацию, притом — добровольную; я просила объяснить, как перевести на русский язык слово «добровольная» и чем объяснить голод 33-го года (о размерах которого я тогда имела очень наивное представление, т. к. в моем представлении голод возможен лишь на необитаемом, бесплодном острове, при кораблекрушении, но не в самой хлебородной на свете стране). Я спрашивала, какой общественный или государственный орган контролирует поступки Сталина и каким путем народ может ограничить его власть и не дать ей превратиться в самодержавие?

Домой я возвращалась шагом. Мне нужно было разобраться в нашей беседе. Политрук явно разочаровал меня: ни на один из моих вопросов он не дал исчерпывающего ответа.

Отчего, однако, ветеринар спал? И — так странно?

К нам — к маме и ко мне — крестьяне нашего села (и не только нашего) имели привычку обращаться по всякому поводу. К маме обращались все обиженные или считавшие себя таковыми: неправильно ли обложили налогом вдову или обошли пенсией старуху, «кукоана» (т. е. «барыня») найдет способ помочь. Неполадки в семье? Не могут поделить наследство? — Кукоана поможет советом. Кто устроит способного ребенка бедных родителей на казенный счет? — Разумеется, кукоана! А если имел место жандармский произвол или вымогательство (увы, в Румынии это было нередко!), то обиженные и обездоленные знали прямую дорогу к кукоане.

Славная моя старушка! Уже будучи на пороге смерти, сохранила она страстную любовь к справедливости, безграничную доброту; даже в 85 лет она вспыхивала от негодования, когда узнавала, что кому-то, обиженному, отказали в помощи!

Излишне и говорить, что в те годы — под властью румын — мама была как бы негласным депутатом от обиженных.

Ко мне обращались реже. И обычно в двух случаях: если нужно было обзавестись хорошими семенами (желание видеть у всех посевы сортовыми семенами — это была моя слабость, и я зачастую, в ущерб себе, всячески старалась их распространить) и... если какое-нибудь «событие» заставало врасплох: «дудука (барышня) — ученая, она много книжек прочла, она должна знать». Может быть от множества прочитанных книжек в голове и получается ералаш, но ко мне нередко заходили поговорить о том о сем и молодежь, и старики и за стаканом вина или кружкой чая обсуждали то или иное событие. Чего же удивляться, что с первых же дней «освобождения из-под власти бояр и капиталистов» ко мне вереницей приходили из села люди:

— Что же это будет, дудука? Что нас ждет?

Я была настроена оптимистически... или хотела сама себя в этом убедить (ведь легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым).

— Что будет? Разумеется, со временем мы это узнаем. А пока что можно сказать лишь одно: пусть каждый занимается своим делом и делает его хорошо. Не поступай плохо, и никто тебя не обидит. Теперь у нас советский строй, значит, будем подчиняться советским законам. А мы — земледельцы. Наше дело — выращивать хлеб, и делать это как можно лучше.

Возвращаюсь я однажды (это было в первых числах июля) с поля. В комнате — запах нафталина.

— Мама! Что здесь такое?!

Мама явно смущена. Сундук открыт. На кровати, на стульях разложены шерстяные вещи — нехитрое мамино рукоделие: шаль, чепчики, чулки, носки, кофты — из кроличьей и овечьей шерсти...

— Мама! Что за базар?!

— Видишь ли, дочка, ко мне приходила Нина Чеботарь и посоветовала кое-какие зимние вещи отвезти в город. А вдруг решат, что у нас их слишком много и оставят по одной смене?

— Фу, мама, стыдись! Неужели мы должны красть собственные вещи? У нас нет ничего приобретенного нечестным путем, и ничего мы не

будем делать тайком, как злоумышленники, у которых совесть нечиста. Стыдись! Я этого от тебя не ожидала.

— Я тоже так думала, но... А впрочем — как хочешь. Ты, наверное, права... — И с этими словами мама опять сложила все свои чепчики и кофточки.

Кто из нас мог предвидеть, что мама не только чепчика или кофточки не будет иметь зимой, но и из дома ее выгонят с непокрытой головой и в шлепанцах на босу ногу?

Поздно вечером я ужинаю. Целый день работы в поле принес свой результат: приятная усталость, удовлетворенность от хорошо выполненной работы и... волчий аппетит.

Ужинаю возле открытого настежь венецианского окна, при лунном свете. Лампу не зажигаю: луна такая яркая!

Ужин несложный: жареная картошка, вино.

Открывается дверь и на пороге... румынский солдат...

— Севка! Ты ли это?! Слава Богу!..

— Вот этого-то я и не знаю: слава ли Богу? Что тут происходит? Как наши? Я первым долгом — к тебе...

— Да все хорошо! Чего у тебя такой расстроенный вид?

— Все хорошо... пока? А может быть так, как у того янки, который упал с 43-го этажа и, пролетая мимо 30-го, подумал: пока что все — о'кэй?

Узнаю его историю. Он по окончании агротехнической школы, 17-ти лет, поступил в артиллерию как волонтер. Образованный, смышленый парень получил звание сержанта. Их часть стояла в Оргееве. Неожиданное появление советских танков и приказ уходить в Румынию застал их врасплох. Офицеры бросили свою часть на произвол судьбы... и — расторопность сержанта.

Сева всегда был мальчиком практичным, любящим порядок. Он сжег брошенные начальством архивы, зато оружие и боеприпасы в целости и сохранности привел к мосту в Унгенах. Там на него нашло сомнение: он не хотел в Румынию. Но как дезертировать... без разрешения? Он привык, удирая с урока или с практических занятий, спросить разрешения у старшего брата Сержика. Как быть? Следуя доброй привычке, он подошел к тому офицеру, которому сдал на границе приведенную им артиллерийскую часть и... попросил разрешения дезертировать. К счастью, этот офицер был не румын, а венгр. Он внимательно осмотрел с ног до головы вытянувшегося перед ним во фронт мальчика и спросил: «Ты кто, румын?» — «Нет, русский». — «Так и иди к русским». Сева бросил свой наган в обозную повозку, пустил своего коня на мост, хлопнув его по крупу, и пошел пешком обратно.

— Вот я и не знаю: хорошо ли я поступил?

— Разумеется, хорошо! Ты же — русский! Здесь ты — дома!

Разве бы я поверила, если бы мне кто-нибудь сказал, что ни ему, ни мне в России не будет ни дома, ни родины?

Последние спокойные дни, прожитые на вулкане. Я упорно не хочу видеть правды. Встреча с представителем закона. Несостоявшиеся вареники с малиной.

Я вела себя, как страус. Только вместо песка прятала голову в работу. Но атмосфера становилась душной, наэлектризованной. Ползли какие-то слухи. Все чего-то ждали. И боялись. Когда ко мне в первый раз

пришел какой-то тип, которого проще всего назвать «темная личность», и предложил мне продать ему корову, то я его просто прогнала. Но за ним следом стали все чаще заходить люди — иногда даже неплохие — и на все лады начали меня уговаривать: «Распродай все что можешь — скот, свиней, хлеб... Сегодня — это твое; завтра им станут распоряжаться другие, а послезавтра твое имущество будет для тебя петлей на шее и клеймом».

Мне это надоело. Ничего незаконного я не делала. И делать не буду. Я подчинялась закону и оставляю за собой одно: право смотреть в глаза и не краснеть за свои поступки.

Я пошла в сельский комитет и заявила:

— Давайте-ка пришлите своих уполномоченных ко мне! Я хочу, чтобы видели и взяли на учет все, что у меня есть. И я считаю себя за все в ответе: все, что будет сочтено излишком, все, что надо будет внести в фонд совхоза или колхоза,— будет мною сдано сполна! Я не знаю законов нашей конституции, но я знаю закон совести и не хочу кривотолков.

Гриша Пынзарь с понятыми, по моему настоянию, пришел и убедился в том, что у меня все как на ладони. Все переписали, обмерили, и я успокоилась.

В субботу 9-го июля у нас в селе был митинг. Я не пошла. Я была занята прополкой кормовой свеклы, что росла на опушке леса.

Издалека доносились взрывы смеха, галдеж. Изредка — свист.

Вечером ко мне пришли несколько пареньков.

— Ой, смеха было! Собрались мы, и приехали какие-то начальники. Стали всяко-разно говорить: «Мы, мол, вас освободили, раскрепостили. Теперь у вас будет новая, счастливая жизнь. Вот у нас, в колхозах, на трудодень получают даже по 2 килограмма хлеба». Мы чуть со смеху не покатились! Чтобы мы за 2 кг зерна работали — да на своих харчах! Тогда выступили Спиридон Мотрук и Леня Волченко, они бедняки — ни кола, ни двора,— им и говорить легче: никто их не попрекнет, не заподозрит. «Да что вы! — говорят,— не нужно нам ваших двух килограммов! Мы своим курам больше насыпем!» На том и окончилось...

Увы! Я тогда не догадалась, что именно на этом окончилось... все мое благополучие, все мои труды и надежды. Отныне судьба моя была предрешена.

Воскресенье 10-го июля. Ясный, летний день. Жарко. Еще несколько таких жарких дней — и надо будет приступать к уборке хлеба. У меня 20 га отборной пшеницы — «Белая Банатка». Сорт очень хороший, но имеет один недостаток: если он сегодня созрел, то сегодня его и убирай — завтра он начнет осыпаться. Надо быть готовым к уборке. Но... кому убирать?

Сколько раз в своей жизни мне приходилось замечать, что легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым! Вот и теперь я отказывалась видеть правду и цеплялась за веру в справедливость, в закон. Прежде всего, рассуждала я, нужно понять, какие у меня права и в чем заключаются обязанности. И самое главное — пшеница не должна осыпаться. Кто же может разрешить мои сомнения? Очевидно, представитель закона, а поскольку власти у нас были пока что военные, то я и решила сходить к военному прокурору.

Было воскресенье. Лошади должны были отдохнуть хорошенько: предстояла страда — самая напряженная рабочая пора. Погода была замечательная, и мы с мамой решили — утром, по прохладце, сходить пешком в город.

Как мы с ней шли по этой так нам знакомой дороге и о чем говорили, в памяти у меня не сохранилось. Мы просто шли через сельский выгон, затем — садами, где начинали созревать вишни; вот дорога пошла, петляя через виноградники, вниз. Блеснул Днестр — широкая серебряная лента. Отчего-то эта панорама так мне запомнилась, что и сейчас, через четверть века, мне кажется, что все это видела вчера.

Больше по этой дороге не суждено было нам ходить. И никогда уже не было на душе так ясно и спокойно...

И вот — мы у прокурора. Низкая комната — бывшая учительская. За письменным столом коренастый, симпатичный с виду военный, почему-то в фуражке. Я изложила ему все свои сомнения, все, что мне неясно. Для начала я сказала, что нас считают «помещиками» — по крайней мере так мне сказали те конноартиллеристы, которые реквизировали сено. Особенно подчеркнула, что главный вопрос, интересующий меня, это 20 га пшеницы, которая пропадет, если ее не убрать своевременно.

— Какие же это «помещики»? 46 гектаров, крестьянский дом в три комнаты... Это — не помещичье, а кулацкое хозяйство. Не скрою: всего этого вам не оставят — да вы и сами не захотите, так как налоги были бы слишком высоки. Дом и сад — безусловно ваши, живите, трудитесь, обрабатывайте то, что вы в состоянии обработать своими руками, не используя наемный труд. Пару лошадей, соответствующий инвентарь — это по вашему выбору; корову или даже две — вы себе отберите, какие нравятся. Ну, а мелкий скот — овцы, свиньи и разная там птица — это, конечно, тоже ваше...

— Понятно! И все же — главный вопрос: кому же убирать пшеницу? Пусть она — не моя, но пропадать она не должна. Ведь это — народное богатство.

— Это вы правильно заметили. И за то, чтобы оно не пропало, вы в ответе. Собирать пшеницу должны вы.

— Ладно! Собрать — это можно... А как расплатиться с уборщиками?

— А как у вас принято было расплачиваться?

— Зависит от желания косарей. Чаще всего — от скошенной десятины: скосить, связать, сложить в крестовины и подгрести можно за пятый сноп; иногда за косу 3 пуда зерна поденно. Харчи всегда мои. Иногда люди предпочитают за деньги, так как в это время года зерно дешево, и если у человека своего хлеба много, то предпочитают получать деньгами, но теперь это вряд ли возможно: денег мне взять негде, да и неизвестно, какие деньги будут у нас в ходу.

— Да, это трудно решить. Что же, по-вашему, делать? Пшеница должна быть убрана!

— Что ж, за уборку дам 5-й сноп. Так или иначе, пшеница будет в сохранности. А дальше вы укажете, как и что полагается.

— Желаю вам с мамашей полного успеха! Всегда обращайтесь к нам и можете рассчитывать на помощь. Я очень рад видеть с вашей стороны желание трудиться для общей пользы!

С крепким рукопожатием мы расстались.

Как далеки мы были от мысли, что этот человек — юрист, представитель закона, в ту минуту, когда так обнадеживающе жал мою руку и «желал успеха»,— знал, что с нами, «помещиками», уже было решено расправиться наглядно, с его ведома и согласия.

Мы вышли из прокуратуры и остановились на крыльце. После полутемной комнаты солнце ослепило нас.

— Как все странно! — сказала мама.— Прокурор, кажется, очень славный, сердечный человек... И все же это все так необычно, что голова кружится! Сколько перемен! За ошибки надо платить! Не мы делали эти ошибки, а наши предки — все это дворянство, помещики. Они были эгоистичны и неразумны: они не пытались, а может быть и не хотели заботиться о народе, дать ему образование и хороших чиновников — не взяточников и картежников. Сколько было сделано ошибок! Мы с тобой никого никогда не обижали. А папа? Он был идеальный человек. Своим отцом ты можешь только гордиться! И все ж-таки теперь мы должны расплачиваться за всех этих Победоносцевых и Сухомлиновых, за всех тех, кто не сумел создать «Великую Россию»... и довел страну до «Великих Потрясений». Заметила ли ты: при прежней царской России главой нашей семьи был папа; при Румынии — папа держался в стороне, а главою стала я. Я зна[illegible] в совершенстве язык, я могла бороться с румынскими бюрократами, защищать наши интересы и добивалась в этой борьбе победы. Теперь же, при советском строе, главой становишься ты: молодой

строй — молодежи открывается дорога: иди смело по ней! А я с тобой ничего не боюсь и верю, что с тобой я — как у Бога за пазухой, и все будет хорошо! Идем же домой, и знаешь что? Сделаем сегодня на обед вареники с малиной — вишни еще пока что зеленые. Свежая сметана есть. А сахар сейчас купим — полкилограмма. Больше на сегодня нам не надо...

И мы пошли, оживленно разговаривая, домой. Становилось жарко, и мы избрали дорогу чуть более далекую — через лес. Если бы мы прошли обычным путем — через деревню, — то мы увидали бы, как выгоняют из дома дядю Борю, младшего брата моего отца, и... Впрочем, что могли мы сделать? Отвести удар мы не могли. Что легче — видеть, что над тобой занесен топор... или получить удар неожиданно? Короче говоря, мы занесенного топора не видели. Мы прошли в дом через сад и пустынный двор. Мама сняла траурное платье и шляпу с вуалью, накинула легкий серенький халатик и домашние туфли и принялась за тесто для вареников; я сбросила френч и сапоги, взяла решето и босиком побежала в сад — нарвать малины, последнюю малину в нашей спокойной жизни.

Какая была крупная, душистая малина! И вообще как хороша жизнь, как ярко солнце на чистом голубом небе! Наверное, мама уже раскатывает тесто. Малину нужно пересыпать сахаром... Кто взял у меня из рук решето с малиной — не помню... Вот мама стоит в халате, перепачканном мукой. В руках, вымазанных тестом... черная сумочка. Зачем? И что это за люди? Чужие, незнакомые. Все молчат. Или я просто не слышу?

Такое чувство, будто меня стукнули по голове. Не больно. Но я ничего не понимаю. И небо уже не голубое.

Как мы прошли с мамой через сад, я не помню. Поняла я все, лишь когда мы очутились возле папиной могилы. Теперь я поняла: нас выгнали... Ни стона, ни слезы не проронила мама, опустившись на колени и припав лицом к нагретой земле. Я опустилась с нею рядом и поцеловала крест.

Кругом нас — женщины. Много женщин. Вот Анисия, с новорожденным на руках; вот Аксиния Ротарь — на руках у нее Василика, тоже мой крестник, тот Василика, который упал в котел вареной тыквы. Почему-то вспомнилось, как он мне искусал пальцы, когда я ему оказывала «скорую помощь». Да! Врач говорил, что это — чудо, что он остался в живых... И то благодаря правильно оказанной помощи... и тому, что я сразу отвезла его в город, к врачу.

Но какое это имеет значение? И что им нужно, всем этим женщинам?

Я встаю.

— Идем, мама!.. — И помогаю ей встать. Что тут произошло! Боже мой! Женщины заголосили, срывая с голов платки; те, у кого на руках были дети, побросали их прямо на могилу отца. Писк перепуганных ребятишек перекрывал вопли и рыданья баб... Все заголосили... Сквозь эту какофонию прорывались лишь отдельные слова: «Кукоана — такая добрая — нам всем как мать родная! Последние пришли времена — конец света — где это видано, из родного дома! Не замолить такого греха — на нас всех падет проклятие. Не будет нам и детям нашим счастья на чужих слезах!» Я тащила маму под руку; она шла, не оглядываясь, не пролив ни одной слезы. Возле папиной могилы остались женщины — простоволосые, провожая нас воплями и причитаниями.

У нас слез не было.

И вдруг мне вспомнилось, как несколько дней тому назад мама разбила свою чайную чашку — простенькую, белую — и неутешно плакала: «...из этой чашки я пила чай, когда рядом со мной был мой Тоня...» И слезы лились рекой. И мама была неутешна. А ведь это была только чашка!

Странное дело — слезы!

И вот мы снова в Сороках! Но как все изменилось! Когда, бывало, мама приезжала в Сороки — на своей рессорной бричке, нагруженной с верхом разного рода деревенскими подарками: кому — индейка, кому — корзина фруктов, кому — крынка сметаны или ком масла, все встречали Александру Алексеевну с распростертыми объятиями (...и все ведь знали,

что, кроме «мелких» подарков, помещавшихся в бричке, будут и более крупные — воз дров, куль отборной муки). — «Александра Алексеевна! Почему вас давно не видно?» — «Александра Алексеевна, а к нам когда?» и т. д., и т. д... Когда же Александра Алексеевна пришла пешком, в сером халатике, шлепанцах на босу ногу и с непокрытой головой,.. то вдруг оказалось, что места ни у кого нет: «Ах! К нам из деревни родственники приехали». — «Ах! У нас на постое военные...»

Казалось, что горе, нас постигшее, — заразно, и все, боясь заразиться, захлопывали перед самым носом двери.

Лишь одна старушка — Эмма Яковлевна Гнанч-Добровольская предоставила в мамино распоряжение маленькую каморку.

— Мне 86 лет, — сказала старушка. — Мне, кроме Бога, бояться некого. Вы были у меня всегда желанной гостьей; располагайтесь же и сейчас, как у себя дома.

Несколько слов о Бессарабии и о советской власти. В прошлом, с 1812 года, Бессарабия, население которой говорило по-молдавски, была связана с Россией, некоторое (притом очень незначительное) тяготение к Румынии отмечалось лишь на самом юге.

Почему же в 1918 году Бессарабия добровольно перекинулась к Румынии? Было ли это действительно добровольное присоединение? И — да, и — нет.

Было и давление, и применение силы. Но... был и ловкий маневр: румыны обещали провести аграрную реформу, в результате которой помещичьи земли должны были стать собственностью крестьян.

Земля — всегдашняя мечта крестьянина. Но он ее хочет получить законно, а не захватить силой. Румыны это очень хорошо поняли: земля была экспроприирована у помещиков и «продана» крестьянам. Помещики получили своего рода облигации, фактическая цена которых была равна... стоимости бумаги, а крестьяне выплачивали государству стоимость годовой аренды с рассрочкой на 10 лет.

Земля была разделена поуездно и на мужскую душу: если в уезде было много помещичьих земель, то на душу приходилось больше;

если же в уезде экспроприированной у помещиков земли было меньше (или населения — больше), то наделы получались меньше. Так, если на севере, в Хотинском уезде, на мужскую душу пришлось всего по 2—2,5 десятины, то на юге, в Кагульском — по 6,5 десятин.

Помещики обижены не были: в каждом именье было оставлено по 100 га.

Эта реформа 1918 года была удачным маневром; в России пылал пожар гражданской войны. Кто еще мог поручиться, чем все там кончится?!

Говорят, что решение это голосовалось на своего рода Учредительном собрании, причем народ высказался за присоединение к Румынии.

«Самоопределение народов» и всякие там выборы и плебисциты в принципе выглядят красиво, но... Для того чтобы это не было ни очковтирательством, ни обманом, это должно происходить без запугивания и нажима, то есть необходимо, чтобы народ был не только грамотным, но и культурным... и чтобы не было страха. В Бессарабии же в 1918 году были налицо: с одной стороны — неграмотность, с другой — обман и сила. Но,.. «как бы ни болел, а умер благополучно», и Бессарабия присоединилась к Румынии.

В дальнейшем же румыны, желая отрезать все пути к отступлению, вели себя до того неразумно, что добились как раз обратного эффекта: недаром говорили, что генерал-губернатор Чупарка заслужил... орден Ленина — до того сумел он сделать все румынское одиозным, что в знак протеста население стало, как говорится, спать и видеть, когда же русские наконец прогонят осточертевших захватчиков. Люди верят тому, во что им хочется верить.

«Помещики». То, что от них осталось.

Неудивительно, что 28-го июня 1940 года советские войска были встречены как освободители. Колокольный звон, священники с хлебом-солью... А как мама была растрогана, когда солдат назвал ее «мамашей»... А я? Разве моя душа не рвалась навстречу им?

Но... зачем подчеркивать, что ошибки свойственны всем людям? Зачем подтверждать, что легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым? Помещиков, или, как у нас называли — «бояр», в Бессарабии не было: большинство «помещиков» получили в 1918 году 100 га на 3, 4, а то 7 и больше семей, а поскольку в подавляющем большинстве это были не земледельцы, не фермеры, то они распродали остатки своей земли и пополнили ряды «интеллигентского пролетариата» — чиновников, кое-как живущих на свою зарплату, или, как у нас говорилось, «жалование»; некоторые попытались жить «помещиками» на доставшихся им после раздела 20—30 га, но поскольку сами, своими руками работать они не умели, то скоро запутались в долгах и влачили довольно жалкое существование. Очень незначительное число их сообразили, что на двух стульях сидеть нельзя, отказались от интеллигентских замашек, засучили рукава и... стали крестьянами, обрабатывая со своими детьми свои участки: вставали с петухами и работали по старинке от зари до зари. На приобретение новейшего инвентаря и сортовых семян денег не было; на образование — тем более, так что их дети получили лишь начальное (беспечатное) обучение в сельской школе. Единственной уступкой их «благородному происхождению» было стремление выдать дочек замуж не за крестьян, а в город, за какого-нибудь учителя или чиновника, отрезав от «семейного пирога» гектаров 10 «на приданое». Сыновья же женились на дочках зажиточных крестьян, стараясь получить в дом работницу хоть с каким-нибудь приданым — подушки, ковры и т. д.

Но были и такие «помещики», которые могли быть названы если не помещиками, то по крайней мере «фермерами широкого профиля». Это те, кто получил 100 га на свой пай и кому не пришлось делить их с братьями и сестрами. Это совсем небольшой процент. На наш уезд — 75 × 50 километров — таких было двое: Алейников и Яневская.

Котик Алейников получил от отца 100 га поля с полуразрушенными хозяйственными постройками и... кучей долгов. По счастью, кроме долгов, был еще дом в городе и... агрономическое образование. Дом он продал Государственному банку, заплатил долги, переселился в свое «имение», кое-как все отремонтировал, подладил и начал вести хозяйство. Агроном он был неплохой: понимал, что надо расстаться со старинкой. К сожалению, человек был неважный: все его усилия были направлены на то, чтобы хорошие семена были только у него и — сохрани Бог — не достались бы соседям! Зерно он продавал или на мельницу, или на экспорт. Характерная подробность: имея племенных свиней, он холостил не только кабанчиков, но и свинок — чтобы ни у кого, кроме него, не было хорошей породы.

Он был циничен в своем эгоизме, но... откровенен.

Другое дело — Яневская.

У нее также были 100 га поля и полуразрушенная «одая».

Оставшись в 1918 году вдовой с 2-мя детьми, она взялась за дело. Большой «помещичий дом с колоннадой и мезонином» ликвидировала. Зато отремонтировала хозяйственные здания: конюшню, коровник и даже мельницу. Там же, в деревне, вернее, в поле построила маленький жилой дом и принялась за хозяйство.

Вела она свое хозяйство толково и расчетливо — не боялась новшеств, понимала, что, не вложив ничего в землю, ничего, кроме крох, от земли не получишь. Введя очень высокую агротехнику, она добилась того, что земля приносила ей большой доход. Крестьяне работали у нее не как батраки, а как издольщики, но издольщики, которые получали $^1/_3$ урожая, пользовались ее инвентарем, тяглом, семенами и... даже харчами. Они ничего, кроме своего труда, не вкладывали. Зато безоговорочно выполняли все работы, которые были необходимы.

Высококачественные семена, превосходно подготовленная и удобренная земля, правильное чередование культур и идеальная обработка вполне оправдывали себя: урожаи были самые высокие в уезде. Издольщики с одной трети ее гектара получали больше, чем с полутора-двух собственных га. Но... хватка у нее была железная, а жадность и скупость вошли в поговорку.

Должна оговориться, я ей многим обязана, у нее я училась тому, чему в книжках не выучишься, а именно — работе. Опытом она делилась охотно и давала дельные советы. Семена у нее тоже можно было приобрести: племенной скот — также. Однако платить приходилось не только втридорога, но еще больше. И уж лишнего грамма не получишь.

Самое удивительное — это ее «левые» убеждения. Она считала себя коммунисткой, и ее дети были членами румынского комсомола. У нее собирались местные комсомольцы и «вели работу» среди крестьян: сын, Данька, читал им лекции, как нужно путем стачки вынуждать помещика стать на колени перед батраками. Крестьяне слушали и посмеивались: если бастовать, чтобы перезревшая пшеница осыпалась, то кто им возместит их треть, которая тоже ведь пропадет?

Яневская одобряла своих детей, но... рабочим строго отвешивала по фунту черного кислого хлеба и фунт... мамалыги. «Приварок» был тоже ниже всякой критики (я свиней кормила лучше). Зато детки-комсомольцы палец о палец не ударяли. И лопали жареных цыплят и сливки.

Помню сценку. После обильного сытного обеда все «комсомольцы» перешли на террасу, увитую розами.

— Ксюнька! Подай варенья с водой!

Босоногая горничная со всех ног бросилась исполнять приказ.

— Что ж, дура, даешь вишневое варенье? Это — для кухни, а нам подай клубничное!

Опять зашлепали босые пятки...

— Тьфу! Что же ты подаешь такую воду?! Принеси свежей!

И Ксюнька со всех ног мчится с ведром к колодцу...

Комсомольцы горячо спорят о принципах марксизма.

И вспомнился мне дед Каравасили, отец моей мамы — действительно помещик, к тому же — городовладелец.

В честь победы над турками при озере Кагул Екатерина II подарила южную часть Бессарабии генералу Киселеву и повелела построить город. Но Киселев лишь наметил место, где надлежало стоять собору, и продал земли местному кораблевладельцу Каравасили. Тот объявил, что отдает во владение бесплатно по десять десятин земли и материалы для построек тем, кто будет строиться. Люди стали строиться. А сам возвел собор. Так возник город, а дед мой стал городовладельцем. После его смерти, в 1916 году, город отошел к государству. Боже сохрани, чтобы кто-нибудь из его детей или гостей осмеливался потревожить горничную после обеда: от 3-х до 5-ти часов они отдыхали. Кроме того, все его дети — уже взрослые — обязаны были сами себя обслуживать.

Может быть, я опять отклоняюсь от темы и задерживаюсь слишком много на том, что к делу не относится? Что ж, может, и так... Но бумага и чернила у меня есть, а времени... ох, как его много, когда не с кем перекинуться словом! И когда все время — ночью и днем — перед глазами милое, доброе лицо моей старушки, где каждая морщинка проникнута любовью и гордостью, и я будто слышу ее вопросительное «lecture?», когда я что-либо пишу. Любила она мой голос, мой стиль, и поэтому ей доставляло удовольствие слушать даже письма, которые я писала моим друзьям.

Она смотрела на все сквозь призму любви, а поэтому все видела окрашенным в яркие цвета спектра: солнечный луч и... материнская любовь, преломляясь, дают самые красивые, яркие цвета.

Теперь для меня все серого цвета, а я так ненавижу все серое!

Может быть, то, что я пишу — тоже «серо». Но это — так, как оно бы-

ло: краски нигде не сгущены и не заменены более красивыми. Правда — и только правда...

Итак, Бессарабию освободили из-под гнета бояр и капиталистов.

Говорить о капиталистах я не стану: я о них, их роли и судьбе знаю слишком мало. В Бессарабии индустрия была слишком ничтожна. Табак и спирт — государственная монополия; транспорт и банки — так же. «Капиталистами» являлись сахарозаводчики и владельцы мельниц... но и они сильно зависели от Государственного банка. Мелкие предприниматели и коммерсанты на 90% — евреи; вели дела они «по-семейному», но все это была мелкая рыбешка. В политическом отношении они были «левыми»: платонически благоговели перед Советским Союзом и свирепо ненавидели Гитлера,.. что не мешало, однако, даже во время «бойкота немецких товаров» торговать ими из-под полы.

Кое с кем из наших «капиталистов» я в дальнейшем встретилась. Но об этом — в свое время.

Какова же была судьба «бояр»?

Не буду обобщать, не стану делать и выводов. Расскажу лишь о том, что произошло на моих глазах или совсем рядом.

Не все были столь наивны, как я. Многие были так же дезинформированы, как я, но вряд ли кто-нибудь так упорно закрывал глаза... и не желал делать выводы!

Начну с самых благоразумных. Таким был Миша Георгице — бывший гвардеец, ставший французским военным летчиком в 1915-м или 1916-м году. Он мирно жил в деревне Бабуленты на своих 50 га довольно плохой земли. Имел дрянненькую мельницу, получал пенсию как инвалид (на войне он лишился глаза и был трижды «сбит» — причем один раз упал с гидросамолетом в Средиземном море, где его на 11-й день подобрал итальянский миноносец). Хороший охотник и... любитель ковров, которые сам ткал артистически.

Когда 1 сентября 1939 года в Европе вспыхнула война, он в несколько дней, спешно, продал свою землю, собрал свои ковры и... уехал, к великому негодованию друзей и знакомых. Как только его не ругали! И — трус, и — паникер, и Бог знает что еще!

Где-то гремел гром, но над нами небо было безмятежно голубое, и не хотелось верить, что надвигается гроза. Говорят, что ослы чуют угрозу землетрясения за неделю. Наши «ослы» были настроены благодушно.

И вот 27 июня в 10 вечера передали новость. Кое-кто уже улегся в это время спать и... проснулся от лязга советских бронемашин (не у всех в деревне было радио, а те, у кого оно было, обычно экономили батарейки и не всегда слышали вечерние новости).

Но были и такие — о! их было очень, очень мало, — которые сразу приняли решение: на две-три имеющиеся у них подводы погрузили коекакой скарб и двинулись на запад, в Румынию. Какова была их судьба, я не знаю. Может быть, в дороге они, видя надвигающуюся колонну бронемашин, побросали подводы и пошли пешком? Например: Богосевичи из Стойкан или Божезовские из Солонца успели «смыться», а вот Котик Алейников был в пути задержан, арестован. Некоторое время он сидел в местной тюрьме, затем его перевели в Бельцы, где он и умер.

Характерна судьба его собаки — самой уродливой на свете. Ее порода мне неизвестна, но она получила приз на выставке, в Лондоне. Должно быть, за уродство: морда у нее — широкая и тупая, как у бегемота, была вдобавок украшена бакенбардами; шерсть — жесткая, как проволока, завитая колечками и в довершение всего — темно-лиловой масти.

Этот пес не покинул хозяина и больше месяца прожил возле тюремных ворот (ошибиться было невозможно: очень оригинальный был пес! и я впоследствии, работая на ферме Технико-агрономического училища, каждое утро проходя мимо тюрьмы, видела этого печального пса...); когда Котика перевели в Белецкую тюрьму, пес побежал за машиной и продолжал свое дежурство там. Зимой он замерз на посту.

Такому псу надо было дать не приз, не медаль (даже золотую), а... «дворянское достоинство», что ли...

Не могу умолчать о судьбе моего дяди Бори — меньшего папиного

брата и нашего ближайшего соседа (нас разделяли лишь сад, край леса и виноградник — в общей сложности чуть больше полуверсты).

Дядя Боря. Любимый младший брат Керсновских.

Единственный из братьев, рассчитывавший быть и впрямь помещиком без кавычек. Старшие братья — юристы. Землей они не интересовались (особенно — мой отец). Младшему, Борису, остался дедовский дом — со всеми хозяйственными постройками, инвентарем и старым садом.

Но... хозяина земли из него не получилось.

Он был умен, начитан, однако... Все его внимание было обращено на то, чтобы жить в свое удовольствие. Был он молод, красив, богат... Кругом много недурных собой крестьянских девушек, далеко не равнодушных к подаркам... особенно, если они исходили от красивого «панича». А затем — корова, швейная машина и все, что надо для хозяйства «молодых». Женихи были не в претензии: богатое приданое покрывало «грех».

Но однажды «грех» оказался хорошим здоровым мальчишкой, и дядя Боря его усыновил. Однако вскоре появился на свет еще один мальчик, и девка ожидала третьего ребенка. Заговорила ли совесть? Сказалась ли привычка, годы? Так или иначе, но дядя Боря понял, что мать его троих детей может уже быть его женой и «перед людьми», коли 10 лет была ею «перед Богом».

Родила она ему шестерых детей.

Имея 40 га земли, прокормить шестерых детей и дать им образование было нелегко. В Румынии сельскохозяйственные продукты были очень дешевы, а промышленные товары — очень дороги. Дорого обходилось и образование детей.

Дяде Боре приходилось нелегко. Сказалась «весело проведенная» молодость: здоровье сдало, и характер окончательно испортился. Работать по-новому, рационально, он не умел, а работа по старинке не давала возможности сводить концы с концами. К счастью, ребятишки подрастали и с детских лет впряглись в работу. Старший, Сережка, обладал недюжинными техническими способностями, а Севка был аккуратным и знающим хозяином. Невеселое было их детство: зимой — бегать пешком в Сороки, в Агротехническое училище, и вечером, в темноте, возвращаться после практики. И дома — чистить конюшни, кормить скот, готовить уроки. Ведь дорога в город и обратно 12 — 15 километров! А тут в гимназию надо отдавать еще двух — Катю и Володю. И дома подрастают Ира и Леночка, которую звали Ленчик.

К довершению беды заболел Володька — курносый, веснушчатый паренек, на редкость одаренный: в 10 лет он уже прочел чуть не всю дедовскую библиотеку, и как он рисовал! Отец его очень любил и гордился им! Но чахотка была беспощадна: через год его не стало. Напрасно отец перезаложил свое имущество и влез в долги. Володьку не спасли, а положение всей семьи стало еще тяжелее. Единственный доход — старая, полуразвалившаяся молотилка. С нею дядя Боря, грязный и измученный, разъезжал по окрестным деревенским токам, обмолачивая с грехом пополам крестьянский хлеб. Механиком был Сережка.

В 1940 году Сережка был уже демобилизован из армии, а Севка — дезертировал. Семья была в сборе.

В тот печальный воскресный день 10 июля, когда мы с мамой возвращались от военного прокурора и собирались полакомиться варениками с малиной, незваные гости (вернее — бессердечные хозяева) уже расправлялись с дядей Борей.

Дяде Боре дали ведро для воды, буханку черного хлеба и приказали уходить со всей семьей из отцовского дома, кто в чем был, предварительно обшарив карманы и отобрав часы и деньги.

Думаю, что настроение у старших было обалделое, как и у нас с мамой. Но не то было с шестилетней девочкой — Ленчиком! Ей — младшей в семье — никогда не доставалось никакой обновы: ей приходилось всегда донашивать обноски со старших братьев и сестер — десять раз перешитое и перелицованное. А тут вдруг счастье привалило: старшей сестре Кате, ученице женской профессиональной школы, поручили сшить шесть детских (или кукольных) рубашонок: с кружевами, с оборочками, с ленточками, со вставочкой, вышивкой и, наконец, с цветной аппликацией — утенок

и котенок. И вдруг... надо уходить из дому. Без рубашечек — ее нарядных, первых в жизни «своих» рубашечек! Это все, что до нее дошло. Она кинулась к тем чужим дядям, что выгоняли ее из дому, и закричала:

— Отдайте мне мои рубашечки, мои новенькие красивые рубашечки! На мне — совсем старенькая, рваная!.. — И она подняла свое ситцевое застиранное платьице и показала, что надетая на ней рубашонка — от ворота до подола — разлезлась...

Мать схватила ее за руки и потащила к выходу. Девчонка вырвалась из ее рук и вцепилась в притолоку двери: она просто ошалела от горя — кусалась, как звереныш, и продолжала вопить истошным голосом:

— Мои рубашечки! Мои новые, красивые рубашечки!

Не выдержал дядя Боря... С грохотом покатилось по ступенькам крыльца ведро...

— Будьте вы прокляты — вы и дети ваши — за то, что нет в вас души человеческой!..

— Папа, тише! Папа, успокойся...

Сержик и Севка подхватили отца под руки и увлекли за собой. Жена подняла на руки отбивавшуюся девочку... И долго еще слышны были ее отчаянные вопли: «Мои рубашечки!!!»

Так ушел Борис Керсновский из дома, где он родился, где умерли его мать и отец.

Его отец. Старик — Керсновский, мой дед. Стоит о нем сказать «пару слов». Не знаю, откуда взялись остальные помещики в тех «диких степях», где прежде почти не было оседлого населения, так как что ни год по ним проходили орды татар, турков... Дрались там и поляки, и венгры, и, понятно, украинцы.

Но это было давно. Очень давно. А мой дед поселился там в шестидесятых годах прошлого века.

Не совсем обычно сложилась судьба его. Родом из Волыни. Сирота. Опекун определил его в кадетский корпус. Военную карьеру начал успешно — гвардейским офицером; хуже обстояло с семейной жизнью. Женился он очень рано и через год овдовел: жена умерла родами, а через неделю скончалась и новорожденная дочь. Вскоре оборвалась и гвардейская карьера: неумный и неотесанный светлейший солдафон великий князь Михаил, дядя императора, позволил себе грубую и неуместную шутку по поводу того, что Керсновский в 18 лет успел овдоветь. Вспыльчивый юноша закатил ему самую верноподданническую пощечину. Судить офицера было невозможно — получился бы скандал; драться на дуэли — не имели права... Выход был один: «по собственному желанию» проситься в пограничные войска в Туркестане, как тогда называли Среднюю Азию.

24 года провел Антон Керсновский в тех краях. Смелый до отчаянности, способный к языкам, он освоил почти все тамошние наречия. Пригодился и его талант инженера-топографа, самоучки. Рискуя не просто жизнью (если бы его разоблачили, то обычной смертью он не отделался бы!), он составлял карты мест, где еще не ступала нога европейца (во всяком случае — русского).

Однажды, уже в 1916 году, к нам в Одессе пришел один старый генерал, командовавший 6-м конным Таурогенским полком, Дмитрий Логофет, и осведомился, не является ли Антон Антонович Керсновский родственником тому Антону Антоновичу, который составил карту Афганской границы? Узнав, что это — папин отец, старик расплакался. Оказывается, что его отец, казачий есаул, делал эту работу с моим дедом, и впоследствии он сам — тогда еще совсем мальчишка — сменил своего отца, от которого наслушался самых восторженных повествований о «тех годах».

Антон Керсновский-старший был и в самом деле необыкновенным человеком. Он, как теперь сказали бы, «без отрыва от производства» учился и стал инженером. Покинув Туркестан после почти четверти века «азиатской» карьеры, принял участие в строительстве моста через Волгу в Самаре.

Не дожидаясь, пока царь соберется с духом и освободит крестьян, дал своим крепостным в Волынщине «вольную». Из трех тысяч своих десятин он раздал две, а тысячу оставил себе.

Разумеется, такого «фармазонства» ему не простили, и какой-то генерал в 63-м году оскорбил его, поставив под сомнение его лояльность. Седеющий полковник поступил ничуть не иначе, как безусый корнет больше чем четверть века тому назад: он закатил обидчику оплеуху. На этом закончилась и его инженерная карьера.

Выйдя в отставку, поехал на Волынщину, продал свои 1000 десятин и купил 800 десятин в Бессарабии. Лишь тогда он женился, но прожил недолго: когда он умер, осталось шестеро детей. Мой отец стал «главою семьи» в 14 лет. Сколько земли было к моменту смерти деда, я не знаю, но когда дети подросли и «встали на ноги», имелось 300 десятин, которые они и поделили на 6 частей.

Вот и вся история «династии» Керсновских: с момента, когда неугомонный вольнодумец поселился в Цепилове, и до того дня, когда его последнего сына выгнали из старого дома, не разрешив внучке взять с собой первую в ее жизни новую рубашечку.

Я получаю свою долю наследства.

На следующий день после расправы с нами я пошла в горисполком. Нет. Я не собиралась «заявить протест». Протестовать можно, если есть хоть какая-нибудь законность. Еще меньше того я собиралась о чем-либо просить.

Я рассуждала примерно так:

«В настоящую минуту никто не может попрекнуть меня моим «богатством»: беднее меня нет никого — кроме ситцевой рубахи и парусиновых штанов у меня нет ничего — ни шапки, ни башмаков, ни куртки, чтобы ночью укрыться, ни деревянной ложки. Наплевать! У меня есть руки, и работать я умею, но для начала надо мне хоть самые необходимые рабочие инструменты. Не голыми же руками работать! Мое имущество должно быть разделено между бедняками. Я — один из них. И требую свою долю!»

Это заявила я, войдя в кабинет бывшей городской управы, ныне — горсовета.

Мягкий ковер — на всю комнату. Диван. Кресла. Массивный письменный стол. В помещении темновато: на окнах — портьеры, а за окнами — проливной дождь. С меня вода льет, как с утопленника. Босые ноги измазаны глиной.

Передо мной сидят трое. Один из них — тот, что слева, в кресле, Терешенко Семен Трофимович — тот, что вчера выгонял нас из дому.

— С вами поступили правильно. Вы — эксплуататор, и все, чем вы владели, вам так же не принадлежит, как и это кресло.

— Допустим. Но это кресло вряд ли принадлежит вам, хоть вы на нем сидите... и не догадываетесь предложить сесть мне.

Кажется, не в бровь, а в глаз. Переглянулись. Я сажусь и продолжаю:

— Итак, я пришла за своей долей.

— А на какую «долю» вы претендуете?

— Косу, вилы, сапу, лопату, садовничьи ножницы и опрыскиватель. Этого мне достаточно для любой сезонной работы.

— Ну! Для одного — этого слишком много!

— Я — не одна. Со мною мать.

— А мать пусть сама — тяп-тяп — поработает. — И, с насмешкой, он показывает, как надо, сгорбившись, работать.

— Матери 64 года. Свою мать вы можете, разумеется, пинком за двери вытолкать, а я — не скотина, которая не знает, что о старой матери нужно заботиться.

Вступает в разговор тот, кто сидит справа, невысокого роста, чернявый.

— Для нас паразит — хуже скота. Вот я — шахтер; этот — рабочий, а это — крестьянин...

Встаю. Подхожу к нему, беру его за руку и переворачиваю ее ладонью вверх. Пухлая, мягкая рука. Кладу свою: жесткая ладонь, покрытая мозолистой кожей, с твердыми «четырехгранными» мозолями.

— Не знаю, какие руки у шахтеров, а такие, как ваши, я видела у архиерея: купчихам их целовать дают...

Тот, что сидит в центре, пишет короткую записку.

— Вот! По этой записке вам дадут что надо.

Читаю: сапа, лопата, коса, садовые ножницы.

— Маловато. Но, учитывая вашу бедность, и этого для начала хватит! Остальное мои «не шахтерские» руки как-нибудь и сами заработают.

Не знала — не гадала я, что именно мои «шахтерские» руки заработают все, что надо не только для меня, но и для моей старушки!

И вот еще раз — в последний раз! — переступила я порог своего дома... Нет, этот дом уже не был моим. Не потому, что его захватили чужие люди, а потому, что своим бездумьем они испакостили то, что было скромным, даже бедным, но таким милым, родным гнездом, в котором я росла и мужала, в котором думала и мечтала, в котором так дружно и просто, в любви и взаимном уважении, жили мои родственники; в этом доме подошла к ним старость — не грустная и одинокая, а спокойная, и, хоть печальная, такая, как бывает печален теплый осенний день, когда уже поредевшая листва ярка, а солнце ласково, и летающие мягкие паутинки — «бабье лето» — обещают тепло. В том доме навеки закрыл глаза мой отец; в том доме я читала его последнюю волю: «...тебе я поручаю мать; пусть никогда она не чувствует себя одинокой... и мое благословение всегда будет с тобою...»

Это было в том доме, в моем, родном. А этом?

Глаза отказываются верить, а сердце — чувствовать. Все, что было в доме хорошего, унесено. Спешу заметить, что действительно дорогих вещей у нас не было: ведь из Одессы мы ничего с собой не привезли, а здесь ценных вещей не на что было приобретать; все, что я могла сколотить, я вкладывала в хозяйство: инвентарь, племенной скот, добротные хозяйственные постройки.

Ружья (а у нас их было немало: 2 охотничьих ружья 16-го калибра, одна берданка — моя любимая; старинное, шомпольное, с громкой кличкой «Зауэр», мой винчестер, 2 нагана и браунинг отца) были сданы по первому требованию, еще в первые дни (кроме винчестера и нагана; но об этом — особо). Два радиоприемника — «Луксор» и «Телефункен» — и велосипед «Бреннабор» № 36. Вот, пожалуй, все «ценное». Их я еще один раз увидела: шел гужевой обоз через наплавной мост на левый берег Днестра. На одной из подвод я увидела фисгармонию дяди Бори, граммофон, наших два радиоприемника и, на самом верху, мой велосипед, с хорошо мне знакомым самодельным багажником и нарисованным от руки номером 36. Тогда я только усмехнулась. Вспомнилось стихотворение из «Огонька» 1914 года: «Сверхкронпринц взял сверхтрофеи. Сверх-Вильгельму их несет: ножны, сабли, портупеи, зонтик датский и — капот...» Но после какая-то грусть, как говорится, «накатила». В уезде (а может быть, и во всей Бессарабии) наше радио было первым. Это еще году в 28-м или 29-м. Оно казалось чудом. Привезла его из Бухареста мама. Для нее музыка — это была жизнь... или, по меньшей мере, одно из самых прекрасных мгновений жизни. Могу ли я забыть, как она «священнодействовала», как она восторгалась, как умела заразить и нас своим восторгом?

Но то, что я увидела в своем доме, вызвало не столько горе, сколько недоумение и... отвращение.

Посреди двора были собраны все сельскохозяйственные машины: сеялка, плуги — простые и четырехкорпусные, распашники, бритвы, культиваторы... И несколько типов, навешивающих на них ярлыки: один срывал с подрамников картины, нарисованные моей любимой двоюродной сестрой Ирой, очень способной художницей; другой разрывал холсты на части, а остальные — писали на них номера черной краской и вешали ярлыки на машины.

Меня передернуло, когда я увидела, как раздирают на части портрет моего отца, написанный Ирой незадолго до его смерти: седой смуглый старик сидит за столом с газетой в руках, перед ним — недопитый стакан чая. Портрет очень удался. Глаза смотрят ласково, с чуть заметной усмешкой, а густые еще, серебристые волосы крупными кольцами обрамляют высокий гладкий лоб, пересеченный лишь одной черточкой у переносицы, и прямые, лишь слегка тронутые сединой, брови.

На легком инвентаре были ярлыки из картины, на которой изображен св. Сергий Радонежский, благословляющий Дмитрия Донского в канун Куликовской битвы. Ира подарила эту картину мне в день моих именин (как известно, св. Евфросиния, княгиня Суздальская, и св. Сергий Радонежский — 25-го сентября). Я остановилась, рассмотрела обрывки — Ослябя и Пересвет, склонившиеся на мечи, были прицеплены к бороне «Зиг-заг», а простертые руки св. Сергия, благословляющего меч Дмитрия, — на пятирядной сеялке.

К чему такой вандализм?

Этот вопрос — «к чему?» можно было задавать еще много раз.

Я вошла в столовую. На полу — слой грязи, стены, прежде сплошь увешанные картинами, были пусты (теперь я знала, где картины). В углу — ворох тряпья, на столе — ворох бумаг и фотографий. Чужие люди; несколько — наших, поспешивших, впрочем, ретироваться. Я передала записку тому, кто назвал себя «главным». Он ее долго читал, хотя там было лишь полторы строчки.

Затем сказал:

— Ступайте! Вам выдадут!

Я протянула руку и взяла со стола фотографию моего отца, сделанную в год моего рождения, 1907-ой.

— Разрешите взять карточку отца, на память!

Он взял ее у меня из рук, пристально рассмотрел, со смаком порвал на четыре части и бросил в грязь, на пол; затем порвал еще карточку племянницы маминой подруги и изображение двоюродной сестры маминого отца, бросив сквозь зубы:

— Все это — проститутки!..

Какой-то субъект в черной толстовке и ночных туфлях (это — после дождя-то!) долго копался в сброшенном в кучу ручном инвентаре, выбирая мне то, что похуже. Выбрать было нелегко: инструмент у меня был отборный и содержался в порядке. Выбирая садовые ножницы, он меня рассмешил: дал мне самые потертые... а это оказались самые хорошие — золингенской стали. Как это обычно и бывает: не все то золото, что блестит.

На обратном пути я прошла мимо дома дяди Бори. Там еще продолжался дележ вещей. Навстречу мне попалась женщина из соседнего села Околины. Она несла эмалированную кастрюлю и надтреснутый фаянсовый ночной горшок Ленчика. Проходя мимо меня, она низко опустила голову, но я ее узнала.

— Что ж, Ильяна! Теперь и ты разбогатела?

Она еще ниже опустила голову. Мне стало ее жаль...

Еще один раз я побывала в горсовете. В тот же день, под свежим впечатлением.

Зачем я туда пошла? Ведь я получила все, что могла получить. Признаюсь, я хотела помочь моим «наследникам». Во мне еще жили утопические идеи, и я не могла верить, что все, созданное моими трудами, так глупо погибнет. Царь Соломон — справедливейший судья — сумел отличить настоящую мать от самозванной: мать предпочла уступить свое дитя — лишь бы оно жило.

Мой взгляд на хозяйство... и взгляд «народа». Как я нашла дедушку Тому. И как дедушка Тома нашел «тихую пристань».

Для того чтобы убедиться, что передо мною судьи, значительно уступающие — и в мудрости, и в справедливости — царю Соломону, я еще раз предстала пред светлые очи вершителей судеб в горсовете.

— На сей раз я прихожу к вам не как человек, в чем-либо заинтересованный, а посторонний, но не желающий никому зла. Поверьте: мое хозяйство, хоть оно и невелико, но образцово. Оно может быть преобразовано в ядро колхоза, совхоза, кооператива — все равно. Вы раздаете дойных коров, племенных свиней замечательной породы, каракулевых овец людям, которые поторопятся их зарезать и, чего сами не сожрут, скормят собакам. Пользы они не извлекут. Не сумеют и не захотят. А имея то, что уже есть, года через 2—3 можно добиться блестящих результатов. Посудите сами: где вы найдете такого хряка, как Маламуд, величиною с корову, весом в 24 пуда? А матки, имеющие по 18 сосков? Это же редкие экземпляры...

— Довольно! Нас не интересуют ваши «редкие экземпляры», — прервал меня председатель. — Народ не желает сохранить ничего, что бы ему напоминало о помещиках! Народ создает все, в чем он нуждается, своею собственной рукой!

«Народ» действительно сумел стереть с лица земли все то, что создавалось годами: весь скот — до последнего поросенка — был перерезан. Даже корова Вильма — золотая медалистка, — дававшая с третьим теленком 29 литров молока жирностью 4,75%, не была пощажена: человек, ее получивший, попытался ее продать сперва в Домбровенах, а затем в Сороках; до следующей ярмарки он не стал ждать и сам ее зарезал. Половину мяса пришлось выбросить: засолить не догадались, а продать не смогли. У всех было достаточно мяса.

Бедные «ланкастеры». С каким трудом раздобыла я первую пару поросят! Из Аккерманского уезда, издалека. Везла я их летом. В жару. И как гордилась тем, что скоро эта порода будет распространена повсеместно. Что выиграл на этом народ?..

Пора говорить о себе, о своей жизни. Но... еще одно «путешествие в прошлое». Без того, чтобы не набросать портрет дедушки Томы, нельзя будет понять, до чего нелепо он выглядел, когда ему при разделе моего имущества досталась папина визитка.

Однажды, возвращаясь вечером с «заседки» (охота на зайцев, когда сидишь, притаившись, в кустах на опушке леса и подстерегаешь зайцев, выходящих на ночь в поле, или лисиц, крадущихся за зайцами), я остановилась возле скирды соломы, солома была рыхлая: лишь накануне я привезла ее с поля, и услышала странный шелест, шуршание и, наконец, вздох. Было холодно, дул резкий ветер и гнал поземку. Ночью можно было ожидать непогоды с метелью.

Что могло шевелиться в соломе? Собака? Нет! Собаки обычно располагались в конюшне, под яслями. Может, свинья? Как-нибудь незаметно супоросая свинья проскользнула мимо меня, когда я им принесла подстилку, и теперь мостится в соломе? Нет! Мои свиньи — белые, а там, под соломой, копошилось что-то темное. Я подошла ближе и хотела потрогать ногой, как вдруг услышала кашель и вздох — человеческий вздох:

— Кхе, кхе... о, Господи!

Я замерла от удивления.

— Эй, кто там?

Солома зашуршала, и из нее появилось нечто, напоминающее огромное чучело, сошедшее с шеста. Только вместо традиционной соломенной

шляпы там, где у чучела должна была находиться голова, виднелся комок тряпок. Присмотревшись внимательней, я обнаружила, что тряпки был основной материал, из которого изготовлено чучело.

Однако, когда чучело встало во весь рост, то выяснилось, что это довольно высокий, невероятной худобы старик.

— Что ты здесь делаешь, в соломе, дедушка?

— Разрешите мне переночевать... Здесь или в конюшне...

— А откуда ты?

— Из Трифоэуц...

(Трифоэуцы, деревня на берегу Днестра, вниз по течению, километрах в 14-ти... и уж никак не по пути!)

Мне стало жаль старика, и, разумеется, я его позвала на кухню, дала вина, горячего борща, хлеба с брынзой и, когда он все это проглотил, буквально не жуя, предложила забраться на печь и дала ему рядно укрыться.

Рано поутру, вернее, еще в кромешной темноте, когда я обычно принималась за работу, я вышла на кухню и... ничего, кроме крепкого и весьма неприятного запаха немытого тела, не обнаружила. Старик ушел, не взяв с собой даже хлеба.

Каково же было мое удивление, когда я увидела в верхней конюшне свет и услышала разговор.

Я подошла и заглянула вовнутрь: фонарь «летучая мышь» висел на балке, а старик выгребал из-под лошадей навоз. Делал он это умело, толково: сперва сгребал сухую подстилку под ясли, затем более мокрую — в угол, а навоз — в кучу, к дверям. Самое же удивительное было то, что он все время разговаривал с лошадьми — ласково, с любовью, и лошади — даже недоверчивый Дончик и злая Шельма — относились к нему тоже ласково и как будто понимали его.

Я вошла, поздоровалась с ним, взяла вилы и стала выкидывать навоз во двор. Так вместе закончили мы утреннюю уборку. Затем я взяла щетку и скребницу и принялась за лошадей, а Тома (он назвал свое имя) орудовал метлой, «наводя лоск».

После того как я выдоила коров и начала варить завтрак — мамалыгу и молоко — и поставила самовар, я хватилась: где же старик? Не мог же он уйти, не поевши? Но старик исчез.

Нашла я его в свинарнике. Он сидел в соломе и разговаривал с поросятами! И поросята сразу признали его своим: весело повизгивая, окружили и лезли на него, толкая друг друга розовыми пятачками.

Накормив его завтраком, я дала ему на дорогу хлеба с салом и старый сукман, потертый, но теплый, из монастырского сукна, и баранью шапку. Погода разошлась вовсю: выл ветер, швырял снег, будто лопатами; сугробы росли на глазах. Тома не ушел. Не ушел он и на следующий день; не ушел и тогда, когда погода успокоилась и солнце ярко и весело игралось на свежем снегу. Томе некуда было идти.

Своей истории он мне не рассказывал. Вообще разговорчив он был только с животными, с которыми мог вести бесконечную беседу. О себе же не говорил. Никогда. И — ни с кем. Просто он остался и... прижился.

Видя, что он уходить не собирается и старается мне угодить, я обратилась к нему напрямик.

— Хочешь — оставайся! Буду я тебе платить каждую субботу 150 лей и кормить. Захочешь уйти — уйдешь, в любой день. Хочешь остаться — место и за столом и на печке для тебя найдется.

— Барышня! Скажу я тебе правду: я давно не был сыт и не спал в тепле. Но денег мне не давай: я все пропью... Ты меня одевай и корми. Только одевай в самое старое, рваное, такое, что пропить никак уж нельзя! Каждый день давай мне пачку махорки. Одну — но каждый день. А в субботу вечером дай вина и бутылку водки: я весь день в воскресенье буду пьян. Но только один день. В понедельник — ни-ни!

Мне стало смешно, но я приняла условия. Только не совсем: я съездила в город и в магазине старых вещей купила ему полное снаряжение — старое, но добротное: белье, костюм, сапоги, тулуп, теплые рукавицы, байковые портянки.

Он не захотел взять:

— Барышня! Это — слишком хорошо: я пропью...

Я настояла. И он сдержал слово. В бане помылся, оделся во все чистое... и к вечеру был уже в своем прежнем тряпье — пропил все, включая рукавицы и портянки.

Пришлось ему поверить. Купила я все снова, но на сей раз — не второго срока, а... по крайней мере — четвертого. И все пошло на лад. Каждый день выкуривал свою махорку; каждое воскресенье напивался, причем — тихо и спокойно. Пьяный, он не мог держаться на ногах, и обычно спал в обществе свиней, причем что-то бормотал и улыбался. Поросята его окружали, тормошили, и под конец укладывались спать прямо на него. Сперва я опасалась, что они ему отгрызут нос и уши, но они, должно быть, умели с ним разговаривать или, по меньшей мере, понимать его

Так прожил он у меня несколько лет. Но — не круглый год. Когда созревали фрукты, он нанимался сторожем к евреям, скупавшим урожай «на деревьях», и жил в саду, в шалаше, питаясь компотом, который варил в горшочке на костре. Был честен — до щепетильности: с ним ни один жулик не мог войти в сделку, очень дорожил своей репутацией.

Когда заканчивался сезон фруктов, на зимние квартиры вновь являлся ко мне. Похудевший, оборванный, с ввалившимися щеками и слезящимися глазами. Я его снова одевала и откармливала.

Силенками он похвастать не мог, но мы были довольны друг другом. Он знал, что ... сыт и пьян (раз в неделю), одет и нос в табачке, я же знала, что он любит животных, и, нужно признаться, что все животные любили его.

Как он дошел до такого состояния? Это — грустная история. Дом его был на самом берегу. Ему не раз предлагали перенести его подальше, но... Если нынешний ледоход, думал он, не снес его, отчего бы в будущем году случиться несчастью?

Беда в том, что несчастья все-таки случаются, причем — всегда неожиданно... И опять же, несчастье почти всегда можно предотвратить, если не закрывать (притом — умышленно,.. хотя, почти всегда бессознательно) глаза. В тридцать третьем году надо было ожидать наводнения: Днестр очень рано стал; затем во время осенней оттепели тронулся. Уровень воды быстро поднялся, но ударили морозы, и он вновь остановился: лед был весь в торосах, и ширина реки максимальная. Весной, когда вся огромная масса льда пришла в движение, она не могла вместиться в русло реки — ведь Днестр очень извилист! На поворотах стали образовываться заторы, и уровень воды иногда в какие-нибудь час-полтора подымался на пятнадцать и больше метров. Когда же затор прорывало, то водяной вал, несущий льдины, срезал все, что встречалось на его пути: дома, деревья, заборы... Вот такой «вал» смыл дом и сараи Томы. С ними вместе были унесены водой жена и единственный сын, пытавшийся спасти корову. Осталось голое место там, где была усадьба. Уцелел один Тома. С горя он начал пить. А так как у него ничего, кроме четырех га поля не осталось, он пропил их. Остановиться он не мог. За три-четыре года еще не старый, крепкий мужик превратился в старика со слезящимися глазами. Он бы замерз той зимою, не очутись у меня в скирде соломы. Может быть, для него было бы лучше замерзнуть?

Мои первые шаги на ферме. Хоть я батрак, а всегда — хозяин! Первая «победа».

Во всякой трагедии есть доля фарса. Наверное, для того, чтобы смех отвлекал человека от горьких мыслей. Ведь смех — хорошее лекарство.

Только не до смеха мне было, когда я увидела странную фигуру, которая продвигалась зигзагами по старой широкой улице, проходящей через нашу деревню, — Белецкий тракт.

Брезентовые, во множестве заплат, брюки, босые ноги... и визитка. Та самая визитка, купленная в Вене еще до войны 14-го года. В ней сфотографирован мой отец: она так ловко облегала его стройную фигуру! Почти 30 лет висела она, обернутая шелковой бумагой, в нафталине. Не то как «реликвия», не то дожидалась того времени, когда ее перешьют брату: очень уж шикарное было сукно!

Отчего она досталась именно Томе? Не знаю... Но Тома получил именно визитку... и пару овец. Визитку он не успел пропить, так как сразу пропил овец. А поскольку не было поросят, среди которых он обычно отсыпался, то он и пошел бродить по селу.

В канаве, куда он свалился, было немного воды. Утонуть он не мог. Но вода была зеленая от лягушачьей икры. Бедная визитка... в лягушачьей икре. И бедный Тома...

Зимой 1940/41 года он замерз. Мир праху его...

Утак, я начинаю новую жизнь.

Время — июль месяц. Страда. Рабочие руки нужны. Особенно, если учесть, что все заняли выжидательную позицию и не торопились идти на поденщину. А агротехническое училище очень нуждалось в рабочих руках — у них была большая ферма.

Агроном пришел в смятение, когда я явилась на ферму с косой на плече и предложила свои услуги в качестве батрака. Ой и не хотелось ему! Кто решится дать заработать кусок хлеба тому, кого настигла «карающая рука» власть имущих? Но рабочие руки были нужны. И я была принята в число рабочих. Только... агроном побоялся внести меня в книгу, где каждую субботу рабочие расписывались в получении зарплаты.

Первую неделю я работала на уборке хлебов. Но уже на следующую неделю за мной закрепили четырех волов и четырехкорпусной плуг и послали лущить стерню.

Собственно говоря, именно с этого дня я нашла свое настоящее место в рабочей семье и ко мне стали относиться с должным уважением.

— Нет работы, которая могла бы меня испугать, — привыкла я говорить, — пусть она меня боится! — Но все-таки я испытывала что-то очень похожее на страх, когда подошла к плугу со своими двумя парами волов. Дело в том, что волы были для меня «terra incognita»: хотя «cap de bou» — воловья голова — герб моей родной Бессарабии, я никогда, решительно никогда в жизни не имела дела с волами. Я привыкла к быстрой, спорой работе на конях. Причем все наши кони были всегда бодрыми, проворными. К волам — как виду транспорта или тягловой силы — я питала буквально отвращение: бывало, если какой-нибудь попутчик из знакомых крестьян предлагал подвезти на своем рогатом выезде и я соглашалась, то не далее чем через полверсты не выдерживала воловьего темпа, выскакивала из каруцы и, махнув рукой, шагала дальше пешком.

А тут? Выбирать и привередничать не приходилось... И я смело взяла выделенных мне волов и пошла их закладывать.

Передняя — выносная пара — рыжие трехлетки Бущек (Василек) и Трандафир (Шиповник) были симпатичные быки; зато дышловая пара Урыт (Злодей) и Боцолан (Толстомордый) пользовались, как я впоследствии узнала, весьма дурной — вполне заслуженной — репутацией, и никто на них не хотел работать. Первое мое с ними знакомство могло оказаться и последним... Урыт взглянул на меня злым глазом, так грохнул об землю, что у меня перехватило дыханье. К счастью, я не растерялась и откатилась в сторону, когда он пытался меня затоптать. Что поделаешь? Я уже знала, что жизнь — борьба, причем борьба, в которой допускаются (и даже поощряются) бесчестные приемы. Но я приняла решение: в любой борьбе — победить!

Стиснув зубы и с трудом переводя дух, я все же заложила в ярмо волов, и мы гуськом выехали на поле — недалеко от фермы, за перелеском. Впереди Дементий Богаченко, затем я, а третьим — Василий Лисник, лучший работник фермы.

В этот день ждало меня еще одно разочарование: лемеха были до того тупы, что работать было невозможно. Вернее, это были не лемеха, а стертые до толщины пальца бруски. Плуг не держался в борозде и вообще не пахал: он утыкался, как свинья рылом, и лишь слегка царапал землю и подпрыгивал. Вместо ровной борозды в 90 см получалась какая-то извилистая царапина. А волы между тем выбивались из сил: глаза

у них налились кровью, с вываленных языков стекала длинными нитями слюна. Они от натуги хрипели и качались из стороны в сторону. Выехали мы на пашню в полдень, в самую жару, и волам было тяжело вдвойне!

— Черт знает что! — не вытерпела я. — Разве можно работать такими тупыми лемехами?

— А то мы не знаем, что нельзя! — отозвался Василий. — Мы агроному еще в прошлом году об этом говорили. И в позапрошлом. А он говорит, другие, мол, работали, а вы-то что за цацы за такие?

Я горячилась и негодовала; меня в равной мере возмущала и бесхозяйственность руководства, и апатия самих рабочих.

— Ну, чего волноваться? — сказал Дементий. — Они — начальники, и их это не тревожит, а мы — рабочие, люди подчиненные. Вот дойдем до перелеска и остановимся в холодке, отдохнем.

— Нет, братцы! Мы сюда не отдыхать, а работать посланы. А если работать нельзя, то надо вернуться на ферму и сказать, что такими лемехами ничего не получается...

— Мы уже говорили! А они мимо ушей пропускают. Что ж? Посидим до 6 часов, кончится рабочий день — вернемся. А раньше — не смеем.

— Это — обман. И потеря времени. А вдобавок и совестно. Вернемся на ферму! Чтоб не терять дня, запрягайте волов в подводы и принимайтесь вывозить в поле навоз. А я займусь лемехами.

— Не выдумывай! Нас заругают, если мы самовольно...

Я не стала слушать, подняла рычагом лемеха из земли, повернула волов и решительно направилась назад, на ферму.

Я, даже будучи батраком, не могла смириться с пассивной ролью. Долгие годы и дальние края, голод и неволя не смогли изменить то, что было всегда моей натурой: если что-нибудь стоит делать, то делать — только хорошо. Это всегда доставляло мне много хлопот и лишений, причиняло лишь вред и было причиной очень многих неприятностей; но теперь, когда жизнь прожита. и все осталось позади, я могу только сказать: «Спасибо вам, мои родители, спасибо за то, что вы научили меня любить правду и идти лишь прямым путем. Труден и мучителен этот путь, но легко по нему идти потому, что нет колебаний и сомнений. Низкий вам поклон!»

Это был мой первый самостоятельный шаг в долгой-долгой подневольной жизни.

Французский ключ, немного керосина и часа полтора мне потребовалось, чтобы отвинтить все 12 лемехов; гайки и винты были сплющены, стерты. Но вот лемеха — в мешке; мешок — на спине, и я шагаю босиком по стерне — напрямки в город.

Я знаю хорошего мастера, виртуоза по части лемехов: цыгана Александра, с цыганской магалы — предместья Сорок. Немного защемило сердце, когда я вошла в его мастерскую. Он уже окончил свой рабочий день. В горне догорали угли.

— Откуда Бог несет, дудука? — удивился он.

— Дядя Александр! Я знаю, что ты хороший мастер. Ты всегда натягивал мои лемеха. Выручай и теперь меня! Наладь мне эти двенадцать штук!

— А чьи они? — недоверчиво спросил он. — Что не твои, я знаю. А если бы и не знал, что у тебя все отобрали, то все равно догадался бы, что не твои: хозяин до такого вида их не доведет.

— Это — с фермы агротехникума...

— Тьфу на них! У них свои инженеры, мастера, большие мастерские... А что это за безобразие? Это — не лемех, а только пятка. Его не натягивать, а наваривать надо!

— Разумеется! И наварить, и натянуть, и наточить, и закалить...

— А платить кто будет?

— Я!

Он посмотрел на меня недоверчиво:

— А деньги откуда? Тут надо не меньше чем 200.

— Двухсот у меня нет. За всю неделю я заработала 195. Но надо оставить себе на хлеб и маме...

— Эх, горемыка ты!.. Так уж и быть. Оставь себе 25 лей, а я сделаю за 170. Только ты поможешь раздувать огонь.

И мы принялись за дело.

Цыганский горн с двумя маленькими мехами стоял под открытым небом. Низкая, походная наковальня, возле которой, стоя на коленях, колдовал старый длиннобородый цыган.

Искры улетали в темнеющее вечернее небо. Все ярче казался огонь, красивее раскаленное железо. Дед Александр выполнял серьезно, как обряд, свое дело. Накалял то до вишневого цвета, то — до алого, то — до почти белого; опускал попеременно и в воду, и в масло, и в сырую землю, и в роговые опилки... Что было необходимо, а что составляло «ритуал» — не знаю. У меня онемела спина, затекли ноги и болели руки... Наконец все было закончено.

Расплатившись, я сбегала купить себе полбулки хлеба, пока остывали лемеха; затем собрала все в мешок и скорым шагом пошла назад на ферму.

Я прошла мимо домика старушки Эммы Яковлевны. Где-то там спит моя родная, несчастная мама. Я не зайду к ней. Мне так хочется ее обнять! Но она знает, что я ночую на ферме. Она думает, что я сплю. Зачем ей видеть, что я иду босиком по колючкам, морщась от боли в ребре — удар рогом Урыта — и несу на спине кучу железин, за которые отдала весь свой недельный заработок... вместо того, чтобы купить себе обувь. Спи, моя родная! Не знаю, что нас с тобой ждет, но верю: все будет хорошо — правда должна победить! Спи спокойно, мама!

Поздно добралась я до фермы. Вытряхнула из мешка лемеха, легла возле плугов на теплую еще землю, укрылась мешком и уснула.

С первым лучом солнца я принялась за лемеха и, когда рабочие стали собираться, все было готово: длинные, острые, черно-синие лемеха вытянулись «по шнурочку».

Бодро шла я за плугом. Лемеха легко и бесшумно резали землю, как масло; волы без напряжения шагали, и широкая черная борозда отбегала назад, блестя срезами. Хорошо, когда на душе легко! Хорошо сознавать, что ты хорошо сделал свое дело!

Я принимаю решение. И привожу его в исполнение. Расставание.

Я работала с увлечением. Правильней было бы сказать — с остервенением. Это была борьба, притом — беспощадная, так как себе я не позволяла ни малейшей слабости, не расходовала на себя ни одной лишней копейки: хлеб, огурцы, сыр, крутые яйца и... чеснок. Это — мое питание. Об одежде я позабочусь позже. А пока...

У меня есть цель. Вернее, две цели. Вторая, более отдаленная, — это доказать, что я — настоящий, рабочий человек, отдающий все силы и добрую волю труду, приносящий пользу людям, стране. Ведь должны же понять, что я не эксплуататор, не паразит! Но первая и главная цель — это обеспечить маме полную безопасность, спокойствие и, наконец, избавить ее от контакта с теми злыми и глупыми людьми, которые имеют возможность наносить несправедливые и жестокие удары. Я не сомневалась, что все это — ошибка, которая со временем выяснится, но... Я не хочу подвергать маму ни малейшему риску. И поэтому мы должны расстаться. Это решение я приняла давно. Как сказать об этом маме? Она не может представить себе разлуки со мной! Идут дни, недели... Надо решиться. Но, Боже мой, как?!

Нужно заметить, что в первое время это было легко достижимо: всем, кто желал уйти за границу, путь был открытый.

Причина этого «великодушия» заключалась в том, что Гитлер потребовал, чтобы немцам-колонистам была предоставлена возможность репатриации в Германию... которую их предки покинули чуть не 300 лет тому назад. Ну, а под маркой немцев в Германию могли уехать и те, у кого было самое отдаленное и даже проблематичное родство «с двоюродной

тетушкой троюродного соседа». Уехать могли и те, у кого родственники в Румынии. А у кого их не было, учитывая 22 года румынского контакта? Лишь только тогда, когда целые села — главным образом в районе реки Прут — стали уходить через границу, бросая домашних животных и птицу, лишь тогда стали чинить некоторые препятствия. Но пока что обмен шел довольно свободно: молодежь — главным образом солдаты, чьи семьи проживали в Бессарабии, возвращались домой; те же, для кого дым отечества оказался не в меру горек — рвались туда, под «гнет бояр и капиталистов».

Ушли в Румынию, пешком, дядя Боря с семьей. Я возмущалась, негодовала, упрекала их в малодушии. «Ведь это — недоразумение! В Советском Союзе умеют ценить труд, и там есть, где применить свои силы! Потерпите! Работайте, не падайте духом! Правда всегда победит!» Они меня считали отпетой дурой, а я их — малодушными трусами. Жизнь сама показала, кто из нас был прав...

Не забуду ту теплую лунную ночь. Я спала в саду, который ночью сторожила (днем работала на ферме). Было тепло. И так приятно пахло — травой и спелыми яблоками. Было очень тихо, и я просыпалась каждый раз, когда яблоко падало наземь.

Вдруг — шаги. Я насторожилась. Шорох. Кто-то пробирается, шурша, сквозь кусты винограда. Тот, кто идет, не скрывается. Он что-то ищет. Да это Сева!!!

— Севка, ты? Какими судьбами?

— Я! Ты знаешь, мы уходим. Утром. Я пришел с тобой поговорить по-серьезному, в последний раз. Идите и вы с нами — ты и тетя Саша. Иди! А то будет поздно!

— Сева, опомнись! Ну — папа, мама, малыши... Это я еще допускаю. Но — ты? Здесь ты у себя, на своей родной земле, которую, как ты сам знаешь,.. нельзя унести на подметках своих башмаков. А в Румынии что ждет тебя? Да подумал ли ты хоть об этом? Что ты дезертир, бросивший свою воинскую часть? Что тебя там ждет? Собачья смерть?!

— Не знаю, ждет ли меня там собачья смерть, а что тебя здесь ждет собачья жизнь, в этом я уверен!

Так мы и расстались, не убедив друг друга.

Сева, я часто вспоминала тебя, твои слова. Но я не раскаиваюсь.

На этот раз решение — единственное разумное за многие грядущие годы — было принято, и я начала подыскивать попутчиков, с которыми можно было бы отправить маму в Румынию. Деньги на дорогу я ей заработала. И даже с избытком.

Случай подвернулся сразу — в Румынию уезжал пожилой священник вдвоем с матушкой. В их одноконной бричке нашлось место и для мамы.

Мне и сейчас больно вспоминать, с каким отчаянием, с какими слезами умоляла мама не разлучаться со мной: «Нет, нет! Без тебя я не уеду! Или ты со мной, или я с тобой! Ты — последнее, что у меня осталось, ты — мое «все»; без тебя я жить не могу, я умру с горя. Нет, ни за что!» И она цеплялась за меня руками, прижималась к моей груди и не хотела отпускать меня ни на шаг.

Может быть, я была действительно жестока? Может быть, все те страдания, которые в течение долгих лет валились на меня, были справедливым наказанием за то, что я не послушалась голоса сердца... и — не выполнила волю отца: «...единственное, что я тебе завещаю особо — это мать: никогда не оставляй ее одну! Пусть на старости лет она не чувствует одиночества; будь ей опорой, и мое благословение никогда не покинет тебя».

Если бы я нашла слова, которыми могла бы точно выразить, что я чувствовала тогда, когда мама рыдала на моей груди, умоляла меня, заклинала,.. а я знала, что не выполню ее просьбы...

Целую неделю длилась эта борьба. Целую неделю — от среды до среды — мама всеми силами пыталась меня переубедить. Даже ночью прижимала к себе и вздрагивала, пугаясь, что меня с нею нет. Я утешала маму, уговаривала ее на все лады, но материнское сердце — вещун: рухнули, рассыпались прахом целые страны, образовались непреодолимые горы

и пропасти, судьбы не то что людей, а народов разносило, как сухие листья в бурю.

Но человек — ничтожнейшее из творений природы, — лишенный даже здоровых инстинктов, воображает, что будущее принадлежит ему. «Наполеон говорит: — Будущее принадлежит мне. — Нет, сир, будущее принадлежит Господу Богу. Когда пробьет час, все нам говорит — «прощай». Будущее — это то же самое, что птицы на крыше». Сколько раз мама повторяла эти слова Виктора Гюго. Нет, я не думала, что мы расстаемся навсегда; я не думала даже, что это — надолго... Я была уверена, что мне не потребуется много времени, чтобы заслужить добрую славу, затем уважение, потом доверие и, наконец, полное признание: я буду полноправным полезным гражданином своей страны! И тогда я выпишу маму к себе, окружу ее любовью и заботой. И она будет счастлива и горда. Она будет гордиться своей дочерью! И тогда поймет, что эта временная разлука была необходима.

Но все эти аргументы не могли заставить замолчать мамино сердце. «Не покидай меня! Едем вместе в Румынию! Вдалеке от тебя я с ума сойду от тревоги, от горя! Я чувствую: тут слишком много темных сил, тут — всюду ложь. А ложь — страшное оружие». Да. Ложь — страшное оружие. Я это узнала. На горьком опыте. Но для этого мне потребовались годы и годы.

Наконец, я пустила в ход последний аргумент: «Там ты сможешь что-либо узнать о Нюсе. Может быть, даже — увидеть его».

Увы! У меня было мало на то надежды: последнее его письмо помечено 14.II.40-го года. Несмотря на его слабое здоровье, несмотря даже на то, что он был французскнм подданным, его взяли в армию. «Грустно и несправедливо умирать на чужой земле — и за эту чужую землю, когда я хотел быть полезным своей родине»... Три месяца не было от него вестей. Затем... пришло извещение о смерти: «погиб в боях под Деммартеном 50 км севернее Парижа»... И через неделю — другое: «пропал без вести».

Я ни того, ни другого маме не показала. Я пыталась выяснить его судьбу, но... 1 июня вступила в войну Италия. Связь прервалась.

Это — еще один (и очень тяжелый) камень на моей совести.

Может быть, надежда отыскать своего сына примирила бы маму с разлукой с дочерью? Но — так или иначе — она согласилась...

Худая лошаденка тащит в гору бричку. В ней — старички: батюшка с матушкой и... мама. Несколько узлов — вещи попа и корзина, которую одна бывшая мамина ученица дала маме. В ней провизия: хлеб, вино и полотенце. Все мамино имущество.

Долгие годы была она перед моими глазами — такая, какой я ее видела тогда, в последний раз! Не много мне удалось за три недели заработать! Так что снаряжена она была более чем скромно: черное платье, чулки и туфли — тоже черные; черная шляпка с «плерезами» и черный креп — траурная накидка. Тоненькая, юношески стройная фигурка, бледное лицо, воспаленные, но сухие глаза, и знакомый излом красивых бровей.

Я иду рядом, положив руку на крыло брички. Мы молчим. Сзади, в нескольких шагах, — моя подруга Лара с дочкой Маргаритой.

Подъем окончился. Здесь так называемый «шлагбаум» (которого давно нет). Отсюда — спуск. Дальше поедут рысью. Надо прощаться.

Мы условились — только без слез! Мы держим слово. Крепко обнимаю. Быстро целую три или четыре раза и... отступаю в сторону.

— С Богом!

Я остаюсь одна.

И бричка покатила. Нет, не совсем одна: ко мне подбежала моя крестница, и я ее подхватила на руки. Я прижимала к себе девочку, и плечи у меня вздрагивали. Без слез! Просто — спазм.

Бричка удалялась, ио я еще видела, что мама сидит, всем телом обернувшись ко мне. Вот они скрылись в долине. Я все стояла и смотрела. Еще раз увидела я их на следующем подъеме. Маму различить уже было нельзя — все слилось в темное пятно. Но я знаю, что она смотрит, смотрит...

Прощай, моя мужественная старушка! Нет, не прощай, а до свидания, до скорого свидания!

Не знала я, что свидание состоится через 19 лет... И то лишь благодаря тому, что в дни тяжелых испытаний каким-то чудом судьба меня щадила. Что меня хранило: мамина любовь? папино благословение?

Инстинкт самосохранения и «защитная окраска хамелеонов». Двойная мораль: «у меня украли верблюда — плохо; я украл верблюда — хорошо».

Первый раз в жизни я поняла, что такое одиночество.

Я целые дни проводила среди людей — и все они были мне чужие, хотя со многими я работала, разговаривала. В городе все меня знали, многие были (или называли себя) моими друзьями. Но я была одинока. Наконец, в городе была Ира — мой лучший друг, мое «alter ego». Сколько лет мы были неразлучны! Мы понимали друг друга без слов. Но... ее мать, сестра моего отца, тетя Катя, боялась, что «контакт» со мной, на кого опустилась тяжелая рука властей, может быть опасен. Она, как все, кого еще не смяли, не растоптали, дрожала, как мышь под метлой. Ира боготворила свою мать. И я была особенно одинока, зная, что Ира так близко! Я сама держалась в стороне от своих прежних близких знакомых, но я тогда еще не могла себе представить, до чего жалки и презренны люди, когда они дрожат за свою шкуру, за свое благополучие! Гражданского мужества — да что там! — элементарной порядочности от них не жди! Лена, дочь тети Лизы, младшей сестры моего отца, в своей «автобиографии» написала, что она — не дочь своего отца, полковника Богачева, а — байстрючка: мать якобы нагуляла ее с каким-то парнем, и Богачев лишь покрыл грех. Чтобы сохранить свою службу, она плюнула в лицо своей матери и облила грязью могилу отца, сказав такую гнусную ложь.

Во всем этом я разобралась куда позднеи, и каждое из подобных открытий причиняло мне боль. На Иру было смотреть жалко! Я заходила к ней раз в месяц — не чаще. Я видела, что она всей душой рвалась ко мне, хотела хоть руку пожать, но... ее мать боялась — и она не смела.

Я зарабатывала хорошо и часто приносила им подарки: то — пуд муки, то — масла, то — сыра... Сама же я продолжала вести самый спартанский образ жизни. Паспорта у меня не было, и я решила, что пока не получу паспорт, я ни под чьей крышей жить не буду, чтобы ни на кого не навлечь неприятностей. В хорошую погоду — на ферме. Вернее, прямо в поле, на охапке соломы. Иногда — особенно лунной ночью — я долго не могла уснуть. При лунном свете и пруд, и плакучие вербы, растущие вокруг него, казались необычайно красивыми; лягушки заливались на все голоса — в ушах звенело от их концерта! И я невольно вспоминала, как мама любила лунные ночи и... лягушачий концерт! И вот тогда, когда я была действительно совсем одна — среди поля, на своей охапке соломы, — я переставала чувствовать свое одиночество: мысленно я разговаривала с мамой, и так, за этим разговором, убаюканная лягушками, я засыпала.

Когда шел дождь (а это бывало очень редко), я уходила на виноградник старика Титарева, и там, в шалаше, отсыпалась про запас, т. к. работала я по-прежнему с остервенением.

И все же один раз я захотела устроить себе банкет. 25 сентября по старому стилю я хотела отметить день своих именин: поесть горячей пищи — лапши с творогом. Я готова была съесть этой лапши целый таз! Два с половиной месяца — на сухом пайке... Я была сыта, но... огурцы, хлеб, чеснок — все это уже приелось... Я принесла очень много продуктов тете Кате и считала себя вправе провести свои именины с Ирой — за миской горячей пищи! К этому дню в былые годы чего только я не привозила в подарок своим друзьям, родственникам!

Ира очень обрадовалась...

И вот день 25 сентября наступил... Работу мы закончили в четыре часа, и в шесть я, спустившись напрямик с горы, бегом влетела в маленький домик, где жила тетя Катя с семьей. Я спешила и заранее предвкушала, с каким наслаждением буду есть лапшу. Но напрасно, войдя в комнату, я искала накрытый, пусть не очень праздничный, но все же обильный стол. Ира была красной, как помидор, и не смотрела мне в глаза.

— Где же лапша с творогом? — сорвалось у меня как-то против воли...

Тетя Катя стояла ко мне спиной и, не оглядываясь, буркнула: «Какая еще лапша? Некогда мне с лапшой возиться!» А Ира, не подымая глаз, пробормотала, что кто-то что-то забыл...

Мне стало ее до того жаль, что я, скрывая обиду и разочарование, тоже сказала что-то невразумительное: правда, мол, я, как следует, не условилась, и направилась к двери.

У Иры брызнули слезы из глаз, и, желая их скрыть, она что-то бормотала вроде «...сейчас... подожди...» Тетя Катя так и не повернулась ко мне лицом. Я сделала вид, что, собственно говоря, так оно и лучше: уже поздно, и мне идти далеко и вообще я очень тороплюсь... Кое-как попрощалась и быстро зашагала обратно в гору.

Это были мои последние именины. Но... не последний урок! О, если бы я умела делать выводы, обобщать! Тогда каждый новый урок не являлся бы для меня неожиданностью!

Взять мою работу на ферме. Я там одержала победу, которая меня буквально окрылила. Мы трое «соревновались» по вспашке зяби. И вот — подвели подсчет: Дементий Богаченко вспахал 21,5 га; Василий Лисник — 23 га, а я — 25 га!

Агроном боялся внести мою фамилию в «книгу», то есть список рабочих. Я не расписывалась в получении денег. А тут — моя фамилия заняла место на «золотой доске почета»! И лишь тогда меня вписали в «книгу», и я расписалась, сразу за 9 суббот! Я торжествовала. А через неделю... мне объявили, что я — уволена: остаются лишь годовые рабочие, а я — сезонный. Для меня это был удар: я так рассчитывала закрепить за собой успех и продолжать «отличаться»! Я знала, что я — хороший работник!

По существу, вся моя «трудовая деятельность» была цепью разочарований.

Яневская — «помещица-коммунистка» — жила теперь в городе.

Она не дожидалась, чтобы ее выставили из Дубна (как назывался ее хутор). Она оставила «все — народу», взяла лишь с каждого куста по розе и уехала... Следует, однако, заметить, что у нее в Сороках был огромный кирпичный дом, шикарно обставленный, с двумя террасами, большущим холлом и десятком комнат.

Несколькими днями раньше она пораздавала своим верным клевретам все, что было у нее лучшего: коров, свиней, ковры, птицу, бочки со всякой снедью.

В холле, на мольберте — начатый портрет Сталина. Ее отпрыски из кожи вон лезли, стремясь заверить всех (а может быть, и себя самих), что они — ярые комсомольцы.

Иногда, в дождливую погоду, я заходила поговорить с ними. Допустим, тетя Катя меня боится, а этим-то бояться нечего: ведь они-то коммунисты!

Теперь мне даже как-то не верится, что можно было так, до наивности, прямолинейно мыслить!

Но и тут я опять получила ковш холодной воды за шиворот: как-то на улице меня повстречала Ира. По всему было видно, что она меня специально поджидала. Я было обрадовалась... Но отчего она мне не смотрит в глаза? Отчего покраснела?

— Яневская просила передать тебе, чтобы ты к ним не ходила. Они боятся...— выпалила она единым духом.

— И она... тоже?— ошеломленно спросила я.

Ира так мучительно покраснела, что мне стало ее жалко.

Значит от меня отвернулись и родные, и друзья. А между тем, по моему (тогдашнему) убеждению, как раз я была самым настоящим советским человеком— честным, трудолюбивым, откровенным. Не было у меня не только враждебности, но даже самой обыкновенной подозрительности, осторожности.

В чем же дело? Этого я еще долго не могла понять. Много лет потребовалось, чтобы я поняла, что все объясняется одним словом: ложь.

Но не все от меня отвернулись. По-прежнему приветлива и гостеприимна была старушка Эмма Яковлевна. Было ли это мужеством? Или— храбростью неведения? Или, действительно, ее глубокая религиозность помогала ей быть «не от мира сего»?

Хорошо относилась ко мне Лара— моя кума. Ну, тут все было ясно: она была очень добра... и не очень умна. А поэтому на подлость неспособна. Но тут уже я сама старалась держаться известной дистанции, чтобы им не повредить: Лека, ее муж, был агрономом.

Итак, я решила держаться от всех в стороне и работать: к зиме надо было одеться, обзавестись кое-каким имуществом, а пока что, не имея паспорта, жить буду «под Божьей крышей».

Много лет тому назад мне довелось разговаривать с одним миссионером, вернувшимся из Северной Африки. Он был очень деморализован неуспехами своей миссионерской деятельности... «Как можно внушать им христианское понятие о добре и зле? Толкуешь им, толкуешь: не желай, мол, ближнему того, чего себе не пожелаешь... а затем спроси, что он из этого понял? И получаешь ответ: «плохо— когда у меня украли верблюда, хорошо— когда я украл верблюда».

Увы! Мне пришлось убедиться, что такого рода двойная мораль относится не к одним лишь верблюдам...

Я думала, что всякий честный труд, выполняемый человеком и приносящий пользу работающему и работодателю, есть полезный труд, а трудящийся, хорошо его выполняющий, заслуживает уважения. Однако у нас, оказывается, надо еще учесть... чей верблюд и кто украл.

Я бралась за любую работу— кто бы мне ее ни дал— и выполняла ее как можно лучше, не считаясь с тем, сколько лишних часов работаю я. Виноградники к зиме должны быть подрезаны и закопаны; я подрезаю лозу не как-нибудь, а с учетом количества и длины лоз, наиболее соответствующих в каждом отдельном случае. При закапывании куста надо стараться не поломать ни одной веточки. Так получается дольше? Работать труднее? И заработок— меньше? Да! Но— качество— прежде всего.

Хозяева виноградников — мелкие чиновники, имеющие усадьбы «на Горе» (верхний город), оценили мою работу и стараются переманить меня к себе. Я беру работу «гуртом» и никогда не бросаю, не закончив. Так обработала я виноградник Гужи— лесничего, Витковских— семьи служащего горисполкома,— и перешла к Попеску Домнике Андреевне, соседке старушки Эммы Яковлевны.

Тут я в первый раз услышала о налогах, взимаемых натурой.

Я начинаю все слышать и замечать, но делать выводы еще не решаюсь. Экспедиция, которую проще назвать кражей.

Никто и никогда не любит платить налогов. И никто не ворчит больше, чем налогоплательщик! Как ни малы были налоги в Румынии (они не превосходили цены одного или полутора пудов зерна с гектара, а за дом и приусадебный участок платили лишь те, кто имел больше 4 га поля), но я привыкла слышать ворчание: «Как? Я еще должна налог платить, когда у меня — сын в армии?!» Или: «Безобразие! У меня — куча детей, а им— плати налог!»— И поэтому сперва не могла понять, почему Домника Андреевна так охает, а когда она мне объяснила, то — просто не поверила: оказывается, сдала она за налог на заготпункт весь ячмень— не хватило; свезла пшеницу— опять не хватило! Отвезла весь урожай подсолнечника... и пришлось прикупить еще 60 пудов у «бедняков» (которых не так обложили), а останется ли что-либо от кукурузы для скота и птицы— она и сама не знала...

— Ах, Фрося, Фрося! Какая вы счастливая! — горестно вздыхала она.— Вас выгнали из дому и оставили в покое, а из меня что ни день все жилы вытягивают!..

Я начала присматриваться, прислушиваться... И оторопь на меня напала: оказалось— и в самом деле, люди везли и везли все, что с них требовали, в качестве налога. Элеваторов или хотя бы амбаров не было, чтобы вместить весь урожай: назначены были очень сжатые сроки, и люди были не на шутку перепуганы...

Лишь пшеницу и подсолнух (и то— не все) смогли кое-как обеспечить навесами; рожь, ячмень, овес ссыпали прямо в вороха под открытым небом. Но самое нелепое— кукуруза, сваленная на землю за околицей, неподалеку от проезжей дороги.

Кукуруза в початках содержит обычно довольно много воды. Она хорошо сохраняется лишь в сусяках — дощатых, узких сараях шириной 1—1,5 м, стоящих на ножках; в полу и стенах — щели, и крыша прилегает неплотно. Таким образом обеспечивается достаточный приток воздуха. Иногда сусяк делается плетеный, опрокинуто-конический; очень редко— на чердаке, хорошо вентилируемом. Но тогда эти вороха нужно время от времени перелопачивать — иначе кукуруза заплесневеет и станет ядовитой и даже очень опасной.

Каково же было мое удивление, вернее, возмущение, когда я видела, как вороха— высокие, как скирды— сваливаются прямо на мокрую землю, гниют под осенними дождями!

Было это вредительство? Или— головотяпство? Или то и другое вместе? Трудно сказать! Вернее всего, людей надо было любой ценой напугать и усмирить. А что могло больше того подействовать на молдаван, мягких от природы?

Говорят, лихие запорожцы, чтобы поразить воображение обывателей, наряжались в шелк и бархат и демонстративно мазались дегтем, а дорогие сукна бросали в грязь, под ноги своим коням.

Это было, пожалуй, то же самое: кукуруза, сваленная в огромные вороха, очень скоро нагрелась: сперва из нее пошел темный пар, а потом— густой вонючий туман заволок все поле между мельницей Иванченко и Алейниковской церковью.

Люди, проезжающие по дороге в город, отплевывались и погоняли лошадей: «От нас самих, от детей наших, от скота— забрали и сгноили...» И невольно жуть закрадывалась в их душу: что это? От непомерного ли богатства, которому все нипочем, или это знамение грядущего голода?

Днем, работая в поле, на виноградниках, я не замечала времени. Чтобы не грустить, я пела. Голос у меня был звонкий, и песня как бы помогала работать. Впрочем, природный оптимизм брал верх: ведь небо бы-

ло таким же, как и прежде, — голубое, ясное или хмурое, серое, оно было все равно — небо; как-то хотелось верить, что и люди — иногда ясные, а иногда хмурые — все же оставались людьми, и жизнь, очевидно, должна войти в нормальную колею. Вот лето сменилось осенью, а там и зима не замедлит явиться в свой срок; немного терпения — и опять весна...

Должно быть, если запастись терпением, то все придет в норму: мои руки меня всем обеспечивают, а дорогу я себе проложу — тут уж голова должна помочь. Ведь не звери же люди? Конституцию я знаю — она составлена разумно, справедливо.

Но возвращалась я в город, будто в душную комнату, полную дыма и угара: отовсюду, точно струйки дыма, ползли какие-то слухи. Не хотелось им верить! Но и не верить было нельзя...

Однажды Лека Титарев — тогда он работал агрономом поблизости и ежедневно приезжал на ночь домой — рассказал, как он узнал, что решено уничтожить два больших дуба, занимавших середину нашего сада: панская, мол, фанаберия! Кому нужны такие огромные дубы? Кроной закрывают полгектара. Но спилить их сразу не собрались: не было достаточно длинной пилы... (Дубы эти — самые старые в Бессарабии — уже перестали расти, а это бывает, когда дубу минет 500 лет. Отметку сделал старик Влас, родоначальник самой старой семьи в нашей деревне, а от его сына, Илька, отметка перешла к Костатию — тому дедушке Костатию, который был дядькой моего отца и лучшим другом всей его жизни.) Итак, решили их взорвать. Но пока раздобывали динамит, Лека сумел на сей раз отстоять жизнь этих дубов: он указал на то, что эти дубы — исторические, они уже были могучими дубами, когда Петр I во время Прутского похода проходил возле них. Ведь Петр I перешел Днестр возле нашей деревни Божаровки, которая теперь — предместье города Сорок.

Не знаю, эта ли историческая справка или отсутствие аммонала, но на этот раз нелепый акт вандализма был отложен.

Другое обстоятельство могло вызвать куда больше тревоги.

Километрах в 25—30 от Сорок лежит большое село — Котюжаны-Маре. Местный агроном, парень молодой и хоть недалекий, но очень старательный и добросовестный, ознакомившись с положением и настроением умов местных жителей, пришел в ужас и явился в уезд, в Сороки, с докладом о том, что происходит.

Люди, деморализованные «натуральными поставками», которые растут, как «Драконовы зубы», режут напропалую крупный рогатый скот — коров и волов. Рассуждают они примерно так: «С земли пришлось сдать столько, что себе ничего не осталось. Землю, значит, обрабатывать не стоит — все равно ничего не получишь. Следовательно, волов надо зарезать, так как продать их невозможно: нет на них покупателей, да и деньги — никак не поймешь, деньги они или нет? Опять же и кормить скот нечем. Что же касается коров, то говорят, что придется государству сдать и молоко, и мясо, и масло, и даже кожу. Никто не может себе представить, каким путем с живой коровы можно сдать кожу и центнер мяса (я сама куда позже поняла, как это делается). А значит, корову тоже лучше зарезать...

Агроном без всяких комментариев просто привел статистические данные: летом — до «освобождения» — было свыше 2400 голов крупного рогатого скота, а к осени остается едва ли 800... Собаки так объелись мяса, что еле шевелятся.

Я видела агронома после подачи докладной записки. На нем, как говорится, лица не было — он был бледен, как мел. За него так взялись, что полетели пух и перья: как он смел распространять такие клеветнические, провокационные выдумки? Сейчас же он должен вернуться на место, подсчитать все и... выступить с докладом о том, какой толчок дало освобождение народному хозяйству! Иначе — 10 лет срока.

Через неделю он читал доклад: скота вместо 2400 голов было уже около трех тысяч.

Вообще угроза «...а не то — 10 лет» повисла над всеми. И никто не мог понять, за что и почему может обрушиться на него закон? Понятие «преступление» стало совсем непонятным.

Шоферы-механики, вызванные для переподготовки, ознакомившись с новыми механизмами, недоумевали: то масло не поступает, потому что не просверлено отверстие; то швы расходятся и т. д. «Это, наверное, и есть так называемый «стахановский метод работы» — лишь бы поскорее...» И за это — «10 лет»?..

Оказывается, если не сдал оружия, то за это причитается — ни больше, ни меньше — те же 10 лет.

Это заставило меня крепко задуматься.

Как я уже говорила, в первые дни, как только вышло распоряжение сдать оружие, я сразу это распоряжение выполнила. Я была уверена, что это временно, и оружие будет мне возвращено. Ведь не употреблю же я его во вред? Ну, браунинг... Его пусть не возвращают, а остальное должны вернуть!

И все же... Я не все сдала: винчестер, который получила от дяди — страстного охотника, был красивый, как игрушка: на прикладе две серебряные головы дикого кабана (дядя убил двух кабанов из этой винтовочки). И такой меткий бой! Второй — наган, довольно уже старый, 1919 года; отец подарил его ко дню рождения, когда мне исполнилось 16 лет. Ведь это было мне дорого как память!

Я хорошенько смазала и спрятала в... скирде подсолнечных палок. Палки, связанные снопиками, были аккуратно сложены узеньким зародом. Я вынула один из снопиков, всунула винчестер и наган, а сноп заложила на место.

Казалось бы, черт с ними! Найдут их зимой, а до тех пор, может, все забудется. Однако беда была в другом: кобуру к нагану подарил мне наш добрый приятель, муж Яневской, человек, которого я очень уважала и ни за что не допустила бы, чтобы он из-за меня пострадал! А пострадать он мог: на внутренней стороне кобуры были написаны химическим карандашом имя и фамилия — «Сергей Мелеги»...

Будь что будет! А эту кобуру я должна заполучить обратно! И я приняла решение пробраться во двор бывшей моей усадьбы и выкрасть оружие.

Вот не думала я, что придется мне воровать! Пусть свое, но... Пробираться, ночью, тайком...

Сырая ноябрьская темная ночь. Луна должна взойти перед рассветом. Время самое подходящее — мокрые листья не будут шуршать.

Задолго до полуночи я, пройдя лесом, вошла в сад. Мой сад... Вот овальная полянка, окруженная деревьями. Посредине — папина могила.

Опускаюсь на колени, обхватываю крест и прижимаюсь лицом к влажному дубовому столбу.

Мы снова вместе, папа! Где мама? Где брат? Живы ли? А я? Что ждет меня впереди? Здесь подо мной — склеп. Приготовлено там место для мамы — по правую руку от тебя и для меня — в ногах... Кто мог бы подумать, что лишь ты останешься там, у себя... А я пробираюсь тайком — тоже к себе, но с тем, чтобы украсть. Бррр! Я, которая всегда говорила, что вся моя жизнь, как свеча в фонаре, ясна и со всех сторон видна! Но это надо сделать. Собой я могу рисковать, но подводить друга — ни за что!

Как бесконечно долго тянулась эта ночь! Надо было торопиться: полночь миновала, и луна того и гляди могла появиться! А по селу не умолкал собачий лай — значит, ходили люди. Притом чужие... Я слыхала, что в нашем доме устроили сельпо (сельская лавка). Безусловно, там и сторожа, и собаки.

Ждать дольше было невозможно. И я пошла. Казалось, могло ли произойти столько перемен меньше чем за полгода? Однако это было так... На каждом шагу я останавливалась и с удивлением оглядывалась. До чего все показалось мне чужим! Яблони, всегда такие аккуратно побеленные, окопанные, стояли с обломанными и изгрызенными ветвями (к ним привязывали лошадей конной артиллерии). Лебеда ощерилась сухими бодыльями, и ноги путались в зарослях вьюнка и бабьего зуба. Особенно печально выглядел виноградник — некогда моя гордость. Двадцать четыре сорта! Каждый куст был мне знаком, имел для меня свою «физиономию». А теперь?.. Сколько чужих виноградников я подрезала, закопала, а этот, посаженный моими руками, погибнет нынешней зимой.

Под орехом, возле малинника, я присела, чтобы прислушаться: до забора, отделяющего сад от двора, шагов двадцать, а за забором скирда, в которой проклятая кобура.

Предстояло самое рискованное. Совсем рядом со скирдой я услышала разговор: на лесенке, ведущей на чердак амбара, сидели двое. Они курили и вполголоса перебрасывались короткими фразами. Как будто по-молдавски. Возле них лежала белая незнакомая мне собака.

Я перекрестилась, опустилась на четвереньки и тихонько стала подвигаться, но... то аист зашуршит, то сухой бурьян треснет... Даже сердце так громко стучало в груди, что, казалось, его не могли не услышать! И как назло — ни ветерка! А на востоке, уже за вершинами дубов, небо озарилось: всходила луна.

Нет, лучше — в другой раз, в дождь или ветер, чтобы не так было слышно.

А вдруг револьвер обнаружат и кобуру Сергея Васильевича? Нельзя малодушничать. Вперед, только вперед! Вот и проскользнула в лазейку забора.

Я ползу вдоль скирды и напряженно всматриваюсь: где тот сноп, что я вынимала?

А люди совсем рядом. Замолчали. Собака чихнула. Люди опять заговорили. Лениво, с интервалами.

Потихоньку, с тысячью предосторожностей тащу сноп. О Боже мой, как громко он шуршит!

Вытащила. В тайнике пусто... Холодный пот прошиб меня.

Спокойно! Это не тот сноп. Надо тащить другой, рядом...

Вытаскиваю винчестер, затем наган. Назад ползти еще труднее, в руке — винчестер. Револьвер в кобуре. Расстегнула кобуру, вынула наган, вытащила из дула затычку, проверила курок. Порядок. Сразу успокоилась. Пусть у сторожа ружье, но и я не безоружна!

Теперь лишь бы до виноградника, а там — можно и в лес! Ищи-свищи!

Проскользнув снова через лазейку, встаю на ноги и, пригибаясь, иду, все ускоряя шаг. От колодца пускаюсь бегом!

И вовремя — взошла луна.

Возле папиной могилы останавливаюсь на минуту. Опустилась на колени, поцеловала землю, прошептала «спасибо», как будто это на самом деле папа помог мне.

А теперь бодрым шагом, почти бегом, спешу в Сороки. Под мышкой — холщовый мешок. Кому какое дело, что в мешке?

Уже рассвело, когда я вернулась в шалаш на винограднике. На работу я не пошла. Сегодня гуляю!

Отчего останавливаюсь я так подробно на таком пустяке, как это похищение собственного оружия? Ведь в дальнейшем мне пришлось столько пережить, перенести, перевидеть, что если обо всем вспоминать, то и жизни не хватит.

Что поделаешь! Эта ночь мне врезалась в память.

Еще два раза побывала я на папиной могиле — в Пасхальную ночь 1941-го и... в июле 1957 года.

И в том, и в другом случае меня туда так потянуло, будто папа сам призвал меня, чтобы там, у могильного креста, благословить меня: в 1941 году, перед началом моего «крестного пути» в Сибирь — на страдание, размеры которого невозможно было себе и вообразить; во второй раз, когда, прилетев из Заполярья в Молдавию специально, чтобы взять горсть земли с отцовской могилы, я... напала на мамин след и смогла найти ее. Ее, которую я так долго считала мертвой! И это полностью перевернуло всю мою жизнь, заполнило и дало ей смысл, поставило передо мной цель: я перестала быть одинокой, я снова обрела любимого, близкого человека, самого близкого, самого нужного, самого любимого — мою мать.

Отец еще раз благословил меня, помог выполнить мой долг, завещанный им, и хоть последние годы своей жизни мама прошла, опираясь на руку дочери.

Моя ласковая, добрая старушка! Перед смертью ты говорила: «...знай, что я — самая счастливая мать, а ты — самая любимая дочь на свете!..»

Да будет воля Твоя, Господи!

Теперь, после того как я рассказала, как относились ко мне или, вернее, как отвернулись от меня мои родные и друзья, надо рассказать о тех немногих советских знакомствах, которые у меня были еще там, в Бессарабии.

О тех людях, с которыми довелось встречаться «по ту сторону Днестра» (и даже — Урала), после.

Впечатление — чисто внешнее — при встрече с русскими было скорее неблагоприятным: бросалось в глаза, что это не те русские солдаты, которые своим бравым видом импонировали мне. Я думала, что ошибаюсь, что меня просто вводят в заблужденье их «мешковатость», какой-то нетренированный вид. Но мое впечатление вполне совпало с мнением старого военного врача, профессора Павловского (отца Яневской), как его все звали, «дедика». Старичок был буквально удручен: — «Ну, разве это русские? Такие замухрышки!?» Да и поведение их было какое-то нерусское, настороженное, недоверчивое. Впрочем, в первые дни они так пообъедались всякой снеди, что переполнили больницу — разболелись животы, так что было запрещено продавать им продукты.

Сказать правду, мы хоть и жили при самой границе, но не имели представления о голоде ни 23—24-го годов, ни 33-го... Я-то, положим, читала об этом в газетах, но до сознания не доходило, что на Украине мог быть голод...

В это время в Бессарабии имели хождение одновременно румынские леи и советские червонцы и рубли, но по курсу 1 лей = 2,5 копейки! Так что литр молока стоил 2 лея — 5 коп.; килограмм сала — 14 лей, т. е. 35 коп.; хромовые сапоги 150 лей — 4 р. 50 к. Имея рубли, покупали все — одежду, обувь и главным образом отрезы и кожу (хром) такими пакетами, что едва могли нести.

Как-то я сказала: «Очень мало в обращении копеек: иногда пятачок никак не разменяешь!» Паша Светличная, военфельдшер, жена лейтенанта Гриши Дроботенко, квартировавшего у старушки Эммы Яковлевны, к которой я часто заходила, усмехнулась: «Скоро копейки больше не понадобятся! Будут рубли».

Значение ее слов стало мне ясно лишь позже, когда леи были изъяты из обращения и цены были приравнены к ценам Советского Союза. К тому времени товары успели уже перекочевать к владельцам рублей.

А впрочем, даже если купцы могли это предвидеть, могли ли они что-либо предпринять? Пожалуй, нет...

Забегая вперед, могу сказать, что все купцы, и притом отнюдь не только богатые, но и те, чья лавчонка могла уместиться в короб, были отправлены в ссылку... А между тем они все были очень «левые» и при румынах всячески подчеркивали свою симпатию к советской власти.

Деревенские бабы удивлялись, возвращаясь с базара: «Странные эти большевистские «кукоаны» (барыни): идут на базар со своей ложкой и из каждой крынки съедают ложку сметаны. Прошлась по базару — и сыта».

Впрочем, эти «кукоаны» покупали все, что им нравилось. Но как-то непонятно: купят фунтов 10 мяса — отварят, посолят и съедят или купят 3—4 курицы и тоже — сварят и съедят. Ни луковицы, ни кореньев, ни подливки или соуса. И гарнира не приготовят. Просто варят и едят.

Немного пообжившись, познакомившись с нашими хозяйками, советские дамы кинулись записывать разные рецепты. Записывали в тетради не только то, как приготовить зразы с кашей, фаршированные перцы, голубцы и т. д., но и то, как мазать стены глиной с конским навозом и белить — известью с песком в первый раз и с синькой — во второй. А на Пасху никогда не пеклось столько куличей, как весной 1941 года! На Страстной неделе весь город благоухал сдобным тестом!

Паша Светличная жарит на примусе какие-то жесткие неаппетитные лепехи — вроде больших вареников. С гордостью говорит: «Такие пироги

пекут у нас в Полтаве». Удивляюсь. После она признается: «Где мне было научиться стряпать? Учишься — питаешься в столовке; работаешь — тоже в какой-нибудь забегаловке. И тут и там — пшенная каша. А то и вовсе голод...»

Как-то не верится. Думаю, просто неряха. Но тогда почему же другие тоже ничего не умеют приготовить? Что, они тоже неряхи?

Как-то весной 1941 года я работаю в саду у старушки: выкорчевываю огромный засохший тополь. Подбегает ко мне Паша с письмом:

— Пишет мне братишка Володя с Полтавщины, пишет так: «...жизнь у нас теперь стала очень хорошая: в магазинах бывают булочки и конфеты; а на Пасху мама сделала нам вареники с творогом...» — Как я рада, что у них все есть!

Все? Разве булочки и конфеты — «все»? А на Пасху полагаются окорок, жареный поросенок, индюк и, разумеется, куличи, бобы, пасхи. А о яйцах, жареной баранине и колбасах и говорить нечего! А то — вареники! Вареники — это на каждый день, а не на Пасху!

Многое я поняла тогда, когда узнала истинную цену корки хлеба!

Но я забегаю слишком вперед. До того, то есть до весны 1941 года, мне нужно было еще многому научиться.

Я знакомлюсь с семьей Дроботенко. Получаю паспорт. Землетрясение.

Гриша Дроботенко, младший лейтенант, и Паша Светличная, военфельдшер, его жена. Двое детей: Люда пяти лет и Катя — трех. Первая советская семья, с которой мне довелось познакомиться, так как они квартировали у той старушки, где я устроила маму до ее отправки в Румынию.

Что я нашла в них необычного (с моей точки зрения)?

Прежде всего то, что жена не носила фамилию мужа. Кроме того, было странно видеть, как Гриша прилагал усилия, чтобы придавать своему курносому, белобрысому и от природы добродушному лицу вид суровой грубоватости, которая была тогда в моде — особенно на фотографиях. Это выражение было своего рода обязательным шаблоном, как теперь, в 1964 году фотографируются (особенно для газет и журналов) с сияющей улыбкой.

Пил он ежедневно (по крайней мере в первые недели три) по три литра молока.

После выяснилось, что он очень хороший, добрый парень. Жена его, несмотря на вульгарность и любовь к пошлым и неостроумным анекдотам, была хорошая, добрая, простая женщина и любящая мать.

Оба они обалдели от восторга, видя нормальную обеспеченную жизнь, так непохожую на напряженную, настороженную жизнь, к которой они привыкли.

Но Боже мой! До чего они были вымуштрованы! Как они умели молчать или говорить лишь стереотипные фразы, будто вычитанные из газет! Лишь изредка, случайно, прорывались одна-две фразы, от которых получалось впечатление, что в непроницаемом занавесе оказывается маленькая дырочка, через которую можно мельком бросить беглый взгляд в нечто совершенно незнакомое, непонятное.

Много позднее эти «дырочки» стали шире. Но все же этого было явно недостаточно, чтобы составить себе представление о том, что же, собственно говоря, находится «по ту сторону занавеса».

Вижу, как лейтенант ловко справляется с чисто женской работой: подметает, моет пол, одевает детей. Высказываю удивление.

— Ничего нет удивительного. У родителей было 12 и все — мальчики. Я был третьим. Старшие двое выполняли мужскую работу — вместо отца, а я все больше помогал матери: мыл, одевал малышей, стирал, хату прибирал...

— Отец, значит, умер?

— Отца взяли... — запнулся, но все же пояснил: донесли, будто у него было припрятано золото. А какое там золото, когда прокормить надо 12 ртов? Однако, пока дознались, он на Соловках помер...

Чем-то средневековым пахнуло на меня. Вспомнился «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера. Тогда, в темные годы инквизиции, также соседи доносили, если знали, что у кого-то есть золото. Но там нужно было донести не на то, что у человека есть золото, а на то, что он позволяет себе непочтительно отзываться о святой инквизиции или о папе римском, а попутно, сжигая на костре преступника, конфисковали его золото, причем половину получала святая инквизиция, а половину — доносчик.

Воскресенье. Теплый солнечный день. Я отдыхаю у старушки Эммы Яковлевны и заодно чищу ее сад, подготавливая к зиме. Паша с детьми сидит под орехом и штопает. Дети ей мешают: «Мама, поиграй с нами в лошадки». Она сердится. Я беру веревку, привязываю к горизонтальной ветке, прикрепляю опрокинутую вверх ногами табуретку, кладу в нее подушку. Ребята в восторге! Качели готовы.

Паша восхищается еще больше, чем дети:

— Вы, Фрося, все умеете. И все у вас получается хорошо. И вы всегда бодрая, даже радостная. Как будто в вашей жизни никогда не было и никогда не может быть никакого горя. Вы на нас не сердитесь...

— На кого «на нас»?

— Ну... Я не говорю — на нас лично. Но... на нас, советских людей.

— Э! Лес рубят — щепки летят! Неужели на весь мир сердиться только оттого, что щепка тебе — пусть и пребольно — по носу щелкнула? Глупо...

— Нет. Вы оттого на все так смотрите, что не видали настоящего ужаса, от которого всю жизнь избавиться не можешь. Оттого вы такая доверчивая.

— А вы что, подозрительная?

— Не... Не в том дело! А только когда насмотришься всякого ужаса, то... на всю жизнь напуганным остаешься! Ах, если б вы видели, что у нас в 33-м году творилось! Я в техникуме училась и паек получала. Получишь этакий маленький шматок хлеба и сразу его и съешь. Домой не донесешь: все равно отберут, а то и убить могут... А что творили беспризорники!

— Откуда ж в 33-м году — и вдруг беспризорники, — перебила я ее, — гражданская война давно кончилась!

— Откуда, спрашиваете вы? Прежде всего сироты. Родители детей спасали, а как сами с голоду померли, то дети и пошли кто куда. Кто послабей — помер, а кто сумел грабежом прокормиться — те вот и беспризорничали. А то — родители из деревни привезут да в городе и бросят: пусть хоть не на глазах помирают! По улицам трупы лежали. А сколько людоедства-то было!..

Тут она осеклась и замолкла.

«Завралась вконец! — подумала я про себя. — Увидела, что очень уж неправдоподобно получилось»...

Увы! Не завралась она, а... проболталась.

Время шло. Зима приближалась. В том году морозы наступили рано: уже в ноябре стало подмерзать. Я все еще жила «a la belle etoile» — «под прекрасной звездой», так как твердо решила, что поселюсь «под крышей» лишь тогда, когда получу паспорт. Почему-то я думала, что получение паспорта положит конец классовой дискриминации: страна вручит мне этот самый «молоткастый, серпастый» — и я стану «полноправным гражданином Советского Союза».

Еще долго до моего сознания не могло дойти, что именно в нашем бесклассовом государстве столько неравенств разных оттенков, столько классов и каст.

И вот мне выдают паспорт. Это было 24 декабря, в день моего рождения.

Не скрою: я была очень рада. Мне было невдомек, что к 1 января, на день, когда был назначен народный плебисцит и выборы, все сто процентов должны были опустить в урны свои бюллетени.

И вот я в отделении НКВД. Сижу. Отвечаю на множество вопросов и удивляюсь. Некоторые вопросы до того нелепы, что кажутся неправдоподобными.

— Как вы эксплуатировали своих работников?

— Ни я их, ни они меня ни эксплуатировать, ни шантажировать не могли. Наши взаимоотношения были построены на взаимной выгоде.

— Скажете еще! Ведь они от вас зависели?

— Скорей я от них могла зависеть: если человек не хотел у меня работать, то у него была полная возможность прожить в своем хозяйстве, без моих денег; я же без наемного труда могла бы лишиться всего урожая: одна, своими руками, я не смогла бы ни засеять, ни собрать урожай с 46 гектаров. Но отношения у нас были самые хорошие: я знала, что каждый рад прийти ко мне на работу, так как сама умею работать и ценю хороших работников; они же всегда были уверены, что получат сполна, и в тот же день, и, кроме того, будут хорошо накормлены.

— А чем вы их, к примеру, кормили?

— Ну, вареники и голубцы каждый день они не получали — возиться с этим было некогда, а простую сытную пищу, причем в таком количестве, что хватало не только тому, кто работает, а и его родным. Например, работал у меня мальчишка Тодор Ходорог, а кушать вместе с ним приходила из деревни его мать и две сестры. Я так и рассчитывала, чтобы хватило на четверых.

— А что же именно вы им давали?

— Примерно «меню» такое: утром, отправляясь в поле, брали лишь холодный завтрак: фрукты, смотря по сезону, и белые калачи. К девяти часам в поле отправляла подводой еду на весь день: завтрак — чаще всего молочная лапша; обед — борщ или какой-нибудь соус в глиняном горлаче, который, хорошо укутанный, был и в полдень горячим. После обеда все рабочие спали, пока не спадет жара, а затем «подвечерок» — холодная простокваша (ее тоже в горлачах или в бочонке закапывали в землю, чтобы была холодной). Иногда вместо простокваши — арбузы или виноград. Работали до заката солнца, то есть с часа до четырех или пяти, в жару, был перерыв. Вечером возвращались с поля и тогда ели основную еду — борщ с салом или мясом, жареный картофель, пироги, брынзу, яйца. Чем лучше еда, тем охотнее человек работает!

— Так вам и поверили! — услышала я в ответ.

Я пожала плечами: я всегда хорошо кормила рабочих, мне это казалось естественным. Мне и в голову не приходило, что могло быть иначе.

— А теперь признайтесь откровенно, дело уже прошлое и ничего вам за это не будет: вы часто били своих рабочих? И чем?

— Что за нелепый вопрос? Если б я кого-нибудь ударила, то получила бы сдачи или попала под суд. Перед лицом закона все — от короля до цыгана — равны. Кроме того, у нас в деревне...

Тут он меня перебил:

— «У нас в деревне»... А вы людей из своей деревни могли продавать?

Это меня взорвало:

— Продают скотину. А у нас — люди. Вот вас не мешало бы погнать на скотопригонный рынок, чтобы вы поучились уму-разуму у быков!

Ну и шум тут поднялся. Но тут и я так рассердилась, что потеряла контроль над собой.

Из соседнего помещения явился какой-то начальник, и прошло немало времени, прежде чем галдеж прекратился и я смогла сказать:

— Я терпеливо и откровенно отвечала на все вопросы, хотя особенным умом они не отличались. Но должны же знать даже самые глупые из ваших сотрудников, что крепостное право было отменено в 1861 году, то есть почти 80 лет тому назад! Кроме того, в Бессарабии вообще никогда — понимаете вы? — никогда крепостного права не было!

Если б я знала, как стр ился Норильск (да Норильск ли один?), как начальники производств отправлялись в Красноярск выбирать из числа невольников себе рабочую силу! Если б я знала, как людей считают на штуки и...

Да что там! Разве невольничий рынок — кошмарный сон давно минувших веков?!

И вот я с паспортом. Прихожу к Эмме Яковлевне.

— А ну покажите! — говорит Паша.

Протягиваю ей.

— Ах! 39-я статья...

Беру, смотрю. Да, написано — 39. Ну и что с того? Если температура 39° — это плохо. А в паспорте — не все ли равно? Все же спрашиваю:

— А что это значит, эта 39-я статья?

— Не знаю... Я просто так...

А сама в глаза не смотрит.

Знала она прекрасно! Пришло время — узнала и я.

Событие, не имеющее никакого отношения к политике, — землетрясение.

Это было девятого ноября 1940 года. Я спала в саду, на завалинке. Охапка сена. Укрылась бараньим тулупчиком, а сверху клеенка.

Приснилась мне мама: стоит вся в черном, протягивает ко мне руки и с такой любовью мне говорит по-гречески: «Девочка моя, любимая!». Я хочу к ней, но не могу шевельнуться. А она как будто отделилась от земли и удаляется, все протягивая руки и шепча ласковые слова. Я рванулась... И — проснулась. Проснулась, а чувствую, что-то не так... Как будто завалинка подо мной шевелится, вздрагивает. Тихо, ветра нет, а две высокие акации по обе стороны погреба странно так качаются: навстречу друг другу. А дом — он был старый, деревянный — скрипит и так стонет.

Землетрясение! — сразу сообразила я. И слышу — по всему городу собаки залаяли, петухи закукарекали. Вдруг то тут, то там женщины заголосили.

Я вскочила, подбежала к окну Дроботенко:

— Григорий Иванович, Паша! Укутайте детей, давайте мне их в окно! Дом может рухнуть!

— Что — война? Война? — кинулся к окну Гриша.

— Какая там война! Землетрясение...

Он успокоился:

— А я уж думал — война...

Все окончилось благополучно. После долго смеялись: «Война!» Как это глупо! А, собственно, что смешного?

Выборы? Карьера дроворуба. Феофания Петровна, глазной врач, снимает у меня повязку с глаз.

Первое января 1941 года! День выборов!

Я всегда считала, что выборы — это гражданский долг, обязующий каждого человека выбрать из нескольких возможных лучшего, а буде лучшего нет — воздержаться.

И в том и в другом случае человек должен быть спокоен и свободен. Ни принуждения, ни страха. О том, что должна быть соблюдена тайна, и говорить не приходится.

То, что поразило меня прежде всего, — это атмосфера какого-то бутафорского счастья народа. Очевидно, что это не выполнение гражданского долга, которое обязывает к сдержанности, даже суровости, а... что-то вроде карнавала: буфеты, в которых бесплатно раздают котлеты с черным хлебом (их никто не ел), гармоника, пляски... Даже как-то стыдно стало.

Я не люблю толпу и, где только могу, избегаю толчеи. Поэтому, посмотрев на объявление: «Избирательный участок открыт от 6 ч. утра до 12 ночи», — решила не спешить. Схлынет толпа — пойду.

А пока что я решила приятно провести праздник: пошла к старичкам Милобендзским, захватив с собой... липовый чурбан и пару досок. У Милобендзского были всевозможные инструменты: он сам любил что-нибудь мастерить и мне охотно разрешал в своей столярной работать. Из чурбана я решила сделать лошадь-качалку для Кати Дроботенко.

Липа приятный для работы материал, а инструмент у Милобендзского был наточен и налажен на славу. Из бесформенного чурбана постепенно получилось очень удачное туловище с головой: шея дугой, грудь, спина, круп — хоть Илья Муромец садись на такого коня! Выточила, приладила на шпунтах с клеем ноги и, пока клей затвердевал, приготовила саму качалку. Вечером мой конь был собран и даже опробован мною. Я была очень довольна!

Краску я приготовила заранее и, чтобы не откладывать на завтра, решила тут же коня и покрасить. Тогда завтра останется лишь отделка: грива и хвост; затем — все покрыть лаком, сделать седло со стременами и уздечку с бубенчиками.

Таким дивным конем хоть кто бы мог гордиться!

Ну, а теперь зайду домой (к старушке Эмме Яковлевне), а оттуда — голосовать!

На коротком расстоянии четыре квартала, отделявших дом Милобендзских от Эммы Яковлевны, меня по крайней мере четыре раза приветствовали удивленным «А! Это вы!». Так что я сама уже чуть было не усомнилась в том, я ли это? И не успела взойти на крыльцо, как меня обступили обитатели этого дома, не на шутку встревоженные:

— Где это вы пропадали? Вас с обеда ищут! Три раза приходили: из-за вас выборы не окончены, из-за вас голоса не могут подсчитать!

— Что за чушь? Сейчас и девяти нет! А там написано — до 12 ночи...

— Ах да не смотрите на то, что написано! Всегда надо отголосовать — и с плеч долой. — объяснила Паша.

— Так бы и сказали — приходите пораньше. — Я повернула назад и пошла на наш избирательный участок.

Избирательный участок был возле синагоги. Длинный зал. Всюду портреты Сталина и еще какие-то лица — незнакомые, если не считать Ворошилова. Но я не стала разглядывать.

Вся комиссия, человек 12, осыпала меня упреками за опоздание.

— Сказано до полуночи. Если б я пришла в полпервого, то сказали бы — опоздала! А вообще выборы свободные, а не принудительные. Значит, могли без меня обойтись.

Дали мне несколько разноцветных бумажек — кажется, три или четыре. Я зашла в кабину и стала их просматривать.

Кто, кого и где должен представлять, я не поняла. Все это было совсем ново. Поняла лишь, кто были депутаты.

Андрей Андреевич Андреев. Это имя мне так же мало говорило, как любой Иван Иванович Иванов. Но само имя «Андрей» мне нравилось (в детстве у меня был товарищ — Андрюша). Против этого Андрея Андреевича Андреева я ничего не имею; второго я не запомнила, но третий! Эту я знала! Верней, я о ней знала.

М. Яворская.

Да это же Маруська Яворская! Я видела ее среди «барышень», сидящих на перилах террасы, выходящей в сад, и обращавших на себя внимание бесстыдной непринужденностью поз, накрашенными лицами и громким смехом. И это — мой депутат?! Может быть, это не та? Читаю: «...беднячка... была в прислугах... бедная швея». Ну, разумеется, та самая! Ее пробовало «спасти», направить на «путь праведный» женское общество «Dragoste crestină» («Христианская любовь»), ее пытались устроить на работу — то прислугой, то швеей, но... она предпочитала не работать, а зарабатывать. Нет! Если такую неисправимую особу ставят на одну ступеньку с теми двумя, которых я не знаю, то этого достаточно: такие депутаты меня не устраивают!

И я перечеркнула всех троих.

Вложив бюллетени в конверт, я направилась к урне. Не успела я опустить их в щель, как председатель комиссии — сапожный подмастерье, без церемонии взял у меня из рук конверт. Но прежде чем он успел развернуть, я вырвала его из рук.

— Мой бюллетень — последний. Он будет лежать на самом верху. Когда вскроете урну — тогда и смотрите! А пока что хоть какую-нибудь видимость соблюдать надо!

И среди общего молчания я повернулась и вышла.

На следующий день, 2 января, я сидела у Милобендзского и прилаживала пышный хвост моему коню. Старичок Казимир Каликстович мастерил к нему уздечку с блестящими пряжками и бубенчиками, когда в комнату вошел один из начальников НКВД, квартировавший у Милобендзских (чина его я не знала — в этих кубиках и ромбиках я так и не научилась разбираться), и сказал:

— Подсчет голосов окончили еще ночью: 35 000 — «за» и один — «против». — И он многозначительно посмотрел на меня. Я не отвела глаз и усмехнулась:

— А лошадка хоть куда! Не правда ли?

Я и не догадывалась, что играю с огнем. Хотя... От судьбы никуда не уйдешь; а от поздних сожалений спасение лишь в одном — никогда не сходить с прямого пути и не искать удачи на окольных дорожках. Не то важно, какова твоя судьба. А то, как ты ее встретишь!

Так начинался год 1941-й, конец одной эры, начало другой. Роковой год, полный роковых событий и роковых ошибок. Si jeunesse savant, si vieillesse pouvaut! *

Восьмого декабря окончились работы на виноградниках. Но я, разумеется, без работы не сидела. Я купила два топора, пилу и разузнала, где, в каких учреждениях еще можно пристроиться на работу, — дрова пилить. Напарником я взяла одного соседа Доминики Андреевны — Ивана Бужора. Он сам напросился: у него дом был недостроенный — крыши не было, и он очень обрадовался возможности подработать.

Брали мы по 25 копеек с пуда (мне так кажется, хотя я не уверена, что память мне не изменила). На своих харчах. Заработали в первую неделю очень хорошо. Бужор нахвалиться не мог! Но... в следующий понедельник на работу он не вышел. Во вторник — снова. Я зашла к нему домой, и он мне сказал, что его якобы наняли к лошадям кучером, и он уже приступил к работе.

Жаль! Но что ж поделаешь! Хороший был работник! Тут напросился мне в напарники какой-то голодранец. Должно быть, пьянчужка. И довольно ленивый. Я думала, что, втянувшись в работу, он привыкнет. Однако привыкнуть ему не довелось, дня через три он мне сказал, что у него заболела жена и некому побыть с ребенком. И я опять без напарника.

Тогда я вспомнила, что у Василия Лисника, с которым я работала на ферме, полная хата ребят. Пошла к нему, и он охотно дал мне старшего сына, Ваню, парня лет 16-ти, невысокого, коренастого, очень рассудительного и словоохотливого.

Работать с ним было очень приятно: он никогда не опаздывал, работал не торопясь и, как говорится, в охотку.

Взяли мы «гуртом» 1000 пудов напилить, поколоть и сложить в сарай школы, так называемой «Алейниковской», за 200 руб. За неделю мы окончили, играючи, и парню было даже неловко брать ровно половину: «Вы, тетя Фрося, берите себе 120 руб., а мне и 80-ти хватит! Ведь инструмент ваш, и кроме того, вы его точите, правите... Вы и нахóдите работу. Я же вам лишь помогаю». Но, разумеется, я на это не согласилась: поровну и делить легче, и вообще лучше.

Может быть, мы бы поработали с ним долго, но однажды в воскресенье я, посвистывая, скорым шагом сбегала по тропинке мимо кладбища в город — вниз и чуть не столкнулась со старушкой, идущей в том же направлении. Я извинилась и хотела продолжить свой путь, когда оказалось, что это старая наша знакомая, старушка Феофания Петровна Буды, глазной врач. Ее сын, Миша Буды, был очень передовых взглядов (как и его мамаша). Лет десять тому назад, будучи студентом-медиком, он принимал деятельное участие в какой-то стачке или террористическом акте (я уже не помню), организованном румынской компартией. Как и что там было, точно не помню; помню только, что он с полгода просидел в тюрьме, а когда его выпустили, то предпочел уехать во Францию, где окончил университет и остался там врачом.

Старушка очень обрадовалась встрече со мной. Она знала, как с нами поступили, как выгнали нас с мамой из дому, и, всегда ратовавшая за свободу и справедливость, была очень возмущена и разочарована тем, что

* Если б молодость знала, если б старость могла! (фр.).

видела. Ничего подобного она не ожидала и теперь очень рада, что ее сын во Франции, хотя вот уже больше года Франция воюет с Германией, и ей ничего не известно о судьбе сына. Она только знает, что ее Миша где-то в Африке продолжает бороться с фашизмом. Он может с чистой совестью бороться, продолжая верить в свои идеалы.

— А то здесь происходит такое, что я ни понять, ни объяснить не берусь. Вот и теперь, с вами... Мне все известно... Мне Иван Бужор все рассказал. Я так была возмущена!..

— Чем возмущены? И... где вы видели Бужора?

— Он у меня в саду дорожку мостит и мусор убирает, поденно...

— Как же так? Работает у вас поденно?.. Да он в какое-то учреждение кучером поступил!

Мы остановились и с удивлением смотрели друг на друга.

— Кучером? Нет, он без работы. Он так был доволен: с вами работать было хорошо, и работа хорошо оплачивалась. Но его вызвали в НКВД и сказали: если он будет работать с бывшей помещицей, то его «возьмут на заметку», и тогда он сам останется за бортом — его не примут в профсоюз. Да вы, оказывается, ничего об этом не знали?

Я продолжала работать с Ванюшкой. Но теперь я присматривалась к нему. И прислушивалась к тому, что он говорит. И мне показалось, что неспроста рассуждает примерно так: «Есть на свете 64 страны. В каждой стране есть свои законы. Они не похожи друг на друга, как и сами страны не похожи. Но всюду живут люди. Другим не мешают жить и сами живут в своем доме, в своей семье, где дети слушают родителей и верят им. А те, в свою очередь, набирались уму-разуму у дедов. А вот в одной стране все наоборот: хотят, чтобы все люди на головах ходили и чтобы яйца курицу учили...» И вот однажды, когда мы пилили дрова на Бужеровке (предместье Сорок), к нам подошел милиционер и через забор вызвал Ванюшку.

Тот спокойно загнал топор в колоду, кивнул мне и пошел.

«Все! — подумала я. — Завтра у меня не будет напарника...»

Час спустя Ванюшка вернулся, взял топор и принялся спокойно колоть дрова.

Вечером, когда мы расставались, я его спросила:

— Что ж, завтра ты не придешь?

— Напротив, приду!

— Однако тебя вызывали в НКВД?

— А вы откуда знаете?

— Больше того, я знаю, что тебе говорили. Они тебе пригрозили, что если ты будешь со мной работать, то тебя в профсоюз не примут и работы нигде не получишь.

Ванюшка рот открыл от изумления...

— Да... А я им ответил, что я — сын рабочего, бедняка, у которого 8 детей. Отец мой работал и меня работать научил. Жил без чужой указки и мне так же велел. А о вас я им так и сказал: я — бедняк, а она — беднее меня. У меня есть крыша над головой, а ей эту крышу еще надо заработать. Она хорошо работает и честно со мной заработком делится. Проживу без вашего профсоюза!

— Нет, Ванюша, не проживешь! Закон здесь тоже вверх ногами стоит, и никто не знает, что плохо, а что хорошо. Ты хочешь поступить посправедливому, а это может повредить и тебе, и твоему отцу. Прощай, Ванюша! Сегодняшний заработок — вот он, бери его весь и не поминай меня лихом!

Ванюша всплакнул немного, шмыгая носом, пожал мне руку, покривился — не хотел брать денег, но под конец понял, что я знаю, что делаю. Мы расстались.

Отныне я поняла, что я вроде прокаженной: меня все избегают и что еще грустней — я должна избегать всех, дабы не навлечь на них неприятностей.

Теперь мне стало понятно, почему Паша Светличная мне как-то сказала вскоре после того как я отправила маму за границу:

— А теперь и вам нужно куда-нибудь уехать — туда, где вас не знают, и начать жизнь сначала.

Тогда я возмутилась:

— От кого мне прятаться? Я не воровка, ничего не украла, никого не обидела. И стыдиться мне нечего!

Поле зрения зайца — 280°, то есть почти что вся окружность целиком. К этому «широкому кругозору» его приспособила природа. А еще вернее — страх. А человек видит обычно только одну какую-нибудь сторону и чаще всего только ту, что ему видеть хочется. Человек сам себе надевает шоры. Да и то, что находится в его и без того узком поле зрения, он видит не всегда правильно. Правильнее сказать, воспринимает лишь то, что соответствует его собственному характеру, мировоззрению или даже просто настроению.

Я уверена, что именно в этом секрет оптимизма моей мамы. Она никогда ни в ком не видела зла, не могла заподозрить ничего плохого или нечестного, потому была всегда полна энтузиазма и благожелательности. Отсюда — безграничный оптимизм, помогший ей пережить очень много лишений и горя, причем на протяжении всей своей долгой жизни она замечала и запоминала лишь хорошее, и эти добрые крупицы воспоминаний тщательно нанизывала, как драгоценные жемчуга, на нить своих воспоминаний. И ярче драгоценных диадем сверкали они и переливались лишь светлыми и чистыми цветами о прошлой жизни, о близких людях — вообще обо всех и обо всем.

Часто, думая о ней, я вспоминала эпизод из какой-то скандинавской сказки:

Злая мачеха-колдунья хочет погубить свою падчерицу — добрую, красивую, умную. Падчерица купается в бассейне, а мачеха пускает туда три отвратительные жабы и говорит им: «Плыви, Серая жаба! Плыви и влезь ей на голову — станет она глупой; ты, Зеленая жаба, вскарабкайся ей на лицо — завянет ее краса, и станет она уродливой; ты же, Черная жаба, присосись к ее сердцу, и яд твоей слюны убьет ее доброту, и станет она злой!»

Поплыли три ядовитые жабы к ничего не подозревавшей девушке и сделали, как велела колдунья. Черная жаба влезла на темя, Серая жаба поползла по лицу, а Зеленая присосалась к сердцу.

Но была та девушка так чиста и невинна, что злые чары потеряли силу и превратились жабы в розы: Серая жаба — в красную, Зеленая жаба — в розовую, как свет зари, а Черная жаба — в прекрасную белую розу.

И поплыли розы по водам бассейна. А девушка воскликнула: «Как прекрасна жизнь — как эти три дивные розы! Должно быть, красную розу подарила мне Царица-ночь; в белую розу превратился луч лунного света, а розовая роза родилась из трелей соловьиной песни!»

Она и не подозревала, что это ее чистота превратила Злобу и Зависть в прекрасные цветы.

К чему я вспоминаю сказки, хотя моя цель — просто пройти еще раз шаг за шагом эти двадцать лет моей жизни, мои «университеты»? Потому что для того, чтобы попасть в университет, нужно окончить (и притом успешно) начальную и среднюю школу. О, я знаю: для того, чтобы успешно пройти науки в этих «университетах», мне понадобились знания и навыки, вовсе не знакомые моей маме! Но главное — сохранить чистоту душевную я сумела, пожалуй, только благодаря тому, что способности отталкивать от своей души всю грязь и по возможности превращать жаб в розы научила меня именно она.

А тебе, моя дорогая, я приношу на могилу и эти три розы... Даже если в этой тетради им не место.

Вокруг меня образовывалась все большая и большая пустота. Даже просто напарники и те меня должны были избегать.

Подумав немного, я нашла выход из положения: у столярной пилы полотно закрепляется в рамке, отчего бы не приспособить поперечную пилу таким же образом? И вот я опять «выступаю в поход», вооруженная до зубов.

Обычно я действую так. Вижу, во дворе, где-нибудь под навесом, штабель дров. Вхожу.

— Хозяйка! Давайте-ка я распилю и наколю ваши дрова!

Хозяйка соглашается, тем более что у меня глаз наметанный: количество определяю точно, а цену прошу всегда вполне божескую. Мелкие чиновники — самые удобные клиенты. Дров у них, положим, не так уж много, но зато это дело верное.

Но бывают и осечки.

Захожу во двор гостиницы, той, что на базаре, возле газетного киоска Мейлера. Во дворе черт ногу сломит — дрова разгрузили прямо посреди двора. Около десяти — двенадцати кубометров. Мое предложение принято с восторгом. Я приступаю. Пила визжит, чурочки так и сыплются. Напилив достаточно, я их раскалываю и отбрасываю в сторону навеса. Сложу после. Работа идет споро. Я уже прибрала дорожку возле забора и перенесла станок подальше. Небольшой морозец. Работать даже приятно. Я в солдатской косоворотке (реликвия русско-японской войны, подаренная мне Эммой Яковлевной), волосы растрепались. Работаю без шапки и рукавиц.

— Дроворуб, дроворуб!

Я сперва даже не понимаю, что это относится ко мне.

— Дроворуб! Это вам говорят!

Оборачиваюсь на голос. Милиционер? Красный околышек.

— В чем дело?

— Идите за мной.

— Это с какой стати? И куда?

— На минутку. Здесь недалеко.

Идем действительно недалеко. Здание НКВД.

Вводят в какой-то кабинет. С грохотом опускаю на пол топор и пилу. Подхожу к столу.

Приглашение садиться. Несколько шаблонных вопросов. Наконец понимаю, в чем дело. То есть именно не понимаю, в чем дело.

— Зачем вы дрова рубите?

— Я работаю: кто не работает — тот не ест, а я есть хочу. И даже каждый день.

— Нет, я вас спрашиваю: зачем вы работаете дроворубом?

— Неважно — кем, а важно — как. Я работаю хорошо.

— Отчего вы не устроитесь на более подходящую работу?

— «Подходящую»? К чему — к цвету глаз или волос?

— Я вас серьезно спрашиваю: зачем вы не устроитесь на менее тяжелую работу, которая вам более подошла бы?

— У меня была очень подходящая для меня работа: у меня дома. Оттуда вы меня выгнали, и мою работу из рук вырвали. А топора у меня не отберете. И теперешняя моя работа не возбудит в вас зависти. Вот и работаю!

— Это не работа. Это демонстрация.

— «Демонстрация» — «demonstration» — по-французски значит «доказательство». Что ж, пусть будет так: я выбираю самую тяжелую работу, а это доказывает, что с более легкой я справлюсь и подавно.

— Так вы рассчитываете и впредь...

— О том, что будет впредь, я не знаю, а рассчитывать я привыкла на свои две руки и свой разум.

— Смотрите, как бы вам не просчитаться.

— То есть вы будете и впредь путать мои расчеты? Этому я могу поверить, а чтобы вы меня позвали для того, чтобы помочь, не поверю. А теперь извините — мне некогда. Сегодня я еще на обед себе не заработала. Прощайте.

Я не ошиблась. Пока меня отрывали от работы, моих работодателей обработали, вернее, напугали, и они мне объявили, что передумали и сами будут пилить свои дрова.

Еще урок: когда нельзя запугать напарника, то пугают работодателя.

Встречает меня Доминика Андреевна: «Моему майору (у нее на квартире был майор или что-то вроде того, который выписал к себе свою семью — жену, несколько детей, мать и еще какую-то тетку), моему майору привезли три кубометра дров. Уже неделю на дворе валяются. Я с женой говорила. Она очень обрадовалась. Напилите их и в сарай сложите!»

Что ж, я с удовольствием! Принимаюсь за работу. Пилю, колю, ношу в сарайчик.

Приходит майор. Увидел. Смутился. Подходит, протягивает мне 3 рубля.

— Это за то, что вы уже сделали, но больше не нужно! Я сам этим займусь! Мне нужно еще короче чурочки.

— Я могу и короче...

— Не надо. Я сам.

Швырнула ему деньги под ноги, собрала свои инструменты и ушла.

Еще две недели все спотыкались об эти дрова, а затем майор нанял двух цыган, и они напилили дрова... почти в два раза длиннее, чем пилила я.

Уходя, они украли хозяйкин платок.

Хорошая работенка была у меня в сельскохозяйственной лаборатории. Дом Ярелло на Бекировке. В подвалы было сгружено с десяток тонн дубовых пней. Они были очень страшные, и никто не хотел их поколоть.

Я решилась взять их гуртом — за 200 рублей. Собственно говоря, ничего страшного в этих пнях не было: дуб — твердое дерево, но колкое, и весь секрет — тяжелый топор, меткий удар и настойчивость. Неполных 5 дней работы — и пни превратились в осколки, а 200 рублей перекочевали в мой карман.

Я могла не очень гнаться за большим заработком: я приоделась, обзавелась постельным бельем, обувью — на все сезоны.

Можно было «разнообразить» свою работу: я то бралась выкорчевывать акации, тополя и ясени, растущие на границе усадеб и виноградников «на Горе», то ездила в лес и привозила дрова хозяевам, дававшим мне своих лошадей.

Эта работа мне особенно нравилась: лес, тишина, лишь лошади пофыркивают, скрипят полозья. На снегу сверкают звездочки, а мохнатый иней так красив на фоне светлого зимнего неба! Не хотелось возвращаться в город!

Лес, небо, лошади — все это было такое привычное, доброе... И ничуть не изменилось. А люди... Их как будто подменили!

Мне рассказывали, на какие гадости шли люди, чтобы сохранить свое мелкое мещанское благополучие!

Служащие должны были писать так называемые «автобиографии». И чего только они не выдумывали, чтобы вдруг превратиться в плебеев! Чего не сделает страх с человеком...

Это не имеет прямого отношения ко мне, но хочется привести пример тех настроений, которые господствовали тогда среди представителей интеллигенции города Сорок.

Меньшая сестра моего отца не отличалась умом и не блистала образованием и талантом. В свое время это была просто хорошенькая недалекая девушка. Алексей Иванович Богачев, ее муж, был из бедной крестьянской семьи — старший из шести братьев. «В люди» его вывел деревенский поп, устроивший его в кадетский корпус, который он окончил блестяще и стал офицером. Дворянство он получил вместе с орденом Владимира. Хороший служака, он продвигался вверх по иерархической лестнице медленно, но верно, помогая своей многочисленной родне. Чтоб закрепить свое положение в обществе, ему надо было жениться на девушке из хорошей семьи. Таким образом ему подыскали невестку — мою тетку Лизу.

Можно сказать, это был брак по расчету, но очень удачный. Дядя Алексей оказался не только идеальным служакой, но не менее идеальным мужем: с жены своей он, как говорится, пушинки сдувал и на руках носил.

Был он хорошим хозяином и обожал цветы, особенно розы. За мягкий нрав и скромность заслужил кличку Божьей коровки. Солдаты — подчиненные — его боготворили.

Кто бы мог подумать, что на войне он окажется героем? Что, не зная немецкого языка, он, переодевшись, проникнет в расположение неприятеля и лично произведет основательную разведку того участка, куда ему предстояло вести свой полк. Главнокомандующий юго-западным фронтом

генерал Брусилов обнял его перед строем и приколол ему на грудь своего «Георгия». В одном из последних рывков, завершающих штурм Перемышля, дядя Алексей наскочил на фугас и был контужен.

Из госпиталя приехал он на две недели к семье в Одессу. Полностью своего отпуска он не использовал: поторопился обратно на фронт.

— Куда ты торопишься? Побудь с семьей! — просила жена.

— Но ведь там — тоже моя семья... И я не могу быть спокойным за них, а за детей я спокоен: даже если меня убьют, они не будут одиноки — надеюсь на тебя.

Во время революции его же солдаты его убили. Вернее, зверски замучили. С тела посрезали «ремни» кожи. Сестра его похоронила, но без головы: голову солдаты выбросили в нужник.

И вот его дочь, его Леночка, в своей автобиографии написала, будто ее мать вышла замуж за офицера, будучи уже беременной, то есть ее отцом был не царский офицер, а какой-то цыган.

Не постыдилась плюнуть на могилу отца и вылить ушат помоев на голову матери.

Вспомнился еще комический инцидент.

Жила-была в городе Сороки старая баба — пьяница, торговавшая семечками возле синагоги.

Рядом с ее скамеечкой всегда стоял штоф денатурата, который она предпочитала всем прочим спиртным напиткам. Нос у нее всегда был распухший, лиловый и мокрый. Часто, прихлебывая прямо из горлышка, она приговаривала:

Иваныха була — Иваныха е,
Иваныха пыла — Иваныха пье!

(трудно было поверить, что эта опустившаяся, обрюзгшая Иваныха когда-то, 40 лет назад, была горничной моей мамы — тогда еще девушки — и ежедневно расчесывала ее волосы).

Однажды, возвращаясь с работы, босая, я шла, напевая вполголоса «Бородино». Иваныха загородила мне дорогу и, размахивая бутылкой денатурата, завопила:

— А! Наконец я дождалась, что вы, паразиты, босиком ходите! Довольно на шее трудящихся поездили!

— Работая у моих дедов-паразитов, ты дом себе купила, а приданое тебе подарили. А теперь ты все пропила. А я теперь босая, но денатурата не пью: к тому времени, когда ты под забором умрешь, я своими руками себе дом заработаю!

Так оно и случилось, но не сразу: Иваныха в ту же зиму так напилась, что уже не очнулась. А я... Сегодня — я в своем доме. Но долог был путь, приведший меня к собственному дому, заработанному моими руками!

Однако не все злорадствовали, видя, что я вынуждена ходить босиком (как я уже говорила, пока я не собрала достаточно денег, чтобы полностью «обмундировать» маму и отправить ее в Румынию, я на себя не тратила больше того, что мне было необходимо, чтобы купить себе хлеба, сыра, огурцов и чеснока — единственного моего питания).

И вот однажды, когда в дождливую погоду я лежала в шалаше на винограднике, ко мне крадучись подошла женщина, которую я на первых порах даже не узнала.

— Эй, тетенька, чего тебе здесь надо? Чего ищешь?

— Тебя ищу, дудука. Случайно увидела, куда ты шла...

— Что-то тебя никак не признаю...

— Может, меня ты и не заприметила прежде. Я — мать Тодора, парнишки, что у тебя работал. Помнишь? Ты ему всегда харчей побольше давала в поле, я с детками к нему ходила поесть. Нам своего хлеба никогда до нового не хватало: вдова я, и сама знаешь, что это — вдовье хозяйство, пока дети не подрастут! Ты Тодору хорошо платила и к каждому празднику что-нибудь из одежды справляла, и Насте моей всякие платьица... И от себя дала Тодору десятину кукурузы. Ох, как это нас выручило! Иначе пришлось бы продать корову...

— Ну что вспоминать! Тодор — хороший паренек: он лошадей очень любил, и я была им довольна. Раз дала, значит, заслужил...

— Но ты, дудука, не заслужила того, чтобы остаться, на зиму глядя, босиком! При разделе твоего имущества Тодору достались твои сапоги. Но могу ли я допустить, чтобы ты босиком ходила?! За такой грех нас поразит проклятие. Вот сапоги! Бери их и носи на здоровье.

Она положила на порог шалаша мои сапоги, поклонилась мне земным поклоном и со словами «прости, если виновна» ушла.

[...]

Однажды, на святки, у Доминики Андреевны был вечер. Теперь бы это назвали «самодеятельностью», но тогда нам это слово было неизвестно. Просто собралась молодежь, и показывали кто что умел, а старшие смотрели. Местные жители пригласили с собой своих постояльцев — военных и служащих, приезжих с семьями.

Тут-то я в первый раз наблюдала то расслоение, когда, вопреки всем усилиям, не удается почувствовать монолитность компании. Теперь-то я знаю, что причина была отнюдь не несовместимость, а просто... страх, страх сболтнуть что-то лишнее, страх, что на тебя донесут, и, наконец, страх, что перед тобой скажут что-нибудь, о чем нужно самому доносить, чтобы на тебя не донесли за то, что ты не донес. Доносы и страх ложились на все, как липкая паутина, как слой скользкой грязи.

Бессарабцы — люди очень гостеприимные, от природы они незлобивы и доверчивы. Кроме того, молодежи (да и не одной молодежи) свойственно надеяться, что «все образуется».

Итак, мы веселились: то пели хором, то танцевали под несложный оркестр — два гитариста, скрипка и кларнет, разыгрывали шуточные сценки. В соседней комнате были накрыты столы, уставленные деревенской снедью: колбасы, пироги, буженина, шпигованная баранина, сдоба, варенья, фрукты и, разумеется, свое, домашнее вино, наливки, квас, а для желающих в углу пел свою песенку ведерный самовар.

Среди гостей была мать майора, который квартировал у Доминики Андреевны (того, кто не захотел, чтобы я напилила ему дров, — сморщенная, худенькая старушка в платочке и розовой (ради праздника) кофточке. Она сидела в сторонке, и никто ее не замечал.

Вдруг кто-то всхлипнул. Это было неожиданно. Все вздрогнули и посмотрели в угол. Старушка вся содрогалась, слезы текли по морщинистым, сероватого цвета щекам.

— Бабушка, вам плохо? Что с вами? — подскочила к ней Зина, дочь хозяйки.

— Бедные вы, бедные! И что ждет вас?.. — прошептала она, вытирая слезы углом платка.

Ей дали воды, повели ее в другую комнату, уговаривали прилечь. Нам казалось (или мы хотели себя убедить, что нам это казалось), что ей нездоровится. Но эти слова: «И что вас ждет?» — камнем легли на сердце. Да, что ждет нас впереди?

И теперь я никак не могу объяснить, отчего я была так оптимистически настроена? Почему-то мне казалось, что все плохое позади, а дальше все пойдет на лад. Лишь изредка в душу закрадывалось сомнение.

Как-то — это было у Титаревых — собралось довольно многочисленное общество. Особенно обращал на себя внимание один советский служащий. Он производил очень выгодное впечатление человека, получившего не только образование (что само по себе встречалось не часто), но и воспитание. Чувствовалось то, что у нас называлось «семь лет, проведенных дома», то есть в семье, до школы. Меня только очень удивляло, что он часто возвращался к своей биографии, делая упор на то, что он сын батрака и родители и деды — бедняки. Я хотела, чтобы он разрешил мои сомнения, и, оставшись с ним наедине, задала вопрос:

— Не похоже, что в детстве вы ничего, кроме черного двора, не видели и что ваши родители были неграмотными...

Он усмехнулся и, убедившись, что никого поблизости нет, сказал:

— Не солжешь — не проживешь...

Как? Даже свои, советские люди и те должны лгать, что-то скрывать, хотя у них советская власть уже 23 года! Так как же тогда нам?..

Гриша Дроботенко, младший лейтенант, должен на 5 месяцев уехать в Киев на какие-то курсы, чтобы получить следующий чин. Жена и дети остаются у нас в Бессарабии. Паша, его жена, беременна. Родит в его отсутствие. Я удивляюсь: одна, среди чужих людей, на чужбине? Отчего бы не поехать на Полтавщину, к матери?

— Тут так хорошо! Разве можно сравнить? Всего вдоволь... Дети так хорошо развиваются!..

Гриша отводит меня в сторону. Он немного смущен.

— Ефросиния Антоновна! Я на вас надеюсь... Вы уж присмотрите за ребятишками и Пашей. Ведь, кроме вас, у нее никого нет.

Приближается срок родов. Паша не хочет в роддом:

— Я сама фельдшер. Я вам буду говорить, как и что. Вы и примете роды...

С большим трудом удается ее уломать. Времени терять нельзя — схватки уже начались. Я хочу бежать за извозчиком — балагуллой, но Паша боится: за извозчиком надо спускаться в город — до самой больницы; затем кружным путем «на Гору»...

— Идем пешком, напрямик...

Идем. Крутая тропинка бежит вдоль оврага. Спуск все круче и круче. Паша осунулась, сразу побледнела. Она то висит на моей руке, то, отталкивая меня, цепляется за забор, за дерево...

Вот мы и в городе. Квартала за два до больницы Паша чуть не падает. По лицу течет пот, она кусает губы, скрипит зубами... Наконец опускается на тротуар. Я подымаю ее, перекидываю ее левую руку за свою шею и держу ее левой рукой, а правой обхватываю за талию и почти несу. Она едва перебирает ногами. Какая-то женщина подхватывает ее с другой стороны, и кто-то бежит вперед, в больницу за носилками.

Наконец мы в приемном покое. Сдаю Пашу акушерке и со всех ног бегу назад — я никому не успела поручить ребятишек...

Часа через два, устроив детей под присмотром Алисы, спешу в больницу.

Спрашиваю у дежурной, как Прасковья Ивановна Светличная. И слышу с удивлением:

— Все в порядке, папаша! Поздравляю — сын!

Нет уж, извините! Я тут ни при чем...

Кажется, на пятый день забираю Пашу с новорожденным домой. Ей не терпится — дома дети... Это было на Страстной неделе, во вторник.

На сей раз едем на балагулле. Я купила для мальчика «конверт» со всем, что полагается, и очень удивляюсь, что Паша никогда не видела конверта: советские женщины пользуются одеялом, в которое кутают ребенка.

Я держу на руках малыша. Ну чем не папа!

Мамин «вызов» из Румынии. Пасхальный стол. Крестины. Последние спокойные дни у кратера вулкана.

Из Киева раньше, чем его ожидали, возвратился лейтенант Дроботенко. Я очень удивилась тому, что возвращение мужа не обрадовало Пашу. Напротив, она была явно огорчена...

— Муж возвращается. Вам бы радоваться, а вы...

— Чему тут радоваться? После родов едва неделя прошла... А мужчина разве это понимает? Ему что? Давай — да и только...

Признаться, я была просто огорошена.

Впоследствии я неоднократно слышала подобные жалобы, и тогда вспоминалось, что есть и практический смысл у некоторых религиозных обрядов. Кто сможет доказать мужчине, что женщина после родов для него — «запретный плод»? А так он знает (как и его жена), что раньше, чем на 40-й день после родов, когда она впервые с ребенком идет в церковь принять молитву, она для мужа — табу. Подчиниться закону механически легче, чем обуздать самого себя.

Но, кажется, это была не единственная причина беспокойства Паши. Должно быть, она чуяла, что неспроста лейтенант досрочно отозван в свою часть.

Шел 1941 год. Приближался июнь месяц.

Меня ничто не беспокоило. Теперь, чуть не четверть века спустя, мне даже кажется странным, что именно эти последние мои месяцы вольной жизни на родине оказались для меня самыми беспечными в моей жизни.

Что мне было горевать? Мама вдали от всех здешних треволнений, среди добрых людей; бодрая, мужественная и умная, сумеет прожить безбедно: как у первоклассного педагога, у нее всегда будут ученики и, следовательно, кусок хлеба. А я? Любая работа мне по плечу, а следовательно, заработок обеспечен.

Не обходилось и без комических приключений.

Однажды, когда я работала на винограднике, ко мне подошел какой-то тип, явно желающий подчеркнуть свою принадлежность к комсомолу, и начал:

— Зачем ты работаешь на паразита-кулака, товарищ? Брось работу! Ты заставишь его заплатить тебе в два, три раза дороже. Или он будет вынужден отказаться от виноградника вовсе, и этот сад перейдет в руки тех, кто его обрабатывает, например, тебе...

— А ну, катись отсюда, щенок! — рявкнула я. — Уж не ты ли будешь мне указывать, как мне работать?! Иди засорять мозги тем, кто поглупее тебя, а я имею свой ум и подчиняюсь своей совести!

«Агитатор» исчез еще проворней, чем появился.

Однажды — дело было в конце февраля — я получила повестку, вызывающую меня в НКВД (я в ту пору еще не разбиралась в том, что обозначают эти и им подобные «инициалы»).

Кабинет. Письменный стол. За столом какой-то военный. Встал. Поздоровался. Вежливо предложил сесть.

— У вас есть родственники за границей?

— Есть. Мать. В Румынии.

— Она прислала вам вызов. Вы можете ехать к ней, в Румынию.

— Она знает, что в Румынию ехать я не собираюсь. Я ее сама туда отправила в августе прошлого года.

— Однако она прислала вам вызов и оплатила все дорожные расходы. Включая проезд на автобусе до станции Бельцы.

— Повторяю: я в Румынию ехать не собираюсь.

— А я бы вам советовал: пользуйтесь случаем, пока перед вами открыта дверь.

— Эта дверь ведет на задворки. К тому же задворки страны, враждебной моей родине. Эта дверь не для меня.

— А какая дверь для вас?

— Та, в которую можно пройти, не опуская головы и не сгибая спины! Та, что ведет к почетному месту, на которое мне дает право честный труд.

— А кто вам такую дверь откроет?

— Может быть, вы!

Он усмехнулся. Затем добавил:

— Садитесь и напишите, что вы отказываетесь от возможности выехать за границу по вызову матери!

Я села за его письменный стол и твердой рукой написала: «Не желаю покидать мою родину, которой надеюсь еще пригодиться, и искать прибежища на задворках страны, враждебной моей родине».

На этом мы расстались. Я полагала, что поступила правильно, и даже не догадывалась, до чего была права! Как впоследствии выяснилось (почти через 20 лет), никакого вызова никто мне не высылал. Это была просто ловушка.

Тучи на политическом горизонте сгущались, но весна это весна, и когда ярко светит солнце, цветут сады, то о плохом думать не хочется.

Пасха была поздняя. Кажется, 4 мая. Или наоборот: на 4-й день Пасхи приходилось 1 Мая. Одним словом, кое-кто постарался «и невинность соблюсти, и капиталы приобрести», то есть как-то объединить советский праздник с христианским.

Я решила отметить Пасху как следует. Не столько для себя, сколько для Паши и ее детей.

Ведь Паша, оказывается, не видела настоящего праздника! Самым шикарным блюдом считала вареники с творогом.

Я изготовила все, что полагается к пасхальному столу: высокие сдобные «бабы» с румяными, чуть съехавшими набок шапками, душистая сырная паска, запеченная в тесте, высокая пирамидка из тертого творога с желтками и изюмом, жареный барашек, молочный поросенок с хрустящей шкуркой, индейка со сладкой начинкой из тертых орехов, с сухарями и желтками, окорок и жареная свежая колбаса. Крашеные яйца и две вазы — одна с крюшоном из белого вина, с апельсинами и яблоками, другая — с «негритянской кровью», красным вином с ломтиками лимона, украшали накрытый по-пасхальному стол.

Стол был пододвинут к кровати, на которой еще лежала Паша с новорожденным Юркой. Люда и Катя скакали по комнате, с восторгом любуясь на все эти «чудеса».

Я была довольна произведенным эффектом.

Но эффект превзошел ожидания.

Не успела я в последний раз окинуть критическим взглядом произведение кулинарного искусства, как в прихожей послышался топот многих ног, дверь открылась... На Пашином лице с открытым ртом отразился ужас... Я повернулась и... обомлела: на пороге стоял Гриша Дроботенко, трое офицеров — очевидно, его товарищей — и парторг. Тот парторг, которого Гриша и Паша боялись.

Но есть ли хоть одно, пусть партийное, сердце, которое не дрогнет в груди при виде такого праздничного стола?

Парторг проявил инициативу.

Скинув фуражку, он осенил себя широким крестом и сказал:

— Похристосуемся с хозяюшкой, и — айда за стол.

Несколько дней спустя Гриша повстречался со мной в тесной прихожей и с таинственным видом затащил меня в самый темный угол.

— Я вас очень хочу просить, Ефросиния Антоновна...

— Пожалуйста! О чем же?

— Видите ли... Моя мать... она не то что я... она — старенькая...

— Чаще всего так и бывает: мать старше сына.

— Да я не то! Я вот что хочу сказать. Она, моя мать... Я хочу ее обрадовать... Она так всегда хотела. Одним словом, я очень вас прошу окрестить моих детей, — наконец выпалил он. — По-настоящему! Чтобы и свидетельство было! Я отошлю матери метрики. То-то она обрадуется! Только, пожалуйста, так, чтобы парторг не узнал... Вы дома, на половине старушки.

Он совсем смутился.

Я пригласила священника и дьячка из Собора. Принесла купель. Церемония была очень торжественная. Заодно старушка Эмма Яковлевна, хоть она и протестантка, исповедалась и приобщилась. Я держала на руках маленького Юрку. Люда и Катя в парадных костюмчиках стояли чинно и старательно целовали крест, поданный им священником.

Было очень торжественно и как-то даже жутко.

Могла ли я предполагать, что в следующий раз увижу священника в облачении лишь через 20 лет, в маленькой церкви на Воробьевых горах в Москве, куда я заверну случайно вместе с мамой, прогуливаясь в тех краях в июле 1960 года?

Но время шло, наступил июнь.

Я, всегда прежде бывшая «в курсе дела», когда речь шла о политике, теперь как-то держалась в стороне. Газеты были только советские. И были они до такой степени пресны и бессодержательны, что одним своим видом наводили уныние. Радио... Да, слушая радио, можно было кое в чем разобраться, но и это было нелегко: надо было разматывать целые клубки хитро переплетенной лжи, прежде чем, ухватив за ниточку, удавалось вытащить кусочек правдивой информации.

Но своего радио я не имела, а заходя к знакомым, никогда и ни у кого не задерживалась, так что приходилось довольствоваться обрывками разных домыслов, из которых было просто невозможно составить представление о положении в Европе и тем более в Америке и Азии.

Я подумала, что лучше не ломать себе голову над тем, чего я решить все равно не могу. И совершенно забыла один из немногих афоризмов Гитлера, который стоил того, чтобы над ним призадуматься: если ты не интересуешься политикой, то политика тобой заинтересуется. И тогда — горе тебе!

Но правильней было бы сказать: интересуешься ты политикой или нет, горе тебе, если руководит ею кучка жестоких людей. Пред их жестокостью ты бессилен. Горе тебе!

11 июня вышло распоряжение: снять все антенны и сдать радиоприемники. Витковские, на винограднике у которых я только что закончила работу, сняли антенну, но ночью натянули ее вновь и услышали из Болгарии, что советские власти в Бессарабии готовят какие-то «массовые мероприятия», в сущности которых мы так и не смогли разобраться.

Вместе с тем бросалось в глаза, что в город были согнаны со всех окрестных сел подводы, запряженные лошадьми, с запасом фуража для коней и хлеба для возчиков на 3 дня. Во всех дворах стояли телеги, переминались с ноги на ногу лошади и бродили полные недоумения люди в сукманах с кнутами и торбой хлеба. Все было непонятно и вызывало тревогу.

Я должна была на ночь уйти в поле, где со стороны деревни Егоровки я подрядилась окропить виноградник бордоской жидкостью. Перед вечером я зашла к Сергею Васильевичу (он жил не у жены, а снимал маленькую комнатушку на Дворянской улице). Он был очень подавлен и встревожен. Он оправдывал свою тревогу, ссылаясь на Мицкевича: «тихо вшендзе, цо то бендзе». И рассказал мне странную историю. В Застынке, на горе, жил один энергичный мужичок. Он сколотил капиталец, выводя на своем участке саженцы, прививал, сажал, выхаживал и год от году богател. Он со всеми быстро сходился и обзаводился постояльцами и друзьями. Сдружился он и с советскими служащими. О чем говорил он в последний день, распивая с ними свое лучшее вино, неизвестно. Только в этот день его видели очень расстроенным: он шел нетвердою походкою (хотя и не был пьян), хватаясь за голову и растерянно бормоча: «Боже мой! Какой ужас! Вот не ожидал... Ах, Ироды, Ироды... Что вы затеяли? За что такая кара?!»

Вечером его, мертвого, вынули из петли.

Что могли ему поведать его друзья, что он предпочел наложить на себя руки?

С тяжелым сердцем рассталась я с Сергеем Васильевичем и, не торопясь, как-то нехотя побрела сперва домой к Эмме Яковлевне, откуда, захватив бараний полушубок и книжку Сенкевича «Пан Володыевский», направилась к месту работы, на виноградник.

Но ноги не хотели идти, и против воли я присела у синагоги на горе, на самом краю оврага, который спускался к Днестру.

С этой точки открывалась замечательная перспектива, и я никогда не могла пройти мимо, чтобы не остановиться и не полюбоваться знакомым мне с детских лет пейзажем.

Музыка. Дождь... или судьба. «Исход».

Многое в жизни забывается; образы и картины меркнут, затягиваются дымкой времени и наконец совсем стираются, исчезают из памяти. Но некоторые моменты запечатлеваются с поразительной яркостью, и время бессильно ослабить краски.

И никогда я не забуду этот вечер!

Я сидела на теплом, еще не остывшем от дневного зноя камне возле синагоги. Внизу лежал город, опоясанный лентой Днестра. Было душно, надвигалась гроза. На востоке, далеко-далеко, полыхали зарницы, но грома не было слышно. Небо было затянуто тучами. Время от времени на землю с громким шорохом падало несколько крупных редких капель, и в воздухе появлялся тот странный запах, который напоминал мне Одессу, детство, дворника Тимофея, поливавшего из шланга асфальт во дворе № 40 на Маразлиевской улице. На небе не было привычных, ласковых звезд. Зато целые созвездия сверкали внизу на крышах. Красные, напоминавшие «зубы людоеда», которыми мы в детстве пугали друг друга в темноте, беря в рот догоревшую спичку.

Вот эта самая большая звезда — на площади; эта — возле парка на Дубовой улице; а та, чуть повыше, — на крыше бывшей управы. Возле них установлены громкоговорители — группами по три, которые не умолкают ни днем, ни ночью... Может быть, оттого что они рядом со звездой, но кажется, что это красная звезда, а не репродуктор говорит, поет, играет. Каждая вспышка зарницы заставляла радио хрипеть, и казалось, что хрип вырывается из горла великана — людоеда со светящимися зубами и музыка от испуга прерывается. А затем опять льются дивные, столь знакомые звуки, чуть смягченные расстоянием.

К горлу моему подкатился комок, в носу защипало, и не капли дождя, крупные и прохладные, упали в пыль, а жгучие слезы: играли одну за другой столь знакомые пьесы, и в той же последовательности, как я их уже не раз слышала прежде.

И вспомнился мне тот вечер, когда я в первый раз слышала эту музыку из Москвы: «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» Грига, «Лебедь» Сен-Санса, отрывки из балетов Чайковского — «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро»... и в заключение — «Испанское каприччио»...

Исчезли «зубы людоеда» и серебристая лента Днестра, дугой охватывающая полуостров; не было больше ни черного неба, ни полыхающих вдали зарниц... Перед глазами встала иная картина. Освещенная керосиновой лампой уютная комната: в кресле, возле круглого столика, покрытого бархатной скатертью, сидит папа — смуглый, стройный старик с тонкими, благородными чертами лица; крупные кольца серебряных кудрей, пенсне; на коленях — сложенная газета, у ног — легавая Диана, и на спинке кресла — зеленая от старости, с ярко-янтарными глазами любимая папина кошка. По другую сторону стола — Ира. Тень от ее головы падает на стену, на которой висит на бараньих рогах (для торжественности их называют «турьими») мой арсенал: берданка и винчестер, крест-накрест, и чуть пониже, над патронташем, шашка и кинжал. А за письменным столом у радиоприемника — мама!..

Теперь мы избалованы: всюду репродукторы, приемники, телевизоры... Но тогда, в начале тридцатых годов, среди наших лесов слышать Москву!.. О, это было чудо и вызывало восторг. А мама — так она просто наслаждалась. Она так любила музыку! Так ее знала, понимала, ценила!

А я? Да, я музыку тоже любила. Но... Не это было главным... И не музыка сама по себе перехватила мне горло, и не она выжала из глаз моих слезы. Просто на меня пахнуло уютом, который царил в той комнате, той любовью, спокойствием и взаимным уважением, которые так тесно связывали нашу семью, и мне до боли захотелось человеческой жизни, доверия, любви... всего того, что было! Мне показалось, что я там, на ковре, у ног отца, рядом с любимой сестрой, что я любуюсь своей полной воодушевления мамой и что я имею право на счастье!

Музыка кончилась. По радио стали передавать последние известия. Но в ушах моих еще раздавался звон фанфар и где-то вдали звучал голос Сольвейг, а в душе чей-то голос повторял: «Борись! Терпи, не робей! Вперед, всегда вперед и только вперед. Правда победит!»

Не знала я тогда, что наступит критическое мгновение, когда отчаяние захлестнет меня черной волной и смерть покажется мне желанным избавлением... И что знакомые звуки этой же музыки, вылетевшие из репродуктора в кабинете следователя Титова, мгновенно воскресят в памяти эту душную ночь — последнюю ночь на родной земле, сметут с души моей малодушие и напомнят: «Ты имеешь право на жизнь! Борись! Правда победит!»

Судьба. Что означает это таинственное слово? Что было бы, если б в эту ночь не пошел дождь? Не знаю... Лучше? Хуже? Но все должно было произойти именно так.

Ночью прошла гроза с сильным дождем. Кропить виноградник было нельзя.

Почему я не повернулась на другой бок, не натянула на голову тулуп и не продолжала спать? Ведь я добралась до шалаша далеко за полночь, и я так редко имела возможность поспать всласть! Почему я пошла — босиком, по росе и грязи — в город? Судьба! Все та же судьба.

Я быстро шагала через Божаровку, предместье Сорок. Я слышала плач и причитания. Почему я не придала этому никакого значения? Может быть, я думала, что где-то покойник и по древнему обычаю на восходе солнца женщины должны причитать? «...Взошло солнце, но для меня — темно: смерть закрыла твои очи, черное горе крылами своими скрыло свет очей моих!» — дело обычное. А может быть, когда что суждено, то человек и глух, и слеп к предупреждениям? Как это говорится в «Кануте» А. К. Толстого? «...Его — не спасти! Ему — смерть суждена! Влечет его темная сила»...

Так или иначе, но я дошла до Титаревых. Они только что проснулись и собирались пить чай на крылечке, выходящем в сад.

До чего было мирно и радостно кругом! Как это всегда бывает, после ночной грозы солнце светит особенно ярко, птички щебечут особенно радостно и дышится как-то очень уж легко!

Не успели мы сесть за стол, как на крылечко взбежала соседка, полуодетая, непричесанная, и быстро-быстро зашептала: «Вы слыхали? Петю Маленду среди ночи забрали! Не разрешили ничего с собой взять... Он, жена, дети, все оделись во что попало... Матери не дали с ними попрощаться. Старушка хотела сто рублей ему передать... Не позволили! И многих, многих так среди ночи ни за что ни про что похватали, на подводы погрузили и неизвестно куда везут!..»

Так вот зачем в город согнали столько подвод! Так вот почему радио поотнимали накануне! Теперь понятно, почему тот мужичок из Застынки накануне удавился!..

— Ну, значит, и мой черед пришел! — спокойно, почти весело сказала я. И не успела я докончить фразы, как увидела Алису, дочь Эммы Яковлевны. Она почти бежала по узенькой улочке мимо дома Алейникова. Запыхавшись и размахивая руками, она еще издали кричала:

— Фросенька! Ночью за вами приходили... Двое с ружьями. А утром пришли шестеро... Вооруженные... Кричали... Так сердились!.. Мы говорим — не знаем... А они — свое. Ужас, что происходит! Всех похватали! Доминику Андреевну, Витковских... Она, бедняжка, беременна, не сегодня завтра родит, Жозефина Львовна больна... И все равно забрали... И Иванченко, и Гужа... Боже мой! Дети, старики... В чем попало — раздетых, больных... Ой, да что же это? Злодеев так не хватают, а ведь это мирные, работящие, ни в чем не повинные люди!.. Фросенька! Бегите, спрячьтесь! Куда-нибудь бегите, может быть, спасетесь...

Она захлебнулась и замолчала. Добрая, растерянная, перепуганная Алиса.

— Бегут те, кто виноват, а прячутся — трусы! — с некоторой напыщенностью сказала я. — Не стану я дожидаться, чтобы меня как щенка за шиворот волокли. Прощайте!

Лара со слезами кинулась мне на шею: «Возьми хоть чего-нибудь на дорогу!»

— Что хитрить! Не до багажей тут! Сами слышали: детей — и тех полуголых забирают! Пусть мои вещи вам останутся. Может, после мне вышлете, а нет — вам пригодятся. Рабочая одежда, одеяло — и хватит! Куда привезут — будет работа. Было бы здоровье (а у меня оно, слава Богу, есть) — будет и хлеб!

А про себя подумала: «Жаль, что денег нет! Вот деньги бы пригодились!»... Но что поделаешь? Я свой заработок не торопилась получать, все мне были должны: и Гужа, и Витковские, и Доминика Андреевна... да и сами Титаревы. Но... им хуже, чем мне: я хоть одна. Никто со мной и из-за меня страдать не будет. А я выдержу. Все выдержу!

Когда человек постригается в монахи, то он должен трижды поднять ножницы, которые постригающий нарочно роняет; этот жест как будто напоминает: «Одумайся, пока ты не вычеркнут из списка живых!»

Нечто подобное имело место и со мной в тот памятный день 13 июня 1941 года. Последний день моей «мирской» жизни.

Подымаясь в гору, я остановилась там, возле синагоги, где накануне вечером слушала музыку, прерываемую приближающейся грозой, и смотрела на «зубы людоеда».

Гроза омыла вечно прекрасную природу, а люди делали свое жестокое дело: сверху хорошо видно, как бесконечная вереница телег медленно двигалась вдоль Днестра; «хвост» этого похоронного шествия находился за Бекировским шлагбаумом — «головы» давно не было видно. Было что-то странное в этой «муравьиной дорожке», которая, как казалось издалека, вовсе не движется. До меня доносился какой-то назойливый шум — что-то вроде жужжания мошек, когда они толкутся столбом в лучах заката.

Я поняла: это плач людей, над которыми издеваются люди же, их братья... Может быть, это была звуковая галлюцинация?

Я шла между маленькими одноэтажными домиками, окруженными тщательно возделанными садиками, где ярко цвели омытые грозой цветы, и так дико было видеть то открытые настежь двери и разбросанные по двору вещи — опрокинутый вазон герани, детскую куклу, то наскоро заколоченные (должно быть, соседями) двери, то «нетронутые» дома, напуганные хозяева которых жались друг к другу и разговаривали шепотом.

Казалось, грянет гром и голос спросит:

— Каин, что сделал ты с братом твоим Авелем?!

Первая на пороге встретила меня Паша. Она была растерянна. Слезы текли по лицу, и, видно, она не притворялась, когда обняла меня, всхлипывая: «А вас-то за что? Такая добрая, работящая...»

— Не огорчайтесь, Прасковья Ивановна! Лес рубят — щепки летят! Может, еще все к лучшему устроится!

— Ах, нет! Добра не ждите!

— Ладно! Я одна. Здорова. К работе привыкла. Мне-то чего бояться?

— Бояться нужно только Бога! Но на Него надо и надеяться! — В дверях появилась старушка Эмма Яковлевна. Седая, сгорбленная, она протянула ко мне руки.

— Я заменю вам мать и благословлю вас на крестный путь! Уповайте на милость Господню... и на молитвы матери вашей. Мое благословение будет сопутствовать вам всюду, куда бы вас ни завели неисповедимые пути Господни! Аминь!

Я опустилась на колени перед этой 86-летней старушкой, и она меня перекрестила, поцеловав в голову.

Я надела солдатские штаны, короткую куртку на пояске и кирзовые сапоги. В рюкзак всунула смену белья, холщовые шорты и рубаху, рабочие башмаки, кружку и ложку. В кармане папины часы (они чудом уцелели, так как были в чистке в тот день, когда нас с мамой выгнали), папин охотничий нож; в другом кармане паспорт, фотография отца и 6 рублей. Я хотела взять свое одеяло, но Паша настояла, чтобы я взяла их — из чистой шерсти: «Вы не знаете, что вас и ждет; вам оно еще как может пригодиться!»

Спасибо ей, хорошей, доброй русской женщине! Сколько раз спасало меня это шерстяное одеяло! Жива ли она сейчас, эта самая Паша? Живы ли дети — мои крестники? Жив ли Гриша, паренек с добродушной улыбкой, напускавший на себя нарочито хмурый, важный вид?

Тихо было во дворе «богоугодного заведения» на Дубовой улице. Даже радио молчало.

Я назвала себя и сказала, что меня не было дома, когда ночью за мной приходили.

Мне ответили... зайти часа через полтора-два...

Звякнули ножницы, упав на пол.

Я пошла к Марье Петровне Аквигоновой, чтобы скоротать время. Это была женщина средних лет, жизнерадостная и легкомысленная, но неглупая. Она мне надавала массу практических советов. И первым долгом — скрыться и замести следы: наверное, меня считают высланной, а если я скроюсь, то обо мне позабудут!

Нет! Ложь и малодушие для меня неприемлемы!

Тогда надо запастись деньгами и взять с собой все, что можно превратить в деньги.

Нет! Если меня насильственно увозят, то, значит, должны и кормить, и обеспечить работой.

— Вы наивный человек, Фрося! Вы не встречались со злом и не верите в него. Вам предстоит многому научиться, а за науку платят. Да поможет вам Бог!

Я была спокойна. Даже беспечна. Сказать правду? Может быть, я была рада. Мне казалось, что знакомство со мной может навлечь неприятность на людей. Разве не лучше удалиться? Бежать, скрываться мне претило, пусть уж увозят!

Но какой это будет удар для мамы! А ведь от нее не скроешь! Во всех газетах Европы это бесчеловечное выселение будет комментироваться на все лады!

И меня осенила «гениальная» мысль.

Я купила шесть почтовых открыток, пометила их каждую другим месяцем — от июня до ноября. На первой, датированной 20 июня, я написала о том, что работаю на виноградниках и живу хорошо: здорова, спокойна, отношение ко мне хорошее; в июльской я написала, что убираю хлеб на ферме; в августовской описала молотьбу, а в сентябрьской, октябрьской и ноябрьской описывала работы на виноградниках.

Открытки я передала Аквигоновой, и она обещала опускать в почтовый ящик по одной.

И с легким сердцем опять пошла совать голову в петлю...

Но ножницы еще раз брякнулись на пол: мне было предложено зайти после обеда!

И снова я брожу по опустевшим, как при эпидемии чумы, улицам. Мне не хочется думать, что, может быть, я их вижу в последний раз; я борюсь, но чувствую, что ждет меня что-то недоброе. Ожидание угнетает. Как перед казнью. И хочется пожать руку друга, хочется встретить понимающий взгляд, хочется выплакаться на груди родного человека.

Но где он, родной мне человек?! Пройдет больше семнадцати лет, прежде чем единственный родной мне человек прижмет мою буйную голову к своей груди! К той груди, в которой билось самое любящее, гордое материнское сердце, ныне замолкнувшее навек.

Я решила зайти попрощаться со старичком профессором Павловским, отцом Ирины Александровны.

Старичка я нашла на террасе, выходящей в сторону Днестра, и я была этому рада — в комнату я бы не зашла.

Он был очень подавлен событиями прошлой ночи. Дрожащими руками обнял он меня за плечи и поцеловал. Затем извлек откуда-то 25 рублей и сунул их мне: «Возьми, Фросенька! В дороге пригодятся...» Я была тронута, но деньги ему вернула:

— Никто не знает, дорогой Александр Дмитриевич, что ждет вас самих завтра! И деньги могут вам больше понадобиться, чем мне: я молода, здорова и вынослива! Я все выдержу!

О, храбрость неведения! Могла ли я предвидеть, что то, что меня ждет, превышает силы человеческие? И что если я все же все это вынесла, то это результат чуда, материнской молитвы и заступничества отца перед Богом?

Продолжение следует

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ 1918—1930

Народный суд

Я чувствую, близится судное время:
Бездушье мы духом своим победим,
И в сердце России пред странами всеми
Народом народ будет грозно судим.

И спросят избранники — русские люди —
У всех обвиняемых русских людей,
За что умертвили они в самосуде
Цвет яркий культуры отчизны своей.

Зачем православные Бога забыли,
Зачем шли на брата, рубя и разя...
И скажут они: «Мы обмануты были,
Мы верили в то, во что верить нельзя»...

И судьи умолкнут с печалью любовной,
Проверив себя в неизбежный черед,
И спросят: «Но кто же зачинщик виновный?»
И будет ответ: «Виноват весь народ.

Он думал о счастье отчизны родимой,
Он шел на жестокость во имя Любви...»
И судьи воскликнут: «Народ подсудимый!
Ты нам неподсуден: мы — братья твои!

Мы — часть твоя, плоть твоя, кровь твоя, грешный,
Наивный, стремящийся вечно вперед,
Взыскующий Бога в Европе кромешной,
Счастливый в несчастьи, великий народ!»

1925 г.

Предгневье

Москва вчера не понимала,
Но завтра, верь, поймет Москва:
Родиться русским — слишком мало,
Чтоб русские иметь права...

И вспомнив душу предков, встанет,
От слова к делу перейдя,
И гнев в народных душах грянет,
Как гром живящего дождя.

И сломит гнет, как гнев ломала
Уже не раз повстанцев рать...
Родиться Русским — слишком мало:
Им надо БЫТЬ, им надо СТАТЬ!

1925 г.

Бывают дни...

Бывают дни: я ненавижу
Свою отчизну — мать свою.
Бывают дни: ее нет ближе,
Всем существом ее пою.

Всё, всё в ней противоречиво,
Двулико, двоедушно в ней,
И, дева, — верящая в диво
Надземное, — всего земней...

Как снег — миндаль. Миндальны зимы.
Гармошка — и колокола.
Дни дымчаты. Прозрачны дымы.
И вороны, — и сокола.

Слом Иверской часовни. Китеж.
И ругань — мать, и ласка — мать...
А вы-то тщитесь, вы хотите
Широкократную объять!

Я — русский сам, и что я знаю?
Я падаю. Я в небо рвусь.
Я сам себя не понимаю,
А сам я — вылитая Русь!

Ночь под 1930-ый год

Конечное ничто

С ума сойти — решить задачу:
Свобода это иль мятеж?
Казалось, всё сулит удачу —
И вот теперь удача где ж?

Простор лазоревых теорий,
И практика — мрачней могил...
Какая ширь была во взоре!
Как стебель рос! и стебель сгнил...

Как знать: отсталость ли европья?
Передовитость россиян?
Натура ль русская холопья? —
Сплошной кошмар. Сплошной туман.

Изнемогли в противоречьях.
Не понимаем ничего.
Всё грезим о каких-то встречах —
Но с кем, зачем и для чего?

Мы призраками дуализма
Приведены в такой испуг,
Что даже солнечная призма
Таит грозящий нам недуг.

Грядет Антихрист? не Христос ли?
Иль оба вместе? раньше — кто?
Сначала тьма? не свет ли после?
Иль погрузимся мы в НИЧТО?

1918. XII.

Поэза правительству

Правительство, когда не чтит поэта
Великого, не чтит себя само
И на себя накладывает veto
К признанию и срамное клеймо.

Правительство, зовущее в строй армий
Художника под пушку и ружье,
Напоминает повесть о жандарме,
Предавшем палачу дитя свое.

Правительство, лишившее субсидий
Писателя, вошедшего в нужду,
Себя являет в непристойном виде
И вызывает в нем к себе вражду.

Правительство, грозящее цензурой
Мыслителю, должно позорно пасть.
Так, отчеканив яркий ямб цезурой,
Я хлестко отчеканиваю власть.

А общество, смотрящее спокойно
На притесненье гениев своих,
Вандального правительства достойно,
И не мечтать ему о днях иных...

(Из сборника «Менестрель»,
изд. «Москва», Берлин, 1921 г.)

Некрасов

Блажен, кто рыцарем хотя на час
Сумел быть в злую, рабскую эпоху,
Кто к братнему прислушивался вздоху
И, пламенея верой, не погас.

Чей хроменький взъерошенный Пегас
Для Сивки скудную оставил кроху
Овса, когда седок к царю Гороху
Плелся поведать горестный рассказ...

А этот царь — Общественное Мненье, —
В нем видя обладателя именья

И барственных забавника охот,

Тоску певца причислил к лицемерью.
Так перед плотно запертою дверью
Рыдал Некрасов, русский Дон-Кихот.

1925 г.

Салтыков-Щедрин

Не жутко ли, — среди губернских дур
И дураков, туземцев Пошехонья,
Застывших в вечной стадии просонья,
Живуч неумертвимый помпадур?

Неблагозвучьем звучен трубадур,
Чей голос, сотрясая беззаконье,
Вещал стране бесплодье, похоронье,
Чей смех тяжел, язвителен и хмур.

Гниет, смердит от движущихся трупов
Неразрушимый вечно город Глупов —
Прорусенный, повсюдный, озорной.

Иудушки из каждой лезут щели.
Страну одолевают. Одолели.
И нет надежд. И где удел иной?

1926 г.

Их культурность...

Мне сказали однажды:
«Изнывая от жажды
Просвещенья, в России каждый, знай, гражданин
Тонко любит искусство,
Разбираясь искусно
Средь стихов, средь симфоний, средь скульптур и картин».

Чтобы слух сей проверить,
Стал стучаться я в двери:
«Вы читали Бальмонта, — Вы и Ваша семья?»
— «Энто я-то? аль он-то?
Как назвали? Бальмонта?
Энто что же такое? не пойму что-то я.

Може, энто письмовник?
Так читал нам садовник,
По прозванью Крапива — ик! — Крапива Федул.
Може, энто лечебник?
Так читал нам нахлебник,
Что у нас проживает: Парамошка Разгул.

Може, энто оракул?» —
Но уж тут я заплакал:
Стало жаль мне Бальмонта и себя, и страну:

Если «граждане» все так —
Некультурнее веток,
То стране такой впору погрузиться в волну!..

(Из сборника «Менестрель»,
изд. «Москва», Берлин, 1921 г.)

Почтальон

То по шоссе, для шины колком,
То по тропинке через лён,
То утрамбованным проселком
Велосипедит почтальон.

Он всем знаком. Он старый Перник.
Он служит здесь тридцатый год.
Письмо от Щепкиной-Куперник
Он мне в окно передает.

Я приглашаю на террасу
Его, усталого, зайти,
Чтоб выпить хересу иль квасу
И закусить в его пути.

Он входит очень деликатно
И подвигает стул к столу,
А море благостно-закатно,
Подобно алому стеклу.

Сосредоточенно и ровно
Он пьет токайское вино.
Что пишет мне Татьяна Львовна?
Но, впрочем, кажется, темно...

Петроград, I. 1918 г.

Перед войной

Я Гумилеву отдавал визит,
Когда он жил с Ахматовою в Царском,
В большом, прохладном, тихом доме барском,
Хранившем свой патриархальный быт.

Не знал поэт, что смерть уже грозит
Не где-нибудь в лесу Мадагаскарском,
Не в удушающем песке Сахарском,
А в Петербурге, где он был убит.

И долго он, душою конквиста́дор,
Мне говорил, о чем сказать отрада.
Ахматова устала у стола,

Томима постоянною печалью,
Окутана невидимой вуалью
Ветшающего Царского Села...

1924 г.

Вне политики

Где ходит море синим шагом
То к берегу, то к островам,
Нет плаца бешеным ватагам,
Нет вразы взбалмошным словам;

Где в зелень берегов одета
Златисто-каряя река;
Здесь нет ни одного «кадета»,
Ни одного «большевика».

И где в растущем изумруде
Лесов и поля дышит Бог,
Здесь братьями живут все люди
И славословят каждый вздох.

И здесь, где лишь от счастья плачет
Живой, где горести чужды,
Здесь нет политики, и значит:
Нет ПРЕДНАМЕРЕННОЙ вражды!

Как хорошо...

Как хорошо, что вспыхнут снова эти
Цветы в полях под небом голубым!
Как хорошо, что ты живешь на свете
И красишь мир присутствием своим!

Как хорошо, что в общем вешнем шуме
Милей всего твой голос голубой,
Что, умирая, я еще не умер
И перед смертью встретился с тобой!

1928 г.

Публикация Ю. Шумакова

Александр Верников

ЗЯБЛИЦЕВ, ХУДОЖНИК

ПОВЕСТЬ

За двадцать семь лет его жизни это случилось с ним впервые, а вернее, впервые за семь лет — как сказали бы люди иронические или, напротив, слишком серьезно относящиеся к этому делу — жизни в искусстве. А случилось то, что художник Зяблицев в течение почти полных двух месяцев наступившей весны ни дня не держал в руках ни карандаша, ни угля, ни кисти и не чувствовал, что такое положение в скором будущем может измениться. Будь Зяблицев именит или, пуще того, именит и уже мертв, какой-нибудь исследователь его творчества, занятый им хотя бы для защиты собственной диссертации, отметил бы, что тогда-то и тогда-то у художника наступил первый творческий кризис, продлившийся вплоть до... и ставший временем сомнений, раздумий, мучительных переоценок... А может быть, эта банальная чушь никогда бы не была вставлена в строку — потому, например, что искусствовед оказался бы человеком попроницательней и понезависимей в оценках, или был бы стилистом классом повыше, или, вероятнее всего, потому, что Зяблицев, даже и окончивший свой земной путь, не стал бы предметом внимания искусствоведов и объектом монографий. Впрочем, гадать о том, как станет и станет ли вообще оценивать наше искусствоведение этот период жизни Зяблицева, трудно — по той причине, что Зяблицев еще настолько наш современник, что находится сейчас в одном с нами городе и, даже точнее, прописан по адресу... — хотя нет, к чему приводить еще и адрес? Тем, кто лично знаком с художником, напоминать легкую комбинацию слов и чисел не имеет смысла, а тем, кто узнает Зяблицева впервые из этого вот повествования, такие подробности тоже вроде бы ни к чему. Это ведь не справка из паспортного стола. Это просто рассказ об одном художнике.

Или об одном человеке? Характерно, что в таком случае, как этот, сразу приходится задаваться подобным вопросом. Ведь если бы Зяблицев был, например, инженером или учителем, то вопроса бы не возникло. Инженер ли, учитель ли, военный — все равно человек. А художник — дело другое. Не будь Зяблицев художником, ничего бы и не было.

Но может ли продолжать называться художником тот, кто больше ничего, ну просто ничегошеньки не рисует, а только валяется на постели, курит и слоняется целыми днями по улицам? Конечно, может — если к слову «художник» прилепить «переживающий творческий кризис». Для этого, наверное, и существует это неведомо кем

Александр Верников родился в 1962 году, окончил факультет иностранных языков Свердловского пединститута, преподавал в сельской школе, служил в армии. Публиковаться начал в 1988 г. в журнале «Урал». Живет в Свердловске.

изобретенное спасительное определение: художник может надевать его на себя, как костюм, которому, при всех условиях сохраняющему собственное достоинство в виде удержания формы покроя и тела, приходится отводить специальное и едва ли не возвышенное место.

Зяблицев, например, за неимением платяного шкафа держал костюм, который, кстати, надевался крайне редко, на плечиках, подвешенных на гвозде чуть не под потолком. Зато свитеров у него было целых четыре, валялись они где попало, и иногда он надевал их один на другой и мог таким образом обходиться без пальто в самые холодные дни осени и зимой, если та была не слишком суровой, а с началом весны и вовсе почитал за норму ходить исключительно в свитерах. В такой манере одеваться вовсе не было чудаковатости и тем более желания «выпендриться» — хотя и то, и другое с удовольствием приписывают художникам. Для Зяблицева такая экипировка была не более чем незамечаемо естественной: в том помещении, а именно в полуподвале, которое он занимал и которое было одновременно его мастерской, никогда, даже в летние дни, не бывало особо жарко. И потому, просто находясь дома или работая, он носил свитер. Тем более что, зарабатываясь допоздна или даже до рассвета — у холста он не замечал времени суток,— Зяблицев часто не имел сил на ритуал разоблачения и последующего одевания. Рухнув на койку, укрывшись одеялом или позабыв сделать и это, он «вырубался» на несколько часов, а затем просто, без перехода, без стадий вскакивал, секунду дико ерошил волосы, продирал глаза и обнаруживал, что уже стоит у станка с кистью или чем там в руке. Кроме того, увлеченный работой, Зяблицев нередко забывал топить печь, и вот тогда-то, особенно в период с октября по май, несколько надетых один на другой свитеров оказывались суровой необходимостью. Доходило до того, что печь ему топили — по доброй воле и для собственного комфорта — гости-художники, натурщики и даже натурщицы, которые отказывались обнажаться в холоде. Зяблицев же, когда руки у него особенно горели и когда мысль о промедлении, связанном с растопкой, доводила его до бешенства, заявлял, что сейчас сам разденется донага и в таком виде будет работать. С некоторыми женщинами, угадывавшими под свитерами тело, от которого можно получить не одно только созерцательное, эстетическое или вуаеристское удовольствие, этот фокус проходил; с другими, ценящими свое здоровье выше утоления любопытства или выше будущей, возможной через этого художника славы — случалась заминка. Но все равно — печь, одетые или нагишом, растапливали они, а уголь или карандаш Зяблицева порхал над ними и создавал в несколько секунд по наброску. Но о натурщицах подробнее потом, и гораздо подробнее. А пока — все еще и до полной возможной ясности — о свитерах, собственно, о том, почему же Зяблицев и за пределами своего жилища и мастерской показывался опять-таки в свитере или в свитерах.

Да просто потому, что годами, без преувеличения сказать, ежедневно находясь в работе, в плену замыслов и в деле их воплощения, он буквально не замечал разницы между атмосферой своего обиталища и воздухом улицы — наш климат только способствовал этому. Но будь на улице и залетный зной, художнику ничего не стоило, покинув свой подвал в одном, а то и в двух шерстяных свитерах, проехать на другой конец города — а город наш не малый, миллионный — и не почувствовать неладного. Дело не только в увлеченности, в погруженности в себя, в собственноручно и, так сказать, собственнодушно творимое — той погруженности, которую обычно принимают за особую рассеянность людей искусства; дело еще и, пожалуй, в большей степени в том, что, выходя даже и на очень разогретый солнцем воздух в глухой и плотной шкуре, Зяблицев такой бессо-

знательной хитростью как бы оставлял себя во все время путешествия по городу в своем подвале, возле холста или куска картона. Ну как бы это лучше объяснить? Для того, чтобы превратить весь город в собственную мастерскую и в переполненном троллейбусе чувствовать себя как дома возле холста, вовсе не нужно увешивать окна троллейбуса и стены минуемых им зданий картинами собственного производства, достаточно войти в это чуждое пространство в преданной тебе многие годы носильной вещи, принявшей форму твоего тела, впитавшей твой запах, запах твоих папирос и масляных красок. Или вот —отвлеченный пример, взятый, однако, из нашего же города: мы живем на 56-й параллели северной широты, и соответственно осеняют наши улицы тополя, лиственницы, липы, березы, немного кленов и еще меньше вязов. Но был у нас один профессор ботаники, который поставил своей целью привить на здешней почве пирамидальные тополя — полжизни положил на это и привил-таки. Теперь у нас есть целые улицы и аллеи, которые в летний жаркий или просто яркий солнцем день создают впечатление какого-нибудь Краснодара или по крайней мере Харькова,— одним словом, переносят нашу хмурую северную родину далеко на благодатный юг. Одной-двух верхушек пирамидального тополя, увиденных мельком над крышей, бывает довольно, чтобы весь мир вокруг, пусть и на миг, преобразился. Но миг-то этот не воображаемый, а реальный — вот ведь что останавливает и пронимает. Кстати сказать, Зяблицеву из всех наших деревьев более всего любы были именно эти.

В общем, подытожить зяблицевскую привычку одеваться можно следующим: он не желал и не помышлял выходить в город иначе, как в свитере или в свитерах, потому что ни на миг не желал расставаться с положением художника за работой в собственной мастерской. А если уж он выбирался из дому в костюме и (или) в пальто, то по исключительным случаям. Случаи эти можно перечесть по пальцам. Это когда Зяблицев отправлялся к таким людям, кои либо ничего не смыслили ни в живописи, ни в графике, либо были до последнего градуса безразличны к занятиям Зяблицева — лишь бы, пожалуй, не грабил и не убивал. Таких людей у художника были, естественно, единицы, и, встретив Зяблицева, спешащего по улице в новом, свежем (а они всегда и оставались таковыми из-за неупотребляемости своей) костюме или пальто, знавшие художника тотчас угадывали, что идет он отбывать семейное торжество у одного из своих родственников — у тетки, у дядьки или у троюродного старшего брата.

Ну, и последняя характерная деталь: рубахи, костюм и пальто были куплены Зяблицеву лет уже пять тому назад его матерью, которая жила в отдалении, в маленьком районном городке, и для которой внешний вид выросшего и самостоятельного сына являлся, кажется, главной заботой, как, впрочем, и главным пунктом ее тревог и разочарований. Возлюбленные же свитера вязали и дарили Зяблицеву жены приятелей-художников или натурщицы — те, которые становились на какое-то — обычно краткое — время его любовницами.

Таким образом, можно утверждать, что свою рабочую домашнюю и любимую одежду Зяблицев заработал сам, а платье, так сказать, выходное досталось ему еще в пору и осталось с поры, когда мать мечтала видеть сына каким-нибудь преуспевающим инженером, преподавателем, дипломатом — словом, приличным человеком.

Все эти мелочи описаны столь тщательно лишь затем, чтобы стало понятней вящее изумление друзей и знакомых художника и недоумение, которое эти люди начали испытывать, видя Зяблицева с некоторых пор одетым неизменно в костюме и в пальто. Такое повелось за ним почти одновременно с календарным наступлением весны,

и именно это поражало знавших Зяблицева многие годы. Раньше наблюдалось как раз обратное: попавшаяся навстречу фигура в свитере как бы возвещала знавшим ее, что двенадцатый час зимы пробил, что тепло грядет, и это, несмотря даже на продолжавший лютовать холод, вселяло в сердца бодрость и уверенность. Нынче же все словно с осей соскочило, и особенно пугающим моментом в этой истории являлось то, что весна в этом году выдалась на диво ранняя и дружная. Вхожие к Зяблицеву художники, их жены и подруги в разговорах теми или иными словами, со смешками или серьезно, выражали опасение, мол, если нынче и не будет конца света, то тепла уж точно не будет — и это при столбике ртути, поднимавшемся в иные часы первой половины марта до десятой отметки выше нуля, при повсеместном и бурном таянии снега, при оглушительном гвалте птиц, почуявших тепло!..

Не странно ли, что такие явные приметы и особенно изменившееся поведение птиц, чувствующих природные процессы, кажется, так хорошо, как никто, значили для людей, знавших Зяблицева, куда меньше, чем перемена в его поведении? Не странно ли, что какой-то художник, вдруг изменивший своей многолетней привычке одеваться, затмил этим поступком в глазах некоторых, прямо скажем, солнце, пришедшее, и причем в обычное свое время, топить в нашем городе снега и уничтожать стужу? Почему людям первым делом вздумалось усмотреть за переменой в одежде знакомого художника какое-то неясное, но тем более тревожащее, дурное предзнаменование общего толка, а не сбой в его собственной жизни? — бог знает, а только так оно было. Неужели, спрашивается, человеку легче предположить нарушение в ходе мирового порядка, чем в ходе единичного существования, чем в том, что этот самый Зяблицев вдруг окажется неспособным работать, писать, творить?!.

А как раз это-то и случилось. Это скорее даже стряслось, пришло будто бы и впрямь извне, обвалилось, придавило Зяблицева; ибо раньше, еще буквально за неделю, он и заподозрить *такого* не мог, он о возможности *такого* никогда не думал, подобная мысль просто не посещала его, не существовала. Сколько Зяблицев ни копался в своем прошлом — которого, впрочем, как бы и не было, ибо все оно состояло из одной только работы, работы и работы,—он не мог отыскать малейшей подобающей причины, которая была бы способна привести к столь сокрушительному результату. Естественнее и прежде всего было предположить напасть внешнюю — как зараза, как болезнь. Так объяснял себе в первые дни отчаяния сам художник, и потому не стоит, может быть, уж очень дивиться факту, что и люди, знавшие его, приняли перемену всего-то навсего в его одежде именно как знак и весть о чем-то надвигающемся на всех и недобром. Правда, Зяблицеву удалось вспомнить, что несколько времени тому назад, под вечер, он испытал сильный озноб, лихорадку, но убил ее продолжением работы, которой был захвачен, и сном. А посему свалил тогда все на сильное нервное возбуждение — опять же от работы,— на нетерпение скорее завершить то, что и так в высшей степени удачно завершалось. Больше никаких болезненных симптомов не было — по крайней мере телесных. Опереться оказывалось не на что, и оставалось только изумление, бешенство и отчаяние.

Для непосвященного случившееся с Зяблицевым, конечно, ничто, сущий пустяк: ну, рисовал человек, ну, перестал рисовать, и что ж? Руки-то у него не отсохли, ноги не отнялись, удар не хватил, да и стены стоят по-прежнему прочно и как ни в чем не бывало; все вещи в мире на своих местах — где катастрофа-то?! Да в том-то она и есть, что все вещи — на *своих* местах, а не на тех, которые определяет им художник, и безраздельно один он! Большой он талант

или нет, в любом случае он величайший эгоцентрик и тиран, самозваный помазанник и демиург. Он никогда не находится на неизменном расстоянии от предметного мира, и, когда ему, художнику, надо, когда приспевает момент, он — кто уж там определит его выбор — приближает ту или иную вещь: пейзаж, керамическую хреновину или человека, все, что ни на есть, к себе. Если она нейдет сама, он лезет из сил, но тащит ее к себе, заарканивает и тянет. Зяблицеву, например, не раз приходилось, не замечая времени и дороги, бежать за каким-нибудь поразившим его воображение существом, умолять не отказывать ему и непременно прийти позировать. И тут уж никакие соображения приличия или опасности не могли охладить его. Доходило до совершенно искренних с его стороны угроз о самоубийстве и до драк с мужьями. Бывало, что дюжий родитель какого-нибудь ребенка спускал этого настырного типа в заношенном свитере вниз по лестнице и бросал вслед ему оскорбления, клеймя чем-нибудь вроде «гнусного извращенца». Иногда заваривалось столь круто, что проходилось давать объяснения в милицейских участках и оставлять на память блюстителям порядка фантастичнейшие протоколы. Всякое бывало — но все было одним: упоением работы и счастьем.

Теперь же все предметы от Зяблицева словно отпрянули, словно вырвались наконец из плена и разбежались по своим местам — туда, где велели им быть Бог и природа. Дерево вернулось и вонзилось корнями в почву, женщина и ребенок — под кровлю, к очагу, в семью, облака и звезды в противную недосягаемую высь — перечислять можно было бесконечно. Да что предметы!— сами картины, писанные и рисованные его же, Зяблицева, рукой, тоже отпрянули и ушли в одну фактичность своего бытия, стали картонными или бумажными листами такого-то формата, куда нанесен столько-то миллиметровый слой различных красок, угля или графита, в такой-то последовательности и пропорции! Ничего не стало, кроме этих предметов и расстояния до них от человека, стоящего тоже на своем месте. И беспомощность, и невозможность что-либо поправить! И отчаяние от этого — сначала буря бунтующих чувств, а потом затишье оскорбленности, словно оскорбленности ребенка, увидевшего вдруг, что мир преспокойно существует и без него, и может чудно этим обходиться, и уж тем более ни в чем ему не подвластен.

Конечно, для пущей наглядности сравнить состояние Зяблицева с состоянием вдруг возросшего мальца можно; но дело-то в том, что дело было совсем не в этом. Зяблицев ни за что бы не признал, что переживает так называемый кризис роста,— при всей сумятице, творившейся в его существе, такая догадка даже не шевельнулась. У него не произошло переоценки взгляда на прошлое творчество, нет — картины, рисунки, даже превратившись из собственных, родительски любимых детищ в безапелляционный и неприступный факт, по-прежнему нравились ему; по крайней мере он не знал ничего лучшего в этом роде. А когда, на какие-то счастливые, послабляющие доли мгновения, ему удавалось прорваться за эту фактичность, он даже испытывал изумление и ужас благоговейные перед тем, как это он, нынешний, мог раньше создавать такое.

Заявить, что Зяблицев потерял веру в искусство, в необходимость его существования, тоже невозможно — ничего такого он не терял. Почему же вдруг, ни с того ни с сего это случилось с ним, и именно сейчас?! Без видимой причины! Предположить, что это ушел талант, даваемый не иначе как вместе с жизнью, то куда он девался, и почему осталась совершенно невредимой жизнь?..

И вот Зяблицев переоделся. Он, единственный над собой судья, поступил точно так, как поступают при разжаловании офицеров — с них срывают погоны и отнимают форму. Как еще можно разжаловать? Одного приказа явно недостаточно, как недостаточно и одного сознания самого претерпевающего разжалование. Требуется жест, и тогда действительно — конец.

Но у Зяблицева при переоблачении рассудочность не играла ни малейшей роли, и это только к чести его как художника. Тут было одно яростное ощущение невозможности оставаться внешне прежним, ничего не создавая, не работая. Расшибиться лбом о стену было немного рано, а действие решительного порывания и прощания было нужно.

Зяблицев сорвал с себя свитер, всем торсом, лицом ощутив цепляющуюся, дорогую колючесть ворса, сплюнул налипшие на губы волоски, подержал вещь в руках, в злобе швырнул ее на пол и начал топтать. Затем, опомнившись, прекратил, поднял и, не отряхивая, бросил на кровать. Он еще несколько секунд смотрел на уже бесформенный ком связанной пряжи и направился к стене снимать с плечиков рубаху и костюм.

Вот тут-то для Зяблицева и началась сущая мука. Целыми днями он болтался по улицам — до темноты, допоздна, страшась возвращаться в свой подвал еще при свете дня. И только в сумерках приходил он домой, не включая света, на ощупь и проклиная многочисленные пуговицы, не поддававшиеся закоченевшим пальцам, раздевался, вешал свое «арестантское» одеяние на плечики — делая это, однако, чрезвычайно тщательно и бережно, делая это наверняка с той же смесью бережности, брезгливости и ненависти, с какой, возвратясь к себе, разведчик снимает мундир неприятельской армии, в котором пробыл весь день,— и валился в постель, накрывался одеялом и принимался ждать сна.

Первое время, на его счастье, сон приходил быстро, милостиво — возможно, сказывалось кислородное отравление, полученное во время длительных прогулок на воздухе,— и продолжался без сновидений до позднего утра, иногда до полудня. Зяблицев намеренно убивал время — очнувшись, он, сколько еще мог, валялся с закрытыми глазами, надеясь, что, может быть, снова провалится в забытье. Но когда становилось ясно, что сонливость улетучилась полностью, вскакивал, как дикий, скорее бежал умываться, надевал костюм и пальто и, будто угорелый, вылетал из своего подвала.

На улице он упорно избегал любого транспорта и таскался пешком, куда глядели глаза, а вернее, никуда не глядя,— топал и топал, надеясь единственно изнурить себя ходьбой, чтобы, возвратившись, спать, не просыпаясь, и дальше.

Однако вскоре ходьба перестала действовать как снотворное. Тот образ жизни, который Зяблицев вынужденно повел, был с точки зрения медицины очень здоровым и привел в конце концов лишь к тому, что Зяблицев недели всего за две после целых годов беспрерывной работы и затворничества необычайно окреп телесно. Но то было, если так можно выразиться, болезненное здоровье. Прогулки не столько оздоровили Зяблицева телесно, сколько выпустили, так сказать, на волю, распустили одно только тело с его животными потребностями. Короче, Зяблицева стали изводить голод и похоть. Конечно, обвинять Зяблицева в этом нельзя — никакой природной его низости здесь не было: просто он был еще молодым человеком, угодившим безоружным и беззащитным в мартовское брожение. Ибо раньше, за работой, он не замечал не то что смены времен дня и года, но и своего паспортного возраста.

Ну, да от подобных сторонних оправданий ему не сделалось бы легче. Ладно, голод желудка еще можно было удовлетворить без особых трудностей и ухищрений — в своих мытарствах по городу Зяб-

лицев не пропускал теперь ни одной забегаловки, ни одного ларька, торговавшего снедью, и набивал себе нутро без разбору всем, что подворачивалось: он мог заесть порцию пельменей бифштексом или шницелем, а пряную селедку запить молоком — вкуса не разбирал.

Но как было утолить голод плотский?.. Тут были бессильны и транквилизаторы, и снотворные таблетки, которые он начал поглощать в таких количествах, в каких дети, дорвавшись,— леденцы и другие мелкие сласти. Он ел эти штуковины, можно сказать, на десерт и добился только того, что едва не каждую ночь видел во сне отчетливые, яркие, самые бесстыдные и подробные эротические картины. В конце концов ему стало ясно, что точно так, как не утолить голода одним воображением кушаний — это только хлестче распаляет аппетит,— так не побороть и похоти самыми невероятными сексуальными сновидениями.

Признаться в этом себе было ох как тяжело, а еще тяжелее начать действовать. Весь ужас и срам заключался в том, что Зяблицев никогда не был сластолюбцем и уж тем паче «мартовским котом». У него, конечно, бывали женщины, но они всегда появлялись как-то само собой и в непременной связи с его творчеством. Если не считать одной давней юношеской влюбленности, все те женщины были натурщицами, причем натурщицами добровольными.

А теперь, что было делать теперь?! Если еще месяц назад, в обтерханном свитере, со своим откровенно богемным видом, не требовавшим никакого дополнительного аусвайса, Зяблицев мог запросто подойти на улице к любой женщине, поразившей его воображение, и начать уговаривать ее пойти к нему позировать, то сейчас он был на такое не способен. И опять же — в эдаком-то виде! в пальто, в костюме-тройке — кто ему поверит?! Обманывать столь постыдным способом какую-нибудь незнакомку и, главное, себя было чертой, которую он, даже в теперешнем отчаянии, не мог преступить. «Пойдемте, я хочу — или, нет, мне надо вас нарисовать!» — о, какая издевка над собой, и поразительно, как двусмысленно и мерзко зазвучала бы, слети она с языка сейчас, эта фраза. Та самая, которую он столько раз произносил смело, открыто, без задней мысли, иногда с улыбкой, и ему давали согласие. Да, но ведь тогда-то он ходил в свитере, а нынче — это... Будь оно проклято и вместе с ним матушкино радение!..

Все существование Зяблицева наполнилось враз каким-то отравленным, извращенным значением. Кругом ему виделись двусмысленность и насмешка, всюду поджидали, зазывали, обращали на себя внимание похабные намеки: казалось, не только в нем самом, но и в мире не осталось ничего, кроме пищеварения и сладострастия. Так как он целый день проводил вне дома и при этом практически непрерывно ел и пил, то, естественно, ему пришлось узнать не только неведомые ранее точки общепита, но и другие многочисленные, как благоустроенные, так и дворовые заведения публичного пользования. И они-то и стали для него самым низом преисподней его падения потому, что со стен там смотрели и кричали ему о его разжегшейся и неудовлетворенной похоти скабрезные рисунки, выполненные дрожащими руками прыщавых подростков. О, какая это была насмешка над ним, который «тоже» рисовал и у которого, как и у многих художников, графические ню занимали добрую часть листов! Зяблицеву казалось, что эти изображения глумятся над ним и говорят ему: «Вот единственное, на что ты теперь со всеми твоими умениями годен! Вот что тебе надо изображать теперь! Вот где твое нынешнее поприще! Ты должен показать этим молокососам, как надо такое рисовать!» Зяблицев в ужасе и бешенстве бежал от одного такого места с тем только, чтобы через некоторое время быть вынужденным посетить другое. Казалось ему, козлоногий охальник водит его за нос по городу и искушает, все время утыкая лицом в тупиковую стену лабиринта его отчаяния, а со стены красовалась все та же дрянь.

Однажды вечером, возвратясь домой, он зажег-таки свет, но на бывшие свои произведения не взглянул, а в припадке злобного самоуничижения, намеренно тщательно укрепив ватманский лист на наклонной доске, с трепетом святотатца стал набрасывать на белизну листа виденные за день настенные гнусности. Карандаш его едва, на ощупь прикасался к бумаге, оставляя еле видимый след, и тотчас, будто в оторопи от содеянного, отскакивал назад — будто тотчас отрекался, каялся и причитал: «Не я, это не я, бес, бес меня водит!» Но только лишь возникло более или менее отчетливое изображение, Зяблицев, с отвращением, в неистовстве сорвал лист с кнопок, изодрал в клочки, но, не останавливаясь и на этом, бросился к печи и сжег обрывки в пепел. Затем он кинулся на постель и, вцепившись зубами в подушку, молотя по ней кулаками, затравленно застонал, завыл. «Все! — решил он.— Это последний такой день. Завтра же, завтра же!.. Нет — сейчас, сию минуту!..»

Тут бы кстати было художнику если не припомнить, то узнать фрейдовскую теорию сублимации и не убиваться, не бичевать себя этак-то, но вряд ли бы теории помогли ему.

Он вскочил, вырубил свет, вернулся на койку и стал думать, кого ему к себе затащить, с кем бы это было реальнее и проще всего. И, разумеется, первыми вспомнились прошлые натурщицы, а вскоре из них выделилась та, самая по времени последняя, которая после окончания сеансов и того, что случалось иногда в промежутках между ними, настаивала на продлении именно тех, побочных отношений, а он наотрез отказал. Тогда он был занят уже другим — большим пейзажным полотном — и ни о каких женщинах и вообще ни о каких помехах слушать и думать не желал, не мог.

Он вновь бросился к выключателю, озарил комнату непомерно ярким светом многих мощных ламп, необходимых в любое время для нормальной работы в полуподвале, и сначала нашел глазами тот самый пейзаж, оставшийся незаконченным. Это была последняя его вещь, и было то полтора, нет, уже два месяца назад — уже столько времени он ничего не делает! Ужас, ужас!..

С усилием оторвав глаза от картины, он принялся рыться среди груд и кип бумаг и картонов, перевернул весь свой драгоценный хлам в погоне за изображениями той натурщицы. Вот, вот они — одно, два, десять, двадцать — боже, сколько! Вот она сидит, стоит спиной, вполоборота, лицом, вот полулежит, и все позы такие стыдливые и целомудренные, будто вовсе не могут предполагать того, что все-таки было в промежутках между созданием этих самых листов. Как далеки были изображения этого нечто, этой одной чистой формы, контура от тех сатанинских карикатур на беленых стенах! И в чем это чудо крылось, что делало здесь невозможной и кощунственной мысль о какой бы там ни было утробности и чувственности? И тем не менее Зяблицев отмечал про себя, что ищет такой рисунок, где бы на возможность плотского зуда содержался хотя бы намек.

Таковых не было, и потому несчастный художник чувствовал, что то странное действо, каким он был сейчас поглощен,— попытка узреть сексуальность там, где она ранее переводилась вдохновением в возвышенный, чистый эрос,— это действо было опять извращением, опять плевком в себя, в самые основы своего дара! «Ну и пусть, черт с ним, гори все в аду!..» — воскликнул про себя Зяблицев, близкий к восторгу саморазрушения.

Оставив наверху один лист с изображением натурщицы, остальные же запихнув подальше с глаз, он снова принялся ворошить — теперь уже все свои бумаги, отчаянно надеясь раздобыть и не допуская мысли о другом исходе,— ту записку, которую однажды, возвратясь откуда-то, обнаружил в дверях своего подвала и в которой была мольба той самой натурщицы о новой встрече и ее домашний телефон. Тогда, пробежав записку краем глаза, он тотчас бросил ее где-то, а теперь благословлял свою привычку ничего подолгу не выкидывать и единственно на нее уповал.

Записку он в конце концов обнаружил и, бросив взгляд на часы — была половина одиннадцатого,— выскочил на улицу добежать до ближайшего автомата. У аппарата была оборвана трубка. Пришлось Зяблицеву преодолеть в слабо рассеиваемой редкими фонарями темноте еще с полквартала вверх по переулку. Там его ожидала другая мелкая неприятность: телефон помещался не в застекленной отграниченной от окружающего будке, но гнездился в эдаком металлическом скворечнике, под козырек которого звонившему нужно было нырнуть,— практически на открытом воздухе. Правда, место было безлюдное и час уже поздний.

Зяблицев сорвал трубку, послушал непрерывный гудок исправности, высунувшись из железной ниши, зыркнул по сторонам — будто кому-то могло быть до него дело, будто кто-то мог его пресечь! — и стал по мере приближения к концу номера все быстрее и решительнее накручивать диск. Сердце колотилось, как у подростка, впервые отважившегося заговорить по телефону на сердечную тему с существом противоположного, непостижимого, головокружительного пола. За то время, пока звучали сигналы вызова, во рту пересохло. Раздался сухой щелчок, сложная автоматика, для которой люди со всей их незамечаемой или лелеемой непохожестью существовали лишь как различные комбинации одних и тех же — пусть и магических — чисел, установила связь, но монетка в щель не провалилась — приемник был, очевидно, переполнен. Зяблицев же судьбы монетки не заметил — стоял, напрягшись, обхватив микрофон обеими руками и вплотную пригнув к нему голову — будто намеревался вгрызться в этот синтетический плод.

«Алле! Ольга? Ольга!.. Это — Зяблицев, художник, да, художник, да, решил... Ты оставила телефон... Вот, я звоню... Мне очень нужно тебя видеть, очень!.. Да, надо... Нет, говорю, надо... ну и хочу, конечно!.. Приезжай, можешь прямо сейчас, можешь на такси? Что?! Болеешь? Чем?.. То есть как — кем?! Заразилась, что ли? Грипп, да — грипп? Почему не можешь по телефону? Ну, я сам приеду, скажи точно адрес, адрес скажи!.. Почему это лучше не стоит? Зачем с утра, какая разница! Что?! Почему говоришь «не могу отказать, но пожалеешь»? Да что там такое, нет — я приеду! Да, обязательно сейчас! Ты одна? Что, всегда одна?.. Н-н-да, ну брось... Называй адрес, называй, называй, говори. Все — записал, жди!..»

Через полчаса, встретив его на пороге своей квартиры, она, с лихорадочно блестящим взглядом, с отечными полукружьями под глазами, оглушила его известием, что беременна его ребенком — да, именно его, сомнений быть не может; а еще после получаса их объяснения— ее односложного отказа на его мольбы сделать, пока не поздно, аборт, его почти истерического крика о том, что она губит его этим как художника, что ему не нужны сейчас никакие дети, и после ее твердого заявления, что ребенок будет не его, а ее, что родит она его сугубо для себя, ибо потом в ее возрасте и с ее здоровьем может оказаться поздно, дальше тянуть некуда, он, раздавленный, ошеломленный, плелся пешком сквозь уже настоящую

теплынь апрельской ночи в наглухо застегнутом костюме и в расхристанном пальто.

«Дьявол, дьявол! — думал Зяблицев на ходу,— черт меня дернул бежать именно к ней! Ничего бы мог не знать!» Любопытно было бы подсчитать, сколько раз за последнее время художник мысленно и вслух помянул имя господина преисподней. Любопытно было бы показать художнику этот подсчет и посмотреть на его реакцию! Может быть, он поразился бы синонимическому богатству своего словаря.

Добравшись в конце концов к себе, Зяблицев впервые за многие дни принялся основательно топить печь и, сидя на корточках, непрерывно дымя папиросами, до утра смотрел в огненный омут, увлекающий взор и уничтожающий мысли, и только с появлением сверху, из высоких узких оконец, серого света лег и в небывалом тепле и уюте уснул колодным сном человека, признавшего полное свое поражение.

Всю следующую неделю Зяблицев был поглощен переживанием этой — новой — неприятности, которую воспринял как настоящую беду. Поговорки: «Беда не приходит одна», «Пришла беда — растворяй ворота» и другие, близкие им, конечно, крутились в его мозгу и вытесняли мысли, заменяли их. Зяблицев не мог представить себя родителем живого существа, он противился такой возможности изо всех сил, он пытался задушить ее, выбить из головы. Однако теперь, когда он ничего больше не создавал сам и носил приличный костюм, сделать это было бесконечно трудно, ибо, сколько бы он ни противился, костюм и безделье заставляли его чувствовать, что он стал всего-навсего молодым мужчиной такого возраста, к которому люди уже обычно имеют детей, к которому просто положено обзавестись потомством. Изумляло Зяблицева и то, что за столь ничтожный срок — буквально за один вечер — он в самоощущении превратился из подростка, изнывавшего от проснувшегося сексуального вожделения и не знающего, где, с кем его удовлетворить, в какого-нибудь командировочного, случайно узнавшего, что от его мимолетной гостиничной связи, подробности коей давно стерлись в памяти,— от этой связи где-то в мире зреет человеческий плод, новая жизнь, его собственное будущее чадо! Ему казалось, что трансформация эта, как и само зачатие, произошла в беспамятстве, во сне, в ином измерении, на другой планете. И тем не менее все это имело место здесь, в городе — в нашем с вами городе,— и наяву.

Это было непостижимо, это грызло Зяблицева изнутри, однако нашелся и сугубо внешний раздражитель — в том месте, где соприкасались длинные и неухоженные волосы бездеятельного художника и жесткие воротники его пиджака и пальто. Да, да — без всякого смеха! Волосы там загибались, распатлывались, постоянно давали о себе знать и заставляли то одну, то другую руку едва ли не ежеминутно нелепо вздергиваться и поправлять их, что, впрочем, ни к чему не приводило. Из костюма Зяблицев вылезти уже не мог, самым нелепым и сверхъестественным образом страшась, что вынужден будет ходить нагишом. Оставалось обрезать волосы, но и для этого незначительного шага Зяблицеву в его теперешнем состоянии требовалась решительность едва не геройская. Нужно было отважиться переступить порог парикмахерской, этого еще одного общественного места,— о, сколько их уже вторглось в жизнь бывшего художника и именно своей публичностью, уравниловкой изводило его! — ведь раньше раз в полгода, а то и в год лохмы Зяблицеву подравнивали все те же натурщицы и жены приятелей-художников. Но теперь он выпал из их строптивого братства. В конечном итоге мужество требовалось Зяблицеву не для приятия того или иного из

прейскурантных фасонов стрижки, а для финального признания своей нынешней отчужденности не только от искусства вообще, но даже и от живых его людей. И естественно потому, что Зяблицев оттягивал посещение цирюльного цеха — тянул, сколько мог. Ему ничего не стоило бы обкромсаться и самому, если бы такое вдруг понадобилось еще во время вдохновения, творчества и ношения свитеров, но теперь положение, то есть костюм, обязывало...

Тем временем наступили и прошли первомайские праздники — все, в этом году было аж четыре выходных дня. Не стоит напоминать — ибо наши жители еще не успели забыть,— какой неприятный сюрприз подготовила к этим дням погода. Правда, сейчас некоторые сомневаются, одна ли погода была виновата в том,— однако после...

Среди всех полутора миллионов жителей нашего города, страдавших от неожиданного холода и баснословного снегопада, мизерная кучка людей, знавших Зяблицева, наверняка — если не реально, то мысленно — пожала друг другу руки: они, мол, заблаговременно, вон еще когда отгадали смысл этого невиданного восклицательного знака — Зяблицева в костюме и пальто в начале бурной весны!.. Однако какой бы проницательностью, даже модной экстрасенсивностью ни тешились сейчас (ибо нужно было ведь противопоставить что-то свое, человеческое и объяснительно-утешительное внезапному атмосферному катаклизму) эти люди, они продолжали вести свое обычное, прежнее существование, а Зяблицев, видя снег на изумрудной зелени ранней листвы, видя белое небесного происхождения в соседстве с белым цветком диких груш и обоняя смесь запаха снежной свежести и тончайшего аромата грушевого цвета, снова и снова переживал свою художническую беспомощность.

Вероятно, снег, заваливший город и всю зеленую природу на майские праздники, решительно подтолкнул Зяблицева к входу в парикмахерскую. Небо толкнуло постричься!.. Смейтесь, но для несчастного так и было. Если рассматривать перемены, происходившие с Зяблицевым, в некоем символическом ряду, то его добровольная сдача на милость парикмахерши выглядела бы чем-то вроде пострижения в монахи — и не столько из-за того, что простыня, накинутая поверх костюма, несколько напоминала сутану, сколько потому, что за последнюю неделю бесовский пламень похоти сник, уступив место полнейшему безразличию к женщинам. Даже беспрерывные профессиональные прикосновения — то руками, то грудью, то животом — колдовавшей над ним мастерицы волновали его не больше, чем волновали бы прикосновения заводного робота.

Сидя в жестком кресле, закутанный в простыню, Зяблицев впервые за годы и годы — ах, сколько появилось этих «впервые» в течение каких-то двух месяцев! — получил возможность, а точнее, оказался вынужден долго, неотрывно рассматривать себя в зеркало. Гнетущим было впечатление от этого длинного лица с нижней его частью, скрытой под темной щетиной, со ртом, красневшим на ее буром фоне, как большая, плотно стянутая рана, с довольно незначительным, хотя почти прямым носом, с глубокими носогубными складками, с выступающими рдеющими скулами и с сильно, прямо глядящими, так и бьющими из-под бровных дуг глазами. Зяблицеву не нравилось это лицо, он бы не стал писать с такого лица портрет, и тем не менее, кроме как на это изображение в резной и фальшиво золоченой раме, смотреть было некуда.

С уничтожением гривы лицо это только отчетливей выступало на свет в своей жесткой разоблаченности и неприятности — лицо бывшего художника и будущего отца ребенка! Смотри, смотри, каково оно, гадай, какие из этих ломаных черт достанутся потомку, который пока что безлик, плавает слепой рыбкой в утробных водах и дышит там жабрами!..

Представив это, Зяблицев едва не передернулся, но вцепился обеими руками в подлокотники и удержался в прежней неподвижности — и хорошо сделал, ибо наверняка получил бы порез ножницами. Чтобы такое не повторилось, чтобы не видеть себя в зеркале и вообще ничего не видеть, Зяблицев прикрыл глаза и, дабы случайно не задуматься в темноте, возникшей по ту сторону век, стал вслушиваться в болтовню, которой развлекали себя за работой все три парикмахерши мужского зала:

— Ну, я и говорю ему,— пищал над клацаньем ножниц и стрекотом машинки тоненький голосок из угла,— ты дождись, пока снесут дом твоей бабки, получи там, в Красноярске, квартиру, обменяй ее на здешнюю, а уж там, пожалуйста, разводись со своей мегерой и давай съезжаться. А то куда? У нас с матерью, сами видели, табуретку лишнюю негде пристроить, не то что целого мужика...

— А он что? — прогудело на низкой грудной ноте от соседнего кресла.

— А что он? Смеется, говорит, теперь квартиры не видать лет пять, по крайней мере.

— Почему это? Ведь ты вроде говорила, в следующем квартале запланирован снос...

— Да и я ему то же самое.

— Ну, а он?..

— Он говорит, теперь в том доме поселят какую-нибудь семью пострадавших.

— Откуда он знает?

— А он у меня все знает, он такой, ему положено.

— Да брось, зачем с Украины их в Сибирь потащат, чего из таких-то краев они в тайгу ринутся, в ссылку, что ли?

— Ринутся как миленькие. А если и не сами, то их отправят. Шутка ли — столько эвакуированных, и все из одного места. Не у всех ведь родственники там же, на юге где-нибудь. Да если и есть, не поедут к ним, точно говорю, они теперь побоятся на юге жить. Им чем дальше от этой проклятой станции, тем лучше. Из Киева как бегут!..

— А далеко эта самая Чернóбыль или Чернобы́ль, не знаю как правильно, от Киева? — раздалось над самым ухом Зяблицева, и он невольно раскрыл глаза посмотреть на этих теток, говоривших о чем-то, известном, видимо, всем, раз уж было известно им, но о чем он ни сном, ни духом не ведал. Он даже чуть-чуть повернул голову в сторону, откуда предполагал услышать ответ.

— Да километров сто, говорят,— отвечавшая полная парикмахерша с низким голосом стояла к Зяблицеву спиной и говорила, не отрываясь от бритья своего клиента.

— А от нас атомная станция еще ближе! — с воодушевленным испугом взвизгнула из своего угла та, которая не желала без гарантии жилплощади съезжаться со своим другом.— Если там грохнет, нам всем сразу каюк!..

— Точно!

— Страх, девки, страх! Живешь, живешь и не знаешь... теперь каждый день жди!..

— Понастроили этих станций, энергии им, видите ли, не хватает, вот и...

— И названия-то все какие-то... Там — Чернобыль, тут — Белоярка!.. С вас рубль тридцать, нет — в кассу, там, в передней...

— И, главное, взрыв-то был двадцать пятого, а объявили по радио когда...

— Нет, взрыв был в ночь на двадцать седьмое, я в газете читала.

— Ну, все равно... Ты думаешь, только нам с таким запозданием сообщили? Им тоже! Убей меня, им тоже!..

— В Чернобыле, что ли?

— И в этой... как ее...

— В Припяти?

— Во-во, в Припяти.

— Представляю, что они почувствовали.

— Да взрыв-то был слышен и виден, ядерный ведь! Ужас какой, господи! Дождались наконец... Все за мир боремся, а у самих...

— Нет, взрыв был обыкновенный, только выброс — радиоактивный.

— А-а!.. Все равно — смерть...

— Ну, не всем ведь... Два человека, говорят, погибло сразу, и восемь пожарников, что тушили, в тяжелом состоянии, сообщали, наверное, не поправятся...

— Где там поправятся! У нас, жди, скажут правду. Погоди с годик, нет, хотя бы с месяц — и узнаешь, сколько на самом деле.

— Никогда не узнаешь. Кто посчитает? Лучевая болезнь. Вон, в Хиросиме, до сих пор мрут...

— Вчера мне Лелька-врачиха говорила, за дежурство — восемь вызовов к детям из Киева.

— Ну, не с лучевой же болезнью!

— Ну, нет, конечно, с простудами, с ангиной, с животом, как у детей бывает... Да ты все равно прикинь: восемь вызовов у одной участковой, за-а день!

— А-а! Ко всем не перебегать...

— Ну вот, теперь вы прямо жених!

Зяблицев, поглощенный прислушиванием к этому разговору о небывалом, не сразу сообразил, что последние слова относятся к нему, а уразумев наконец их смысл, вздрогнул, поспешно поднялся, выложил в кассе названную парикмахершей сумму и, даже не взглянув напоследок в зеркало, как в чаду, вышел на улицу.

Голову непривычно холодило, но он не обращал на это особого внимания — он искал глазами газетный ларек и крутился среди знакомых зданий, как человек, неожиданно и грубо разбуженный посреди глубокого сна. Наконец он сориентировался и кинулся по улице в ту сторону, где, помнил, за углом находился киоск Союзпечать. На бегу, боковым зрением он ухватил медленно, на костылях удалявшуюся под арку дома фигуру одноногого инвалида, и, хотя он видел согнутую спину калеки всего долю мгновения, что-то поразило его. Продолжая бежать, Зяблицев все пытался дать себе отчет в том, чем именно инвалид поразил его; это было каким-то образом, несомненно, связано с услышанным только что в парикмахерской — но как?.. Да... вот оно что! Этот, здешний калека стал таким уже давно; он перемучился когда-то, а теперь привык сам и стал фактом обыденности для других, вписывался во все окружавшее, в ту самую арку столь нормально, столь естественно, будто так и должно было быть, будто несчастья никогда и не было! А те, как утверждали парикмахерши, на Украине?! Они, и целыми тысячами, только вступали в полосу своего горя, только начинали претерпевать; но их катастрофа была еще не явной, они еще не начали телом, собственной шкурой ощущать губительности случившегося, их организмы функционировали еще, как прежде. Ландшафт, весь тот мир, если парикмахерши не напутали и взрыв действительно был не ядерный, визуально оставался прежним; и тем не менее каждый тамошний житель был вынужден перестать верить глазам, всем органам чувств и сдаться

одному лишь ужасному сознанию — непоправимости, необратимости!.. Они должны были страшиться сделать лишний вдох, случайно попасть под теплый ливень, бездумно, по привычке, сорвать и отправить в рот какую-нибудь ягоду черешни или вишни, которые росли в тех краях в таком же изобилии, как здесь черемуха и рябина.

Не умея думать расчлененно и логически, Зяблицев не формулировал всего этого, но представлял чередою ярких, как вспышки, отдельных картин. Для того чтобы начать представлять такое, оказалось достаточным прислушаться к болтовне парикмахерш! Появись в этот момент возле Зяблицева доброжелательный ортодоксальный критик, он, быть может, сумел бы убедить потерявшего вдохновение и работоспособность художника в том, что надо больше и чаще бывать с народом, быть ближе к нему, именно из его неиссякаемого источника черпать это самое вдохновение. Но такого критика не было поблизости, а сам Зяблицев, будучи не приучен анализировать, не смог сделать напрашивающегося вывода и потому бежал к газетному киоску, чтобы типографской полосой проверить истинность молвы; спешил удостовериться в этом через государственный голос — через тот, который, по утверждению той же молвы, объявил о катастрофе с громадным запозданием!.. Уже деревья успели дать лист и цвет, уже непомерный, налетевший вдруг снег начал вновь таять — а может быть, может быть... то... и снег здесь связаны самым прямым образом?.. да нет, вряд ли...— а верховные власти все хранили молчание, хранили тайну, будто это было их собственным секретом!.. Уже будущий ребенок успел подрасти и достиг в животе стадии рыбы или, чего доброго, уже оставил ее позади... Нет! К дьяволу эти думы! Есть, есть, появилось-таки наконец то, что может изгнать, затмить, придушить мысли о ребенке! Равно как, хотя бы на время, притупить муку творческой немощи.

Киоск, до которого Зяблицев наконец добежал, оказался закрыт на перерыв. Зяблицев потоптался возле будки, выглядывая свежие издания, посмотрел на часы, но в нетерпении не стал ждать пятнадцать минут, оставшиеся до открытия, а, вскочив в трамвай, поехал в центр. Лет шесть или больше того он не раскрывал газет, а приобретал их лишь время от времени — бывало, штук по двадцати враз,— чтобы обворачивать или завешивать ими что-либо из своей художественной продукции, дабы не пылилась и не отвлекала внимания, когда он был занят созданием нового; или застилал газетами пол своего жилища, чтобы не затаптывать, не заляпывать красками и — главное — чтобы не тратить времени на приборку и мытье. Годами он без разбору наступал ногами на фотографии космонавтов, руководителей государства, других политических деятелей — отечественных и зарубежных,— героев труда и звезд спорта. Известия о смерти лидеров партии, как и сообщения об избрании новых, проходили для него незамеченными, и, только сдирая и сгребая с полу эти пришедшие в негодность импровизированные половички для замены их свежими, он, возясь с каким-нибудь прилипшим листом и становясь для этого на колени, пригибаясь вплотную, иногда с изумлением прочитывал, что страной руководит уже другой человек. Зяблицев сносил на помойку целые вороха оттиснутых четко черным по белому новостей о войне одного государства с другим, о переворотах, об установлении или разрыве дипломатических отношений; в мусорный бак уходили, оставшись без внимания, страстные очерки на судебные, нравственные и бытовые темы, самые пламенные дискуссии о сохранении памятников архитектуры и природы вообще, о вышедших в свет книгах, о звездах эстрады. Можно сказать, весь мир со своим скрежетом злободневности и насущности лежал у его ног и невольно попирался им — раньше! А нынче все поменялось местами, и мир,

запечатленный на газетном листе, находился как бы в вышине, вне достижимости без приложения специального усилия. И вот Зяблицев ехал на трамвае в центр города специально за газетой, с тем, чтобы приобрести ее и прочесть!..

Железный вагон гудел от обсуждения, все говорили об одном. Слышались самые противоречивые и дерзкие предположения. Одни утверждали, что виновата халатность пьяных механиков, другие, что это просто сила, которую человек открыл, но которой еще не научился управлять, вырвалась из-под контроля и показала, что она такое и каково с нею шутить; третьи стояли на том, что это — несомненная диверсия. Называемое количество жертв прыгало от десятка до трех сотен, прогнозировались еще тысячи; заявлялось, что взрыв был не один, а два или даже три, и это еще не конец; кричали, что эта станция — сплошная показуха к съезду; со ссылками на только что прибывших родственников передавалось, что Киев заражен, а половина населения уже сбежала, что поезда набиты битком, что воду из Днепра, даже после кипячения, пить нельзя, что по всей центральной Украине и в Южной Белоруссии продают водку по старым ценам, в любое время суток и каждый день в неограниченных количествах, что спирт-де выводит радиацию, что улицы Киева пусты от детей и женщин, а шатаются по городу одни пьяные, дорвавшиеся до «родимой» и потерявшие чувство реальности и всякий страх мужики; что взрыв — это ответ самой расейской природы на введение противоалкогольных указов и мер; что больницы все забиты; что люди сдают донорскую кровь, а некоторые — костный мозг, ибо он поражается радиацией в первую очередь; что скоро с заводов и отовсюду станут отправлять в район аварии коммунистов и добровольцев, что туда стягиваются воинские формирования, что с вертолетов без предупреждения расстреливают мародеров, рвущихся, несмотря на смертельную опасность облучения, в оставленные жителями дома, полные добра и особенно золота; что все драгоценности и вообще предметы, которые «щелкают», закапываются в землю, в бетонные мешки; что всю почву в округе будут срезать, переворачивать специальным плутом и прятать под бетонный и свинцовый панцирь; что надоенное молоко заставляют выливать, а всю крупную домашнюю скотину и прочую живность в срочном порядке забивают, и теперь у нас будет много мяса, колбасы и фруктов, о зараженности которых мы никогда не узнаем,— не выбросят же при нашем дефиците столько добра! — и мы все съедим, все проглотим, народ нашего края, во-первых, не устоит перед соблазном изобилия, даже если пройдет слух, что есть нельзя, а во-вторых, Урал вообще всегда за всех отдувается и всех на себе тащит, да и уровень киевской радиации нам не страшен — мы всю жизнь здесь живем с таким уровнем; что это — божья кара неразумному людскому роду, это, как сказано в Апокалипсисе,—звезда Полынь, упавшая на земли и воды, потому что по-украински полынь называется чернобыль...

Зяблицев как бы без цели переходил с одного места в вагоне на другое и слушал, слушал — впитывал. Он не заметил, как проехал нужную остановку, вернее, ту, которую себе наметил, а когда, спохватившись, выскочил из трамвая, то изумился, зачем сделал так,— что могли дать ему официальные сухие сообщения в сравнении с живыми толками и пересудами взбудораженного люда?! Лучше было бы проехать до конечной станции маршрута и послушать еще!

И тем не менее он, словно был каким-то радиоуправляемым роботом, обязанным достичь запрограммированной цели, направился к киоску Союзпечати и приобрел номер «Правды». Из газеты, просмотренной тут же, в сторонке, он узнал о специальной правительственной комиссии по расследованию причин аварии и установлению виновных, о тех экстренных мерах, которые принимаются для ликвидации, насколько возможно, последствий катастрофы, о светиле американской медицины, прибывшем в нашу страну по собственному почину с крайне дорогостоящими лицензионными лекарствами для оказания помощи жертвам взрыва, о донорах, сдавших для потерпевших свою кровь и костный мозг, о руках помощи, протянутых к Чернобылю изо всех уголков страны, и об открытии специального банковского счета, куда будут поступать добровольные пожертвования граждан в поддержку пострадавших и их семей. С усмешкой отметил он то, что правительство, так задержавшее сообщение об аварии, тут же использовало ее как лишний пример в доказательство недопустимости в современной обстановке усиления военной конфронтации и развязывания ядерной войны — «горький урок Чернобыля» должен был послужить лишним грозным предостережением милитаристским кругам Запада и призывом к сплочению всех миролюбивых сил и людей доброй воли.

Особенно же покоробили Зяблицева помещенные где-то в середине, на сгибе газеты — на международной полосе — маленькие, стоящие в ряду других, призванных вроде бы ничем от них не отличаться, заметки о случившихся за последние годы авариях не только на атомных станциях, но и химических и прочих промышленных предприятиях США и Западной Европы. Будто ловко ввернутые и сверстанные сообщеньица эти могли служить оправданием тому, что стряслось на нашей земле, в отечестве, под боком; будто они могли понизить, приглушить и поставить в строй привычных, текущих, сегодняшних явлений то абсолютное, неслыханное и, действительно, ни с чем не соизмеримое, что произошло на Украине.

Наконец, удостоверившись, что больше материалов об аварии в газете нет, Зяблицев свернул ее вдвое, затем вчетверо и не остановился, пока не добился того, что ее можно было полностью упрятать в карман пальто. Покончив с этим, он поднял глаза и посмотрел вокруг. Если бы не слышанные в парикмахерской и трамвае разговоры, если бы не чтение газеты, то ни о чем таком, случившемся, роковом, догадаться было бы невозможно: транспорт двигался исправно, народ вел себя совершенно так же, как прежде, двери кафе были зазывающе распахнуты, из них неторопливо, как такому месту и подобает, выходили поодиночке и парами, от прилавка с газированной водой и мороженым ответвлялись короткие очереди. И тем не менее было ясно, что катастрофа разразилась во всей стране,— это не поддавалось рассудку, сводило с ума!

Вдруг ему вспомнился давний-давний замысел: еще в юности, не научившись видеть в окружающем, повсеместном и ежедневном, значительности и красоты, предмета достойного кисти, он хотел изобразить глухонемого, стоящего под черной — как в кино — тарелкой громкоговорителя, откуда исходит голос, объявляющий войну; или глухонемой заменялся слепцом, который на ощупь бредет по улице, сохранившей свой прежний облик, не разрушенной, не тронутой бомбежками, однако бесповоротно ставшей улицей военного времени. Как было выполнить такое? Зяблицев вспоминал, как бился над проектами и набросками целыми месяцами — замысел казался слишком уж заманчивым, прямо-таки выдающимся и, главное, значительным,— но так ничего и не сделал. Измотав себя, он пришел лишь к заключению, что все это надумано, умозрительно и вообще лежит за рамками изобразительности. Зяблицев не мог перенестись во время давно прошедшей войны и воочию увидеть того воображаемого несчастного — он мог только пытаться представить, но это оказалось невыполнимо и безрезультатно. А нынче?.. Чувствуя, как все внутри

оживает и трепещет, он вновь воззрился на тот участок города, в котором очутился. Попытаться представить, что это Киев — вон, кстати, и верхушки пирамидальных тополей, привитых чудаком-академиком, торчат поверх крыш!.. Нет, нет! Представлять невозможно, не нужно! Нечего впадать в прошлые заблуждения!..

Зяблицев сорвался с места и, уставившись под ноги, пошел, куда эти самые ноги понесли. И все равно мысль, чесотка, раз возникшая в мозгу, уже не могла исчезнуть. Он начал представлять, замыслы зароились. Он воображал почему-то какого-то пьянчугу, сутки или двое провалявшегося в забытье где-нибудь в кустах или в подвале, выбравшегося наконец на свет божий, гонимого жаждой опохмелиться, всеми легкими глотающего — за неимением пока более подходящего вещества — свежий, ясный, губительный воздух безоблачного и сияющего утра и поначалу радующегося отсутствию на улицах милиционеров, обещающих вместо заветного опохмеления — вытрезвитель и штраф, а затем начинающего испытывать недоумение и страх от полной пустынности улиц, от отсутствия всякого признака жизни. Но как было выразить это на полотне, как показать, что блистающий, пронизанный солнцем воздух — мертвящ, когда нет ни намека ни на пожары, ни на разрушения?! Невозможно же прояснять все это подписью под картиной, звучавшей бы к тому же смехотворно — что-нибудь вроде: «Утро чернобыльского алкоголика» или «После вчерашнего». Да и что за нелепость вообще подписи к картинам! Зяблицев всегда был яростным их противником и до хрипоты спорил со знакомыми художниками, утверждая, что живописная ли, графическая ли вещь — все равно — должна исчерпывающе говорить сама за себя, своими средствами, своим языком. На кой черт прибегать еще и к словесному объяснению?! А если не можешь не прибегать, то или удавись, или выбрось свои картины на свалку, или вообще помещай в рамку описание того, что хотел бы изобразить красками, но не в силах сделать этого!..

Однако руки уже зудели и ныли по карандашу, по кисти, и Зяблицев — хотя и ликовал в душе по этому поводу,— зная, что не даст сейчас своим рукам преждевременную волю, не мог придумать, куда их деть, чем унять. Он заложил руки за спину, но, не продержав их там и с полминуты, засунул глубоко в карманы пальто и там наткнулся на сложенную вдесятеро газету. Это прикосновение к официозу отнесло его, как ни странно, к трамвайным толкам и к чьим-то словам о добровольцах, которых-де непременно будут набирать для работ в районе аварии. Сердце Зяблицева опустилось в желудок и оттуда подскочило к горлу — вот!.. Вот возможность! Он отправится туда хотя бы в качестве разнорабочего, землекопа, бетонщика — кого угодно — и пробудет там, сколько нужно, а уж по возвращении оставшегося времени жизни — лет или месяцев — неважно, ему хватит, чтобы изобразить невиданное!

Если бы Зяблицев был в тот момент способен трезво оглянуться и оценить хотя бы один этот свой день, он изумился бы, что решения проститься с волосами и расстаться с жизнью разделяло всего несколько часов, будто это были последовательные ступени единого действа. А узнай он вдруг, что от воздействия радиации в первую очередь выпадают именно волосы, он бы изумился еще пуще.

Однако отдать жизнь ради общего блага было все же несколько сложнее, чем отдать волосы, пусть даже и на парик кому-то, и Зяблицев это в определенной мере сознавал.

На первое требовалось, особенно в данном случае, специальное разрешение, «добро» каких-то вышестоящих инстанций, и «добро» это нужно было заслужить и получить как своего рода милость из их рук. А для этого было необходимо дождаться сигнала — откуда?

Зяблицев, узнавший о добровольцах из трамвайного гомона, решил, что сигнал, и может быть, в форме призыва, поступит из газет.

Возвратясь домой, он включил все освещение и, достав из кармана номер «Правды», разложив его на столе и тщательнейше разгладив, принялся с новым, уже нацеленным вниманием искать среди имевшихся материалов то, что ему требовалось. Он просмотрел сверху донизу каждую страницу, вплоть до юмора, убил на это час, но ничего не обнаружил. Что, однако, не расстроило его, а, напротив, укрепило. Просто он положил себе не пропускать с завтрашнего дня ни единого — ни утреннего, ни вечернего — выпуска.

С этой целью ему пришлось выходить из дому каждое утро чуть свет и вновь таскаться по городу. Только теперь его привлекали не продуктовые киоски, но киоски Союзпечати. Он узнал и удивился, как много, оказывается, было охотников до газетного чтения, и, находясь в очереди, часто испытывал зависть и ревность к людям, стоящим впереди, ближе к окошку выдачи. Он приобретал всю центральную и местную прессу и занимался этим без малого две недели, пока терпение не лопнуло. Поводом явилось прочитанное — опять-таки в одной из газет — стихотворение, посвященное аварии, ужасу перед неуправляемым атомом, недопустимости использовать ядерную энергию в военных целях, мужеству пожарников, спасательных спецбригад и самоотверженности врачей и доноров. Зяблицев взбеленился. Он знал, существовали и художники, которым был дан приоритет на «открытие» темы. Вон, в тех же газетах—«Афганские зарисовки»; не успеешь моргнуть, как появятся «Чернобыльские»! Подо все уже имелись готовые матрицы и рубрики, создавалось чудовищное впечатление, что массовая пресса ко всему готова, нет такого, что бы в эти рамки не могло быть впихнуто и там помещено — для успокоения! Тема войны, тема труда... Теперь появится «тема Чернобыли». Вот только установят, как правильно писать конечный слог в родительном падеже — по правилам склонения женского или мужского рода. А ведь он, Зяблицев, подошел к этому всей своей жизнью, всей мукой последнего времени — он, получалось, специально опустошился от прежнего и переродился, эта авария была его кровной долей...

Но не успокоишь себя тем, что один сможешь написать как никто, даже если это правда. Нет, к чертям, к чертям газеты! К чертям выжидание милости и дозволения от них!..

На следующий день, проснувшись, одевшись и уже, по инерции, собираясь выйти из дому, Зяблицев вынужден был задержаться, чтобы подумать и определить, куда с наибольшей вероятностью успеха следовало обратиться с добровольческим заявлением: в районный комитет партии, в райком ВЛКСМ или в райисполком? Других инстанций он выдумать не мог. Партийный комитет он вскоре отбросил без колебаний — к нему он не имел ни малейшего касательства. Оставались райисполком и районный комитет комсомола. Представив, хотя и крайне смутно, чем мог ведать райисполком, Зяблицев отбросил и его и остановился на комсомоле — просто нужно было выбрать окончательно, чтобы начать действовать,— и кинулся было искать по комнате документы, но тотчас окоротил себя и некоторое время стоял как завороженный, улыбаясь самому себе. Затем, как человек, озаренный догадкой и почти убежденный, что догадка эта, способная предотвратить самые хлопотные и тягостные действия, верна, он медленно потянулся рукою ко внутреннему карману пиджака, судорожно, будто хищник в прыжке за могущей упорхнуть добычей, запустил

туда пальцы. Точно, есть!.. Зяблицев торжествующе рассмеялся — это было своего рода завоеванием: не вспомнить, ибо таких вещей он не запоминал, но сразу и безошибочно догадаться, понять, что бумаги, удостоверяющие его социальное, то есть в течение многих лет бывшее художнику ненужным и просто не существовавшее лицо, могли храниться только в костюме. О, это был поистине звездный час костюма!..

Однако едва Зяблицев раскрыл, одно за другим, свой паспорт, трудовую книжку и комсомольский билет, триумфаторская улыбка сбежала с его лица, уступив место глубочайшей озадаченности и озабоченности. В паспорте значилась прописка в совершенно другом районе города, у тетки; многочисленные записи в трудовой книжке свидетельствовали, что в течение всех этих лет ее владелец не задерживался ни на одном месте работы более года, нынче же около четырех месяцев вообще нигде не работал; а в комсомольском билете отсутствовала учетная карточка, и последний штамп об уплате двухкопеечного взноса, как и подпись секретаря, были штампом и подписью войсковой части. Все те организации, где Зяблицев после армии работал — спустя рукава, часто нарушая дисциплину, а когда и вовсе забывая выходить на пост из-за невозможности оторваться от той работы, которой был поглощен в своем полуподвале,— все те домоуправления, жэки, отделы охраны, хлебные и овощные магазины, где Зяблицев числился дворником, сторожем или грузчиком, не имели собственных комсомольских организаций и не требовали с поступившего на работу документов о принадлежности к передовому отряду советской молодежи, а сам Зяблицев ни за что бы не догадался встать на учет в районном комитете; да и узнай он о такой возможности, то есть о таком правиле, он бы без раздумий махнул на него рукой.

Листая свои официальные бумаги, Зяблицев словно ежесекундно получал молниеносные удары и бесился, что нельзя и некому дать сдачи. Все эти типографские детища государства несли художнику одни неприятности. Поди столкнись с ними поближе и узнаешь, что тебя даже не берут в расчет, и явствует это не только из центральных газет, где публикуют знаменитых бездарных поэтов — хрен с ними, их можно больше никогда не читать! Попробуй отдай жизнь, которая нигде не зарегистрирована!..

Но даже и на основе этих мелких сбережений — хорошо хоть, что сам билет не был утерян,— надо было что-то предпринимать, надо было начинать заявлять и восстанавливать свои права на присутствие в этой жизни, если по-прежнему хотелось осуществить то, что было задумано. А этого не просто хотелось, это уже жгло, это понукало и приказывало, не давало ни минуты покоя.

И вскоре Зяблицева можно было видеть вблизи дома его тетки, разведывающим сначала у прохожих, а затем у постового милиционера, как пройти к районному комитету ВЛКСМ. В конце концов Зяблицев точно узнал расположение заветного места, но сразу же, однако, туда не направился. Завидев впереди киоск Союзпечати, он, как в былые дни, заспешил к нему, но с целью купить уже не газету, а комсомольский значок — темный лацкан пиджака должен был послужить великолепным фоном для единичного красного пятнышка. Значка в киоске не оказалось — Зяблицев не знал, что такие вещи не продаются, и не помнил, что давно посеянный где-то значок ему вручали в армии вместе с комсомольским билетом. И потому неудача в одном ларьке его не остановила — он пошел через весь квартал к следующему ларьку, но и там, естественно, нужное отсутствовало, зато были приличные болгарские сигареты, которых Зяблицеву страшно захотелось после недель нищенского горлодера. И, как ни стран-

но, с фильтровой сигаретой во рту и с целой пачкой их в кармане костюма Зяблицев почувствовал себя едва ли не так же уверенно, как если бы уже нацепил на лацкан значок. Во всяком случае, надорвав пачку и закурив, он не стал ломать голову над тем, где еще поблизости могли быть газетные киоски, а зашагал прямо к зданию комсомольского комитета.

Видимо, Зяблицеву требовалось, как говорят, мнемическое действие. И если двумя-тремя неделями раньше — кстати, до скольких недель срока можно относительно безбоязненно делать аборт и плод считается еще зародышем? — путь Зяблицеву в парикмахерскую выстелил и указал непредвиденный снег, упавший с неба, то теперь было довольно приобретенных значка или пачки сигарет.

Однако, когда, затоптав докуренную сигарету, Зяблицев переступил порог внушительной храмины из стекла и бетона, сердце его забилось. В вестибюле он долго читал указатель, а наконец обнаружив среди золотых надписей ту, которая соответствовала его намерениям, снова вышел на майское крыльцо покурить. Поспешно втягивая дым, он пытался приготовить свою речь, но бросил это вместе с окурком и, решительно войдя в здание, не мешкая, устремился в глубь коридора — туда, куда направлял человека указатель.

На ходу Зяблицев лишь скользил взглядом по табличкам на дверях и старался не давать воли вдруг возникшему и смутительному чувству — будто он очертя голову спускается в шахту или под воду без всякой специальной подготовки, без снаряжения и навыков. Он уже было с разбегу толкнул высокую дверь с надписью «Секретарь районного комитета ВЛКСМ», но вовремя ухватил краем глаза следовавшее внизу более мелким шрифтом: «Прием по личным вопросам — вторник и пятница с 15.00 до 17.00». Сегодня был четверг. Зяблицев, кончивший накануне читать газеты, знал это доподлинно из инстанций самых авторитетных. Выходила задержка, но Зяблицев даже обрадовался ей и скорее пошел прочь. У него оставались целые сутки, чтобы обдумать и сделать наиболее убедительным свое поведение на завтрашнем приеме.

Остаток дня, весь вечер и часть ночи Зяблицев сочинял «легенду» о том, почему столь баснословно долго не состоял нигде на комсомольском учете, почему нигде не работал постоянно и почему ему теперь приспичило именно как комсомольцу проситься в Чернобыль. Он выдумывал про повысившуюся в столь ответственный для всего народа момент свою сознательность, про очнувшуюся совесть советского комсомольца, про то, что для него это является искупительным шагом за вину перед молодежным союзом на грани выхода из него по возрастному цензу, желанием проявиться наконец и сделать что-то полезное, и про многое, многое другое в том же духе. Недавнее упорное чтение газет, их один за другим всплывавшие в мозгу штампы оказывали неоценимую услугу.

Однако когда Зяблицев, дождавшись назавтра приемного часа, высидев небольшую очередь, наконец предстал перед секретарем — восточной наружности, безупречной инструкторской осанки человеком чуть старше самого Зяблицева,— представился тому, выложил свою просьбу и уже собирался говорить дальше о «совести», «долге» и «осознании момента», секретарь, до того молчавший, катавший по машинописным листам японскую шариковую ручку и выглядывавший из монгольских узких своих глазок, раскрыл рот и задал один-единственный вопрос, но такой, какого Зяблицев здесь никак не ожидал и от которого ему пришлось схватиться за полированный край стола.

«У вас есть дети? — спросил секретарь, приподнимаясь на стуле,

как в стременах на скакуне, езда на котором, возможно, составляла забаву и работу его степного, кишлачного детства,— есть у вас ребенок?»

Зяблицев отрицательно покачал головой, но не сразу, а как бы вспоминая и прикидывая, и будто в оторопи промолвил: «Не-ет». Эта реакция не прошла мимо цепких степных глазок; они еще некоторое время испытывали того, кто был перед ними, а затем обладатель их пояснил очень отчетливо: «Видите ли, мы не имеем права, даже при всем нашем и вашем желании, послать на такой объект бездетного человека. Вы знаете, народ уже шутит: «Запорожец»—не машина, киевлянин — не мужчина, да... Шутить, даже в данном случае, увы, не запретишь... Есть инструкция органов здравоохранения, можете взглянуть»,— секретарь сделал движение то ли потянуться в сторону кипы бумаг, лежавших слева на столе, то ли нагнуться к тумбе с выдвижными ящиками — не движение, а так, самый намек на него.

«Не надо,— Зяблицев поднялся.— Извините». Он приставил стул, на котором сидел, и так порывисто направился к выходу, что «Всего доброго» раздалось уже вдогонку.

«Хорошо еще, что не успел предложить мне взамен комсомольскую путевку на какую-нибудь стройку века.— О существовании таковых, об их местонахождении и названиях Зяблицев узнал подробно за последние недели из тех же газет, как узнал и много другого нового и ненужного.— Надо было не газеты читать, а еще в трамвае поболтаться, там-то я бы уж точно услыхал об этом дурацком условии!.. Что я мог ему ответить? «Пока нет, но скоро будет»? «Партия сказала: «Надо!» — комсомол ответил: «Есть!»?.. Но у меня ведь действительно есть ребенок — пусть еще в животе женщины, но есть, и он б у д е т на свете. Она ведь так решила!»

Зяблицев остановился посреди тротуара и полез за подмогой в карман, где лежали сигареты. Затянувшись дымом, он медленно побрел по улице, взвешивая в уме, что ему в конечном итоге дороже — холостая бесплодная свобода или... Не успел Зяблицев миновать квартал, как это «или» перетянуло: будущий розовый младенец лежал на эмалированной чаше и молотил в воздухе голыми пятками. «Хрен с ним, только родит, сразу уеду, а когда вернусь о т т у д а, с меня уже никто ничего не спросит! Родила бы скорее — недоношенного, только бы не выкидыш! Сейчас ведь и семи, и шестимесячных выхаживают под какими-то колпаками, в какой же это газете я видел?..» Зяблицев представил, сколько еще придется ждать даже до семимесячного срока — все лето и, может быть, и сентябрь. Это показалось ему невыносимой вечностью. Но тут же он стал успокаивать себя тем, что завалит эту пропасть до отказа хлопотами о будущей матери, о чаде, об устройстве быта, да и само́й, беспрецедентной в прежнем опыте жизнью вдвоем, бок бок с беременной его собственным ребенком женщиной,— и успокоил-таки. Только хлопотать придется как можно больше, как если бы действительно именно это — совместная жизнь и ребенок — сейчас ему и было нужно.

Зяблицев аврально вколачивал в себя доводы — любые доводы — в пользу признания себя отцом будущего ребенка и принятия на себя такой роли; он не давал этим доводам рассыпаться просто потому, что, давно настроившись на поездку и свыкшись с мыслью, что она непременно состоится, страшился — после того, что услышал в комсомольском комитете,— вновь остаться ни с чем, как в прошлые ужасные два месяца,— в пустоте своей неприкаянной беспомощности. Он огляделся по сторонам, вспомнил свое ощущение мира, раздробившегося на замкнутые факты, разбежавшегося, неладного, вспомнил свое животное существование — от еды до еды, через недостойный плотский зуд ко сну — и бежал прочь с улиц, скорее в свой подвал, чтобы дождаться там вечера и отправиться без предварительного звонка к той беременной, бывшей своей натурщице, к своей будущей, нет, уже настоящей жене. Ибо только так, с законной регистрацией брака, могла выгореть затея.

Зяблицев шел, курил и уже сам дивился своей решимости. Можно было назвать ее безрассудной? Вряд ли. И все равно, даже в крепнущей, лезущей словно напролом и по своей воле этой решимости Зяблицев не переставал изумляться фантастичности и громоздкости плана. Напротив, упрочиваясь с каждым шагом в том, что поступит именно так, он изумлялся этому все больше — именно э т о м у, а не себе. Раньше он никогда не приготавливался к творчеству так задолго и с такими сложностями, попросту не замечал подготовительного этапа — был тот или нет, а если и приходилось замечать, то старался преодолеть этот отрезок скорее и часто там, где требовался холст, пускал в ход картон или фанеру, вместо угля или пастели — обыкновенные карандаши, вместо специального разбавителя — подсолнечное или кукурузное масло; одним словом, обходился тем, что оказывалось сию минуту под руками. Он даже неосознанно ставил это в заслугу — нет, не себе, а скорее занятию, которому был предан, искусству вообще, ибо оно в сравнении с другими видами деятельности требовало наименьших затрат материала и давало при этом едва ли не самые долговечные и великие плоды.

Никогда раньше Зяблицеву не случалось делать того, что он делал сейчас — вот уже третий месяц,— и этому не было видно конца. Ему порой чудилось, что какие-то злостные силы, однажды завладевшие им, вознамерились, чтобы он пережил все чуждое, общее и, раз пустившись во все тяжкие, прошел их до предела. И вознамерившись эдак, силы эти проявляли бесконечную изобретательность и неутомимость. У него было чувство, будто, нечаянно свалившись во сне с некой вершины, которую и вершиной-то прежде не считал, он карабкается по склону вверх, сдирает руки и колени, а склон становится все круче, и то, что представлялось вершиной, оказывается лишь краем террасы, а сам пик, дразня и увлекая, прячется в облака и исчезает из виду. И вот теперь от столовок, публичных сортиров, газетных киосков и прочих общественных мест — до ребенка и брачного предложения! Но, как любили выражаться в тех же газетах и во всей этой жизни, по законам которой Зяблицев был вынужден теперь существовать, отступать было некуда — действительно, некуда. Конечно, костюм, уже привычный плечам и всему телу, значительно облегчал начало предприятия, но была еще такая масса других деталей. Например, цветы. Идти с цветами или без? А если с цветами, то с какими? Будь это проблемой чисто живописной, Зяблицев бы легко выбрал из всех выставленных под куполом грузинского цирка цветов те, которые выигрышнее всего смотрелись бы на фоне костюма, но теперь задача была совершенно иной. И вот он не знал, розы, гвоздики, пионы, мимозы или ландыши будут более уместны. Теперь, как никто, могла помочь советом его тетка, работавшая в ботаническом саду, с ее громадным опытом изображения комбинацией живых цветов на городских выставках самых, казалось бы, невозможных вещей — от счастливого детства до первого искусственного спутника Земли, ибо теперь Зяблицеву требовалось составить из себя самого в темном костюме и из цветов, произросших в субтропиках и приобретенных у торговца втридорога, красноречивейшую композицию: «Осознавший, раскаивающийся и делающий предложение»! И до теткиного дома было рукой подать.

Однако Зяблицев, привыкший делать все на свой страх и риск,

ни с кем не советуясь, противился теперь нарушать эту, пусть и самую ничтожную из оставшихся привычек прошлого и потому, более не медля, вскочил в кстати подъехавший троллейбус и покатил на рынок, решив, что окончательно выберет там, на месте. Поразительно, что еще вроде бы не определив, покупать ли вообще цветы, незаметно увлекшись мысленным выбором среди них и оказавшись не способным сделать этот выбор без «натуры» перед глазами, Зяблицев, занятий уже этим, вторым вопросом, неосознанно решил первый в пользу покупки. Движения его ума относительно цветов полностью, в схеме повторяли те, что касались создания «Чернобыльского цикла» и поездки, туда, так сказать, на пленэр, однако он, конечно, не отдавал себе в этом отчета.

А войдя в павильон рынка, он, уже не колеблясь, направился к самому яркому пятну в цветочном ряду — к целому ведру красных роз — и приобрел семь штук. Можно лишь предполагать, что розы он выбрал потому, что они считались якобы самыми роскошными и были самыми по цене дорогими цветами, а число семь, кроме того, что, по общему поверью, слыло счастливым, свидетельствовало о щедрости дарителя, подспудно и символически выражало и личную надежду Зяблицева, чтобы ребенок родился поскорее, семимесячным. И женщина-продавец, бережно и любовно завернувшая цветы сначала в целлофановую пленку, а затем в газету — не была ли она своего рода символической акушеркой? И то, как Зяблицев, осторожно прижимая к груди, уносил сверток с базара,— не являлось ли это своеобразной репетицией того, как он в будущем понесет из роддома розового младенца? В пользу таких догадок может сказать, пожалуй, то, что, когда на сиденье возле окна Зяблицев устроился со своим драгоценным свертком на коленях и взгляд его невольно упал на оберточный и предохранительный покров — на газету,— там оказалась статья о людях нашего города, уже пожертвовавших свои сбережения в фонд помощи пострадавшим в Чернобыле и Припяти. Чтобы дочитать заметку до конца, Зяблицеву пришлось несколько раз легонько повернуть весь пакет.

Остаток дня, проведенный в полуподвале, Зяблицев, несмотря на то, что очень хотелось, не позволял себе курить, щадя нежные лепестки цветов, на которые он уже переложил отсутствующее красноречие. Цветы этим вечером должны были идти впереди него, она должна была увидеть их первыми, когда отворит дверь; он даже подумывал о том, не прикрыть ли цветами лицо; он возлагал на них надежды, какие возлагают на пароль, на красный сигнальный флажок. Он горевал, что не знает никакого условного знака, который бы без лишних слов говорил о его намерении; он сожалел, что в людском обществе такие знаки, даже если они и есть, утратили свою первобытную силу, и расцветка, как и самый кричащий наряд, кроме разве что военной формы, требовали дополнительного пояснения речью — вот она, та самая, ненавистная подпись к картине. Он жаждал, хотя бы на краткий, необходимый миг, сделаться немым. Короче, он надеялся обойтись минимумом слов.

Однако это ему не удалось. После он сам изумлялся тому, сколько наговорил, и не мог припомнить точно, что именно сказал такого, что принесло ему успех и позволило получить согласие со стороны бывшей своей натурщицы на брак. Вероятнее всего он просто выговорил все, что намеревался произнести накануне перед комсомольским начальником,— не могла же пропасть даром речь, специально заготовленная молчаливым художником! — лишь сместил акценты и, естественно, умолчал о чернобыльских устремлениях. Как бы повинился он в многолетнем пренебрежении своими комсомольскими обязанностями, так же, наверное, раскаялся он перед женщиной, вынашивавшей с трудом, едва не через силу (она за прошедший месяц очень исхудала и сплошь покрылась большими пигментными пятнами) его ребенка,— в негласном обете безбрачия и бездетности. Можно побиться об заклад, что слова о «долге», «совести», «осознанной ответственности» одно за другим срывались с его языка и безжалостно и глубоко вонзались в слух истерзанной токсикозом женщины, которая еще из последних сил крепилась, но уже подумывала о том, что принятое однажды решение все же выше ее, то есть ее организма, возможностей, что неплохо бы, пока срок еще благоприятствующий... Для иных женщин, особенно в таком положении, подобные основания для заключения союза, приводимые мужчиной, звучат куда убедительней, чем самые пылкие заверения в любви и только в любви.

На следующий же день, чтобы не терять времени, они в ее обеденный перерыв подали заявление в загс — причем того района, где была прописана и жила она. Выбор места был предопределен не только близостью к ее работе и квартире, но и той негласной договоренностью, что они станут жить у нее,— это само собой разумелось, ибо в полуподвале, кроме того, что было тесно и захламлено и без искусственного освещения довольно темно в любое время суток, отсутствовали коммунальные удобства. Да и сама мысль, что будущий ребенок начнет свою жизнь в подвале, под землей, казалась недопустимой. Но имелся и еще один довод в пользу такого расклада — тот, что существование Зяблицева как человека, то есть мужа и отца, и как художника отныне разделяется и, так сказать, узко специализируется. Хотя, конечно, не будь он уверен, что, едва обзаведясь потомством, покинет не только его и его мать, но и этот город, он бы никогда не пошел на подобную уступку.

Однако он пошел и гораздо дальше, а именно, проводив невесту после загса до дверей ее службы, отправился в самый индустриальный, сплошь заводской район города, чтобы устроиться там на работу. Поступление на работу — хотя об этом между женихом и невестой не было упомянуто ни слова — тоже входило в перечень непременных приготовлений к будущей жизни — и не только потому, что семье потребуется какой-никакой твердый ежемесячный доход, но и в силу того, что именно с крупного предприятия, с завода, скажем, тяжелого машиностроения, легче будет уехать добровольцем — ведь набирать станут именно с заводов — откуда же еще? Рабочий класс — самая многочисленная часть населения нашего города и, кроме того, что издавна, вот уже лет семьдесят, а то и все сто пятьдесят — с тех пор, как написан «Коммунистический манифест»,— считается самой передовой и сознательной, она, видимо, считается и самой малоценной группой общества, тысячами, а то и десятками тысяч из которой можно запросто пожертвовать в любых целях. Нельзя сказать, что Зяблицева не удивляло такое положение, при коем любому случайному человеку с улицы не нужно усилий и труда, дабы попасть в передовые, однако он ехал с твердым намерением влиться в их массу, присоединиться все-таки к их армии.

Из окна трамвая он видел и рассматривал сменявшие один другой громадные долговечные плакаты — единственное украшение улиц, состоявших из километровых полос высоких, глухих и унылых заборов, изредка прерываемых воротами с вывеской того или иного завода, зданием заводоуправления или типовой столовой. Некоторые плакаты представляли собою только непомерно увеличенные слова и цифры, как, например, всем известное: «Исторические решения XXVII съезда партии выполним!», «Нам нужен мир!», «Свердловское—

значит отличное!», причем кое-где пространство стенда было организовано так бестолково, что слово «съезд» как бы решительно перечеркивалось двумя громадными красными крестами римской цифры XXVII; на других плакатах было уже кое-что изображено, то есть нарисовано: выполненный ли в ярких синих и красных тонах молодой рабочий в комбинезоне и клетчатой рубашке, поднимающий в приветствии руку и обнажающий здоровые зубы в улыбке большой ясности, трезвости, доброжелательности, твердости принципов чести и спокойной гордости за свой завод, класс и народ; девушка ли, идущая об руку и в ногу с юношей к светлому будущему по собственноручно прокладываемой дороге; три ли поколения советских людей — плечом к плечу — от дедов, завоевавших власть, через отцов, отстоявших социализм в схватке с фашизмом, до нынешних строителей коммунизма, и многое другое, тому подобное. Глядя на все эти художества, Зяблицев, не только кривился и усмехался, но и вполне серьезно рассчитывал, что малеванием подобных штук за время, пока ребенок будет вызревать до положенного природой срока, с одной стороны, убьет это самое время, с другой — получит возможность, пусть и через силу, обязанность и принуждение, вновь приучить руку к карандашу и кисти. Художник-оформитель — вот кем он должен был стать на это время, вот какое место он будет искать на объявлениях, вывешенных по заборам, выставленных в окнах заводоуправлений и в отделах кадров. Он ничуть не сомневался, что найдет такую работу хотя бы потому, что район, куда он приехал, был пусть и самым индустриальным, но не единственным таким в городе: заводов у нас больше, чем дней в году. Конечно, можно было бы устроиться на должность, более приятную и компромиссную — рисовать афиши в каком-нибудь из кинотеатров, их по городу тоже имелось достаточное количество. Но на промышленном предприятии, помимо несколько повышенной зарплаты, давали еще и «уральские», и премии, и эта погоня за заработком, естественно, в разумных пределах, должна была укрепить невесту в серьезности его намерений. И самое главное: работа на заводе-гиганте, как нигде, позволяла заслужить доверие и легче получить «добро» на заявление, поданное в заводской комитет комсомола, а жене затем, не опасаясь подозрений, сказать, что призвали, направили.

«Четыре месяца,— думал Зяблицев,— ну пять, ну, может быть, полгода от силы... выдержу...»

Однако уже через месяц Зяблицев засомневался в своей выносливости. Две молоденькие девчонки — сразу после отделения художественного училища,— оказавшиеся его сотрудницами, с удовольствием выполняли работу, к которой себя и готовили, а он, находясь к тому же в подчинении у одной из них, все равно что отбывал тягостную повинность. Добрую половину дня девчонки просматривали приходящие на оформительский отдел журналы и чрезвычайно живо обсуждали увиденное там, выбирали то, что можно позаимствовать, привести в соответствие с наличествующими техническими возможностями, подогнать под требования данного производства. Они говорили о плакатах и шрифтах с такой же страстью, с какой иные любители и знатоки могли говорить о полотнах, висящих в известнейших мировых коллекциях живописи. Слышавшему их дискуссии и болтовню Зяблицеву часто казалось, что на свете никогда не существовало и не могло быть никакого изобразительного искусства, кроме так называемого искусства плаката, фокус которого состоял в том, чтобы с наименьшими затратами и наибольшей выразительностью слить все многообразие мира воедино, в один какой-нибудь символ, в комбинацию нескольких таких символов, подчинив все это непременной

теме,— причем не произвольной, не авторской, но обязательно значимой для всех, общенародной, а то и вовсе глобальной: экономии рабочего времени и ресурсов, борьбе с пьянством или борьбе за мир. Девчонки ликовали, как по поводу грандиознейшего открытия, если им особенно удачно и ловко удавалось изобразить дым, вылетающий из заводской трубы в виде колец бросаемой на ветер металлической стружки или денег; водочные бутылки — как стволы артиллерийской батареи, направленной на семью; белого голубя, незаметно переходящего в ладонь, одновременно держащую и осеняющую маленький земной шарик. Вариантов было бесконечное множество, и юные оформительницы, получившие дипломное право и особое, причем оплачиваемое место отыскивать, придумывать, комбинировать и воплощать эти варианты, получившие для этого полную и гарантированную начальством свободу, упивались таким занятием и собственным умением. Сливая воедино руку и голубя, изображая злодея-империалиста сеятелем смертоносных зерен — пуль и снарядов — или представляя ядерный арсенал некой мрачной чащобой, которую расчищает и вырубает развеселый русский мужичонка в фуфайке, валенках, рукавицах и ушанке, они восторгались даже не только своей выдумкой и фантазией, но и — неосознанно — прежде всего тем, что все на свете вещи и формы так близки и родственны друг другу и с легкостью переходят одна в другую, перевоплощаются, как в цирке шапито. От этого делалось легко, радостно и покойно.

Зяблицев же был простым исполнителем их девичьих замыслов и воли — угрюмым, неспрашивающим и молчаливым. В иные минуты он, правда, испытывал острейшее отвращение к тому, что рисовал на большом листе его карандаш,— какого-нибудь передового рабочего-комсомольца с ясным взглядом или старого мастера, строго и вместе с тем внимательно глядящего поверх защитных очков, предполагалось — на юную смену.

Между этими изображениями и тем разношерстным живым людом, с лицами, где читалось многолетнее пьянство, заботы, усталость, бесшабашность, прижимистость, жестокость, резкость, своеволие, готовность принять все и выполнить любой приказ начальства, страсти, знание своей выгоды, понимание собственных прав и достоинств, чувство хозяина жизни,— теми лицами, которые он наблюдал ежедневно и в таком изобилии впервые за свою жизнь, лежала пропасть, не меньшая, чем между обнаженным телом и жалкой сортирной порнографией. Однако он был вынужден рисовать все это и рисовал — это была его нынешняя официальная работа, за нее ему платили. По временам у него возникало чувство, будто он поместил себя в заколдованный и порочный круг, не имеющий ничего общего как с его, Зяблицева, собственной жизнью, так и со всей жизнью, и желание вырваться на волю делалось непреодолимым. Но, поборовшись с собой, с этим желанием, и напомнив себе, для чего все это делается, он в душе даже хвалил себя за то, что устроился именно на такую работу,— по новым законам он не имел права уволиться раньше, чем через два месяца после подачи заявления, а это уже так или иначе означало почти шестимесячный возраст будущего ребенка, и к тому же он намеревался подать заявление совершенно другого рода. И существовало еще одно заявление, лежащее в загсе, и вылеживаться ему до зрелости предстояло еще по меньшей мере месяц. И на работе, и дома, то есть у невесты, Зяблицева держали взятые на себя обязательства, и потому, пересиливая себя и блюдя их, на работе он только исполнял поручения других людей, а свою прежнюю квартиру и мастерскую в полуподвале не посещал вовсе. Если отчуждение, так полное, думал он и крепился.

А вскоре он нашел себе отдушину. На работе во время обеденного перерыва он стал садиться с «мужиками» ближайшего цеха за домино, быстро проигрывал и, отодвинувшись в сторону, на каких-нибудь клочках зарисовывал продолжавших игру, а затем «для развлекухи» показывал свои наброски. Пожилые рабочие и пареньки, еще не служившие в армии, изумлялись и радовались, как дети. Узнавая на рисунках себя и друг друга, гоготали, тыкали в изображение и оригинал пальцами, хлопали Зяблицева по плечу, называли его Шишкиным и Репиным и просили рисунки себе на память. Зяблицев с охотой отдавал, уверяя себя, что никогда не стал бы делать таких вещей специально, что делает их только потому, что ему, выбывшему из игры, нечем занять руки, а сидеть просто так неохота. Кончилось тем, что рабочие, которые имели лишь фотокарточки вроде армейских, свадебных или курортно-отпускных и даже не помышляли иметь свой портрет, выполненный художником, стали просить Зяблицева рисовать их по отдельности и даже занимали очередь. Зяблицев не заставлял себя упрашивать. Иногда целые перерывы проходили без домино и шашек. И тогда Зяблицев, заключив с каким-нибудь спорщиком пари на бутылку, успевал сделать портреты всех членов бригады, тратя на каждый от двух до пяти минут. Рисунки рвали из рук, и потому с работы Зяблицев возвращался, никогда не имея при себе ни одного из результатов своего неожиданного промысла и развлечения — пустой, но куда менее угрюмый, а порою прямо-таки веселый. Его забавляло то, как он без всякого намерения, незаметно стал «певцом» рабочего класса и что его искусство так вдруг потребовалось народу. Тем не менее он не думал, что вновь начал творить, что снова стал художником, каковым был или полагал себя прежде. Он надеялся, что по-настоящему начнет творить, если начнет, только когда попадет туда, куда наметил попасть, когда собственными глазами и ценой жизни увидит и узнает все т о, и с увиденным вернется. Там он, конечно, тоже будет делать наброски с рабочих, но это будут уже подготовительные наброски, он никому не станет их дарить, будет беречь пуще глаза; да и лица тех людей будут совершенно иные, какие — и гадать не стоит!

Теперь Зяблицев, обычно молчаливый, стал рассказывать невесте о своем забавном занятии и успехе, и на лице его при этом часто играла улыбка. И тут-то, из новой своей веселости, он впервые заметил, как грустна и погружена в себя эта женщина — раньше, будучи таким же, он не замечал этого, считал, что так только и может быть. Он стал осторожно справляться, мол, что это с нею, почему она все время молчит и даже не улыбнется, теперь, когда до свадьбы осталось каких-нибудь двадцать дней. Она лишь отговаривалась тем, что ей немного тяжело чисто физически, что ему трудно, будь он расхудожник, расталантлив и внимателен, понять состояние и ощущение женщины, которая беременна впервые в возрасте под тридцать.

Зяблицев, которому, положа руку на сердце, было малоинтересно, да и неприятно вдаваться в специфические подробности, делал вид, что удовлетворен такими объяснениями, и принимался слишком уж бодрым голосом размышлять о том, как отметят свадьбу, как назовут ребенка, где поставят кроватку... Произнося все это, он старался не смотреть в глаза невесте, а глядел, словно от большого воодушевления, куда-то вверх, в потолок, и не замечал выражения покрытого пигментными пятнами лица беременной, в чертах которого отсутствовало всякое воодушевление и, более того, сквозила тоска.

Но однажды, после очередного рассказа о том, кого он запечатлел сегодня и каков был успех — даже смешно! — Зяблицев, глядя на грустную и безответную свою подругу, не стал ничего выспрашивать у нее, а вдруг предложил продемонстрировать то, как он в несколько минут делает на заводе портреты. Пусть она вообразит себя рабочей — ведь иногда приходится рисовать и заводских женщин, и кто там под халатом и робой определит, беременна какая-нибудь из них или нет,— а он в пять минут сделает с нее портрет, прямо на тетрадном листе, шариковой ручкой! А?.. «Представляешь, ты окончила ПТУ, маляр-штукатур, ходишь на завод, фотографировалась несколько раз с подружками, а тут вдруг с тебя делает портрет н а с т о я щ и й художник! Ты приносишь портрет домой, показываешь маме — все удивлены, все в восторге. Ты прицепляешь его кнопкой над кроватью вместе с вырезанными из журналов физиономиями Пугачевой, Леонтьева, этого... как его? короче, итальянца, или кого там еще любят молоденькие пэтэушницы,— а?..»

Она длительно посмотрела на него, как на человека не совсем в своем уме, и медленно покачала головой.

«Но почему?!.» — изумился он и тотчас удивился силе собственного изумления.— Я ведь тебя уже рисовал... раньше...»

«Раньше...— криво и слабо усмехнулась она и на миг умолкла, словно впала в задумчивость по поводу произнесенного самою же слова. — Раньше я была красивая».

«А теперь?!.» — произнес он с интонацией, какая возникает, когда хотят взбодрить, воодушевить человека и одновременно показать надуманность его сомнений и робости.

«А теперь — нет,— со вздохом почти театральной тяжести вымолвила она и было отвернулась, но тотчас спохватилась и так, будто двигалась в воде, неестественно плавно вновь оборотилась к нему.— Поешь там что-нибудь из холодильника. Я не буду, на еду не могу смотреть...» И с этими словами, чувствуя затылком его ошарашенный взгляд, словно дуло ставшего ей безразличным пистолета, направилась прямиком в угол комнаты к дивану.

Зяблицев не мог шелохнуться, наблюдая, как она двигается,— будто не обыденно, механически пересекает привычное пространство комнаты, но упорно приближается к намеченной цели сугубо затем, чтобы ее достичь. И действительно, дойдя до дивана, она уселась на его край, широко расставив ступни на полу, и устремилась отрешенным взглядом в невключенный телевизор. Он подождал еще, но она не меняла позы, не шевелилась, словно отключившись от всего и обо всем забыв, и он, затаив дыхание, мог разобрать, как, едва слышно присвистывая, дышит она.

Мгновенный горячий соблазн, словно соблазн своровать вещь, оставленную без призора,— зарисовать ее так, пока она не замечает, охватил его. Но он тотчас поразился этому чувству в себе и, поймав, отметив его, заклеймил как непорядочное, подавил и, неудовлетворенный, побрел на кухню. Достав из холодильника, что там было, и жуя, он не замечал вкуса, но пережевывание, однообразный тщательный ритм этого процесса помогал ему осмысливать то, что случилось. Ибо это было для него чем-то действительно неожиданным и выходящим из ряда вон: в свое время она сама жаждала и напросилась позировать, с готовностью и радостью садилась или вставала так, как ей велела его фантазия, потом преследовала его и умоляла о продлении сеансов и встреч, а нынче вот отказалась даже не позировать, а просто посидеть смирно, как ей будет удобно, в одежде, в том, в чем была, каких-нибудь пять минут, чтобы он смог набросать ее портрет для развеселения ее самой же, просто для того, чтобы она наглядно, а не по одним неуклюжим его рассказам, представила себе, как он делает это в цеху. Он просто хотел развлечь ее... или себя?..

В конце концов ему надоело ломать голову в одиночестве, на

кухне, и он поднялся взглянуть на нее, свою бывшую покорную, которая теперь повела себя столь, казалось ему, странно. «Конечно, беременность, капризы, прихоти, токсикоз»,— думал он, но в глубине души отказывался принять то, что в данном случае это является истинной причиной. Он имел дело с реальным человеком, которого, кажется, знал — по крайней мере давно запечатлел суть, прелесть и непохожесть его тела,—а сейчас этот же самый человек превращался в какую-то загадку. Это раздражало Зяблицева — женщина, жена была нужна ему единственно как то, что могло явить на свет ребенка, который будет считаться и законно будет твоим, а это, в свою очередь, откроет дорогу на немыслимый, уникальный и заветный пленэр. Ему не нужны были никакие проявления ее личности. Но коли они, черт их дери, возникли, то...— нет!.. Зяблицев вдруг ощутил, будто нечто живое, постороннее, шевельнулось в его собственном нутре,— нет, это не она проявляла характер, не она капризничала; это ее искажала новая жизнь, занявшая место прямо в ней, разраставшаяся там, все более властная и неуправляемая!..

Сердце Зяблицева забилось — он почувствовал, постиг, что существует в соседстве с тайной, захватывающей и еще неведомой для него; с тайной, которая взялась вроде бы из ничего, из пустяка, но разрослась и стала явной; и он — непостижимо, — бывший всему этому причиной, теперь может наблюдать, лицезреть бытие этой тайны — прямо здесь, в квартире, под боком!..

То, что он сможет, перейдя из кухни в комнату, действительно, наяву увидеть э т о, представилось ему невероятным. На цыпочках он подкрался и выглянул из-за косяка. Невеста сидела в прежней, ничуть не изменившейся позе, и только по тому, как поднималась грудь, было видно, что она дышит. У Зяблицева перехватило дыхание, опять, уже яростнее, непреодолимо зачесались руки урвать, украсть эту сцену на любой подвернувшийся клочок бумаги, и так, будто приколоть к листу навечно, присвоить, остановить — чтобы никуда не делась и была всегда.

Желание оказалось столь властным, что Зяблицев не посмел бороться с ним в одиночку, а, перебежав комнату, сел рядом с невестой — вернее с э т и м — и тронул за имевшееся женское плечо. Она вздрогнула, вернувшись из непостижимой дали зреющего материнства. Но он, оказавшись з д е с ь первым, что она увидела, смотрел ей в глаза так, что она снова, от непонимания и испуга, вздрогнула и воскликнула: «Что ты?!.»

«Ничего, ничего!» — поспешно пробормотал Зяблицев и, боясь, что сорвется и выдаст не только свои намерения, но и бросится их претворять — то есть искать по комнате карандаш и бумагу — и начнет, не обращая внимания на ее протесты, не слыша их, рисовать ее— словно насиловать,— обнял ее, притянул за плечи и принялся осыпать поцелуями.

«Что с тобой, что с тобой такое?! — тихо, ошалело шептала она,— ты, что ли, любишь меня, любишь?»

«Да, да, конечно, конечно!..» — автоматически отвечал он, зарываясь лицом в ее волосы, чувствуя губами вкус ее кожи, утыкаясь в нее, и в этом тупике, за закрытыми веками, видя лишь то, как она сидит на диване, расставив ноги, устремив помутневшие глаза в одну точку, забыв блюсти всякое изящество, якобы свойственное женщинам, попав в плен своей изначальной, допотопной природы родильницы. Он еще не зрел подобного в такой близи!..

С этого момента мечта, замысел нарисовать — нет, написать красками, в большом формате, в натуральную величину, как полагается, свою беременную жену, засела в его голове и завладела всем его существом. Он ходил на завод и продолжал там «создавать» портреты работяг, перерисовал весь цех, «создал» не только галерею передовиков, но и всех отстающих, бракоделов, прогульщиков, добрался до мастера, и чем больше возникало и расходилось по чужим рукам этих рисунков, тем желание сесть против собственной невесты с мольбертом и набором углей и кистей становилось сильнее. У него было чувство, будто он продирается сквозь льющуюся неослабным потоком толпу к одному-единственному, видимому поверх голов знакомому лицу и никак не может улучить просвета и мига, чтобы до него добраться. Но именно от силы этой необходимости и чувствуя то, сколь важно и сладостно это будет ему, он больше не обращался к женщине с просьбой попозировать — страшась получить новый отказ. Он ждал момента, ждал свадьбы, дня официальной регистрации, надеясь, что тогда, хотя бы во имя соблюдения ритуала, она не посмеет отказать. Он ждал этого мига с тем же вожделением, с каким иные ждут брачной ночи.

И действительно, зачем ему была такая ночь — в этой области он уже давно все знал. Но то — о!.. То будет, как пир,— она обнажится на его глазах и сядет, как сидела тогда на краю дивана, или нет, лучше на голом табурете посреди комнаты, расставив ноги,— нагая, одинокая, переставшая быть собой, превратившаяся в оболочку будущей, другой жизни и устремившая взор в никуда, будто бы на мертвый экран телевизора или на настенный коврик, но на самом деле — туда, откуда ждет вести: мальчик или девочка, и все ли пройдет успешно. И прислушивается она не как все люди, не ушами, не поворотом головы, но выдающимся животом!..

Регистрация прошла своим чередом, но свадьбы как таковой не было. Она сказала, что не вынесет сейчас шумихи, приготовлений, обилия глазеющих людей, галдежа, пестроты, облаков табачного дыма и всего такого, что включается в набор нынешней свадьбы. Он и не думал что-либо возражать. За два выходных дня, последовавших за регистрационной пятницей, в их квартире побывало только две ее подруги по работе и один его знакомый художник, каким-то чудом разнюхавший о женитьбе и разузнавший адрес,— а может быть, он пришел по знакомому адресу к с в о е й натурщице?! Как бы там ни было в прошлом, думал Зяблицев, приятель все равно опоздал.

Сидя за обеденным, ничем не намекающим на праздник столом, постепенно хмелея от дешевого, принесенного с собою вина, все нахваливая и приговаривая, что именно такое пойло лучше всего выводит радиацию из организма и что на сегодняшний день это особенно актуально, приятель непрестанно переводил взгляд с Зяблицева на его новоиспеченную супругу, вид которой красноречивейше выдавал ее состояние. По мере опьянения этот его взгляд становился все откровеннее любопытным, словно, рассматривая поочередно каждого из членов новой пары, приятель на их глазах старался раскусить истинную причину такого союза. А под конец пребывания, уже забыв брать женщину в расчет, он, обернувшись к Зяблицеву, щурился, грозил тому пальцем, качал головой и разражался отрывистыми раскатами смеха. Зяблицев, защищаясь, непрерывно держал на губах улыбку, а руку — на плече жены и сожалел, и стыдился, что не имеет еще ее портрета, на котором уродство беременности стало бы главной силой и единственным смыслом — объясняющим и оправдывающим все смыслом! И Зяблицев бесился, что лишен возможности при жене заявить пьяному приятелю и коллеге свой замысел; однако, с другой стороны, это было даже к лучшему — пусть пока никто не знает; и хорошо, что готовым развязаться от алкоголя языком,

с возгоревшимся в подпитии самолюбием и амбицией он, опять-таки из-за присутствия жены, не мог произнести вслух свою идею и, может быть, дать ей выпущенным из уст словом унестись прочь — в недостижимое и невозвратное.

А посему он, молча улыбаясь, только ближе придвигался за столом к жене и склонялся ей головою на плечо; а провожая уже шатавшегося гостя до дверей, стоял с женой в обнимку, зайдя той за спину и перехватив руками ее живот, выглядывая из-за ее плеча, и не отошел даже для того, чтобы пожать уходящему на прощание руку. Но тот все равно, обернувшись в проеме двери, прищурился с последней сосредоточенностью и всепониманием пьяного, пригрозил пальцем и хохотнул.

Однако ни в один из двух первых дней, узаконенных традицией для свершения того, что до регистрации было или по крайней мере считалось невозможным и запретным, он не отважился попросить жену позировать. Всякий раз, когда он собирался заговорить с ней на эту тему, его охватывали такое волнение и робость, что он решал отложить на потом. Когда же эти откладывания на потом, на завтра стали систематическими и изводящими, он — спасаясь от этого состояния — усилием воли нашел, выдумал себе выход, показавшийся естественным и успокоительным: он подождет еще, пока живот жены увеличится до таких размеров, когда медлить дальше станет просто нельзя, опасно, когда возможность упустить жену в этом состоянии станет реальной. Тогда беременности, то есть зреющего материнства, будет еще больше, и оно станет еще явней, как становится яснее всякое качество на своей грани, на исходе.

Так прошел еще месяц. Врачи из женской консультации — где она периодически, впрочем, нерегулярно, показывалась, ибо сделать лишний шаг было для нее трудом — советовали ложиться в больницу, под присмотр специалистов, на сохранение, но она пропускала их советы мимо ушей и оставалась дома. Перебраться сейчас в какую-то там больничную палату — нет, этого она никак не могла представить. На работу она уже не ходила, и единственным безраздельным ее занятием и времяпрепровождением стало ожидание. Целыми днями она находилась в квартире — лежала, сидела или медленно переходила с места на место, бесцельно притрагиваясь к различным предметам, брала их в руки, поворачивала в руках, глядя на них словно непонимающими, потусторонними глазами, снимала с полки книгу, перелистывала страницы, не читая, роняла руку с книгой и подолгу всматривалась куда-то за окно, будто прислушиваясь, не идет ли кто.

Как Зяблицев жалел, что вынужден уходить каждое утро на завод и не имеет возможности наблюдать ее все время в ее отрезанности от мира и покинутости в малометражной квартире, один на один с ожиданием! У него горело запечатлеть это, но он выжидал, как установил и приказал себе, а зуд по рисованию усмирял тем, что перешел с лиц разношерстных работников промышленности на индустриальные пейзажи — тащил на бумагу все, что видел глаз. Он остановился и одумался лишь тогда, когда его разыскал сотрудник заводской многотиражной газеты и предложил дать для воскресного выпуска несколько графических зарисовок — скажем, стройплощадка или цех, с техникой, издали, так сказать, в общем виде, и портрет одного из передовиков, крупным планом...

«Все! — постановил Зяблицев,— сегодня же вечером сажусь ее рисовать!» Однако, вспомнив, что у нее в квартире нет никаких необходимых принадлежностей — ничего такого, кроме нее самой,— он отправился сначала в свой подвал захватить ватманский лист и большую липовую доску, куда лист будет укреплен. Уже в транспорте

он задним числом обрадовался и похвалил себя будто бы за находчивость — ибо как только он возникнет на пороге с огромной этой доской и листами в руках, ей станет все ясно, и слова не потребуются. Если бы Зяблицев умел смотреть на свою жизнь широко и в целом, был бы способен анализировать, то немало изумился бы, отметив, что попал в прежние свои следы — только теперь на месте рыночных роз в руках были рисовальные принадлежности, которые тоже должны были говорить своим видом вместо человека о его намерении.

Однако на его звонок никто к двери не подошел и не отпер. Он подумал, что жена, наверное, уснула или находится в ванной, и потому продолжал жать на кнопку, желая, чтобы дверь открыла непременно она сама и увидела то, с чем он сегодня пришел,— он столько возложил на красноречие доски и белых листов бумаги и не допускал мысли, что все это пропадет даром. Уже догадавшись, что в квартире никого нет, он не смог примириться с этим фактом и упрямился, как ребенок, видящий, что заветная игрушка исчезла с прилавка, но не верящий глазам и кричащий: «Купи! Все равно купи!..»

Щелкнул замок соседней двери и высунувшаяся из нее старуха проговорила: «А жену вашу днем увезли на «скорой». Засхватывало ее, знать, пора уже...»

Он смотрел на соседку в полнейшем недоумении и неверии, сосредоточившись почему-то на разглядывании крупной темной родинки, расположенной у той возле правого глаза, и все морщил и тер лоб, будто тщился разогнать головную боль. Наконец его прорвало: «Но как, почему, почему?!.. Еще ведь рано, рано!.. Рано еще!..— восклицал он исступленным шепотом.— Как она могла! Хоть бы мне позвонила!..» Он замолк и, видя, что старуха еще стоит на пороге своей двери, дернулся было спросить, в какую больницу отвезли жену, но в сильнейшей досаде и отчаянье лишь махнул рукой — теперь было безразлично. Окажись она хоть в ближайшем стационаре, его все равно не пустили бы туда, внутрь, и уж тем более не дали бы пройти с этой доской.

«Слишком рано, слишком рано! — повторял и повторял он.— Хотел прежде, чтоб было скорее, вот и получай! Семь-то месяцев есть или нет?» Он принялся вспоминать, прикидывать, загибать пальцы, на время увлекся этим, как человек, осознавший, что бесповоротно заблудился в лесу, может увлечься на мгновенье какой-нибудь собственной прелестью этого леса,— но вдруг сверкнувшая сквозь эти дебри, словно молния, мысль, что из больницы она выйдет уже совершенно в другом виде, что он все-таки переосторожничал, пережадничал и упустил-таки момент, ослепила его и разогнала все прочие заботы. Его теперь ничуть не радовало, как обрадовало бы прежде, то, что буквально на днях он станет отцом и это позволит ему — если из приличия и не тотчас, то вскоре — подать добровольческое заявление в комсомольский комитет завода. Перед невозможностью осуществить задуманное, бывшее уже буквально в руках и моментально сорвавшееся,— все давешние чернобыльские устремления поблекли, растаяли и казались теперь не более чем химерами времени творческого бессилия. Здесь, под боком, он имел живое, телесное, ощутимое, тутошнее — и упустил, упустил!..

Досада Зяблицева была столь велика, что он, открыв дверь собственным ключом, даже не прошел, а, лишь привалив через порог рисовальную доску и листы к стене, повернулся, хлопнул дверью и стремительно побежал вниз по лестнице — на улицу, опять на улицу, в никуда, ни с чем!..

Через пять минут способ спасения, к которому Зяблицев никогда раньше не прибегал, был придуман. Он приехал в свой подвал и, не

зажигая света, заперся там с бутылкой, купленной по дороге. Пил он без закуски, в сгущавшейся тьме, и курил одну сигарету за одной. Но он был слишком напряжен, чтобы опьянеть по-настоящему, и в конце концов содержимое опорожненной бутылки вместо чаемого забвения лишь пуще распалило в нем жажду все-таки претворить, увидеть выходящим из-под собственных рук свой замысел — нарисовать-таки свою беременную жену. Хмель смел все мелкие и большие «но», оставив и раздув единственное и главное — рисовать, писать именно т о. Зяблицеву уже казался смехотворным факт, что натуры нет,— нужда в немедленном творчестве, хотя бы и без модели, толкала его и заставляла действовать. Он направился включить в помещении свет, чтобы приняться за работу здесь и немедленно, и включил было электричество, но после длительного отсутствия и недавней темноты озаренная, захламленная эта комната показалась ему местом столь невыносимым, столь агрессивно прошлым, что он тотчас погрузил ее обратно во мрак и выбежал вон, скорее — на такси и туда, где тоже царствовала гнетущая, темная пустота, но хранились следы присутствия жены, где был еще воздух, которым она только что дышала, в котором провела последние дни кончавшегося предматеринства. Там, мнилось Зяблицеву, было бы легче и уместнее предпринять попытку наверстать безвозвратно упущенное...

Едва он закрыл за собою входную дверь и, не снимая ботинок, не включая света, прошел в комнату, как его пронизал, словно током, раздавшийся из глубины квартирной темноты слабый и лишенный практически всякого выражения оклик: «Где ты все ходишь?» Это был голос жены! Она вернулась!

Зяблицев, не веря, страшась, что ему чудится, и еще боясь ликовать, пошел на голос. «Где ты все ходишь?» — повторил голос, и Зяблицев, выдавив из горла: «Отпустили? Рано?!» — сделал последний, отделявший его — по мышечному чувству — от дивана шаг и, мягко рухнув на колени, протянул руки. Они были медленно нащупаны и захвачены другими руками, и уже на ухо ему прошелестело: «Рано, но почти поздно... Накололи меня и отпустили, сказали, на день... Собрать вещи, ну там, попрощаться... Сказали, роды могут быть трудными...он большой и лежит как-то не так, и еще что-то, уже чисто мое...»

Зяблицев ощутил острый холод в животе, но не успел разобрать, от радости или от испуга.

Она не знала ночи, в которую бы он с большей нежностью льнул к ней; он не размыкал на ней своих рук и шептал ей на ухо ласковые слова, к коим раньше не был способен, коих попросту не держал на языке. Но между всем этим он не смог не высказать ей свою нужду и волю и заручился ее согласием. Она проговорила: «Ах, разумеется, разумеется, делай все, что хочешь...»

Когда через неделю на похороны роженицы и крестины новорожденной приехала его мать, она, увидев свежий большой холст с широкой, еще более свежей черной полосой по периметру всего подрамника, долго стояла перед картиной и наконец приговорила: «Срамно больно, и видать, что не жилица... Неуж ты сразу-то не разглядел, непутевый? Майся теперь вот...»

Игорь Шкляревский

СВОБОДНЫЕ СТИХИ

●

Черны полесские ночи.
Звонко кричат сычи,
плачут, вопят, хохочут.
Блестят над лугами звезды.
И вдруг замолчали птицы,
луну проглотили жабы,
и звезды пропали. Тьма!
Так тихо течет ручей,
что слышно, как точит тля
зеленое сердце ивы.
И вдруг ослепил обрывы
мелькающий блеск зарницы
и грохот потряс поля.
Страшны полесские грозы,
по небу метут березы,
висит в пустоте Земля...

Я бежал под грозой, озираясь на страшную тучу, весь пронизанный странной тоской. Я бежал, наступая на мяту, на мокрые стебли полыни, и от запахов передавались — жалость, нежность, вина...

Я бежал и кричал в допотопный сверкающий мрак: — Всё не так у людей, всё не так!

Ливень бил по спине и от молний светилась клеенка. Помнишь, друг, мы лежали на мокрых цветах, а над нами бесилась вода, и текло на луга электричество. Гроза уползала за Припять. Душный мятный пузырь тишины отражал оглушительный звон комара.

Не хотелось вставать. Травы свежестью мучили совесть, и кренилась, кренилась Земля...

Как стрекозы весенние, мы выползали из пленки и по мокрой траве волочили ее за собой. В зябкой памяти смутно витало начало начал.

Помнишь, друг, ты от счастья кричал: — Всё! Прошла, разжигайте костер.

Начинали скрипеть коростели. Раскрывались кувшинки, плескалась плотва, на воде расходились круги. Ликовали в затоне болотные жабы, хохотали и страшно вопили сычи, в мокрых листьях шуршали стрекозы, капли лунного света стекали с притихшего тополя.

Мы за хворостом лезли в кусты, с веток на спину падали тысячи капель. Хохот, визг... Это было еще до Чернобыля. Вдоль дороги еще не стояли щиты: «Не съезжать на обочину!» «Зона. Заражено!» Помнишь, друг, мы боялись невинной росы...

Ночные философы

Лежим в травяной постели.
Над нами сверкают звезды,
скрипят в кустах коростели.

— Я не согласен!

— С чем?

— С тем, что нет ни конца, ни края. Такого не может быть. Ну пускай триллион, ну еще триллион километров, а дальше?

— Нету там никакого дальше...

Костер угасал, и над нами сверкала вселенная.

Мы бессильно смотрели туда, где нет ни конца, ни края.

— А может, ее нет? Может, нет никакой бесконечности?

Странно хихикал друг.

— Не думай, а то свихнешься.

— Нет, послушай, а если...

— Тише, звонит колокольчик!

Нас спасал колокольчик, привязанный к леске. Спасали тоскливые вопли с болота и глухие удары грозы...

— А вечность ты понимаешь?

— Вперед понимаю, а назад не могу понять.

— Это как?

— От первых людей и дальше.

— Какая же это вечность? Вечность была всегда.

— Не понимаю, ведь где-то же есть начало...

— Вот именно, — от и до застряли в твоих мозгах.

— А в твоих не застряли?

Над баркалабовским лугом светало. Побежденные небом, мы зарывались в сено и засыпали с надеждой. Время еще есть, всё еще впереди!

Обессиленный ум подерзил самому себе, и лукаво отвлекся на звон колокольчика.

И вот мы почти старики...

Воды текут, и летят облака. Ходит Земля по заветному кругу. И мысль человека ковыляет по кругу — вперед! — как на два костыля опираясь на от и до. И когда поворачивается Земля, в темноте человеку видна бесконечность. И другие подростки под скрип коростелей возле гаснущего костра смотрят в черное небо над лугом.

— Я не согласен!

— С чем?

— С тем, что нет ни конца, ни края.

— Тише, звонит колокольчик...

Провинциальная читальня

Холодно. Пусто. Темно. В небе хлопает лозунг. Стою на безлюдной круче и не знаю, куда мне идти. До́ма — голые стены, тарелка с холодной картошкой, а на улице — ветер и мрак. Пищат в развалинах крысы. Ни души. Только возле оврага светит окнами библиотека. За оврагом чернеют поля...

Волк наелся мышей и по мокрым кустам пролезает в уютное логово.

Вор с бутылкой портвейна идет, озираясь, к подруге.

А меня в холода и в дождливые дни приютила читальня! Обогрела озябшего, нищего духом. Больше некуда было идти...

* * *

На улице зной, а в читальне прохладно и пусто,
Неподвижно белеют в окне облака.
Я листаю века, подымает Гомер паруса,
и несутся в пыли колесницы Ахилла.
Прямо в солнце вонзилось копье!
Пенелопа тайком распускает вязанье свое,
а за книжной стеной некрасивая библиотекарша
прикрывает газетами нищенский ужин.
— Извините, мне нужен Овидий.
— Я сейчас принесу.
В разомлевшей полыни стрекочут кузнечики,
под окном потянулась брезгливая кошка,
ведь у ливера запаха нет.
Все мы врем про бездомную кошку,
когда покупаем дешевую ливерную колбасу,
но пока завернут на глазах у людей, настрадаешься.
Слава богу, хватает газет...
— Вот Овидий.
— Спасибо.
И опять я листаю в прохладной читальне века.
Неподвижно стоят за окном облака.

РАССКАЗЫ

Личный подарок Николая Дулимова

Сижу на ступеньках крыльца и слышу, как в соседнем дворе обсуждают дела непростые. Там парень окончил школу, надо теперь классного руководителя отблагодарить, как говорят, ценным подарком. Деньги уже собрали со всего класса и купили хрустальную вазу. Который год в таких случаях дарят хрусталь. Вазу приобрели, но вручить ее прилюдно нельзя. В этом году начальство таких подношений не одобряет. В газетах пообсуждали, решили, что это плохо, и запретили строго-настрого. Сегодня — выпускной вечер, всякие слова, цветы, танцы. А перед вечером понесут потихоньку к учительнице на дом хрусталь. Понадежней завернут, и пойдет один человек, подарит. Конечно, от имени всех.

Вот сижу я, слушаю и прикидываю, сколько у этой учительницы хрустальных ваз. Дарили ей и в прошлом году, и в позапрошлом, к Восьмому марта, к дню рождения. Тогда еще в открытую. Музей, наверное, собран даров хрустальных.

Скучно об этом думать. Но думается. И вспоминаю я историю, которая произошла много лет назад.

Учился я в начальной школе. Время было худое, послевоенное. Голодуха, по карточкам хлеб, одежонка — никакая. Но и тогда в школе учителям тоже дарили подарки. Конечно, не хрустали, иная пора, но по силе возможности собирали деньжат и покупали всякую всячину к торжественным датам. Например, к женскому празднику.

Происходило это просто. Заранее объявляли: «Завтра приносите деньги на подарок». Дома скажешь, мать повздыхает, даст рубль. Вот и несешь его.

На большой перемене никто из класса не выходит. Староста садится к столу учителя, и поехало:

— Антюфеев!

— Рубль.

— Алифашкин!

— Рубль.

Несут рублевки, сдают. Староста учитывает.

— Бабурин!

— Мамка не дала.

Это уже хуже. Это позор. Хоть и понятное дело, но позор.

— Благова!

— Три рубля!

А это — событие. Обладательница трешки несет ее горделиво. И глядят на нее, во всяком случае, неравнодушно.

— Биберман!

— Мама от себя подарит.

— Братухина!

— Тоже сами.

Личные подарки, от себя, могли позволить немногие. Но об этом позднее. Сейчас собирают рубли.

— Веденеев!

— Рубль...

— Горелова!

— Рубль...

— Гурьянов!

— Рубль.

— Дулимов!

— Личный подарок!

— Чего, чего? — не поверил староста. Да и весь класс глядел на Кольку Дулимова удивленно.

— Не слыхал? Может, тебе ухи прочистить?!

— Уши, а не ухи,— поправил староста.

— А я тебе то и другое прочищу,— пообещал Колька Дулимов и прошествовал к выходу.

— Поглядим... — проговорил староста. — Что за личный подарок...

Моя фамилия была следующей, и, отдав рубль, я вылетел за дверь вслед за Колькой.

— Колька,— спросил я испуганно,— ты чего?

— Ништяк,— ответил он.— Задаются. Вроде, мы хуже.

Мы были не хуже. Мы были просто бедней. Особенно Колька.

Отец у него без вести пропал на фронте, мать — уборщица. Трое ребятишек. Никаких рублей ему мать не давала. И прежде, когда собирали на подарки учительнице, Колька честно признавался: «Не дает мать, нету». А нынче выкинул вон что...

— Колька...— испуганно шептал я.— Чего ж теперь будет? А? Ну, сказал бы, да и все...

— Задаются...— снова повторил Колька.— Вроде, мы...

И тут я понял, что во всем виновата новая наша одноклассница. Она пришла к нам недавно, девочка из офицерской семьи. Рядом с поселком начиналась большая стройка, лагеря появились с заключенными, а вместе с ними — военные. Новенькую, как на грех, посадили рядом с Колькой. Она и была во всем виновата.

— Что же будет, а? — спрашивал я.

— Ништяк... Придумаем...— махнул рукой Колька.— Сейчас надо Зинке что-нибудь раздобыть.

Вокруг нас уже закружилась карусель большой перемены. Одуряюще пахло затирухой. Это был суп такой из муки, затируха. Его варили тут же, в школе, в одной из комнат, но давали не всем, а лишь детям погибших на фронте. Мой отец умер, войны не дождавшись, Колькин — на фронте, пропал без вести. И затируха нам не полагалась.

Колькина младшая сестра, первоклассница Зина не могла привыкнуть к запаху затирухи. Она нюхала дух горячего варева и плакала. Чтобы утешить ее, мы с Колькой добывали кусок пареной тыквы ли, свеклы, картошку ли, репу — что-нибудь из того, что приносила тогда ребятня в школу,— на перемене съесть, а если уж больно захочется, то и на уроке.

В наших карманах всегда водились для обмена желтые колбаски артиллерийского пороха, нарядные трассирующие патроны с яркой головкой, кусок свинца для «жестки». А уж если не везло с обменом, то Колька катал на себе желающих. Вокруг школы один раз, два или три за кусок печеной тыквы. Зарабатывал или выменивал — и нес сестренке, которая и на переменах сидела в своем классе, за партой, положив голову на руки,— спала ли, дремала. Но на большой перемене от запаха затирухи просыпалась и плакала.

Она и дома всегда лежала. В школу Колька зимою возил ее на салазках, по теплу на закорках таскал. По-доброму, нечего ей в школе и делать-то было. Многих из нас родители, жалея, отдавали учиться с восьми лет, чтоб подросли да окрепли. А Колькина сестренка — бедный заморыш — едва дышала.

Колька таскал ее в школу в надежде, что «будут давать». Такие слухи носились постоянно, с самой осени. Сначала говорили, что «будут давать» в сентябре. Потом — к ноябрьским праздникам, к сталинской конституции и так далее. Что «будут давать», никто не знал. Но слухи ходили упорные. То ли подарки какие-то, то ли просто паек, а может, что из одежды. Говорили, что «будут давать» всем: хоть погиб твой отец, хоть без вести пропал или умер, и даже — если живой. Всем ученикам без исключения, по списку, от первого класса до десятого. Вот Колька и таскал свою немощную сестренку и мать убеждал: «Должны давать... А из списка ее выключат, вот тогда...»

Слухи так и остались пустыми слухами. Но разговор нынче об ином — о «личном подарке».

Личные подарки учительнице секретом особым не были. Иногда их приносили в школу и вручали при всех. А если и не в классе дарили, то назавтра все было известно. Самым богатым подарком был отрез на платье, ниже — на юбку ли, кофточку. Но такие подношения случались редко. Чаще дарили одеколон, духи, пудру да мыло — все это, красиво завернутое, с ленточкой. Мыло «Кармен», одеколон «Кармен» ли, «Ландыш» и пудру «Ландыш» в круглой картонной коробочке. А иной раз вручали чашку с блюдцем, какую-нибудь сахарницу или чулки. Приносили, вручали «лично от себя». А от всех, на собранные рубли, родительский комитет что-то покупал. Это уж общее.

В тот день, когда Колька Дулимов брякнул, что будет дарить подарок «от себя», я пришел к нему. Обычно проводили мы свободное время в неустанном поиске. Пекарня... Из окна ее по деревянному желобу скатывались буханки. В этом желобе, в щелях его, оставались хлебные крошки. Добыть их — чем не задача? Могли привезти макуху на склад потребсоюза. Складской сарай был обнесен колючей проволокой, и охраняли его с ружьем. Но голь на выдумку хитра. Лучше, если макуха была подсолнечная, хуже — горькая хлопковая. Кое-кто рассказывал об ореховой. Мало ли что плетут... Но в тот день о еде речи не было. Думали о «личном подарке». Точнее, думал и прикидывал Колька, а я лишь охал.

— Чулки бы подарить,— фантазировал Колька.— Такие блестящие, в пакете. Вот бы они узнали, как задаваться.

В классе у нас учились сын председателя райисполкома, кое-кто из «торговых» и несколько детей офицеров, из охраны лагерей.

— Или бы отрез, хоть на блузку...— продолжал мечтать Колька.

Сидели мы в тесной Колькиной мазанке с единственной кроватью, накрытой каким-то тряпьем. Даже занавесок на окошках не было. Сам Колька круглый год таскал штаны из крашенной в луковом отваре мешковины, в холода носил куртку из солдатской шинели. Так что чулки блестящие да отрезы было чистейшим бредом. И Колька это быстро понял. Он был реалистом и решил:

— Пудра и одеколон. В блестящей бумаге, с лентой.

— А где взять?

— Ништяк! — решительно ответил Колька.— Сами сделаем.

«Ништяк» — было его любимым присловьем. Этакий призыв к оптимизму. Колька говорил: «Ништяк!», и появлялась макуха ли, свекла или просто надежда. «Ништяк!» — уверенно заявлял он, и жизнь становилась светлее.

— Ништяк! — сказал Колька.— У твоей матери пудра есть? Пошли глядеть.

У матери моей была круглая коробочка пудры. Колька повертел ее в руках, понюхал и постановил:

— Ништяк! Сделаем. Мел натолчем. Лишь бы коробку найти. И одеколон сделаем. Пузырьки будем мыть. Ништяк!

Помойную яму единственной в нашем поселке парикмахерской мы обследовали немедленно и нашли там пустые флаконы из-под «Тройного». У новых восьмиквартирных домов, где жили приехавшие на стройку офицеры, и мусорные ящики были новенькие, дощатые, с крышками на петлях. Еще были бараки водников, бревенчатые строения с общим коридором. И там можно поджиться.

В пустых флаконах «Кармен», «Жасмин», «Ландыш» на донышке оставались какие-то капли. А если не было капель, то оставался запах, который можно смыть водой. Получался одеколон. Колдовал с этими флаконами Колька и в конце концов нацедил пузырек пахучей жидкости. Флакон выбрали самый красивый и чистый — «Кармен». Там, на картинке, плясала цыганка с алой розой в волосах.

С пудрой было похуже. Толченый, протертый мел смахивал на зубной порошок. Выручил Кольку я. У моей матери в кухонном шкафу хранились в заветной коробочке черные палочки гвоздики с зубчатыми головками, шкурочки корицы, шафран, ваниль. Я взял немного того и другого. Протертые снадобья, добавленные в мел, сделали свое дело. Пудра потеряла снежную белизну, стала пахучей.

Прозрачную бумагу мы отыскали в мусорной яме госбанка. Туда выбрасывали конверты и пакеты, часто с красивыми марками. А голубую ленту мы выпросили у Колькиной сестры, наобещав ей всякого в будущем, а пока отдали ей пустые одеколонные пузырьки. Она их нюхала.

Колькин подарок «от себя» в классе изумил всех. И учительницу тоже. Надо было видеть, как шел Колька к столу вручать свой подарок: голубая лента, хрустящая прозрачная бумага, а сквозь нее видна красавица-цыганка. Класс обмер. Колька шагал неторопливо и покашивался лишь на свою соседку — милую девочку в белых кружевных воротничке и манжетах.

— Ништяк? — спросил у меня Колька потом, наедине.— Ништяк было?

— Ништяк! — честно ответил я.

— Пусть не задаются,— улыбнулся Колька.

Я и сейчас вижу его улыбку.

Скоро Дулимовы уехали из поселка к какой-то родне. Адрес мой Колька записал. Но вестей не было долго. Лишь через несколько лет получил я из Казахстана письмо. Колька писал, что учится на тракториста. Приложена была фотография: Колька в форменной фуражке набекрень. «На память другу...» Лицо улыбчивое словно ободряло меня: «Ништяк...»

Она и сейчас жива, эта фотокарточка, и порою, перебирая старые снимки, я говорю ей: «Ништяк, Колька...»

Теперь времена иные. Как ни ругай, а сытые времена. Хрусталь вот дарят учителям. Что ж, как говорится: «Ништяк...»

Городская кошка Лариса

Майским погожим вечером ко двору старого Трофима Абжукова подъехала машина. Подкатила к воротам, посигналила, извещая хозяина и призывая. Старик находился в ту пору у соседей. Услыхав

шум мотора да пенье гудка, поспешил к дому, угадывая издали голубые «Жигули» сына.

После смерти жены Трофим Абжуков третий год жил один, на своем подворье, на хуторе. Дочери разлетелись давно и далеко; младший сын находился под боком, в областном центре. В прежние времена и до него было рукой не достать: дороги худые, и через Дон переправляться на пароме. Нынче мимо хутора бежало шоссе, над Доном крылатился бетонный мост. Два часа от города, при любой погоде. Нечасто, но приезжал сын, проведывал. Все больше один, жена его да ребятишки хутор не очень жаловали.

Нынче приехали вдвоем. Машину и сына Трофим издали признал, а вот к рыжеволосой девочке, подойдя, стал приглядываться.

— Не узнаешь меня, дедушка? — спросила девчушка и весело представилась: — Тамара Абжукова.

— Ну, раз Абжукова, значит, своя,— сказал старик.

Гости не успели приехать, а уж заговорили об отъезде.

— Мы ненадолго, сразу — назад. На завтра — билеты, в Ленинград улетаем.

Вынули из машины сумки с городскими гостинцами. В одной из сумок мяукнуло. Трофим поглядел удивленно.

— Это мы тебе Лариску привезли, погостить. На неделю всего. Соседи тоже в отпуске.

Внучка Тамара открыла сумку и взяла на руки рыжую кошку.

— Красивая, правда, дедушка? Она у нас хорошая, умная. Она у дедушки поживет, а мы скоро приедем...

— Понимаешь, не на кого оставить,— говорил сын.— Думали-думали, хоть билеты сдавай. Решили к тебе. Ровно на неделю. Мы и продуктов ей привезли, чтоб тебе не заботиться.

Кошка была большая, пушистая, рыжая, словно лиса. А хвост — прямо правило лисье.

— Лариса, Лариса... Маленькая моя... Она не будет скучать у дедушки. А мы скоро за ней приедем...— воркуя, ласкала кошку девочка, неся ее через двор к дому.

Трофим, усмехаясь, шел рядом и у крыльца сказал:

— Кидай... По двору побегает, обвыкнется.

— Нет, нет! — в один голос воскликнули сын и внучка.— Она лишь в доме, она во дворе не сможет... В дом, в дом ее...

Прошли в дом. Внучка и сын наперебой объясняли старику:

— Она лишь в квартире, даже на балкон боится. Она же родилась и выросла на двенадцатом этаже. Ее нельзя выпускать, и она не пойдет.

Трофим слушал недоверчиво, глядел, как устраивается на коврике, в углу, рыжая гостья, как ставят возле нее мисочки для еды и питья, а у порога — ящик с песком, для нужд известных. Он слушал, но верить особо не верил. Мало ли что плетут.

Гости скоро уехали. Трофим проводил их, постоял за двором, глядя вослед убегавшей машине.

Подошел сосед.

— Твои, что ли, были?

— Вроде, мои...

— Почему вроде? — усмехнулся сосед.

— Нынче ручаться никак нельзя, свои ли, чужие. Какой год их видишь, а какой и нет. Вот и угадай. Бабка, бывало, все обглядывает, оттель да отсель, свои иль кукушкины. А мне кого покажут, того и целуй. Вроде, на веру. Хоть сучку с чужой улицы приведут. Отчуралися... — вздохнул он и добавил: — Вот кошку мне привезли.

— Чего-чего?

— Кошку. Говорят, не с кем оставить. Сами-то в Ленинград уезжают на неделю. Потом заберут.

Постояли недолго и разошлись по своим дворам.

Хоть и вдовел Трофим третий уже год, но держал в хозяйстве овечек да коз, поросенка, немного птицы — вроде для жизни. Корову он перевел сразу, как жена умерла. Но без молока не сидел, соседи выручали. И пресное у него водилось, и кислое.

Нынче надо было городскую кошку потчевать. Трофим налил ей молока, а потом, усмехнувшись, понес чашку с молоком из хаты, зовя за собой гостью: «Кис-кис-кис...» Кошка послушно в коридор прошла, но у порога встала.

— Кис-кис-кис...— звал ее Трофим, поднося молоко к самому носу и вновь отставляя за порог.

Кошка во все глаза глядела на новый мир, который лежал за порогом. Глядела-глядела, а потом прыгнула и исчезла в комнате.

А вроде ничего страшного вокруг не было: ни собак, ни иного зверья. Двор как двор: летняя кухня, сараи, базы, задичавшие кусты сирени.

Трофим хмыкнул осуждающе, но молоко отнес в дом. Там кошка его полакала и снова улеглась на коврик.

Старик поужинал, включил телевизор и стал глядеть. Но там что-то не больно ладное казали. И снова о кошке подумалось. Она лежала подремывая. Трофим позвал ее:

— Кис-кис... Иди сюда.

Кошка послушно прыгнула старику на колени и замурлыкала. В рыжей пушистой шерсти, с розовым носиком, она была хороша.

— Глупомордая...— попенял ей Трофим.— Чего ты двора боишься? Тама...— произнес он и не мог рассказать,— одно слово, воля. А тут...— обвел он глазами стены,— вроде тюрьма. Дура ты, дура и есть,— постановил он, глядя в зеленые кошачьи глаза. А потом вдруг подумал, что кошка не знает иного, лишь стены. А коли не знает, то и понять не может. И словами ей не втолкуешь. Сама должна увидеть, почуять, тогда поймет.

Старик погладил кошку. Она ласкалась, выгибая спину, мурлыкала.

— Пошли...— сказал ей Трофим, поднимаясь.— Не бойся. Никто тебя не укусит.

Пока в доме были, кошка лежала в руках спокойно. Но лишь шагнул Трофим за порог, рыжая моментально скользнула из рук его — только ее и видели.

Старик вернулся в дом. Кошка сидела на прежнем месте, на коврике, и глядела настороженно. Трофим был человеком упрямым. Он взял сумку, подманил кошку, успокоил ее и в сумку посадил.

— Так-то вот...— сказал он удовлетворенно.— Теперь не упрыгнешь.

Он вышел во двор, у крыльца, возле куста сирени, раскрыл сумку и приказал:

— Вылазь.

Понимая, чего хотят от нее, кошка припала ко дну сумки.

— Вылазь,— повторил Трофим и, ухватив рыжую гостью за шкирку, вытащил ее из сумки.

Он почуял, как тело кошки сжалось и словно окаменело. Глаза ее раскрывались все шире и шире, а потом сожмурились, словно от ужаса. Трофим положил несчастную животину на землю, возле куста

сирени, и отошел в сторону. Кошка не шевельнулась и осталась лежать, ткнувшись мордою в землю ли, в лапы.

— Кис-кис...— немного подождав, позвал Трофим. Но она лежала, словно мертвая. Старик испугался, подумав: «Подохнет еще, будет беды...» — и унес ее в дом.

В комнате, на привычном коврике, кошка быстро пришла в себя, распушилась и замурлыкала. Трофим глядел на нее и удивлялся: «Вот чудо так чудо. Правда что — Лариса. Добрым людям скажи — не поверят...»

На том и кончился день. Улеглись спать, каждый на своем месте. А утром поднялись к своим же делам. У кошки их было поменьше: поесть, а потом долго умываться. Трофим прогонял в стадо коз да овец, кормил поросенка, птицу, а когда вернулся в дом, кошка еще умывалась, мурлыкая.

— Глупомордая,— сказал ей Трофим.— Для кого намываешься? Мне — на люди. А тебя кто придет глядеть? Кому ты нужна? Лариса...

Услышав свое имя, кошка вскинулась. Но старик лишь рукой махнул, повторив:

— Глупомордая. Чего с тобой толочить...

Он позавтракал и пошел на пчельник.

Пчелами Трофим занимался давно. Помногу их не водил, а десяток ульев всегда имел, размещая их возле дома. Усадьба лежала на краю хутора, на взгорье высокого донского берега, который к воде уходил полого, потом обрывался крутояром. Просторные лесистые балки отрезали хуторское взлобье от холмов соседних. Подле самого двора, в молодом дубняке, стояли ульи.

Старик любил возле пчел бывать. Гудливый народец, суетной, работящий. На рамках, на сотах кипела жизнь, шла работа. Уже серебрился на донышках восковых чаш светлый напрыск — капли нектара и меда, белела черва — молодые личинки.

— Давай, давай,— похваливал старик пчелиную матку.— Нам народ нужен. Старайтесь, не ленитесь...— бурчал он рабочим пчелам.— Самый цвет... Вон зовут вас...

Там и здесь, на восковых рамках, затейливо танцевали пчелы-разведчицы, рассказывая о пахучих полях золотистой медуницы, о зарослях душистой акации, увешанной белыми гроздьями цвета, об алых кустах шиповника — о всех богатствах молодого лета, которое цвело и пенилось на зеленых придонских холмах, в тенистых балках и укромистых, затихных падинах. Нынче везде было хорошо. Даже здесь, у самого двора.

Полегонечку ропотали дубки бархатистою листвой. Рядом курчавилась молодая полынь целины. Неподалеку шумело под ветром хлебное поле мягким усатым колосом и жесткой листвой. Внизу, под горою, огибая кручу, синело коромысло Дона.

Весенняя вода еще не упала, задонское займище — тополя да вербы — стояло по колено в воде. Серебрились вдали залитые водой низины, рукава, старицы. А дальше лежала зеленая земля, до самого края, в зыбком синеватом туманце. И небо — в летних, высоких облаках.

Кошка вдруг вспомнилась, бедная городская гостья Лариса, сидящая в четырех стенах. Подумалось, что зря вчера дрогнуло сердце: нужно было оставить ее во дворе подольше. Полежала бы, обвыклась и теперь грелась бы на солнышке, гонялась за всякими бабочками да жуками. Мышей бы ловила, их тут полно.

Трофим подумал и пошел в дом, принес кошку в той же сумке, что и вчера, и посадил в тень дубков, на мягкую траву-вейник. Как и вчера, в закрытой сумке кошка вела себя спокойно, а на земле судорожно сжалась и словно одеревенела. Ткнулась головой в лапы и замерла.

— Ничего, ничего, обвыкнешься,— сказал ей Трофим.—Потом и в хату тебя не загонишь.

Он оставил кошку и ушел к пчелам. А потом его позвал сосед, и они до полудня мучались со стареньким сепаратором, налаживая его. Там же, у соседей, Трофим пообедал и пошел домой, отдыхать.

Малиновый коврик в горнице напомнил ему о рыжей гостье, Ларисе. Старик заохал, досадуя на забывчивость, и поспешил к пчельнику, к молодым дубкам.

Кошка лежала так, как оставил ее Трофим: на том же месте и в той же позе, ткнувшись мордою в лапы. «Сдохла...» — подумал Трофим, но, тронув рыжую, понял, что жива она.

Он отнес ее в дом, на коврик, в горницу, налил молока в миску. Не сразу, но кошка пришла в себя, оживела, жадно лакала молоко, покашивалась на Трофима. И когда он поднялся, кошка метнулась и спряталась под диван.

— Не трону, не трону...— сказал ей старик.— Живи, как в рукомойнике, взаперти.

Он подлил ей молока и ушел отдыхать в комнату-боковушку. Лег и думал о кошке: какое-то, вроде, уважение к ней появилось. Это же надо суметь: пластом пролежать полдня и с места не двинуться.

Больше Трофим рыжую Ларису не трогал. Кормил ее, каждый день менял в ящике землю. Кошка в доме освоилась: ходила-бродила, порою играла в свои кошачьи игры. Вот и все.

Неделя прошла быстро, и к сроку приехали за Ларисой, забрали ее, и делу конец.

А Трофим долго ее вспоминал. Особенно вечерами. Днем — дела, хозяйство, заботы. Огород да картошка, колорадский жук донимал. Сено косить козам да овечкам. Дрова к зиме потихоньку готовить. Завалинку хотел сделать из кирпича, но не вышло, не добыл кирпича. В общем, дни пролетали быстро.

Вечером, перед тем как спать идти, Трофим Абжуков сидел на крыльце, сумерничал. Лет ему было семьдесят пять. Телом он усыхал, горбился. Особенно это было заметно вечером: сидит на крыльце, худой, сгорбленный, седые волосы торчат из-под кепки, темное морщинистое лицо, тяжелые кисти рук со вздутыми венами отдыхают на острых коленях.

Летним вечером на крыльце хорошо. Ласточки со щебетом носятся или сидят на проводах, тоже щебечут. Лопочут скворцы. В июне их уже нет во дворе, убрались: вырастили птенцов, сбились в стаи и пируют в садах и полях. Воробьиный гвалт, пенье иволги, серебристый звон щуров, улетающих на ночлег.

Зелено во дворе и в саду, на просторных крыльях холмов. Хлебное поле в свою пору серебрится внизу. За ним — кудрявое займище, поля, селенья — мир далекий, просторный во все концы. Высокое летнее небо с редкими островами облаков, которые долго светят, горят алым и багряным. Глядишь на них, и покой на душе. Худое все забывается.

В такие вот минуты старик иногда вспоминал о городской своей гостье, рыжей кошке Ларисе. Вспоминал и не мог в разум взять: что ее так пугало в этом покойном мире...

Потом он о детях начинал думать, о внуках, о жизни вообще. Было о чем подумать.

Телик

Тишину он терпеть не мог.

— На кладбище! — кричал он.— На кладбище належимся! — и запевал громко: — А на кладбище все спокойночко, все пристойночко!

И включал на полную мощность. Все включал, что под рукой было. В конторе — значит, радио; когда по стройке лазил, по этажам — то малый приемничек пел у него на груди, болтаясь на ремешке. А уж дома, на порог ступив, он включал все подряд, и вперебой гремели репродуктор и телевизоры. Телевизоров было два, один — цветной — в горнице, другой — черно-белый — в спальне. Один был настроен на первую программу, другой — на вторую.

Старуха-теща, она отдельно жила, так вот теща привыкнуть к такому не могла и сразу же уходила, ругаясь:

— Угомон тебя не берет, повключал... Чисто на ярманке...

— На кладбище! — убеждал он.— На кладбище, мать, тихомолом будем лежать, там ни шуму, ни граху. А пока живые, надо слушать, быть в курсе!

Он всегда был «в курсе».

— Вчера по телику...— сообщал на работе.— Нынче по телику...

«Телик сказал» — это был довод самый веский, выше уже некуда.

— Телик, понимаешь, телик сказал...— воспитывал он неразумного.— Те-лик! — и кончал разговор, потому что все было ясно.

Его так в поселке и звали — Телик. Не в лицо, конечно, а за глаза, с усмешкой, но уважительно. Мужик он был деловой, нравом веселый, а что телевизор любил да радио — какой в том грех? Люди рыбалкой, охотой увлекаются, машинами, мотоциклами — у каждого свое. Даже теща в чужих домах зятя хвалила:

— Два телевизора... Чисточко кажут, как в молодом глазу, все видать. Тама — кино, и тама — кино. Хучь растопорься.

Она хвалила, и люди завидовали, понятное дело. Это раньше, в прежние годы, зимние вечера коротали, по-соседски сходясь, в одном ли, в другом дому. Играли в карты, в лото, басни тачали про колдунов и ведьм, про старые времена. Нынче все это кончилось. Гостили по праздникам, а будни проходили у всех одинаково, с телевизором.

В теплую пору хватало забот: огороды, сады, хозяйство. Просто посидеть на лавочке, на ступенях крыльца летним вечером — разве не хорошо? Зелень вокруг, цветы, закатное солнце. А осенью быстро смеркается и темнеет. На воле — зябко, редкие фонари, а в доме — приютно. У Телика дом был большой, на целых четыре комнаты, и очень теплый. Электричества в нем не берегли. Большая лампочка горела над крыльцом, освещая двор. На веранде, в коридоре — тоже свет, про комнаты не говоря. Телик сумерничать не любил.

— Чего впотьмах! — шумел он. — Как мыши!

Жена, конечно, ворчала: «Каждый месяц пять рублей да шесть...» Но ворчала скорей по привычке. Жили неплохо.

Телик, едва в дом войдя, свет везде зажигал, раздевался до пояса — он любил свободу — и включал телевизор, сначала один.

Дикторов, комментаторов, ведущих — словом, людей постоянных — он знал в лицо поименно и обращался с ними по-свойски. Благоволил бабам.

— Здорово живешь, Катерина!.. Нюра, салют! — приветствовал он.

А женщины-дикторши словно ждали этих слов, улыбались с экрана.

Мужиков он ставил на место сразу:

— Ага! Васька с похмелья! Точно! Еле языком варнакает! А Мишка давно не пил. Доходит. Ему б надо влить рюмаху-другую. Он бы тогда понес...

Картинка на экране менялась. Новый лик Телик встречал радостно.

— Хо-хо! Аза! С прибытьем! Давно не видались! Либо в отгулах была?! Иль закружилась с каким-нибудь лаврушником? Ты мне гляди... Сережки, бусы... При новой платье... Личит, личит...

Женщина на экране словно и вправду все слышала и чуть смущалась. А Телик кружился рядом, подначивал:

— Платьенка добрая, сережки... Баба — на завид!

— Нашел завид,— ревновала на кухне жена.— Старуня.

Телик садился ужинать. Приземистый, крепкий, с кучерявым волосом на голове и груди; небольшой арбузный животик выпирал из-под майки.

Ужинал и глядел телевизор. Аппарат стоял удобно, напрямую, лицо в лицо. Обычно во время ужина что-нибудь говорили. Телик вполуха внимал, но не давал потачки.

— Брешешь! — укорял он твердо.— И опять брешешь!

— Выключи. Чего слухаешь, коли брешут,— советовала жена.

— Но-но! — пугался Телик.— Может, сейчас будет чего.

Отужинав, он вплотную приступал к делу: разворачивал программу, хоть и знал ее наизусть, но снова пробегал глазами, освежая память.

— Телеконференция.... Халды-балты... А по этой программе...

Жена устраивалась на диване, с вязаньем. Она платками пуховыми занималась. Сидела на мягком, орудовала спицами, на экран глядела да слушала. А мужик ее мыкался из спальни в горницу, туда-сюда... Он выбрать никак не мог: что глядеть? Это была вечная беда. То по обеим программам всякую ерунду кажут, где хуже — не поймешь. А то, как назло, там и там интересно.

Прежде жена ругалась, смеялась, теперь привыкла. И к суете, и к речам. Телик молча смотреть не мог.

— Ты брешешь! — строго внушал он.— Академик, а брешешь, как цепной кобель. В колхоз тебя надо, с вилами чтоб... Понял? — и делал два шага к дверям спальни, где показывали баскетбольную игру.

— Этих тоже в колхоз! Журавцы колодезные! Или к нам, на стройку... Точно! — кричал он.— На объект! Кранов не хватает! Будут кирпич подавать! Раствор! Жирафы длинногачие! Баглаи... Ты, баглай! Либо уморился? Пот вытирает? Пьет... Либо с похмела...: — ехидничал Телик.— Куда бежит, не видит. И до свиданья, не дюже нужны,— прощался он с баскетболом.— Век бы вас не видать!.. Маруся, привет,— игриво здоровался он с дикторшей и скрывался в спальне.— Маруська, ты чего на меня не глядишь? Заелась? При новой платье... А под платьей...— ворковал он.

Жена не выдерживала, строго глядела в проем дверей:

— Ты чего... Щупаешь, что ль, ее?

Телик вздыхал огорченно.

— Не выходит... Стекло... Ученые, в бога мать, академики, не могут придумать... Маруся, ты куда?

Но дикторша исчезала, и снова начиналась игра в баскетбол.

Телик заглядывал в горницу.

— Все брешет? Видать, заплатили. О! Слава богу! Наконец, уморился. Танюшка, привет! Это я! — выскакивал он прямо к экрану.— Начапурилась? Молодец. Кого объявляешь? Баб? Гони их сюда, каких посурьезней... Худорба не нужна! Молодец! Отобрала! Хвалю. Погнали, девчата! Давай! Трам-пам, трам-пам! — помогал он музыке, и сам

пританцовывал посреди горницы. Он умел танцевать. Когда-то лихо выплясывал и теперь любил, оттопырив зад, пройтись кое с кем... Красулечки были рядом, вокруг. Дыхание обжигало Телика, женское пахучее тепло пьянило, и он с азартом скакал.

— Эх, курноска, нам ли жить в печали!

Жена привыкла, вязала себе спокойно. Когда-то она ругалась, потом привыкла. У других мужики пьют, ругня и прочее. Шалаются, в семье нелады. Или охота, рыбалка — тоже нехорошо. Пропадут — и жди.

— Даем стране! — кричал Телик.

И вдруг все оборвалось. Свет потух. Выключили. Дом погрузился во тьму. Телик не сразу пришел в себя. Была пляска и музыка — и вдруг темнота.

— Чего? — спросил он обиженно.— Чего такое?

А потом понял и побежал на двор, глядеть.

У соседей было темно. Вся улица лежала во тьме. Лишь далеко, где-то у порта и станции, светило.

Он вернулся в дом, подождал, надеясь, что загорится свет, потом начал ругаться:

— Сволочи... Сволочье! Гады, не думают включать. Сидят, угрелись. Из пулемета бы их... Тра-та-та-та-та... Или гранату туда. Чтоб очнулись.

Ругани хватило ненадолго. Верилось, что включат свет. Тишина обступила, тьма.

— Свечку зажечь...— сказала жена, поднялась и пошла на кухню.

Скоро там затеплился огонек. Телик пришел, поглядел на свечное пламя, повздыхал.

— Спать ложись,— подсказала жена.

— Сдурела? Нынче кино. Включат. Должны включить, гады.

Он вернулся в горницу, постоял возле смолкшего телевизора, потрогал его. В спальне тоже было темно, и окошки глядели во тьму. Обступила тишина, какая-то вязкая, словно в глухом подвале, в тюрьме.

— От Клавы письмо получила! — громко сказала жена.— Пишет...

— А?! — не сразу понял Телик.

— Письмо, говорю, от Клавы...

— Тьфу! С твоим письмом... Клава твоя. Кино должны показывать! Начало сейчас! А потом пойми...

Он стал ходить из горницы в спальню. Ходил и заглядывал в окошки. Свет был далеко, где-то у станции. Но был. И люди там смотрели телевизор. Думать об этом было тошно.

— А где наша принцесса? — вспомнил он о дочери.

— В школе.

— Какая сейчас школа?

— Вроде, кружок.

— Кружок...— подозрительно процедил Телик.— Дурит тебя... Кружки... Впотьмах... После таких кружков,— хмыкнул он,— в подоле приносят. Поняла?

— Дурак! — отрезала жена.— Нареки еще...

— Поглядим, кто дурак,— обиделся Телик.— Вы-то, конечно, умные, ты да маманя твоя. Все богатеете, а я — дурак...

— Чего ты плетешь?

— Вот и плету... Правда глаза колет? Сберкнижки у них... Кладут и кладут...

— А куда же? Либо в грязь топтать?

— А вот почему, интересно, у вас книжки есть, а у меня — шиш с маслом? — спросил он в упор.— У тебя сколь там лежит? Все хоро-

нишь. А у мамани твоей? У этой ссыкушки и то три тысячи наложено. Заработала. Один я: гол — как сокол.

— Тебе шапку купили, за двести рублей,— в общем-то невпопад брякнула жена.

Тут уж Телик взвился.

— Шапку?! Даете! Вам — тыща на книжку, а мне — шапку облезлую из дохлой кошки! Завтра меня — в тычки, и пойду я по миру с этой шапкой. Да ведь и шапку отберете. Продадите, и тоже на книжку! Что маманя, что ты...

— Кладем! И будем класть! — обозлилась жена.— Не твои накладываем! Сколь пуху прядем, шалей вяжем, продаем. Вот она и денежка. С твоей, что ль, зарплаты. Уж получал бы, как люди...

Телик даже опешил.

— А люди сколь получают?

— По-людски! — отрезала жена.— Петро Таисьин по три сотни привозит. Как устроился на нефть, так и везет каждый месяц три сотни.

— Триста? — переспросил Телик.

— Триста...

— Вот это даешь...— зловеще процедил он.— Да я уж который год мене трехсот тебе не приношу. Как прорабом поставили, так и...

— Какие триста?

— Простые! — закричал Телик.— Советские! Считать научись! Или в чужих руках... Там видишь! Да вам тыщу дай, вы скажете — нищеброд. Потому что вся ваша порода такая! Еще мама-покойница меня упреждала! Я теперь тоже на книжку!

И вдруг словно ударило: вспыхнул свет. Вспыхнул и горел ярко, ровно. Даже не верилось. Экран телевизора засветился, появились звук, музыка, голоса, а потом и люди в военной форме.

— Началось! — охнул Телик.— Теперь разбери попробуй.

Он впился глазами в экран, про остальное разом забыв. А жена кипела обидой:

— Шубу тебе справили! На курорты ездил, один билет — почти сотня! Племянник твой женился, на свадьбу... Считаешь, сколь приносишь, а берешь сколь?..

Сначала гневные речи ее лились там, на кухне, и Телик им не внимал. Потом грянуло в горнице:

— А магазин ты считаешь?! Туда каждый день копеечка!!

Телик вздрогнул, не понимая, о чем речь. Он уже был в иной, далекой отсюда жизни.

— А на базар?! Я — хозяйка...

— Ты... Ты хозяйка...— замахал руками Телик.— Ничего мне не надо, лишь молчи. Садись, садись, Я вроде понял. Вон тот, длинногачий, он чего-то задумал,— объяснил он.— А вон та баба, она мужняя, но шалава и она, видать... Вот поглядим... Вот началось...

На экране и впрямь назревали события непростые: «длинногачий» за пистолет схватился.

Глядели не дыша.

А когда страшное миновало, Телик выдохнул облегченно, повернулся к жене. Она уже работала спицами, вязала платок.

— Во дают! — проговорил он и вспомнил:— Мне обещали маленький телевизор достать, переносной. Летом его в огороде повесим, работай — и гляди. А то такие кино пропускаем.— Он смолк, впиваясь глазами в экран, и зашептал: — Гляди, длинногачий-то опять, вот сволочь... И эта шалава возле него...

На экране затевалось серьезное.

Татьяна Бек

ИЗ КНИГИ «РАЗЛУКА»

●

Ужасают недуг небывалый,
Нелюбовь, каземат, полынья...
— Что страшнейшее в мире?
— Пожалуй,
Это все-таки запах вранья.

Тишиною меня осчастливьте!
Лучше кануть, не выйдя в князья,
Чем привыкнуть к обману и кривде...
Я уже привыкала. Нельзя.

От бездарности врали, от страха,
От желанья нажиться впотьмах...
Лишь какая-то частная птаха
Заливалась над нами в слезах!

Этот край — на краю одичанья,
Эти камни уже не сложить...
Мы погибли — минута молчанья.
...А потом —
попытаемся —
жить.

●

Носящие маски и цепи
В пределах отдельной страны,—
Уже мы седые, как степи,
И тяжкие, как валуны.

Сутулясь от принятой ноши,
Мы плачем и плачем, храня
Все пыльники, все макинтоши,
В которых ходила родня,—

Все петли, и дыры, и пятна,
Все признаки будущей тьмы...
И наша печаль необъятна,
И все-таки счастливы мы—

Мы: в ужасе, в яблоках, в мыле,
В разлуке, в тумане, в пыли.
...И не было
города
в мире,
Где мы бы с тобой не прошли,—

Ни шагу не делая с места,
А просто паря в облаках.
...Как дед твой
— за час до ареста —
С любимою книгой в руках.

●

И шли, и пели, и топили печь,
И кровь пускали, и детей растили,
И засоряли сорняками речь,
И ставили табличку на могиле,

И плакали, и пили, и росли,
И тяжко просыпались спозаранку,
И верили, что лучшее — вдали,
И покупали серую буханку,

И снова шли, и вырубали сад,
И не умели приходить на помощь,
И жили наугад и невпопад,
И поперек, и насмерть, и наотмашь,—

И падали, и знали наперед,
Переполняясь ужасом и светом,
Что если кто устанет и умрет,
То шествие не кончится на этом.

●

На занятия бегала
мимо афиш и скворешен,
В «пионеры» вступала,
на горло мотая кумач...
Я очнулась: одна.
Вероятно, мой вид безутешен.
Предлагаю не плакать
и бедные силы напрячь.

...Начинается осень —
сухая, холодная, злая.
Истощилась надежда.
Отчаялся разум и дух.
Но, чужого ребенка
на истинный путь наставляя,
Эту страшную повесть
ему не рассказывай вслух,—

Потому что нельзя
упастись от вины и погони,
Потому что он сам
подрастет, чтоб, себя позабыв,
Захлебнуться тоской,
закурить в некурящем вагоне
И свое жизнелюбие
возненавидеть как миф...

Здесь свобода спилась,
здесь грешат и ответствуют хором,
А прямую натуру
обычно встречают в тычки...
Здесь любимая родина
смотрит невидящим взором,
Поправляя рукою
в железной оправе очки.

...А чего мне хватает,
так это — кладбищенской хвои.
О, простор ненаглядный —
родной и оплаканный весь!
Невозможно отторгнуть
проклятое это, живое,
Это древнее, горькое,
неповторимое «здесь».

●

— О шиповник!
...А хвоя в лесу,
А черемухи мелкой кипучесть!..
Отчего ж я, как ива, несу
Лишь упрямую эту плакучесть? —

«Ничего. Ничего. Не грусти.
Ты задумана так от рожденья —
Ненавидеть свое отраженье,
И тянуться к нему, и расти.

Ты, последыш и поздний побег,
Некрасивый, неистовый, новый, —
С иноземной фамилией Бек,
Обрусевшей по воле Петровой, —

Ты случайно явилась в ночи,
Ты очнулась в купели кромешной, —
Чтоб, не путая звезды ничьи,
Все же быть и гневливой, и нежной.

Приготовься — еще не конец.
Испытуемой будешь, любимой...»
Так опять мне ответил Отец:
Тот, Единый, и этот —
родимый.

●

Всё кончается!
С каждой кончиной
Жизнь уходит, пощады не зная.
...Этот стол. Этот нож перочинный.
Эта частая шаль кружевная, —

И рукав от военной рубашки,
И гребенка, и лампа, и клещи,

И в коробке — старинные шашки,
И другие ненужные вещи —

Всё, что пахнет родным человеком
И внезапно бросает в рыданье,
Стало памятью и оберегом,
На глазах обращаясь в преданье.

●

Брошенный мною, далекий, родной, —
Где ты? В какой пропадаешь пивной?

Вечером, под разговор о любви,
Кто тебе штопает локти твои

И расцветает от этих щедрот...
Кто тебя мучает, нежит и ждет?

...По желудевой чужбине брожу
И от тоски, как собака, дрожу —

Бросила. Бросила! Бросила петь,
И лепетать, и прощать, и терпеть.

Кто тебе — дочка, и мать, и судья?
Страшно подумать, но больше не я.

●

Выше и выше (в охапке — душистый горошек,
Розовый клевер и дикой сирени цветы) —
Прочь от обиды на участь, от рожек и ножек
Битой надежды, нескладицы и маеты!

...Веки прикрою — и вспомню иллюзии детства,
Где представлялось, что люди не топят котят
И уж тем более не признают людоедства,
Братьев не режут и боли чужой не когтят.

О заблуждение — ворох безжизненных кружев!
(Села на землю...) А жизнь оказалась иной.
Но вероятно, лишь ужас ее обнаружив,
Мы проникаемся верою и глубиной.

Нет! Не получится жить безмятежно и кротко,
Если солдатик вернулся без ног и без глаз,
Если ведет, спотыкаясь, нетрезвая тетка
Толстую девочку во «вспомогательный класс», —

Если труба не поет над оболганным зэком,
А смертоносная лава клокочет в печи...
— Ты родилась утописткой — умрешь человеком
От сострадания, от просветленья в ночи.

Ю. Голанд

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

(ОЧЕРКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БОРЬБЫ 20-х ГОДОВ)

Переход к экономическим методам управления, расширение сферы кооперативной и индивидуальной хозяйственной деятельности предполагают и разнообразие форм политической жизни. Общепризнано, что экономическая реформа должна сопровождаться реформой политической. В последнее время открыто выражаются полярные взгляды внутри КПСС, вне ее появилось множество общественно-политических объединений. Идет процесс формирования демократической политической системы. Связанные с ним трудности можно лучше понять, если обратиться к опыту 20-х годов.

С осени 1920 года все больше сторонников стала завоевывать мысль о том, что пора отказаться от вызванных гражданской войной ограничений демократии, в первую очередь в самой партии. За время войны в работе партийных организаций возобладали командные методы, произошел отрыв «верхов» от «низов». Частично это объяснялось тяжелым положением в стране, разрухой, неимоверной загруженностью всех членов партии. У руководящих работников порой просто не было времени и возможности участвовать в жизни своих партийных организаций. Постепенно они, как отмечалось в отчете ЦК к X съезду партии, «утрачивали контакт с массами, разучивались говорить с рабочими, начинали уклоняться от партийной работы, даже и в том случае, когда физически имели возможность найти для нее время». А это вело к тому, что рядовые члены партии переставали считать руководящих работников своими, утрачивали к ним доверие; как говорилось в том же отчете, «создавалось взаимное непонимание и отчужденность».

Эти недостатки были признаны на IX Всероссийской партийной конференции в сентябре 1920 года. Она наметила целый ряд мер, направленных на оздоровление партии, в том числе — создать специальные органы печати, чтобы «осуществить более широкую критику как местных, так и центральных учреждений партии». Подчеркивалось, что «какие бы то ни было репрессии против товарищей за то, что они являются инакомыслящими по тем или иным вопросам, решенным партией, недопустимы». Намечалось также выработать практические меры для устранения неравенства в условиях жизни ответственных работников и трудящихся.

Решения конференции начали проводиться в жизнь, увеличивалась свобода обсуждений, прежде всего для партийного актива. Так, с ноября 1920 года развернулась острая дискуссия о роли профсоюзов. Сформировалось несколько группировок, ожесточенно между собой споривших. ЦК партии (в него входило 19 человек) разделился примерно пополам между двумя платформами. Не существовало единства и в Политбюро: Ленин, Сталин и Каменев придерживались одной платформы, Троцкий с Крестинским — другой. Кроме этих основных платформ, было выдвинуто еще несколько, в частности «рабочей оппозицией» и группой «демократического централизма».

Параллельно с развитием демократии внутри коммунистической партии осенью 1920 года были расширены легальные возможности для деятельности других партий — меньшевиков, левых эсеров, отколовшейся от правых эсеров

группы «меньшинства партии социалистов-революционеров» (МПСР). На местах некоторые члены этих партий продолжали содержаться под арестом, однако была разрешена деятельность центральных органов, левые эсеры выпускали журнал «Знамя», а МПСР — журнал «Народ». Представителей меньшевиков и эсеров в конце декабря 1920 года пригласили принять участие в работе VIII Всероссийского съезда Советов. Они выступили на нем со своими декларациями, в которых, в частности, предлагали коренным образом изменить взаимоотношения с крестьянством, перейти от продразверстки к продналогу. Предложения их были отвергнуты.

Правящая партия еще не осознала необходимости такого поворота. Несмотря на развитие внутрипартийной демократии, по-прежнему на всю деятельность партии накладывала отпечаток политика «военного коммунизма», а она уже изжила себя. Показательно, что ни в одной из платформ, выдвинутых в ходе дискуссии о профсоюзах, не предлагалось отказаться от этой политики, которая привела к глубокому социально-экономическому кризису, быстро развивавшемуся с середины января 1921 года. Сокращение продовольственных пайков вызвало резкое недовольство рабочих в крупных городах. На многих общезаводских собраниях в Москве в конце января были приняты требования отменить привилегии для отдельных категорий. Как показывает исторический опыт, такие требования могут служить симптомом кризисного положения: в период подъема экономики их не выдвигают. 1 февраля пленум Моссовета постановил обратиться в Совет Народных Комиссаров с просьбой отменить привилегированные продовольственные пайки, в том числе совнаркомовские, которые получали 10 тысяч ответственных работников, и академические — их получали 1900 человек. Аналогичные требования содержались в в резолюции проходившей со 2 по 4 февраля беспартийной конференции металлистов Москвы и Московской губернии, которая, кроме того, призвала перейти от продразверстки к продналогу. Учитывая настроения масс, СНК 8 февраля принял постановление о сокращении привилегированных пайков. Намечалось, в частности, уравнять нормы снабжения ответственных работников и рабочих. Вместе с тем на этом заседании Ленин категорически протестовал против полной отмены академических пайков; было решено сохранить их «за научными специалистами, действительно необходимыми Республике».

В тот же день на заседании Политбюро Ленин внес предложение отказаться от продразверстки, которое обсуждалось в ЦК около месяца. Пока там вокруг него шли споры, а партия в целом вела дискуссию о профсоюзах, положение в стране продолжало ухудшаться. В 20-х числах февраля в ряде городов начались рабочие волнения. Так, 23 февраля в Москве на предприятиях Хамовнического района забастовали несколько тысяч рабочих. Направившись к воинским казармам, они призвали красноармейцев присоединиться к демонстрации против ухудшения экономического положения. Охранявшие казармы часовые открыли предупредительный огонь поверх толпы. При этом, как сообщалось, «случайно» был тяжело ранен один из рабочих — через несколько часов он скончался. В Петрограде несколько дней продолжались волнения, в ходе которых произошли стычки рабочих с курсантами. 1 марта вспыхнул мятеж в Кронштадте, где были выдвинуты ультимативные политические требования к Советской власти.

Все это оказало огромное психологическое воздействие на партию, считавшую себя партией рабочего класса, на поддержку которого она опирается. Именно благодаря такой поддержке была достигнута победа в гражданской войне. О том, что большинство крестьян не хотело мириться с продразверсткой после окончания войны, свидетельствовали восстания в разных районах страны, несогласие же рабочего класса с политикой партии оказалось неожиданностью. Выходило, что поддержка рабочих отнюдь не гарантирована партии при любой политике.

Отсюда сделали выводы. Во-первых, было решено изменить политику. X съезд партии в середине марта без всяких возражений принял резолюцию

о переходе к продналогу. Во-вторых, по предложению Ленина, были запрещены фракции в партии. На проходившем во время съезда совещании старых работников Ленин с полной откровенностью мотивировал свое предложение об их запрещении тем, что возникла угроза потери партией власти в стране. Как позднее вспоминал один из участников этого совещания, Т. Сапронов, Ленин говорил: «Мы окружены мелкобуржуазной стихией, в которой накапливалось, накапливается и некоторое время еще будет накапливаться недовольство против нас. Кронштадтское восстание явилось первым проявлением этого недовольства. За ним, почти наверное, последует ряд других. Положение критическое». Партия сможет сохранить свою руководящую роль только в том случае, если «проявит железную дисциплинированность, если ни на одном повороте, а их нам, возможно, придется сделать не раз, партия не дрогнет и не поколеблется». В создавшихся условиях, по мнению Ленина, фракционная борьба ослабляла партию и могла быть использована врагами Советской власти для организации контрреволюционных выступлений. На съезде, предлагая резолюцию о единстве партии, он говорил: «Мы должны помнить то обстоятельство, что внутренняя опасность в известном отношении больше, чем деникинская и юденичская, и должны проявить сплоченность не только формальную, а идущую далеко глубже. Для создания такой сплоченности мы не можем обойтись без подобной резолюции» [1].

При внимательном рассмотрении доводов, которые Ленин приводил, настаивая на запрете фракционной деятельности, можно заметить некоторую недоговоренность. Ведь в еще более трудных условиях 1918 года Ленин не требовал запретить фракцию «левых коммунистов». В своем журнале «Коммунист» они критиковали не только Брестский мир, но и курс на развитие государственного капитализма, предложенный Лениным весной 1918 года, а его самого обвиняли в «правом уклоне». И не то, что в партии были фракции, привело к Кронштадту, рабочим волнениям и крестьянским восстаниям, а задержка перехода после окончания гражданской войны к политике мирного времени.

Отмена продразверстки была только первым шагом на этом пути. Но если предложение Ленина перейти к продналогу поначалу встретило в ЦК возражения, которые были сняты лишь под влиянием Кронштадта, то естественно было ожидать сопротивления и дальнейшим переменам. Вероятно, чтобы преодолеть инерцию прошлого, Ленин и хотел использовать рычаг партийной дисциплины — запрет фракционной деятельности.

Ленин видел в резолюции о единстве партии способ преодоления консервативных тенденций, но объективно она открывала возможность и для борьбы с прогрессивными требованиями меньшинства. На это при обсуждении резолюции на съезде обратил внимание член ЦК К. Радек: «Здесь устанавливается правило, которое неизвестно еще против кого может обернуться».

Если уж власти считали нужным запретить фракции в собственной партии, то неудивительно, что с конца февраля резко ухудшилось их отношение к другим партиям. Это был еще один вывод из рабочих волнений, в организации которых участвовали меньшевики и эсеры. По всей стране прошли аресты среди членов этих партий. В Москве было арестовано 160 меньшевиков, собравшихся на очередное собрание городской организации. В Петрограде арестовали 120 эсеров и меньшевиков, которых, среди прочего, обвинили в причастности к кронштадтскому мятежу. Легально действовавшие тогда партии не призывали к вооруженному выступлению против Советской власти, но их критика коммунистической партии могла оказать определенное влияние на настроения матросов и побудить к мятежу. Так, Петроградский комитет меньшевиков в конце февраля издал тиражом 1000 экземпляров прокламацию «К голодающим и зябнущим рабочим Петрограда». В ней, в частности, говорилось: «Разве дети мы, чтобы не понять, что богатства у нас много, но распорядиться им, как следует, мы почему-то не можем? Нет, товарищи, дело тут не в отдельных заминках и перебоях, а в каком-то общем большом пороке нашей государственной машины, которого штопаньем и заплаточками не исправишь, который надо лечить по-настоящему». Предлагалось отказаться от насилия над крестьянами, перестроить взаимоотношения с ними на основе учета их интересов; тут же подчеркивалось, что осуществить поворот в политике коммунисты не смогут. «Для того, чтобы проводить такую разумную политику, нужно, чтобы государственная власть не на словах, а на деле находилась в руках трудящихся». Отсюда — требования ликвидировать диктатуру коммунистической партии, провести свободные перевыборы Советов, предоставить свободу слова.

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 43, стр. 102.

Выраженное в прокламации неверие в способность коммунистической партии осуществить коренной поворот во взаимоотношениях с крестьянством вытекало из общей концепции меньшевиков о необходимости демократии для проведения экономически обоснованной политики. Для них было полной неожиданностью решение X съезда партии о переходе к продналогу. Введение нэпа они объясняли ролью Ленина, его гибкостью и авторитетом.

На X съезде вопрос об отношении к другим партиям особо не рассматривался. Ленин отмечал в числе уроков Кронштадта необходимость усилить борьбу с меньшевиками и эсерами, однако не было принято никакого решения о том, в каких формах ее вести, каким вообще должно быть отношение к другим партиям при коренном повороте в политике. Ответить на этот вопрос попытался известный партийный публицист, работник Агитпропа ЦК и одновременно референт ВЧК И. Вардин. В докладной записке, направленной 11 апреля в ЦК ВКП(б) и исполнительную комиссию МК, он предложил предоставить партиям мелкой буржуазии социалистического характера — меньшевикам, эсерам, анархистам, по крайней мере, «левым» группам в них — возможности для полноправной легальной деятельности, в частности в издательской области. «Мне кажется целесообразным разрешить меньшевикам, эсерам, наиболее «приличным» анархистам издание печатных органов (еженедельники, двухнедельники). Я не понимаю, какую опасность мог бы представить для нас Мартовский «Соц. вестник», если бы он выходил в Москве, а не в Берлине. Ярче, сильнее он от этого не стал бы». Вардин считал целесообразным также разрешить другим партиям свободно участвовать в выборах Советов. «По моему мнению, крайне важно, чтобы в выборах в Совет участвовали «все партии», а не «одна партия». В Советах нам необходима оппозиция. Когда беспартийный рабочий протестует против партийной диктатуры, он имеет в виду отсутствие в Советах тех партий, которые часто отражают не классовые, а его профессиональные и бытовые интересы и нужды».

Вардин предлагал освободить из-под ареста для участия в выборах в Моссовет, намеченных на конец апреля, «тех меньшевиков, эсеров, наиболее «приличных» анархистов, которые не обвиняются в подготовке, в призыве, в организации восстаний, забастовок и т. д. Эта мера не ослабит, а усилит нас политически». Он считал, что поворот в политике, определенный X съездом партии, обеспечил поддержку коммунистам в широких кругах населения, и потому нет оснований опасаться на выборах конкуренции других партий.

Вместе с тем Вардин писал, что, «легализуя, вожжи, понятно, мы должны держать натянутыми... Нашим врагам мы должны сказать:— Господа, в пределах наших законов вы свободны. За всякую попытку призыва к гражданской войне, к забастовкам, к нарушению наших законов мы вас будем привлекать к Трибуналу». По существу, он предлагал точно следовать Конституции страны, которая не запрещала другие партии, действующие в рамках законности. В этой связи Вардин напомнил, что царское правительство, отправляя большевиков на каторгу, в то же время терпело в Думе их фракцию, так как «заботилось об интересах русской «парламентской системы», о своей конституции». Он призывал к такому же подходу: «свободные выборы», «конституция», когда мы это проводим в жизнь, это усиливает нашу позицию, это ослабляет шансы нового Кронштадта».

Вардин исходил из того, что с другими партиями нужно бороться политическими методами. «Мне кажется, что политически бороться с эсерами, меньше-

виками, анархистами нам легче тогда, когда они пользуются легальностью»,— писал он, по сути предлагая отказаться от репрессивных методов борьбы с теми политическими противниками, которые соблюдают законы страны. Такой отказ, по его мнению, был логически связан с отказом от «военного коммунизма».

Реакция на эту записку была быстрой. Уже 14 апреля Политбюро отклонило предложение Вардина освободить арестованных меньшевиков и эсеров накануне выборов в Москве. 17 апреля Ленин написал на докладной Вардина резолюцию: «Молотову для Политбюро: По-моему, автор неправ. Он формалистичен. Если бы были брошюры «левее Мартова», мы бы посмотрели. А теперь предложение автора не годится. Он не вник в дело как следует»[1].

Подробнее Ленин развил свою позицию по отношению к другим партиям в статье «О продовольственном налоге», датированной 21 апреля 1921 года: «Весенние события 1921 года показали еще раз роль эсеров и меньшевиков: они помогают колеблющейся мелкобуржуазной стихии отшатнуться от большевиков, совершить «передвижку власти» в пользу капиталистов и помещиков»[2]. (Ленин исходил из опыта гражданской войны, когда переход власти от большевиков к эсерам в ряде районов страны в 1918 году способствовал зарождению и укреплению колчаковщины.) И тут же он делал четкий вывод: «Мы будем держать меньшевиков и эсеров, все равно как открытых, так и перекрашенных в «беспартийных», в тюрьме»[3].

Хотя Ленин и написал так, поголовные аресты только за принадлежность к этим партиям в то время не производились: партии продолжали, хотя и с сильными ограничениями, участвовать в политической жизни. Например, в состав Моссовета на выборах в конце апреля вошло более десяти меньшевиков, несмотря на то, что свыше сотни видных деятелей московской организации, в том числе почти все депутаты предыдущего состава Моссовета, так и не были освобождены из заключения. В середине мая представители эсеров и меньшевиков приняли участие в работе IV Всероссийского съезда профсоюзов и неоднократно на нем выступали.

Ровно через месяц после докладной Вардина в ЦК направил близкую ей по духу записку замнаркома земледелия кандидат в члены ЦК Н. Осинский: предложил создать «крестьянский советский союз». Не партию, а именно союз, в функции которого должны входить в основном хозяйственное и культурное строительство деревни, выдвижение кандидатов в Советы, в правление кооперативов и т. д. Союз этот — самодеятельная организация, но через своих представителей в нем партия сможет контролировать его работу. Таким путем Осинский предлагал сочетать крестьянскую самодеятельность с руководящей ролью партии.

Эта идея была близка взглядам Ленина. Еще в декабре 1920 года на фракции РКП(б) VIII съезда Советов Ленин ответил утвердительно на вопрос, сторонник ли он профсоюза крестьян. Правда, заметил при этом, что о том, как распространить работу профсоюзов на все трудящееся крестьянство, «мы еще не знаем». Естественно, что он не высказал серьезных возражений против предложения Осинского, но сделал оговорку о том, что создавать такой союз еще рано, надо придумать меры для его подготовки. Одновременно Ленин просил всех членов ЦК дать отзывы на предложение Осинского.

Отзывы эти весьма показательны. Большинство членов ЦК высказалось против. Позиция большинства имела определенные основания. Коммунистов в деревне было немного, причем значительная их часть скомпрометировала себя во времена «военного коммунизма». Переход к нэпу соответствовал интересам основной массы крестьян и создавал предпосылки для сотрудничества с ними. Однако большинство ЦК считало возможным только такой крестьянский союз, который беспрекословно выполнял бы все указания партии. Идея сотрудничества с самодеятельной организацией, завоевания в ней идейного влияния казалась им несовместимой с диктатурой пролетариата, да и в возможность такого влияния, они, по-видимому, не верили.

[1] Ленинский сборник XXXVII, стр. 289.
[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 43, стр. 241.
[3] Там же, стр. 242.

Осинский не был первым, кто обратился в ЦК с таким предложением. Примерно за неделю до него, в начале мая, большую докладную записку направил в ЦК Г. Мясников, член партии с 1906 года. Он затронул коренные проблемы политической жизни страны и, в частности, предложил создать крестьянский союз, предоставив ему даже больше самостоятельности, чем предусматривал Осинский. Без самодеятельности крестьянства, по его мнению, невозможен подъем хозяйства и неизбежен рост бюрократизма: «Если мы будем говорить крестьянину: ты сиди смирно, не бунтуй, не умствуй лукаво, а работай, о тебе начальство коммунистическое позаботится — это путь верующих в силу начальства, в силу бюрократии».

Подобным же образом следовало изменить взаимоотношения партии с рабочим классом. В конце 1920 — начале 1921 года Мясников находился на партийной работе в Петрограде и в своей записке отметил отрыв партии от рабочего класса, который привел к рабочим волнениям и Кронштадту. О настроениях рабочих в Петрограде в то время он писал: «Чувствовали, что власть есть, но чужая и далекая. Чтоб получить что-нибудь от нее, надо «давить», «не надавишь — не получишь». Забастовки-итальянки возникали по всякому пустому поводу... Завод забастует, и ему дадут (у других заберут, да дадут) почти все, что он требует». Петроградские власти винили во всех забастовках меньшевиков и эсеров, а над своими ошибками не задумывались. Из-за уверенности руководителя Петрограда Г. Зиновьева в собственной непогрешимости и внутри партийной организации была фактически запрещена критика. «Всякая попытка сказать критическое слово ведет к зачислению смельчака по штату меньшевиков и эсеров со всеми вытекающими отсюда последствиями»,— писал Мясников.

Для того, чтобы повысить авторитет партии и усилить ее идейное влияние среди рабочих и крестьян, он предлагал осуществить глубокую демократизацию страны: «После того, как мы подавили сопротивление эксплуататоров и конституировались как единственная власть в стране, мы должны, как после подавления Колчака, отменить смертную казнь, провозгласить свободу слова и печати, которую в мире не видел еще никто от монархистов до анархистов включительно. Этой мерой мы закрепим за нами влияние в массах города и деревни, а равно и во всемирном масштабе».

Почти три месяца Мясников никакого ответа не получал и никто из руководства докладную записку не читал, хотя он был известен в партии: до 1917 года семь с половиной лет сидел в тюрьмах и на каторге, после революции работал на Урале и в Петрограде. Не дождавшись отклика, Мясников 27 июля передал Н. Бухарину для публикации в «Правде» статью «Больные вопросы», в которой развил и дополнил мысли, изложенные в докладной. Начиналась статья с утверждения необходимости гражданского мира для восстановления экономики. Диалектика развития такова, что после окончания войны «не революция, а эволюция есть потребность момента, которую брюхом чувствует вся страна». Нужно обеспечить такие правовые нормы, которые давали бы возможность мирной эволюции, прежде всего — свободу слова и печати. В партии сильно предубеждение против этого. Многие опасаются, что свобода печати может быть использована врагами Советской власти для натравливания переживающих материальные трудности рабочих и крестьян на партию; думать об этом можно будет только после того, как улучшится экономика. Мясников опровергал этот довод: без активного участия рабочих и крестьян нельзя поднять хозяйство, и как раз для развития активности необходима свобода слова и печати.

Другим доводом против свободы слова было утверждение, что она даст возможность и советским людям, и врагам узнать о недостатках, забастовках и т. п. Мясников возражал: «Если бояться свободы слова только потому, что у нас слишком много недостатков, то ведь от того, что свободы слова не будет, их не уменьшится». Кроме того, о различных происшествиях, хотя о них и не писали газеты, люди все равно узнавали через очевидцев. «От такой секретности один результат: нашим газетам не верят»,— делал вывод Мясников.—

«Кто боится дать думать и высказываться рабочему классу и крестьянству, тот всегда боится и везде видит контрреволюцию».

Заканчивая статью, Мясников четко сформулировал ее основную мысль: «Кто хочет, чтобы при тяжелых условиях, в которых находится наша страна, измученный рабочий шел за нами, кто хочет, чтобы мощь и влияние наше в пролетарских массах и крестьянстве усилилось, тот должен сказать, что кроме свободы слова и печати нет возможности достичь этого».

На этот раз руководящие органы быстро отреагировали. Уже 29 июля Оргбюро ЦК поручило разобраться с Мясниковым специально созданной комиссии. 1 августа Бухарин передал Ленину и докладную, и статью, и тот 5 августа подробно ответил автору. Ленин согласился с утверждением о необходимости «гражданского мира», но резко осудил лозунг свободы печати: «Буржуазия (во всем мире) еще сильнее нас и во много раз. Дать ей еще такое оружие, как свобода политической организации (= свободу печати, ибо печать есть центр и основа политической организации), значит облегчать дело врагу, помогать классовому врагу.

Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем» [1].

Опасения Ленина были связаны с конкретной обстановкой летом 1921 года. После перехода к нэпу внутриполитическая напряженность ослабела, но экономическое положение продолжало оставаться тяжелым, и органы ВЧК, как и прежде, раскрывали различные контрреволюционные группы. Так, в конце мая — начале июня в Петрограде были арестованы 180 бывших кадетов. Ленин писал председателю Госплана Г. М. Кржижановскому 5 июня: «В Питере открыт новый заговор. Участвовала интеллигенция... **Осторожность!!!**» [2]. 4 июня Политбюро дало ВЧК директиву «усилить борьбу против меньшевиков ввиду усиления их контрреволюционной деятельности». В июне — июле органы ВЧК в Петрограде, в Северной и Северо-Западной областях провели аресты подозреваемых в подготовке вооруженного мятежа. В августе поступили агентурные сообщения о готовящемся в Москве вооруженном выступлении савинковцев. Все это наложило отпечаток на письмо Ленина, в котором он рекомендовал Мясникову использовать для борьбы с недостатками не свободу печати, а другие средства: «...Злоупотребления *травить* через ЦКК, через партийную прессу» [3].

Хотя Ленин остро критиковал взгляды Мясникова, он намеревался продолжать дискуссию с ним. В тот день, которым датировано письмо, Ленин отправил Мясникову телеграмму, заканчивающуюся словами: «Хотел бы иметь ответное письмо от Вас» [4]. Мясников ответил 22 августа, накануне заседания Оргбюро ЦК, где обсуждался доклад комиссии, рассматривавшей его работы. Он не согласился с утверждением Ленина о том, что буржуазия сильнее: «она сильнее у себя дома, в своих государствах, а у нас не сильнее». Касаясь предложения травить злоупотребления через ЦКК, Мясников писал: «Я думаю, что гласность их очень много, больше, чем контрольные комиссии, уничтожит». Вместе с тем он полагал, что гласность следует ввести в определенные рамки законом о свободе слова и печати: «Закон должен карать за ложь, за клевету, за призывы к неисполнению того или иного закона, но не карать за высказывание мыслей в целях оказания влияния на правительство, прессу, общественность и т. п.». Такой закон имел бы не только местное, но и мировое значение. В качестве конкретной меры Мясников предложил одну из самых больших ежедневных газет «сделать дискуссионной для всех оттенков общественной мысли».

Наряду с такими демократическими суждениями Мясников подчеркивал, что предлагаемая им свобода слова должна распространяться только на рабочий класс и крестьянство, среди которых существуют различные взгляды — «от монархиста до анархиста». Отношение же к интеллигенции должно быть иным:

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 44, стр. 79.
[2] Там же, том 52, стр. 251.
[3] Там же, том 44, стр. 82.
[4] Ленинский сборник XXXVIII, стр. 381.

«Никаких рассуждений с кадетом буржуа, адвокатом, доктором, профессором,— здесь одно лекарство: мордобитие». Мясников в своем ответе даже Ленина упрекнул: тот-де не рабочий и не прошел «практической школы непосредственного органического пролетарского чувствования всех больных вопросов». Оргбюро ЦК на своем заседании 22 августа признало тезисы Мясникова несовместимыми с интересами партии и обязало его на официальных партийных собраниях с ними не выступать.

Предложения Вардина, Осинского и Мясникова, касающиеся демократизации общества, были отвергнуты, однако развитие нэпа потребовало смягчить внутриполитический режим. Прежде всего либерализация проявилась в отношении к беспартийной интеллигенции, к специалистам. Надо сказать, что еще до перехода к нэпу Ленин был за их привлечение в хозяйственный аппарат. Тогда это встречало сопротивление иных ответственных работников-коммунистов, зараженных болезнью, которую Ленин назвал «комчванством». Например, один из руководителей Прокуратуры, Н. Крыленко, в феврале 1921 года утверждал: «Ставку на спецов следует признать проигранной от начала до конца». В том же месяце некоторые высокопоставленные коммунисты подвергли необоснованной критике план ГОЭЛРО, разработанный беспартийными специалистами. Ленин резко реагировал на эту критику. Такие коммунисты «обнаруживают самомнение невежества»,— заметил он. «Надо же научиться ценить науку, отвергать «коммунистическое» чванство дилетантов и бюрократов...» Далее он развил свою мысль: «Коммунист, не доказавший своего умения объединять и скромно направлять работу специалистов, входя в суть дела, изучая его детально, такой коммунист часто вреден. Таких коммунистов у нас много, и я бы их отдал дюжинами за одного добросовестно изучающего свое дело и знающего буржуазного спеца» [1].

Осенью 1921 года начался качественно новый этап в развитии нэпа, связанный с выводом Ленина о необходимости строить социализм на основе активного использования рыночного механизма. Возникла острая потребность в квалифицированных экономистах и финансистах для работы в правительственных органах. СНК принял 6 октября постановление, согласно которому все наркоматы и учреждения должны были в недельный срок представить списки своих опытных финансово-экономических работников. Их должны были по первому требованию откомандировывать в распоряжение СНК для участия в «детальной разработке вопросов, требующих законодательной разработки».

Далеко не все разделяли ленинскую позицию. Буквально на следующий день после того, как СНК принял это постановление, произошел очередной всплеск «комчванства», недоверия к беспартийным специалистам. На сессии ВЦИК 7 октября обсуждался вопрос о строительстве Волховской ГЭС, испытывавшем большие трудности, вызванные главным образом разрухой и бесхозяйственностью. Однако выступавшие в прениях усмотрели здесь козни буржуазных специалистов, действующих в интересах иностранного капитала. Тон задал известный журналист Л. Сосновский, в то время кандидат в члены Президиума ВЦИК и заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК партии. Говоря об электротехниках, он утверждал, что «все нынешние, за малым исключением, профессора, инженеры, электрики — все они были в руках одной-двух германских или бельгийских акционерных электротехнических фирм, и они сейчас выполняют волю своих хозяев». В качестве примера Сосновский назвал члена Президиума Госплана проф. И. Александрова, который возглавлял комиссию, решившую приостановить строительство ГЭС из-за трудного экономического положения страны.

После выступления Сосновского председатель ВЦИК М. И. Калинин заметил: «Я все-таки предложил бы следующим ораторам держаться в рамках существа дела (*смех.*), ибо резкими выражениями и внесением политической остроты деловой вопрос не выясняется». Однако известный идеолог «военного коммунизма» Ю. Ларин пошел еще дальше Сосновского: «В Госплане отсутствует твердое политическое руководство коммунистической партии, и это, не-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 42, стр. 344 и 346.

сомненно, накладывает печать на весь ход его работ». По-видимому, Ларин, будучи членом Госплана, не мог примириться с тем, что там, как это и находил нужным Ленин, ведущую роль играли высококвалифицированные беспартийные специалисты. В конце своей речи Ларин сказал: «В период такого боевого советского строительства, как теперешнее, было бы величайшей неосторожностью доверять руководительство этим строительством, главным образом, специалистам, чуждым нам по политическим убеждениям».

Обвинения против беспартийных специалистов были подхвачены редактором «Известий ВЦИК» Ю. Стекловым. На следующий день после заседания он прямо обвинил в газете значительную их часть в контрреволюционной деятельности, стремлении проникнуть на ответственные посты в хозяйственном аппарате для подрыва направленных на восстановление экономики усилий Советской власти. Экономические трудности Стеклов объяснял действиями какой-то «незримой темной силы», образно раскрывая ее происки: «За кулисами спрятана зловещая черная рука контрреволюционной интеллигенции, которая спокойно и уверенно расстраивает все наши замыслы, спутывает все планы и безжалостно толкает советский воз в яму».

Все эти нападки до поры не отражались на политике руководства страны. Так, 20 октября Политбюро приняло постановление, проект которого был написан Лениным: «Поручить НКФин и Финансовой комиссии, а равно всем товарищам, соприкасающимся с вопросами внутренней торговли, подобрать в кратчайший срок группу лиц с солидным практическим стажем и опытом в капиталистической торговле, на предмет консультации по вопросам денежного обращения» [1]. Пожалуй, наиболее наглядный пример политики привлечения таких специалистов — назначение в том же месяце членом правления Госбанка бывшего царского министра Н. Кутлера, незадолго до того, в конце августа, арестованного вместе с другими членами Всероссийского комитета помощи голодающим. Кутлер обладал огромным опытом хозяйственной деятельности. С 1885 по 1905 год он работал в министерстве финансов, занимая различные должности вплоть до товарища (то есть заместителя) министра, в 90-х годах участвовал в денежной реформе, которую проводил министр финансов С. Витте. В 1905—1906 годах был министром земледелия и землеустройства. Кутлер был видным деятелем кадетской партии, депутатом Государственной думы, и Ленин до революции неоднократно и резко критиковал его политические взгляды. С 1919 года Кутлер стал сотрудничать с Советской властью, был членом совета института экономических исследований Наркомата финансов. Назначение его членом правления Госбанка, куратором эмиссионного отдела полностью себя оправдало: он сыграл ключевую роль в практической реализации мероприятий денежной реформы 1922—1924 годов.

Ленин счел нужным зафиксировать линию на привлечение специалистов в написанном им «Наказе по вопросам хозяйственной работы», который 28 декабря 1921 года был принят IX Всероссийским съездом Советов. В нем указывалось на «безусловную необходимость еще более настойчивой работы по привлечению к делу хозяйственного строительства специалистов, понимая под таковыми как представителей науки и техники, так и людей, которые практической деятельностью приобрели опыт и знания в деле торговли, в деле организации крупных предприятий, контроля за хозяйственными операциями и т. п.» [2].

Улучшение отношения к интеллигенции проявилось и в том, что с осени 1921 года были значительно расширены возможности издательской деятельности. Ленин был против свободы печати, однако до лета 1922 года особых ограничений не существовало. В ноябре 1921 года была разрешена деятельность частных издательств. На конец мая 1922 года в Москве было зарегистрировано 220 частных издательств, в Петрограде — 99. Правда, они должны были представлять рукописи книг в политический отдел Госиздата, который до создания в июле 1922 года Главлита играл роль цензуры. Но запрещалась только незначительная их часть. Например, московские частные издательства за шесть месяцев — с середины ноября до конца мая 1922 года — представили 813 рукописей книг; не получила разрешения на издание 31 рукопись (3,8 процента). В начале 1922 года стали выходить такие остро критические журналы беспартийной интеллигенции, как «Экономист» и «Новая Россия».

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 44, стр. 182.
[2] Там же, стр. 337.

Развитие нэпа вызвало необходимость правовых гарантий этому процессу. Уже летом 1921 года в печати была выдвинута идея правового государства. В конце декабря на IX Всероссийском съезде Советов Ленин говорил: «Перед нами сейчас задача развития гражданского оборота,— этого требует новая экономическая политика,— а это требует большей революционной законности» [1]. Так Ленин мотивировал необходимость реформы ВЧК, сокращения ее функций и компетенции. Реформа была нужна и для создания более надежных правовых гарантий частной инициативе, и для прекращения необоснованного вмешательства органов ВЧК в работу государственных предприятий и кооперативов. В период «военного коммунизма» органы ВЧК боролись со спекуляцией и должностными преступлениями и поэтому наблюдали за хозяйственной деятельностью. Так продолжалось и после перехода к нэпу, а поскольку в органах ВЧК было мало людей, компетентных в экономике, то зачастую они необоснованно подвергали хозяйственников репрессиям.

Это вызывало протест хозяйственных органов. К примеру, в марте 1921 года в Казани органы ВЧК арестовали директора и инженера одной из фабрик и, несмотря на протесты руководителей совнархоза Татарии, несколько месяцев не выпускали их на свободу. В связи с этим 10 июня Президиум ВСНХ обратился с письмом в ЦК партии. С такой же жалобой на действия в отношении кооперации местных органов ВЧК, не учитывающих условий нэпа, обращалось и правление Центросоюза. Серьезные нарекания ВСНХ вызвали и необоснованные ограничения, которые ВЧК накладывала на деловые поездки за границу.

Интересно, однако, что, жалуясь на некомпетентное вмешательство ВЧК в хозяйственные дела, руководители ВСНХ иногда сами обращались в эти органы за помощью в разрешении своих проблем. Так, 29 июля 1921 года ВСНХ передал в московскую ЧК телефонограмму с просьбой подвергнуть аресту в административном порядке на три дня машинистку О. Валяеву «за неисполнение служебного распоряжения, носящего срочный характер».

1 декабря Политбюро приняло постановление о ВЧК, проект которого написал Ленин. Предусматривалось подготовить и провести через ВЦИК общее положение об изменении в смысле серьезных умягчений. Была образована комиссия во главе с Л. Б. Каменевым, которой и поручили за пять дней подготовить положение. Однако 6 декабря Ленин уехал на три недели в отпуск по болезни, и дело затормозилось. Разработка положения проходила в острой борьбе между комиссией Политбюро и коллегией ВЧК, настаивавшей на сохранении за ВЧК карательных функций и оставлении ее при Совнаркоме.

Решающую роль сыграла твердая позиция Ленина. Декретом ВЦИК от 6 февраля 1922 года ВЧК упразднялась, образовывалось Государственное политическое управление при НКВД. За ГПУ остались функции подавления открытых контрреволюционных выступлений, борьба со шпионажем и контрабандой, охрана границ и путей сообщения. Право осуждать людей, которое было у ВЧК, ГПУ не получило — все дела теперь следовало передавать в суд. Арестованному органами ГПУ не позднее чем через две недели должны были предъявить обвинение и не позднее чем через два месяца или освободить его, или передать дело в суд. Продлить двухмесячный срок можно было только с разрешения Президиума ВЦИК — пункт существенный, ведь к тому времени многие арестованные ВЧК, в частности меньшевики и эсеры, сидели в тюрьмах без предъявления обвинения по году и больше.

Наряду с декретом об упразднении ВЧК в первой половине 1922 года были приняты и другие законы, направленные на укрепление правопорядка,

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 44, стр. 328.

и среди них закон о трудовом землепользовании, Уголовный кодекс, декрет об основных частных имущественных правах, который предоставил всем гражданам право создавать торговые и промышленные предприятия. Но все эти законы ни в коей мере не поколебали монополии власти коммунистической партии. Отношение к другим партиям не улучшилось. Так, хотя в 1921 году продолжали печататься журналы «Народ» и «Знамя», проходили они через цензуру с большими трудностями, требовались поправки, а несколько номеров вообще было конфисковано. Руководство левых эсеров и меньшинства партии социалистов-революционеров неоднократно заявляло, что стремится к легальной деятельности в рамках советских законов, однако членов этих партий под разными предлогами арестовывали, местным организациям отказывали в регистрации.

В начале ноября 1921 года руководство левых эсеров обратилось во ВЦИК с жалобой на то, что в Петрограде отказались регистрировать их организацию. Секретарь ВЦИК А. С. Енукидзе наложил на это обращение резолюцию: «Все партии, которые не ведут антисоветской работы, считаются легальными и не нуждаются в специальной легализации». Но все дело было в том, что считать антисоветской работой. Органы ВЧК утверждали, что эти партии, несмотря на все свои заявления, втайне готовят антисоветские выступления. Прямых доказательств не было, но такие сведения поступали от осведомителей ВЧК в этих партиях, и им верили больше, чем заявлениям и даже открытым действиям других партий.

После перехода к нэпу наметилась определенная демократизация общественной жизни, но принципиально структура власти не изменилась. Именно за это в первую очередь критиковали большевиков эсеры и меньшевики. Так, один из руководителей МПСР, Н. Святицкий, писал: «Не может крестьянскую политику осуществлять чисто пролетарская партия». Орган меньшевиков «Социалистический вестник» утверждал в одной из передовых: «Свою реалистическую программу уступок мелкособственническому крестьянству в экономической области большевистским правителям придется проводить при условии самого ожесточенного активного и пассивного сопротивления ныне властвующего сословия советской бюрократии, интересам господства которой она противоречит не меньше, чем всем их навыкам. И преодолевать это сопротивление с какими-либо шансами на успех наши реформаторы смогли бы, только опираясь на активную самодеятельность самих крестьян, т. е. на их политическую силу».

Сопротивление нэпу действительно было. Так, секретарь Харьковского губкома Иванов докладывал Ленину 17 апреля 1921 года: «Наши наркомпродчики, совнархозники всячески пытаются обкорнать постановление X-го съезда. Если послушать их, то создается впечатление, что московские товарищи просто поддались панике и пошли на те уступки, которые отнюдь не вызывались необходимостью. Партийный советский работник, середняк, живет еще под властью старых консервативных идей и инстинктивно саботирует проведение в жизнь постановлений X-го съезда». Случалось, должностные лица отказывались от своих постов в знак несогласия с нэпом. Руководство партии стремилось преодолеть это сопротивление с помощью партийной дисциплины и агитации в надежде, что реальное изменение экономического положения в результате нэпа лучше всяких слов сможет убедить в правильности избранного курса.

Предложения других партий о развитии политической демократии, изменении политической системы, отказе от диктатуры пролетариата были не только отвергнуты, но поставлены им в вину и служили основанием для репрессий. Недоверие к меньшевикам и эсерам проявилось в решениях состоявшегося в конце 1921 года Пленума ЦК, где обсуждалось, как быть с теми членами этих партий, которые длительное время без предъявления обвинений сидели в тюрьмах. Поскольку намечалась реорганизация ВЧК и ограничение срока содержания под арестом до суда, дальше так продолжаться не могло. Выпустить лидеров правых эсеров на свободу не решились, тем более что они были замешаны в организации вооруженной борьбы против большевиков в 1918—1919 годах; постановили организовать судебный процесс над ними. Иначе сложилась судьба арестованных меньшевиков. В январе 1922 года значительную их часть отправили в отдаленные районы страны, а более десяти видных деятелей выслали за границу. Решение это ЦК приняло вопреки ВЧК, утверждавшей, что высылка укрепит заграничный центр меньшевиков, переправлявший пропагандистские материалы в Советскую страну. Зато ВЧК в том же месяце удалось убедить ЦК, чтобы была отклонена просьба партии левых эсеров разрешить ее лидеру М. Спиридоновой поездку за границу для лечения. После того, как было решено организовать процесс над правыми эсерами, усилились репрессии против сохранившего с ними контакты МПСР. Видные деятели этой группы были арестованы, и она объявила о самороспуске.

Взгляды большевиков на взаимоотношения между экономикой и политикой принципиально отличались от взглядов меньшевиков и эсеров. Меньшевики и эсеры утверждали, что развитие нэпа должно сопровождаться демократизацией политической системы, предоставлением большей свободы для их деятельности. Большевики исходили из того, что широкое использование капиталистических методов в экономике таит угрозу перерождения в обычное буржуазное государство, и считали необходимым укреплять диктатуру пролетариата. Действительно, если и базис — экономика — развивается по-капиталистически, и надстройка — политическая система — приобретает черты буржуазной демократии, к чему призывали меньшевики, то в чем же тогда будет выражаться строительство социализма? На XI съезде партии Ленин говорил: «...За границей идет гигантская агитация, что большевики хотят меньшевиков и эсеров держать в тюрьмах, а сами допускают капитализм. Конечно, капитализм мы допускаем, но в тех пределах, которые необходимы крестьянству. Это нужно! Без этого крестьянин жить и хозяйничать не может. А без эсеровской и меньшевистской пропаганды он, русский крестьянин, мы утверждаем, жить может» [1].

В то же время Ленин отмечал, что партия должна взять на себя роль выразителя интересов не только пролетариата, но и других слоев, в первую очередь крестьянства: «В народной массе мы все же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает» [2]. Сам Ленин очень внимательно изучал настроения крестьян. Единственный из руководителей партии, он регулярно читал обзоры крестьянских писем, которые, по его просьбе, присылали из редакции газеты «Беднота». Однако многие руководящие работники иначе относились к крестьянству. Показательна судьба предложения Осинского о создании крестьянского союза. В конце 1921 года оно было поставлено на обсуждение Пленума ЦК. Но, заслушав доклад Осинского, Пленум отклонил его предложение как «несвоевременное».

Важной стороной политики партии, призванной обеспечить ее соответствие интересам народа, должно было стать заботливое отношение к беспартийной интеллигенции. 6 марта 1922 года в речи на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов Ленин предложил заменить коммунистов — руководителей предприятий (в основном бывших рабочих, не имевших опыта коммерческой работы) беспартийными, которые еще до революции занимались хозяйственной деятельностью: «Нам нужно построить всю нашу организацию так, чтобы во главе коммерческих предприятий у нас не оказались люди, не имеющие опыта в этой области» [3].

Точно так же и из государственных учреждений Ленин предложил устранить коммунистов, не умеющих работать. В своей речи он дал представление о масштабах намечаемых кадровых перемен, пообещав выкинуть из партии «те десятки тысяч, которые теперь устраивают только комиссии и никакой практической работы не ведут и не умеют вести» [4].

Ленинские идеи нашли отражение в одобренных Политбюро тезисах к XI съезду «Об укреплении и новых задачах партии», написанных Г. Зиновье-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 120.
[2] Там же, стр. 112.
[3] Там же, стр. 14.
[4] Там же, стр. 15.

вым и представленных в Политбюро 8 марта: «ЦК и губкомы должны вернуть значительное количество рабочих-коммунистов из учреждений и т. п. на заводы. XI съезд РКП дает категорическое поручение местным организациям и ЦК не останавливаться ни перед чем, чтобы провести это в жизнь». Это вызвало резкие возражения занимающих ответственные посты партийцев. Выражая их взгляды, бюро МК партии 10 марта приняло свои тезисы к съезду, в которых утверждалось, что массовый отзыв коммунистов, особенно рабочих, из советских органов невозможен, «так как лишает их аппараты необходимого коммунистического стержня и передает аппарат в руки беспартийной разночинной интеллигенции».

Ленин в докладе на XI съезде снова вернулся к этой теме. В плане политического отчета ЦК РКП(б) он записал:

«Ответственные коммунисты из передних рядов назад!

Простой приказчик — вперед!» [1].

В докладе была намечена стратегическая линия в кадровой политике: «Управлять хозяйством мы сможем, если коммунисты сумеют построить это хозяйство чужими руками, а сами будут учиться у этой буржуазии и направлять ее по тому пути, по которому они хотят [2]. При этом Ленин понимал, что очень многие коммунисты не согласны с выдвижением беспартийных на ответственные хозяйственные посты: «...В широкой массе нашей партии этого сознания необходимости привлечения беспартийных к работе нет» [3].

И действительно, хотя на съезде мало кто возражал Ленину, на практике предложенный им курс был вскоре сорван. Слишком сильные интересы слоя ответственных работников были поставлены под угрозу. Активные участники революции и гражданской войны, они хотели пользоваться плодами своей победы и не собирались уступать привилегированные должности каким-то буржуазным спецам, которые не принимали в своей массе идеи коммунизма. Правда, эти люди не принадлежали к высшему партийному руководству, но и там у них были союзники, не согласные с ленинским курсом. Не решаясь открыто выступить против, они искали какой-то обходной способ провалить этот курс.

Как ни парадоксально, Ленин сам подсказал такой способ. Тогда же, в марте 1922 года, он начал выражать обеспокоенность открытыми высказываниями в книгах и статьях ряда известных философов и экономистов. Так, 5 марта Ленин в письме к Н. П. Горбунову охарактеризовал только что вышедший сборник статей Н. А. Бердяева, Я. М. Букшпана, Ф. А. Степуна, С. Л. Франка «Освальд Шпенглер и закат Европы» как «литературное прикрытие белогвардейской организации» [4]. Через неделю в статье «О значении воинствующего материализма» назвал журнал «Экономист» «органом современных крепостников, прикрывающихся, конечно, мантией научности, демократизма и т. п.» [5]. В условиях свободы печати, фактически существовавшей в первой половине 1922 года, философы и экономисты, которых Ленин критиковал, не стеснялись в выражении своих взглядов, не скрывали враждебного отношения к идеям марксизма. В споре с ними и мог творчески развиваться марксизм. Но Ленин в своей статье предлагал не только вести с ними идейную борьбу, а и препровождать их «вежливенько» в страны буржуазной «демократии».

А ведь Ленин примерно в то же время призывал беречь как зеницу ока специалистов, даже чуждых коммунизму идейно. Как же так? Призыв этот относился к хозяйственникам, инженерам, чьи взгляды он считал их личным делом, не имеющим большого политического значения. Иное дело ученые-обществоведы, литераторы — распространители определенной идеологии. Ленин не хотел мириться с идеями, которые отвергали основы политики партии, отрицали возможность социалистического строительства при нэпе и могли оказать негативное влияние на молодежь. Все время перед ним стояла коренная проблема

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 409.
[2] Там же, стр. 98.
[3] Там же, стр. 99.
[4] Там же, том 54, стр. 198.
[5] Там же, том 45, стр. 31.

нэпа: при каких политических и идеологических условиях капиталистические методы в экономике могут служить средством строительства социализма?

Интеллигенция считала, что нэп неразрывно связан со свободой творчества. Характерна редакционная статья в февральском (1922 года) номере журнала «Летопись Дома литераторов», в которой утверждалось: «Мы твердо помним, что определенная экономика порождает соответствующую идеологию... А если так, то не следует ли заранее учесть конечный, неизбежный результат? Не пора ли уже сейчас признать, что свободный товарообмен неразрывно связан с допущением свободного обмена идей по любому вопросу». Тот же подход проявился и на ряде всероссийских съездов специалистов, которые проходили в первой половине 1922 года. На агрономическом съезде в начале марта при одобрении предложений, содержащихся в официальном докладе заместителя наркома земледелия Н. Осинского, многие делегаты резко критиковали деятельность органов Советской власти на местах. Чиновники вмешивались в работу агрономов, давали поручения, часто не имевшие отношения к их основным обязанностям, и в целом, как говорили выступавшие, повсюду «полное бесправие агронома».

В этом проявлялось общее отношение к крестьянству. После отмены «военного коммунизма» оно стало иным, но еще сохраняло некоторые его черты. Выступая на съезде с одним из основных докладов, проф. Н. Кондратьев говорил: «Мало предоставить хозяину свободу деятельности, необходимо создать твердую и ясную правовую гарантию его с.-х. инициативы». (Руководство страны было согласно с такой постановкой вопроса, и уже разрабатывался закон о трудовом землепользовании, принятый в мае.) Далее Кондратьев заметил, что нужны не только правовые гарантии, но и «гарантии самих этих гарантий в виде процессуального права», то есть высказался за создание правового государства, иначе трудно было рассчитывать на успешную реализацию основных идей нэпа.

Идеи о недопустимости некомпетентного командования специалистами и необходимости местного самоуправления на основе «свободно избираемых, строящихся с низов и самодеятельных организаций населения» получили широкую поддержку на II Всероссийском съезде врачей, проходившем с 10 по 14 мая. Дискуссии на съезде и его резолюции вызвали растерянность и испуг у наркома здравоохранения Н. Семашко. Через неделю после окончания съезда он направил в Политбюро записку о «важных и опасных течениях в медицинской среде» и предложил принять решительные меры борьбы с этими течениями, в частности запретить специалистам и их объединениям издавать газеты и журналы, носящие общественно-политический, а не научный характер, усилить контроль над деятельностью их профсоюзных секций. Он считал целесообразным по согласованию с ГПУ «изъятие «верхушки» врачей — меньшевиков и эсеров,— выступавших на съезде». Предупреждая возможные возражения, Семашко писал: «Многие даже ответственные т.т. не только не сознают этой опасности, но легкомысленно склоняют ушко под нашептывание таких спецов».

Политбюро 24 мая рассмотрело записку и поручило Дзержинскому с участием Семашко в недельный срок подготовить и представить план необходимых мер. Общее направление этих мер к тому времени уже было определено: ужесточить отношение к критикам Советской власти, выслать за границу наиболее видных идейных противников. Показательна передовая статья в «Правде» от 17 мая «Иллюзии контрреволюционной демократии», где утверждалось: «Некоторые интеллигентские круги в ложном расчете на наше дальнейшее отступление под давлением нэпа и западных капиталистов пытаются выступать против Советской власти». Статья возрождала, казалось бы, уже преодоленную подозрительность к беспартийной интеллигенции: «Позволить «внутреннему врагу» обойти нас с тыла мы ни при каких условиях не намерены. Между тем стратегия либеральных демократов в том и состоит, чтобы использовать время нэпа, быстро разрастаясь в порах нашего же советского организма против этого советского организма». Эта мысль и позднее проводилась на страницах «Правды».

Особенно резкая статья «Диктатура, где твой хлыст?» была опубликована 2 июня. Автор, который подписался «О.», в грубом, оскорбительном тоне разнес книгу известного литературоведа Ю. Айхенвальда «Поэты и поэтессы». Заканчивалась статья так: «У диктатуры есть в запасе хлыст. И этим хлыстом пора бы заставить Айхенвальдов убраться за черту».

Естественно, что все это беспокоило интеллигенцию. Принятая съездом геологов, который состоялся в первой декаде июня в Петрограде, резолюция отмечала, что «уже настало время для обеспечения в стране хотя бы элементарных прав человека и гражданина, без чего никакая общеполезная работа, и научная прежде всего не сможет протекать нормально».

Но никакие резолюции уже не могли остановить запущенный механизм репрессий. В июне были закрыты многие журналы, в том числе «Экономист» и «Экономическое возрождение». Особый гнев Ленина вызвал «Экономист». В письме к Дзержинскому от 19 мая он назвал журнал явным центром белогвардейцев, где почти все сотрудники «законнейшие кандидаты на высылку за границу» [1]. «Экономист» напечатал немало статей, в которых критиковались не только некоторые текущие решения Советской власти, но и основы самой идеи социализма. Например, Б. Бруцкус дал глубокий анализ традиционной нерыночной концепции в большой работе, опубликованной в трех номерах журнала. Писал он ее в основном во второй половине 1920 года, в разгар «военного коммунизма». Бруцкус был первым в мире экономистом, который на основе анализа теории и тогда еще небогатого опыта показал неэффективность нерыночной системы хозяйствования. Он исходил из того, что при социализме рынок невозможен — в то время это была общепринятая точка зрения. Осенью 1921 года Ленин признал необходимость активного использования рынка в социалистическом строительстве. Однако был убежден, что после окончания переходного периода, когда это строительство завершится, рынка не будет. Только по последним работам Ленина, написанным в начале 1923 года, можно сделать вывод, что он стал признавать возможность рынка и при социализме.

Вместе с тем Ленин пытался ограничить масштабы высылки идеологических противников. Так, в уже упоминавшемся письме Дзержинскому он спрашивал, не рано ли был закрыт журнал «Новая Россия», и высказался против высылки его сотрудников. Этот журнал призывал беспартийную интеллигенцию к сотрудничеству с Советской властью в восстановлении страны, не затрагивая в отличие от «Экономиста» принципиального вопроса о возможности и желательности социализма. Хорошо зная своих соратников, Ленин в том же письме Дзержинскому, касаясь высылки, указывал: «Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим». В качестве одной из мер подготовки он предложил «обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг» [2]. Через неделю после этого письма Ленин заболел и на несколько месяцев выбыл из строя. Подготовку высылки взяло на себя ГПУ, стремившееся максимально расширить масштабы операции. После того как ВЧК была реорганизована в ГПУ, уменьшился престиж этой организации, из-за ограничения ее функций и тяжелого финансового положения в стране сокращались штаты. С весны 1922 года начался финансовый кризис, обострился дефицит оборотных средств, при переводе предприятий на хозрасчет рабочие месяцами не получали зарплату. Все это не могло не сказаться на обеспечении ГПУ. Председатель ГПУ Украины В. Манцев писал Дзержинскому 20 июня: «Сотрудник, особенно семейный, может существовать, только продавая на рынке все, что имеет. А имеет он очень мало. И потому он находится в состоянии перманентного голодания... Зарегистрирован ряд случаев самоубийств на почве голода и крайнего истощения. Я лично получаю письма от сотрудниц, в которых они пишут, что принуждены заниматься проституцией, чтобы не умереть с голода. Арестованы и расстреляны за насилия и грабежи десятки, если не сотни сотрудников и во всех случаях установлено, что идут на разбой из-за систематической голодовки. Бегство из Чека повальное». Конечно, большинство населения в то время голодало, но чекисты за время гражданской войны привыкли к привилегированному положению и потому были особенно чувствительны к трудностям.

Манцев информировал Дзержинского, что совместная комиссия ГПУ Украины и Южбюро ВЦСПС пришла к следующему заключению: «Государство не может содержать аппараты Чека в полной мере, а посему необходимо уменьшить штаты до предела и сократить соответственно функции Чека». Далее он писал, что штаты ГПУ и так уже уменьшены на 75 процентов, дальнейшее сокращение невозможно и государственная власть должна полностью обеспечить потребности оставшихся работников. Заканчивалось письмо обращением к Дзержинскому: «Я Вас очень прошу поставить этот вопрос, ибо опасность окончательного развала Чека очень близка. Ну, а если Чека не нужна, то об этом нужно сказать прямо и твердо».

Дзержинский 4 июля обратился в ЦК с просьбой обеспечить финансовое и продовольственное снабжение работников ГПУ в полной мере. Для того чтобы получить привилегии и повысить свой престиж, ГПУ надо было продемонстрировать свою необходимость на примере какого-то крупного дела. Таким делом и стала высылка интеллигенции. Тут интересы ГПУ совпали с интересами тех партийных чиновников, которые хотели сорвать курс на выдвижение беспартийных специалистов и запугать непокорных подчиненных. Это определило масштабы операции. Несколько месяцев органы ГПУ готовили списки высылаемых, включая в них людей, известных своими критическими выступлениями в печати, на съездах специалистов, в вузовских аудиториях. Теперь ждали только команды от ЦК.

И такую команду дала XII партийная конференция, проходившая с 4 по 7 августа. Ленин был еще болен, доклад об антисоветских партиях и течениях делал Зиновьев. Он подчеркнул, что из факта экономических уступок не следует необходимость уступок политических, и предлагал осуществить политическое наступление. В резолюции конференции утверждалось, что антисоветские партии и течения «пытаются использовать советскую легальность в своих контрреволюционных интересах и держат курс на «врастание» в советский режим, который они надеются постепенно изменить в духе буржуазной демократии и который, по их расчетам, сам идет к неизбежному буржуазному перерождению». Для борьбы с такими попытками резолюция предлагала использовать и агитационно-пропагандистские меры, и надежный, проверенный способ: «Нельзя отказаться и от применения репрессий не только по отношению к эсерам и меньшевикам, но и по отношению к политиканствующим верхушкам мнимо беспартийной, буржуазно-демократической интеллигенции, которая в своих контрреволюционных целях злоупотребляет коренными интересами целых корпораций и для которой подлинные интересы науки, техники, педагогики, кооперации и т. д. являются только пустым словом, политическим прикрытием».

Резолюция ставила на одну доску политические организации — партии меньшевиков и эсеров и беспартийную интеллигенцию. Буквально через три дня после окончания конференции (а одновременно с ней закончился и процесс над правыми эсерами) ГПУ разослало на места директиву об аресте, ссылке, увольнении с работы всех правых эсеров. Расширились масштабы арестов меньшевиков. Была подведена юридическая база под запрет всех партий, кроме коммунистической. 3 августа ВЦИК и СНК приняли постановление о регистрации обществ и союзов, согласно которому любое объединение подлежало запрету, если оно «по своим целям или методам деятельности противоречит Конституции или законам Советской республики».

В отношении «буржуазно-демократической интеллигенции» применялись менее суровые меры: высылка за границу и в северные губернии страны. Юридической основой послужил декрет ВЦИК от 10 августа «Об административной высылке». Созданная при НКВД особая комиссия получила право без суда высылать лиц, причастных к контрреволюционным выступлениям, за границу или

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 54, стр. 266.
[2] Там же, стр. 265.

в установленные районы страны на срок до трех лет. Во второй половине августа в Москве, Петрограде, на Украине были арестованы те, кого предполагалось выслать. В конце августа газеты опубликовали официальные сообщения об этих арестах и о решении выслать за границу большую группу ученых, литераторов, врачей, агрономов.

Руководители партии по-разному толковали это решение. К примеру, Троцкий считал его гуманным. В интервью иностранным корреспондентам, опубликованном в «Известиях» 30 августа, он признал, что высылаемые не представляют политической опасности в данный момент, но могут стать опасными в будущем. «В случае новых военных осложнений (они, несмотря на все наше миролюбие, не исключены) все эти непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политической агентурой врагов и мы будем вынуждены расстрелять их по законам войны. Вот почему мы предпочли сами в спокойный период выслать их заблаговременно и я выражаю надежду, что вы не откажетесь признать нашу предусмотрительную гуманность». Троцкий оказался прав: высланные избежали участи, которая могла бы их постигнуть через несколько лет,— однако его слова предназначались в первую очередь для заграницы. Для внутреннего пользования было другое объяснение, более точное. Выступая 29 августа на пленуме Петросовета, где впервые было объявлено о намеченной высылке, Зиновьев заявил: «Значение акта, предпринятого против части интеллигенции, можно кратко сформулировать словами, что «кто не с нами, тот против нас». Это высказывание явно противоречило основному замыслу нэпа, идее гражданского мира. Зиновьев признал, что высылка специалистов из страны, бедной культурными силами, вызовет негативные последствия, но пытался приуменьшить их. Такие же попытки предприняла в передовой статье «Правда» 31 августа: «Среди высылаемых почти нет крупных научных имен. В большинстве это — политиканствующие элементы профессуры, которые гораздо больше известны своей принадлежностью к кадетской партии, чем своими научными заслугами». На следующий день «Правда» развила эту тему в статье «Светочи науки». Ее автор, укрывшийся за инициалами «И. Л.», обвинял ведущих ученых, «светочей науки», как он их иронически называл, в том, что они продолжают саботаж «в виде созданных ими многочисленных всевозможных комиссий и совещаний, а раз туда дело попало, то его можно считать навсегда похороненным». Напоминая о том, что государство выделило ученым академические пайки, он призвал их задуматься над отдачей своего труда: «Пусть каждый ученый, беря в рот кусок данного ему хлеба, спросит себя сам, что же он дал рабоче-крестьянской России? Ни одна власть в отношении к ее ресурсам не дала ученым тех средств для поднятия науки, как Советская... Спрашивается, какие результаты от всего этого? Русская наука как плелась, так и плетется в хвосте западной науки».

Грубые и необоснованные нападки на ученых должны были создать в стране впечатление, что она ничего не потеряет. А ведь среди высланных были философы Н. Бердяев и С. Франк, социолог П. Сорокин, историк А. Кизеветтер, экономист Б. Бруцкус, другие крупные ученые. В списке кандидатов на высылку значились и ведущие экономисты страны — Н. Кондратьев, Л. Юровский, А. Рыбников, но по ходатайству экономических ведомств их не тронули. На примере Юровского видно, как необоснованны были обвинения. Крупнейший специалист в области денежного обращения, он 10 августа стал заместителем начальника валютного управления Наркомата финансов и впоследствии сыграл ключевую роль в осуществлении денежной реформы. Весной 1922 года Юровский опубликовал в журнале «Экономическое возрождение» (закрытом летом) статью «Бюджет и народный доход в современной России», где предлагал для уменьшения бюджетного дефицита сократить военные расходы и подчеркивал необходимость ликвидировать «военное хозяйство» во всех его видах. Когда Юровский попал в список подлежащих высылке и находился под домашним арестом, его статью ожесточенно раскритиковал известный партийный публицист, сотрудник «Правды» В. Сарабьянов. В сентябрьской книжке журнала «Народное хозяйство» он писал: «Как действительно должны ненавидеть Советскую власть господа Юровские, требуя ликвидации — полной — нашей Красной Армии, без которой нам не прожить, пока англо-французские Юровские — пожалуй, поумнее — не ликвидировали своего «военного хозяйства» во всех его видах». Здесь очевидная передержка: Юровский имел в виду не ликвидацию армии вообще, а устранение остатков «военного коммунизма» в экономике.

Выслали и экономиста проф. И. Озерова, который еще до первой мировой войны ратовал за сокращение продажи спиртных напитков. Однако весной 1922 года в статье, опубликованной журналом «Экономист», он предложил для сокращения бюджетного дефицита и борьбы с самогоноварением разрешить виноторговлю, тогда запрещенную. Получалось вроде так, что Озеров считал пьянство вредным при царизме, а при Советской власти возможным. «Правда» 7 сентября в статье «Это не пройдет» обвинила его в попытке отравить Советскую республику. Особый гнев вызвало замечание Озерова, что «самая теория безусловной вредности спирта за последнее время американскими физиологами подвергается сомнению».

Осенью 1922 года за границу выслали более 200 человек, причем не только ученых-обществоведов и литераторов, но и специалистов-практиков: инженеров, агрономов, врачей. Правда, при окончательном решении все-таки учитывалось, какую пользу может принести кандидат на высылку. Так, зав. Агитпропом ЦК А. Бубнов на съезде политпросветов в ноябре 1922 года говорил: «Если профессор Кизеветтер своими реакционными лекциями приносит вред, то мы его выпроваживаем за границу. Но если известный физиолог Павлов в своем вступительном к лекциям слове ругает коммунистов, мы его гнать не можем, ибо наряду с этим он делает огромную работу, чрезвычайно полезную и для нас». Тем не менее много ценных в непосредственно практическом отношении специалистов было выслано.

В соответствии с принятым жестким курсом Дзержинский в начале сентября в записке своему заместителю И. Уншлихту набросал целую систему наблюдения за интеллигенцией и сформулировал ее цель: «На каждого интеллигента должно быть дело». Вместе с тем Дзержинский подчеркнул, что в задачу органов ГПУ должно входить также «содействие выпрямлению линии по отношению к спецам, т. е. внесение в их ряды разложения и выдвижение тех, кто готов без оговорок поддерживать Совет. власть». В этих словах вся суть того курса, который проявился в высылке. От интеллигенции требовалось добиться безоговорочной поддержки власти, ее стремились превратить в послушного исполнителя директивных указаний, лишить важной социальной функции критики власти.

В конце сентября Политбюро постановило расширить права ГПУ, и 16 октября ВЦИК принял постановление, предоставившее ГПУ право «внесудебной расправы вплоть до расстрела в отношении всех лиц, взятых с поличным на месте преступления при бандитских налетах и вооруженных ограблениях». Это же постановление дополнило ранее предоставленное Особой комиссии НКВД право административной высылки правом отправлять высылаемых членов антисоветских партий в лагерь на принудительные работы сроком до трех лет. Так был нарушен важнейший принцип, положенный в основу реорганизации ВЧК и создания ГПУ,— осуждение только через суд. Пока речь шла только об узком круге преступлений, но важен был первый шаг.

Все это не могло не отразиться и на практической деятельности правительства. Так, было задержано подготовленное еще летом постановление о начале денежной реформы — ведь проводить ее предстояло специалистам, которые находились под подозрением. Разумеется, в этих условиях и речи не могло быть о замене коммунистов, занимавших руководящие посты в трестах и на предприятиях, беспартийными специалистами. 30 сентября «Правда» опубликовала статью руководителя соляного синдиката М. Лациса, который в гражданскую войну, будучи членом коллегии ВЧК, отличался жестокостью и непримиримостью к классовым врагам. С негодованием он писал, что бывшие собственники проникают

в правления трестов (то есть именно туда, где их хотел видеть Ленин), и объяснил это попустительство желанием государственных органов «строить перед Европой из себя страну «законных норм». «Пора этому положить конец. Довольно из себя строить благородных рыцарей, пора показать зубы. Иначе — съедят».

Этот призыв выражал мнение многих представителей власти. В Москве прошли массовые аресты нэпманов, обвиненных в различных нарушениях законов. Оживились примитивные антиинтеллигентские настроения в сфере идеологии. Председатель ЦК Пролеткульта В. Плетнев писал в «Правде» 27 сентября: «Только тогда, когда пролетариат будет иметь своих ученых во всех отраслях знания, своих художников во всех видах искусств,— только тогда поставленная нами задача будет разрешена».

К началу октября наметился отказ от некоторых основных идей нэпа, пошли слухи о его скорой отмене. Причины такого поворота в намерениях руководства партии становятся понятны из доклада Бухарина на V Конгрессе Коминтерна в июне 1924 года. Вспоминая о тех взглядах, которые были распространены среди партийного актива после введения нэпа, он сказал: «Мы новую экономическую политику рассматривали исключительно с точки зрения ее политической целесообразности, как политическую уступку мелкой буржуазии. Мы не думали, что новая экономическая политика сама по себе целесообразна и рациональна, но считали, что мы должны были ее ввести из политических соображений». К осени 1922 года экономическое и политическое положение страны заметно улучшилось и возникло мнение, что пора отказаться от временных уступок.

Вернувшись к работе в начале октября, Ленин приостановил неблагоприятное развитие событий. 11 октября СНК принял означавшее начало денежной реформы постановление о предоставлении Госбанку права выпускать червонцы. Была освобождена часть арестованных нэпманов. Прекратились огульные нападки печати на интеллигенцию. В конце октября «Правда» опубликовала написанную по указанию Ленина статью заместителя заведующего агитпропом ЦК Я. Яковлева, в которой резко критиковались взгляды Пролеткульта и осуждалось спецеедство. 15 ноября Ленин в письме И. И. Скворцову-Степанову выразил категорическое несогласие с его статьей о спецах в «Правде» от 28 октября. В ней утверждалось, что «пролетарская диктатура провалится, если... спецы не будут своими спецами, *такими, которые свою задачу видят в закреплении и развитии диктатуры пролетариата*». Ленин на это замечал: «Подчеркнутое неверно. Таких спецов мы долго не получим, пока не исчезнут *буржуазные* спецы, *мелкобуржуазные* спецы, пока *все* спецы не станут *коммунистами*. Между тем, «*проваливаться*» пролетарская диктатура вовсе не должна»[1]. По существу, спор шел вокруг идеи Ленина строить коммунизм некоммунистическими руками. Его оппоненты не хотели считаться с тем, что других высококультурных сил в стране не было.

За спором о роли специалистов скрывался более общий вопрос о судьбе нэпа. В своем последнем публичном выступлении — речи 20 ноября на пленуме Моссовета — Ленин сказал: «...*Нэп продолжает быть главным, очередным, все исчерпывающим лозунгом сегодняшнего дня*»[2]. Наказ этот некоторое время выполнялся и тогда, когда Ленин отошел от дел. Благодаря сохранению основных принципов нэпа к февралю 1924 года была успешно завершена денежная реформа и страна получила твердую валюту.

В то же время в ЦК оставались люди, которые придерживались иной политики. Нетрудно было предвидеть, что, даже не выступая прямо против ленинского курса, они будут его саботировать. После того как Ленин в середине декабря уже окончательно отошел от дел, негативные черты в деятельности руководства партии начали проявляться еще отчетливее. О них прямо говорилось в анонимной платформе, которая распространялась незадолго до XII съезда партии, состоявшегося в середине апреля 1923 года. В ней выражались взгляды, близкие к взглядам распущенной после X съезда группы «демократического централизма». Так, говорилось, что верхушка партии руководствуется в своей политике не определенными идеями, а борьбой за власть. Предлагалось на предстоящем съезде не выбирать в ЦК Зиновьева, Каменева и Сталина как наиболее видных представителей бюрократического стиля руководства. Ответственные коммунисты-хозяйственники, прежде всего нарком внешней торговли Л. Красин, также критиковали ЦК за некомпетентное вмешательство в хозяйственные дела.

[1] *В. И. Ленин.* Полное собрание сочинений, том 54, стр. 310.
[2] *Там же*, том 45, стр. 308.

На все это Зиновьев в политическом отчете ЦК на XII съезде ответил: «Всякая критика партийной линии, хотя бы так называемая «левая», является ныне объективно меньшевистской критикой». По существу, тезис Зиновьева вытекал из предшествующей политики руководства. Вначале не допускали критики со стороны меньшевиков и эсеров, затем — со стороны беспартийной интеллигенции, теперь пришла очередь запретить критику руководства и внутри партии. Коснулся Зиновьев на съезде и пожеланий беспартийной интеллигенции смягчить диктатуру: «Диктатура пролетариата в форме диктатуры нашей партии есть абсолютно неизбежная необходимость, если мы не хотим, чтобы Россия пошла вспять, если хотим поднимать хозяйство, если хотим, чтобы нэп был не обходным маневром буржуазии по отношению к рабочему классу, а обходным маневром рабочего класса по отношению к буржуазии». О диктатуре партии говорилось и в организационном отчете ЦК, с которым выступил Сталин. Он утверждал, что беспартийные массовые организации являются «щупальцами в руках партии, при помощи которых она передает свою волю рабочему классу, а рабочий класс из распыленной массы превращается в армию партии».

Руководство ЦК, выдвигая свою трактовку диктатуры, ссылалось на Ленина, не учитывая эволюцию его взглядов по мере развития нэпа.

Концепция диктатуры партии, одобренная XII съездом, была несовместима с ленинской идеей выдвижения на ответственные хозяйственные посты беспартийных специалистов. Еще в ноябре 1922 года Политбюро образовало комиссию во главе с Куйбышевым, которая должна была пересмотреть состав правлений трестов. Ленин надеялся с ее помощью заменить некомпетентных коммунистов. Весной 1923 года комиссия завершила обследование 28 трестов и пришла к заключению, что «значительная доля вины за тяжелое и бесхозяйственное состояние ряда трестов лежит на неумелом, бессистемном, неосторожном подборе состава правлений трестов». Иначе говоря, комиссия подтвердила ту характеристику руководства трестов, которую дал Ленин на XI съезде партии, обосновывая свое предложение выдвинуть беспартийных с опытом дореволюционной хозяйственной деятельности. Однако вывод комиссия сделала прямо противоположный: «Для ответственного кадра руководителей промышленности партией выделено недостаточное количество испытанных и устойчивых членов РКП». Этот вывод объяснялся просто: Ленин уже не работал, а другие руководители партии не были согласны с его подходом. На XII съезде Сталин подчеркивал, что необходимо «управляющие органы наших основных предприятий укомплектовать коммунистами и тем осуществить руководство партии госаппаратом». Эта линия была одобрена съездом, и в течение 1923 года часть беспартийных, занимавших ответственные посты в правлениях трестов и на предприятиях, была заменена коммунистами. В составе правлений трестов доля коммунистов увеличилась с 52 до 61 процента, среди директоров предприятий — с 29 до 49 процентов.

Определенную роль здесь сыграло и сохраняющееся недоверие к беспартийным специалистам, сомнение в их лояльности. Например, органы ГПУ считали, что бесхозяйственность на предприятиях — следствие сознательного вредительства. На совещании руководителей экономических наркоматов и ГПУ 4 апреля 1923 года зампредседателя ГПУ И. Уншлихт утверждал, что существует

экономическая контрреволюция. Услышав это, Красин улыбнулся, и тогда Уншлихт сказал: «Вопрос об экономической контрреволюции вызывает насмешки тов. Красина. Он сомневается, существует ли такая контрреволюция. Я не говорю, что во всех мелких повседневных случаях она наблюдается, но что такое стремление имеется налицо, что имеется определенная крупная организация за границей, которая себе эту цель ставит, что она связывается со спецами,— это несомненно. Работа по выяснению этого настолько трудна, что в настоящее время еще невозможно точно доказать существование такой организации». Дзержинский не разделял огульной политической подозрительности своего заместителя. В то время он возглавлял также Наркомат путей сообщения и лучше знал настроения специалистов. Многих из них он защитил от обвинений ГПУ в контрреволюционной работе, основанных на агентурных сведениях о высказываниях того или иного спеца.

То, что тресты и предприятия возглавляли люди, не имеющие опыта в коммерческих делах, послужило одной из причин начавшегося летом 1923 года кризиса сбыта. Некомпетентные руководители стремились повысить цены на продукцию, не думая о трудностях с реализацией и надеясь, что в конце концов товары все равно купят. Товары лежали на складах, а у предприятий не было денег для регулярной выплаты заработка. В июле — августе 1923 года на заводах ряда городов, в частности Москвы, Харькова, Сормова, прокатилась волна забастовок, вызванная ухудшением экономического положения. Забастовки, неожиданные для партийных ячеек, были симптомом болезненных явлений в партии.

В то же время внутри партии активизировалась нелегальная «Рабочая группа». Впервые она заявила о себе весной 1923 года, когда выпустила «Манифест Рабочей группы РКП(б)». Одним из ее организаторов был Г. Мясников, исключенный из партии в феврале 1922 года. «Манифест», резко критиковавший внешнюю и внутреннюю политику партии, представлял собой несколько переработанный и дополненный вариант его статьи «Больные вопросы». В конце мая Мясникова арестовали и выслали в Германию. Дальнейшая его судьба весьма причудлива.

В начале сентября 1923 года Политбюро признало нежелательным пребывание Мясникова в Германии, где он стал сотрудничать с ультралевыми кругами в Германской компартии. Советский посол в Берлине Н. Крестинский, пригласив Мясникова, объявил, что решение о высылке отменено и он может вернуться в Москву, где остались его жена и трое детей. 3 ноября Мясников получил визу на въезд в СССР, но без гарантий в том, что он не будет арестован, и покинул Германию. Спустя шесть дней Крестинский получил от Сталина телеграмму с указанием не давать визу Мясникову. В Москве тот был арестован и осужден на три года тюремного заключения, которое отбывал в Томском изоляторе. В 1926-м его освободили из тюрьмы и отправили в ссылку в Армению. Там ему пригодился опыт старого подпольщика — при царизме Мясников трижды бежал из ссылки. 7 ноября 1928 года он пошел на праздничную демонстрацию и не вернулся. Сумел где-то сбрить усы, бороду, волосы и переодеться. Затем добрался до вокзала и сел в поезд, идущий в город Джульфу. Не доезжая до него, спрыгнул на ходу, дошел до пограничной реки Аракс, переплыл ее и оказался в Персии; после многих приключений попал в Турцию, а оттуда — во Францию, где и жил много лет.

В связи с волнениями на заводах и деятельностью «Рабочей группы» в сентябре был созван Пленум ЦК, заслушавший доклад Дзержинского. Он предложил обязать каждого коммуниста сообщать ГПУ о нелегальных группах в партии. Стремясь вести постоянное наблюдение за меньшевиками и эсерами, ГПУ еще прежде пыталось заставить не только членов этих партий, но и их знакомых-беспартийных стать осведомителями. Сам факт возникновения нелегальных групп свидетельствовал о неблагополучии в партии. Дзержинский обратил внимание участников Пленума на то, что застой внутрипартийной жизни, назначения вместо выборности становятся политической опасностью и парализуют политическое руководство партии рабочим классом. Пленум создал комиссию во главе с Дзержинским для подготовки конкретных предложений об улучшении ситуации.

Однако вскоре работа этой комиссии отошла на задний план, появились другие заботы. В октябре 1923 года впервые после профсоюзной дискуссии открыто дала о себе знать влиятельная оппозиция. 8 октября Троцкий направил членам ЦК и ЦКК письмо с критикой работы ЦК. Он осуждал нарушения партийной демократии, в частности практику назначения секретарей губкомов сверху вместо их выборов соответствующим партийным органом. Отмечал он и серьезные ошибки в руководстве экономикой.

Спустя неделю в ЦК обратились сорок шесть ответственных работников. Развивая мысль Троцкого, они писали: «Режим, установившийся внутри партии, совершенно нестерпим; он убивает самодеятельность партии, подменяя партию подобранным чиновничьим аппаратом, который действует без отказа в нормальное время, но который неизбежно дает осечки в моменты кризисов и который грозит оказаться совершенно несостоятельным перед лицом надвигающихся серьезных событий». Они требовали развивать внутрипартийную демократию, в частности отменить запрет фракций. Среди подписавших «заявление 46» были сторонники Троцкого по профсоюзной дискуссии, бывшие участники «рабочей оппозиции» и «демократического централизма». Многие, хотя и занимали достаточно ответственные посты, претендовали на большее. Так, например, бывшие члены ЦК Е. Преображенский, Л. Серебряков, И. Смирнов считали себя незаслуженно обиженными тем, что вместо них избрали в руководство людей, менее способных. Они надеялись, развернув кампанию против ЦК и опираясь на поддержку такого популярного лидера, как Троцкий, добиться изменения состава ЦК на очередном съезде.

Сам же Троцкий предполагал в публичной дискуссии приостановить и повернуть вспять процесс лишения его реальной власти, который шел на протяжении 1923 года. Время для своего выступления он и его сторонники выбрали исходя из того, что именно в октябре острый кризис сбыта вызвал массовое недовольство политикой.

Руководство партии на первых порах пыталось не допустить публичного обсуждения обоих документов — они не были опубликованы и распространялись тогдашним самиздатом. В конце октября объединенный Пленум ЦК и ЦКК осудил их как фракционные. Но в печати сообщений о Пленуме не появилось, как и вообще каких бы то ни было упоминаний об этих документах.

Однако попытки замалчивания оказались безуспешными. По мере распространения документов становилось ясно, что они выражают недовольство многих коммунистов внутрипартийным режимом. В этой ситуации Политбюро решило перехватить инициативу и развернуть открытую дискуссию о положении в партии. 7 ноября «Правда» напечатала статью Зиновьева «Новые задачи партии», в которой он писал, что «во внутрипартийной жизни за последнее время наблюдался чрезмерный штиль, местами даже прямо застой». И далее: «Главная наша беда состоит часто в том, что почти все важнейшие вопросы идут у нас сверху вниз предрешенными». Зиновьев предлагал усилить свободную дискуссию в партии по всем вопросам, «в особенности привлечь внимание рядовых членов партии к жгучим вопросам производственной жизни».

«Правда» призвала развернуть в печати и в партийных организациях самую широкую дискуссию по статье Зиновьева. Дискуссия вызвала большой интерес. Так, 27 ноября «Правда» сообщила, что только из Москвы за неделю получено около 100 статей и писем. Выявилось и другое: «Райкомы рекомендовали ячейкам отложить обсуждение статьи Зиновьева, так как дискуссия на эту тему преждевременна (не опубликованы еще все надлежащие материалы)». 5 декабря «Правда» напечатала несколько материалов о ходе дискуссии в провинции. В них сообщалось о попытках аппаратных работников сместить центр тяжести дискуссии, направить ее на другие темы, так как «в области внутрипартийной все благополучно, никаких новшеств не требуется, да и говорить тут

собственно не о чем». О том, какую реакцию это вызывает, писал другой корреспондент: «Рядовая и полусередняцкая масса осталась и остается недоверчивой, ей это не ново. Говорят и пишут давно, а на деле все по-старому остается. Полагают, что и сейчас — поговорят и успокоятся». Более того, на местах даже опасались участвовать в дискуссии. Так, из Белгорода писали: «Перенесение дискуссии на ячейки, особенно в провинции, ничего существенного не даст, разве только вылетит из партии несколько лучших дискуссировавших товарищей или начнутся переброски «из деловых соображений».

Но в отдельных парторганизациях Москвы дискуссия существенно изменила атмосферу, раскрепостила коммунистов. Например, на собрании одной крупной ячейки, куда входило много молодежи, был отвергнут утвержденный райкомом список кандидатов в Моссовет и райсовет — раньше такое и представить себе казалось невозможным. «Правда» привела характерный диалог с этого собрания: « — Товарищи,— надрывается председатель (секретарь ячейки),— мы обязаны провести две фигуры: одну центральную и одну от райкома.— Никаких фигур. Мы сами обсудим. Ничего не обязаны...— Вот он новый курс-то, до чего доводит, распоясались, райкомовский список отвергают,— с оттенком некоторого мистического ужаса бросает кому-то строгий человек.— Ничего, в конце концов не мы для райкома, а райком для нас.— Товарищи, я принужден заявить, что снимаю этот список только под напором всего собрания.— Бедный Г.,— вздыхает кто-то,— ну и будет же ему завтра в райкоме.— Да,— сочувствует сосед,— там наверняка старый курс». Под впечатлением этого собрания автор делал оптимистический вывод о перспективах «нового курса»: «Если наши парторганы проявят чуткость — бояться нечего: ячейки оживают, лед ломается». Но этот оптимизм был по меньшей мере преждевременным. Даже на этом собрании раздавались предостерегающие голоса: « — Подождите,— обращается один, смеясь,— вам еще покажут «новый курс».— Это вы, собственно, к чему? — А так просто. Все эти «новокурсники» из «Правды» уже давно занесены кое-куда».

Ощущение ненадежности «нового курса» укрепилось, когда в дискуссию включились руководители партии. 1 декабря Зиновьев на конференции Петроградской губернской организации категорически возразил против предложения отменить резолюцию X съезда партии о запрете фракций: «Свобода фракций внутри той партии, которая управляет государством,— это значит свобода образования зародышевых правительств».

Пока шла дискуссия, комиссия Дзержинского подготовила проект резолюции «О партстроительстве». Троцкий раскритиковал его. Стремясь добиться, чтобы резолюция была принята, большинство Политбюро согласилось с некоторыми его формулировками, и, как говорил позднее Каменев, «после грубой торговли по поводу каждой поправки, единогласие было достигнуто». Резолюция была принята 5 декабря на совместном заседании Политбюро и Президиума ЦКК и спустя два дня появилась в «Правде». Ничего принципиально нового по сравнению с резолюцией X съезда о партстроительстве она не содержала, разве что включала некоторые пункты, которые, по идее, должны были предотвратить попытки аппарата выхолостить ее. Встречена она была с известным скептицизмом, так как еще не забылась судьба аналогичной резолюции X съезда.

То, что резолюцию приняли единогласно, казалось бы, открывало дорогу к единству руководства при ее проведении в жизнь. Однако уже 8 декабря на собрании актива Краснопресненского района было зачитано письмо Троцкого, где комментировалась резолюция, а 11 декабря с некоторыми дополнениями письмо опубликовала «Правда». Из письма было ясно, что бюрократы заняли и самый верх партийной иерархии. На примере учеников Маркса и Энгельса, ставших оппортунистами, Троцкий предупреждал об опасности перерождения «старой гвардии». В свете столь прозрачного намека на возможность перерождения учеников Ленина, в первую очередь правящей «тройки», суждение Троцкого приобретало особый оттенок: «Прежде всего должны быть устранены с партийных постов те элементы, которые при первом голосе критики, возражения, протеста склонны требовать партбилет на предмет репрессий».

Выступив всего через несколько дней после того как единогласно была принята резолюция с плохо скрытыми нападками на других членов Политбюро, Троцкий дал им основание обвинить его в беспринципной борьбе за власть. Несомненно, правящая «тройка», идя на компромисс с Троцким при обсуждении резолюции, руководствовалась в первую очередь стремлением сбить волну критики и сохранить свою власть. Это был политический маневр: всерьез уничтожать «секретарскую систему», расширять круг участвующих в принятии решений не собирались. Но раз руководители партии согласились на резолюцию, предусматривающую развитие внутрипартийной демократии, то Троцкий должен был по крайней мере проверить искренность их намерений. Смены кадров можно было требовать через несколько месяцев — во время отчетно-выборной кампании.

Выступление Троцкого побудило и подписавших «заявление 46» к атакам на партийный аппарат. Они стали выдвигать свои резолюции в противовес официальным на проходивших в Москве активах и собраниях.

Все это дало руководству партии и партаппарату повод уделять основное внимание не выполнению резолюции от 5 декабря и развитию внутрипартийной демократии, а борьбе с оппозицией. Начиная с 12 декабря печать стала открыто признавать, что оппозиция существует; «Правда» в своей передовой «Под знаком единства» обвинила оппозицию в намерении разгромить аппарат и указала на недопустимость этого: «Если из нашей партии выдернуть ее организационный костяк, ее скелет, ее аппарат, то от партии ничего не останется, кроме распыленной, неорганизованной, совершенно аморфной массы. Если партию нельзя отождествлять с армией, то ее нельзя отождествлять и с толпой». Обвинение было не совсем точным. Оппозиция скорее стремилась не разрушить аппарат, а овладеть им.

Наряду с требованием немедленно заменить руководящие кадры оппозиционеры предлагали разрешить фракции и группировки. На собрании актива Московской организации Е. Преображенский говорил: «Если в партии образуются идейные группировки, которые хотят убедить партию, что предлагаемые ими меры по хозяйству, финансам, внутрипартийному строительству и т. д. более правильны, более приемлемы, чем те, которые предлагает ее официальное большинство, представляемое ее ЦК, или какая-нибудь другая группировка, то кто же сможет сказать, что такие группировки недопустимы?.. Это есть необходимое для партии проявление внутренней работы ее коллективной мысли... И когда нам говорят, что сам тов. Ленин писал резолюцию X съезда о фракционных группировках, то мне припоминается, что он, в том случае, когда старые большевики книжно, буквоедски, как начетчики, проводили те или иные старые решения и настаивали на них, он называл их старыми дураками». На том же собрании Зиновьев, возражая оппозиции, заявил, что время легализовать фракции и группировки не наступило, добавив под бурные аплодисменты зала: «И оно не наступит вообще в период диктатуры пролетариата».

Правящая «тройка» не учитывала различные мнения, не проявляла гибкости, боялась развития подлинной демократии в партии. Каменев четко сформулировал эти опасения в январе 1924 года на XI Московской партконференции: «Сегодня говорят: демократия в партии; завтра скажут: демократия в профсоюзах; послезавтра беспартийные рабочие могут сказать: дайте нам такую же демократию, какую вы вызвали у себя. А разве крестьянское море не может сказать нам: дайте демократию. Поэтому я не желаю сие припечатывать».

Подавляющее большинство ответственных партийных работников считало, что руководить страной и строить социализм партия может, только будучи монолитной. Характерно в этом отношении письмо Дзержинского начальнику Политуправления Красной Армии В. Антонову-Овсеенко, с которым он был в дружеских отношениях. Антонов-Овсеенко подписал «заявление 46», выступал против бюрократизации партийной жизни, но не был безоговорочным сторонником Троцкого. Он осуждал и большинство Политбюро, и Троцкого, считая, что они ведут фракционную борьбу за власть. Дзержинский писал ему 14 января:

«Удержать диктатуру пролетариата в мирной обстановке — в крестьянской стране при массовом напоре поднятия уровня своей жизни и при нашей некультурности — требует от партии величайшего идейного единства и единства действий под знаменем ленинизма. А это значит надо драться с Троцким». Следует напомнить, что Дзержинский был самостоятельным политическим деятелем, а отнюдь не послушным исполнителем воли Сталина. Например, в профсоюзной дискуссии 1921 года он принял сторону Троцкого. Подчеркивая необходимость единства для руководства строительством социализма, он выражал мнение большинства ЦК.

Сталин в борьбе со всеми своими конкурентами выступал в роли сильного и твердого лидера, способного не допустить раздоров в партии и обеспечить строительство социализма. Обвинив оппозицию в попытке расколоть партию, руководство сумело привлечь на свою сторону большинство партийных организаций. В Москве, где оппозиция получила относительно больше голосов, чем в других местах, за нее было 34 процента участников районных конференций. Из 413 рабочих ячеек Москвы за линию ЦК высказались 346 (9843 человека), за оппозицию 67 (2223 человека), а вот в вузовских ячейках — за ЦК 32 (2790 человек), а за оппозицию — 40 (6594 человека), за оппозицию также голосовала примерно треть военных и учрежденческих ячеек.

В результате борьбы с оппозицией внутрипартийный режим стал даже суровее, чем был прежде. Фактически вся дискуссия о развитии внутрипартийной демократии сыграла роль китайской кампании «пусть расцветают сто цветов», вслед за которой началась «прополка». В ходе дискуссии выявились самостоятельные, критически настроенные работники; вскоре они были сняты с занимаемых ими постов. К примеру, Антонов-Овсеенко направил 27 декабря письмо в Президиум ЦКК и Политбюро, в котором выражал протест в связи с тем, что борьба с оппозицией приобрела характер беспринципной клеветнической кампании. Закончил он так: «Знаю, что этот мой предостерегающий голос на тех, кто застыл в сознании своей непогрешимости историей отобранных вождей, не произведет ни малейшего впечатления. Но знайте — этот голос симптоматичен. Он выражает возмущение тех, кто всей своей жизнью доказал свою беззаветную преданность интересам партии в целом, интересам коммунистической революции. Эти партийные молчальники возвышают свой голос только тогда, когда сознают явную опасность для всей партии. Они никогда не будут «молчалиными», царедворцами партийных иерархов. И их голос когда-нибудь призовет к порядку зарвавшихся «вождей» так, что они его услышат даже несмотря на свою крайнюю фракционную глухоту». Сталин пришел в ярость. Уже через четыре дня Оргбюро ЦК вынесло порицание ПУРу за якобы не согласованный с ЦК приказ о проведении партийной конференции военных вузов. Сталин сам в разговоре с Антоновым-Овсеенко назвал этот надуманный предлог «пустяком». Подлинная причина недовольства начальником ПУРа была другой. О ней Антонов-Овсеенко написал Сталину 2 января 1924 года: «Вам представляется нетерпимым, что во главе одного из ответственных отделов ЦК (ПУР работал на правах отдела ЦК.— **Ю. Г.**) стоит настолько самостоятельно мыслящий партиец, что осмеливается высказывать (хотя бы и во время разрешенной предсъездовской дискуссии) свое недовольство внутрипартийной политикой большинства Политбюро... Вам нужен на руководящих постах подбор абсолютно «законопослушных» людей. Я к таковым не принадлежу». Вскоре Антонова-Овсеенко сняли с его поста.

Но не только ответственные работники пострадали за то, что участвовали в дискуссии на стороне оппозиции. В марте 1924 года началась чистка «непролетарских ячеек». Формально она проводилась для того, чтобы избавиться от разложившихся чуждых элементов. Фактически же в первую очередь подвергались чистке организации, выступавшие на стороне оппозиции.

Еще более ужесточилось и отношение к беспартийной интеллигенции. Страницы газет запестрели статьями и заметками о различных проступках спецов. Широко распространилось мнение о том, что вскоре появятся «красные

специалисты» и заменят инженеров и техников, вышедших из буржуазных слоев. Все чаще на ответственных хозяйственных постах коммунистами заменяли беспартийных, которые и сами в обстановке растущего к ним недоверия не стремились сохранять эти посты. Ответственный работник ВСНХ А. Гольцман в записке, подготовленной им в июне 1924 года по поручению председателя ВСНХ Дзержинского, отмечал: «Инженеры чувствуют себя так, словно их держат до известного момента, который должен наступить уже в ближайшее время, и что после этого момента их удалят как совершенно ненужный элемент». Обижало специалистов и различное отношение к ним и к коммунистам при нарушении законов. Так, в 1923 году состоялись три крупных судебных процесса над работниками ГУМа, Белгородско-Щелковского и Орехово-Зуевского трестов. Сорок четыре человека, среди них и коммунисты, исключенные из партии после ареста, были осуждены. К середине 1924 года всех бывших коммунистов досрочно освободили, а беспартийные остались в заключении.

Настроения специалистов хорошо выразил в конце марта 1924 года на 2-м губернском съезде инженеров в Ленинграде один из выступавших: «У нас чувствуется какая-то вялость в нашей работе. В чем же причина? Причина заключается в том, что у нас нет видов на будущее. Я бы сказал так: у нас что-то не вяжется, мы не можем сговориться с коммунистами». Потому не могут, что по-разному оценивают значение прав человека: «Интеллигент — это всякий человек, будь то крестьянин, будь то рабочий, будь то человек с дипломом, этот человек, который ставит выше всего права человека, считает, что человек — высшая ценность в государстве. Этого у нас нет, и поэтому интеллигенция работает вяло... И пока мы не имеем прав человека, наша работа всегда будет связана, всегда будет инертна». На XIII съезде партии в мае 1924 года Зиновьев, комментируя это высказывание инженера, заявил: «Политических же уступок мы не сделаем».

Весной 1924 года было предпринято новое наступление на права интеллигенции. Более чем вдвое сокращался прием в вузы. А в технические высшие учебные заведения могли поступить только выпускники рабфаков, то есть дети рабочих и крестьян. При поступлении на рабфак требовалось лишь «твердое знание 4-х арифметических действий над целыми числами».

В мае 1924 года СНК РСФСР принял постановление, согласно которому «ввиду чрезмерного переполнения вузов и невозможности обеспечить нормальный ход учебной работы» предусматривалось сократить число студентов, а для этого срочно, до окончания учебного года, проверить академическую успеваемость студентов с учетом их социального происхождения. Бурная реакция учащихся, в частности случаи самоубийств среди отчисленных, распространение антиправительственных листовок и т. п. заставили исключить из 140 тысяч студентов не 35 тысяч, как предполагалось, а примерно 18 тысяч.

Политика в отношении специалистов побудила Красина направить в Политбюро в июне 1924 года докладную, где он писал о «почти что классовой неприязненности к специалистам, которая свойственна подавляющей части профсоюзовских и партийных кругов». Такое отношение к интеллигенции, считал Красин, затрагивает основы нэпа. В этой связи он отмечал: «Если признано необходимым пересмотреть твердо установленный В. И. в конце 1922 года курс, то это следует сделать открыто и честно, и так и заявить об этом рабочим, а не отменять его линию путем отдельных декретов и мероприятий, которые по частям, но с неизбежной последовательностью уничтожают самые основы нэпа».

Фактический отход от некоторых идей нэпа проявился и в отношении к частной торговле. В феврале 1924 года более тысячи нэпманов обвинили в спекуляции и выслали из Москвы на Север. Одним из инициаторов акции был Дзержинский, который осенью 1923 года предлагал ее в письме Сталину. Нэпманы занимаются злостной спекуляцией и опутывают своими махинациями работников трестов и кооперации, причем особенно активны они в Москве, куда съезжаются дельцы со всех концов страны, писал он. Среди частных торговцев

действительно были люди нечестные, которые давали взятки должностным лицам. Но огульно обвинять всех торговцев в росте цен было несправедливо. Этот рост во время осеннего кризиса сбыта был связан с высокими отпускными ценами, которые устанавливали тресты и синдикаты. Летом и осенью 1923 года цены частного рынка на промышленные товары порой были ниже цен госторговли и кооперации, ибо частники быстрее реагировали на изменения конъюнктуры.

Осенью 1923 года ЦК не принял предложение Дзержинского, но позднее руководство страны стало проявлять обеспокоенность тем, что частный капитал занял в торговле господствующие позиции. С точки зрения нэпа тут не было ничего страшного, но многие в партии рассматривали динамику обобществленного и частного сектора в торговле как показатель результатов борьбы «кто кого». При таком подходе рост частной торговли казался чреватым опасностью реставрации капитализма. Разгромив оппозицию, руководство партии взяло у нее как раз те идеи, которые были направлены против развития нэпа, в частности идею о чрезмерном нэповском накоплении. Высылка нэпманов была одним из проявлений общего курса на ограничение частной торговли, подтвержденного XIII съездом партии. В резолюции съезда, правда, была сделана оговорка: вытеснение частного торгового сектора должно сопровождаться соответствующим ростом государственной торговли и кооперации с тем, чтобы общий товарооборот не сокращался. Однако на практике нэпманов вынуждали прекращать свою деятельность; о том, как и кем их заменить, не думали; в результате образовались «торговые пустыни», особенно в деревне. По данным Наркомвнуторга, госторговля и кооперация всего на четыре процента компенсировали в товарообороте вытесненных частников.

Принятые в первой половине 1924 года решения, которые в ряде направлений предусматривали отход от нэпа, быстро оказали негативное воздействие на экономику. Политика в отношении специалистов поставила под угрозу проведение кампании по повышению производительности труда в промышленности, провозглашенную Дзержинским после того, как он стал работать в ВСНХ. Резкое сокращение частной торговли, не компенсированное госторговлей и кооперацией, создало опасность разрыва между городом и деревней. Все это побудило активизироваться тех в руководстве, кто не был согласен с решениями, подрывающими нэп. Осенью 1924 года в руководстве страны стало складываться большинство, настроенное решительно изменить политику, которая проводилась в первой половине года.

Победе этой точки зрения безусловно способствовало то обстоятельство, что правящая «тройка», ответственная за ошибочную политику, летом начала раскалываться. Сталин повел борьбу против Зиновьева и Каменева. Борьба за власть велась за кулисами, и обе стороны стремились завоевать приверженцев в руководящих партийных кругах, в частности среди тех, кто был за развитие нэпа. Поэтому и «тройка» согласилась с отходом от той политики, которую она сама проводила до осени 1924 года. Новый курс, провозглашенный на Пленуме ЦК в конце октября, предусматривал оживление Советов, соблюдение действительной выборности, борьбу с административным произволом. Линию на демократизацию обосновал Бухарин в статье, опубликованной осенью журналом «Большевик». Отметив, что по мере укрепления государства должны меняться формы и методы управления, он писал: «Что же нужно теперь? Форсирование «нормализации» советского режима». Под «нормализацией» он подразумевал строгое соблюдение законов, развитие экономических методов управления, повышение роли Советов всех уровней.

В соответствии с этими установками Бухарин в конце года высказался против дополнительного финансирования ГПУ, вызвав недовольство Дзержинского. В коротком письме Бухарин разъяснил свою позицию: «Я считаю, что мы должны *скорее* переходить к более «либеральной» форме Советской власти, меньше репрессий, больше законности, больше обсуждений, самоуправления (под руководством партии, naturaliter) и проч. *Поэтому* я иногда выступаю против предложений, расширяющих права ГПУ и т. д.».

Дзержинский 24 декабря направил это письмо для ознакомления своему заместителю В. Менжинскому с припиской, в которой выразил отношение к идее «либерализации»: «Было бы величайшей ошибкой, если бы партия по принципиальному вопросу о ГПУ сдала бы и дала бы «весну» обывателям — как линию, как политику, как декларацию. Это означало бы уступать нэпманству, обывательству, клонящемуся к отрицанию большевизма, это была бы победа троцкизма и сдача позиций. Для противодействия таким настроениям нам необходимо пересмотреть нашу практику, наши методы и устранить все то, что может питать такие настроения. Это значит мы (ГПУ) должны может быть стать потише, скромнее, прибегать к обыскам и арестам более осторожно, с более доказательными данными; некоторые категории арестов (нэпманство, преступления по должности) ограничить».

И все же «либерализация» режима на протяжении 1925 года действительно происходила, затронув и политику, и экономику, и идеологию. Был ослаблен административный нажим, меньше навязывали кандидатов при выборах в Советы. Согласно Конституции РСФСР лишались избирательных прав лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли. Теперь, по новой избирательной инструкции, эти права получили крестьяне, нанимающие рабочую силу, кустари и ремесленники, у которых было не более одного взрослого работника, мелкие торговцы. Предоставление избирательных прав этим категориям было тесно связано с поощрением их экономической деятельности. В докладе о революционной законности на XIV партконференции в апреле 1925 года член Президиума ЦКК А. Сольц говорил: «Задача наша состоит в том, чтобы за всеми слоями населения обеспечить те права, которые мы считаем необходимым ему обеспечить в интересах нашего строительства».

Были сняты ограничения, препятствующие росту крестьянских хозяйств, отменены репрессивные меры против частной торговли, кустари и ремесленники получили налоговые льготы, улучшилось их снабжение сырьем. Начал проводиться курс на привлечение частного капитала. Инициатором здесь выступил прежде всего Дзержинский, который, как мы помним, ранее считал, что нужны репрессии против нэпманов. С февраля 1924 года он возглавлял ВСНХ (и одновременно ОГПУ) и за год убедился, что кооперация не в состоянии заменить частную торговлю. На заседании Совета труда и обороны (СТО) 31 марта 1925 года Дзержинский говорил: «В настоящее время кооперация не в состоянии конкурировать с частной мелкой торговлей и по сути дела не должна этого добиваться... Если мы научились пользоваться нэпом в области производства, то теперь необходимо суметь использовать частного торговца в области товарооборота. Для товарооборота частный мелкий торговец имеет громадное значение. В то время, как кооперация в своих лавках ждет, пока покупатель придет к ней, частный торговец всячески изощряется, чтобы привлечь покупателя, обнаружить скрытый спрос».

На диспуте в Доме Союзов, который состоялся 30 марта, представитель частной торговли в Совете съездов биржевой торговли Синелобов заявил: «Нужно создать такие условия, при которых частный торговец мог бы перейти от мешочничества к положительной работе и здоровой торговой деятельности. Первым условием для этого является спокойная и устойчивая торговая политика. В настоящий момент смешно даже говорить, что частный капитал является врагом государства». В свою очередь, зампредседателя Госплана И. Смилга подчеркивал в докладе: «Необходимо предоставить ряд льгот частной торговле... Мы должны всерьез и надолго мириться с тем, что частный капитал будет долго еще играть значительную роль в экономике страны». На следующий день после диспута СТО принял постановление, согласно которому улучшались условия работы частной торговли, облегчалось получение ею товаров от госпромышленности, а также кредитов.

Установка на вовлечение всех слоев населения в хозяйственное строительство отразилась и на отношении к специалистам, повысился статус интеллигенции. В постановлении ЦК «О работе специалистов», принятом в сентябре

1925 года, отмечалось, что при оценке специалистов необходимо принимать во внимание их производственный стаж, заслуги в области определенной специальности, «ни в коем случае не допуская установления отношения к специалистам исключительно на основе их классового происхождения». Согласно этому постановлению предусматривались льготы при поступлении детей специалистов в вузы, улучшение их жилищных условий, налоговые льготы.

В идеологической основе политики партии в 1925 году была установка не разжигать классовую борьбу. Руководители партии считали, что разжигание классовой борьбы в деревне и в городе сорвет экономический подъем страны. По существу, развивался ленинский завет: перенос центра тяжести на «мирную организаторскую» работу. Весной Бухарин выдвинул идею о постепенном отмирании классовых противоречий. 1 апреля «Правда» опубликовала проект тезисов Бухарина по крестьянскому вопросу, одобренный делегацией РКП(б) и внесенный в комиссию пленума исполкома Коминтерна. В проекте утверждалось: «Весь период пролетарской диктатуры отличается особой закономерностью: при благоприятном ходе развития классовые противоречия с известного пункта времени начинают воспроизводиться во все меньших размерах, социалистические хозяйственные элементы нарастают эволюционным путем, пролетариат ведет свою политику не на разрыв общественного целого, а на его скрепление, причем враждебные буржуазные формы постепенно вытесняются, а формы мелкого хозяйства постепенно перерабатываются (через кооперацию, рост всех форм коллективных объединений и т. д.). Эта своеобразная закономерность развития лежит в основе всей нашей тактики в этот период».

Так что в 1925 году начал осуществляться поворот от политики, которая проводилась в 1924 году. Однако лидеры партии понимали его по-разному. Если Бухарин, Калинин, Рыков считали новый курс принципиально правильным для всего периода строительства социализма, то, скажем, Сталин относился к нему как к временному тактическому маневру. По его просьбе Ю. Ларин, известный противник развития нэпа, выступил на XIV партконференции с критикой Бухарина: «Он требует от нас признания, что мы никогда, т. е. ни через 15, ни через 20 лет, не конфискуем, не экспроприируем кулаков, полупомещиков, буржуазные верхи... Такую присягу дать мы можем так же мало, как мы можем дать ее и частному капиталисту в городе... Мы конфискуем, экспроприируем крупные частные хозяйства, когда придет для этого время». Дело было не в определении времени, отпущенного для частного накопления, важен был принцип. Сторонники Ларина с самого начала нового курса предполагали насильственно завершить его. Рыков в заключительном слове на конференции резонно заметил: «Если стремиться к максимально-быстрому развитию производительных сил сельского хозяйства, производя существенные изменения в положении современной деревни, и обещать при этом реквизицию через 10 лет по отношению к сельскохозяйственной буржуазии, то не только тов. Ларин, но и вообще никто не будет накоплять в деревне. Делать такого рода дополнения и разъяснения значит аннулировать фактически всю политику Центрального Комитета в этом вопросе».

О том, что часть руководителей партии рассматривала новый курс как временный, может быть, даже кратковременный маневр, свидетельствовал и такой эпизод. Весной 1925 года Калинин настойчиво предлагал включить в Конституцию РСФСР пункт о предоставлении избирательных прав крестьянам, нанимающим рабочую силу. В мае принятая в 1918 году Конституция пересматривалась, и в проект новой Конституции, одобренный Президиумом ВЦИК и представленный на рассмотрение 3-й сессии ВЦИК XI созыва, такой пункт был внесен. В ходе дискуссии на сессии это изменение одобрили все выступавшие. Как обычно, для окончательной доработки проекта на сессии была избрана комиссия, в которую вошло большинство членов Президиума ВЦИК. И вот эта комиссия неожиданно отклонила все изменения в Конституции относительно предоставления некоторым категориям избирательных прав. А все дело в том, что Политбюро отказалось в последний момент от этих изменений и дало соответствующие

указания комиссии. Оно согласилось включить новые пункты в инструкцию о выборах потому, что инструкция в отличие от Конституции действует короткий срок и можно будет ее изменить к следующим выборам, если понадобится.

Еще одно свидетельство того, что влиятельные силы в руководстве страны предвидели возможность отказаться вскоре от нового курса,— сохранение прежней роли ОГПУ. Несмотря на провозглашение демократизации общества, функции органов ОГПУ не ограничили, как это было в начале 1922 года, хотя некоторые, в частности Бухарин, считали это необходимым. Ориентируясь на его сторонников, Н. Крыленко в мае направил в Политбюро записку о работе ОГПУ. Он обращал внимание на то, что ОГПУ вынесло сферу внесудебного рассмотрения дел за рамки, установленные нормативными актами. Согласно этим актам ОГПУ имел право на внесудебное рассмотрение дел о контрреволюционных преступлениях, шпионаже, бандитских шайках, должностных преступлениях работников ОГПУ, фальшивомонетчиках. В отношении трех последних категорий ОГПУ было предоставлено право через «судебную тройку» выносить внесудебные приговоры вплоть до расстрела. Кроме того, в порядке исключения ОГПУ могло выносить внесудебные приговоры по всякому иному делу, если получало на то особое разрешение Президиума ЦИК.

На практике, как отмечал Крыленко, «исключения превратились в правило.., нет буквально ни одной статьи Уголовного кодекса, по которой бы ГПУ не считало бы себя вправе принять к своему производству дела». К тому же на каждом заседании «судебной тройки» рассматривалось очень много дел, например, 3 апреля 1925 года — 319, 6 февраля — 308. Естественно, что рассмотреть их внимательно было просто невозможно. А ведь «тройки» выносили суровые приговоры. По данным Крыленко, в 1924 году они приговорили к расстрелу 650 человек (6,9 процента общего числа осужденных), а в то же время суды РСФСР приговорили к расстрелу 615 человек (0,9 процента общего числа осужденных).

Писал Крыленко и о том, что высланные попадают в крайне тяжелые условия, особенно в северных районах Сибири (Нарым, Туруханский край), где их бросают на произвол судьбы. Причем высылают и стариков, преимущественно из духовенства, и «социально-вредных» старух. «Практика же заключения в лагерь фактически превратила административную высылку в тюремное заключение, которое ничем не отличается от содержания в любой тюрьме по суду».

Завершая, Крыленко писал: «Получилось положение, при котором всякое более или менее значительное дело из проходящих через ГПУ, как правило, заканчивается внесудебным приговором и не доходит до суда»,— и предлагал строго ограничить те категории преступлений, которые могут рассматриваться во внесудебном порядке, смягчить меры наказания, в частности содержать высылаемых в лагеря вместо трех лет один год. Что же касается «судебной тройки», выносившей более суровые приговоры, чем Особое совещание, то предлагалось дать ей право рассматривать дела в каждом случае только с санкции Президиума ЦИК. Он считал необходимым также усилить прокурорский надзор над деятельностью ОГПУ.

Крыленко вовсе не предлагал что-то очень радикальное. Например, не поднимал вопрос об отмене всей системы внесудебных приговоров, как это было при упразднении ВЧК. Но даже весьма скромные замечания и предложения Крыленко руководство ОГПУ отвергло. В предназначенном для Политбюро отзыве на его записку Прокуратуру обвинили в том, что она лишена «понимания политической обстановки», что для Крыленко, ее главного представителя, существуют только статьи законов, «а нет борьбы с контрреволюцией и предупреждения роста политических партий, террористических групп и т. п.». В ответ на замечание о том, что на заседаниях «судебной тройки» рассматривалось слишком много дел, сообщалось, что ее члены знакомятся с делами предварительно. Не считало ОГПУ и свои приговоры чрезмерно суровыми.

Что же касается предложения Крыленко — больше дел, расследуемых органами ОГПУ, передавать в суд,— то в отзыве утверждалось, в частности: рас-

смотрение хозяйственных дел, расследованных экономическим управлением ОГПУ и транспортным отделом, только через суд, вызвало негативные последствия. «Эти отделы потеряли до некоторой степени чекистскую упругость и немного ослабли для ударной работы, так как дела поступают в суд, там лежат, дожидаются своей очереди и ставятся к слушанию, когда вся экономическая конъюнктура изменилась. Мы считаем это весьма тяжелым недостатком, но если и политические дела будут разрешаться, как правило, в момент изменившейся политической обстановки, то это будет грозить самому существованию Союза».

В то время и Прокуратура, и суд, следуя новому курсу, стремились строго следить за соблюдением законов. Сотрудники же органов ОГПУ считали, что в борьбе с враждебными группами населения надо руководствоваться не законами, а прежде всего революционной целесообразностью. Здесь уместно вспомнить, что в конце 1921 — начале 1922 года, когда обсуждалась реорганизация ВЧК, ее сотрудники так же примерно обосновывали свои возражения против лишения их права внесудебного приговора.

Отзыв написан так, будто дело идет о гражданской войне, а не о проведении нового курса и провозглашении демократизации. Фактически ОГПУ руководствовалось той же теорией о неизбежном насильственном конце нового курса, что и Сталин. Новый курс страна проводила, сохраняя мощный аппарат принуждения, готовый с этим курсом покончить по первому приказу.

Такой приказ был дан, и скорее, чем можно было предполагать. Нереальные планы экономического развития, которые финансировались за счет чрезмерной эмиссии денег, вызвали осенью 1925 года острый товарный голод. Под его воздействием ухудшилась конъюнктура для частного капитала. Промышленность резко сократила отпуск частным торговцам дефицитных товаров, так как в первую очередь поставляла их кооперации. Стремясь приобрести товары, розничные торговцы использовали различные обходные пути. Например, нанимали безработных, чтобы те, выстояв огромные очереди, покупали для них в государственных и кооперативных магазинах дефицитные товары. Затем эти товары перепродавали по завышенным ценам. Регулирующие органы пытались упорядочить частный рынок. Так, в декабре 1925 года в Москве была проведена торговая интервенция: частным торговцам в плановом порядке обещали дать сорок вагонов мануфактуры при условии продавать ее с таким расчетом, чтобы наценка не превышала 30 процентов. В результате этой акции розничные цены на мануфактуру упали более чем на 20 процентов. Но уже в январе 1926 года цены снова стали расти. Объяснялось это тем, что торговцам продали не сорок, а двадцать пять вагонов мануфактуры. Этого было мало для того, чтобы вести дела рентабельно, частников по существу лишили коммерческой заинтересованности выполнять принятые ими на себя обязательства. Они готовы были перейти на плановое снабжение, соглашались даже торговать с наценкой меньше 30 процентов, но ставили условия: устойчивое и достаточное для рентабельности снабжение, соответствие ассортимента рыночному спросу.

Выполнить эти условия при недостатке товаров было крайне трудно. И тогда Дзержинский прибег к старому, испытанному средству — решил привлечь органы ОГПУ. 28 марта 1926 года он направил записку начальнику Экономического управления ОГПУ А. Прокофьеву: «На почве товарного голода нэп, особенно в Москве, принял характер ничем не прикрытой, для всех бросающейся в глаза спекуляции, обогащения и наглости. Этот дух спекуляции уже перебросился и в государственные и кооперативные учреждения и втягивает в себя все большее количество лиц, вплоть до коммунистов». Дзержинский намечал целую систему мер против нэпманов, в том числе конфискацию имущества и выселение из квартир, выселение вместе с семьями из крупных городов, а также ссылку в отдаленные районы и лагерь. В тот же день он (уже как председатель ВСНХ) направил записку председателю Всесоюзного текстильного синдиката Ф. Килевицу, где писал, что спекуляция будет продолжаться, пока сохраняется товарный голод, и для борьбы с нею необходимы административные меры: «Я думаю, надо пару тысяч спекулянтов отправить в Туруханск и Соловки».

В начале апреля Политбюро одобрило предложение Дзержинского. Жесткие административные меры против частников начали применять не только в Москве, но и в других городах. Например, в феврале 1926 года частники, повышая заготовительные цены на хлеб, вытеснили государственных и кооперативных заготовителей на Сызранском рынке. Уполномоченный Губвнуторга сообщил об этом в местную прокуратуру и просил привлечь дезорганизующих рынок частников к судебной ответственности. Нарсуд приговорил восемь торговцев к лишению свободы на срок от шести месяцев до одного года. Изложив эту историю на страницах «Экономической жизни», корреспондент газеты писал: «Оздоровился ли после этого Сызранский хлебный рынок? Нет. Случай этот навел панику на местных торговцев, которые позакрывали свои лавочки, прекратили операции. Привоз хлеба уменьшился, потому что крестьяне тоже знают об этом случае. Цены, правда, в Сызрани теперь не повышаются, но какое значение имеют цены на хлеб без хлеба на рынке?»

Товарный голод привел к зажиму частной торговли, а вызван он был плановыми просчетами центральных органов, причем расплачивались за их ошибки не только нэпманы, но и все население. По той же логической цепочке с весны 1926 года ухудшилось отношение к зажиточным крестьянам, не желавшим продавать хлеб плановым заготовителям. Государство значительно повысило налог на крестьян, запретило продавать им тракторы и сложные машины; это, в свою очередь, затормозило подъем сельского хозяйства и рост жизненного уровня народа. Уже весной 1926 года начался отход от некоторых важных положений нового курса в экономике.

Почему же так быстро стал меняться этот единогласно принятый курс? Прежде всего потому, что после XIV съезда партии, состоявшегося в конце декабря 1925 года, изменилось соотношение сил в ЦК. На протяжении этого года Сталин в закулисной борьбе постепенно оттирал Зиновьева и Каменева от руководства. За две недели до съезда в кулуарах Ленинградской губернской партконференции Зиновьев говорил о своих разногласиях со Сталиным: «У нас принципиальных разногласий нет, есть отдельные недоговоренности; видите ли, т. Каменев отодвинут от партийной работы, возможно, что и меня скоро оттрут». В этих условиях Зиновьев и Каменев решили повести на съезде открытую борьбу. Их поддержали, кроме ленинградской делегации, кандидат в члены Политбюро Г. Сокольников и член Президиума ЦКК Н. Крупская. Главной причиной конфликта была борьба со Сталиным, однако новая оппозиция подвела под нее и принципиальные основания: фактически выступила против нового курса, хотя конкретных предложений такого рода и не выдвигала. Об этом хорошо сказал на съезде член ЦК С. Косиор: «Практически они ничего не предлагают, потому что, исходя из их точки зрения, предложить что-нибудь — значит сказать: надо идти назад».

Зато в главном позиция была сформулирована четко: Каменев и Сокольников прямо предложили снять Сталина с поста генсека. Съезд с негодованием отверг это предложение. Когда Каменев закончил свою речь, все встали и приветствовали Сталина бурными аплодисментами, раздавались голоса с мест: «Да здравствует тов. Сталин!!!» Удивляться не приходится, многие делегаты были подобраны самим Сталиным и его ставленниками. Именно на этом съезде впервые начали выделять Сталина среди других членов Политбюро. Так, Ворошилов назвал его «главным членом Политбюро», а рабочие Сталинского завода из Донбасса в своем приветствии съезду — «лучшим и верным учеником тов. Ленина».

О том, что большинство делегатов не придавало особого значения развитию внутрипартийной демократии, свидетельствовало обсуждение доклада ЦКК. Дело в том, что ряд обвинений против оппозиции был основан на письме в ЦК коммуниста Леонова, в котором он передал содержание разговора со своим хорошим знакомым, секретарем Ленинградского губкома членом ЦК П. Залуцким. Сообщали о частных разговорах со своими знакомыми и другие коммунисты

Ленинграда. Вопрос о недопустимости доносительства в партии поднял председатель Ленинградской контрольной комиссии И. Бакаев: «Я не могу равнодушно отнестись и к тем нездоровым нравам, которые пытаются укоренить в нашей партии. Я имею в виду доносительство... Если это доносительство принимает такие формы, такой характер, когда друг своему другу задушевной мысли сказать не может, на что это похоже?» Бакаеву возражали многие делегаты — сторонники большинства. Член Президиума ЦКК С. Гусев заявил: «Я думаю, что каждый член партии должен доносить... Можно быть прекрасными друзьями, но раз мы начинаем расходиться в политике, мы вынуждены не только рвать нашу дружбу, но идти дальше — идти на «доносительство». Исходил Гусев из представления о партии, как о некой высшей силе, от которой не может быть секретов.

Ему ответила К. Николаева, сторонница оппозиции, член ЦК: «Доносы на партийных товарищей, доносы на тех, кто будет обмениваться по-товарищески мнением с тем или иным товарищем, это будет только разлагать нашу партию... Такая система в партии будет наносить ущерб, она будет затушевывать истинное недовольство, ряд недоуменных вопросов, которые возникают у каждого мыслящего коммуниста, задумывающегося над теми явлениями, которые встают перед ним в современной трудной, сложной обстановке». Большинство съезда отвергло возражения против доносительства. Председатель ЦКК В. Куйбышев в заключительном слове признал недопустимым даже сам этот термин: «И вообще, применимо ли слово «донос» к заявлению члена партии, в котором заключается предупреждение партии о каком-либо неблагополучном явлении в той или другой организации? Я считаю, что это не донос, это сообщение, являющееся обязанностью каждого члена партии». Так еще одно звено добавилось в логическую цепь — от борьбы коммунистов с врагами Советской власти до натравливания членов партии друг на друга. А ЦКК, созданная для укрепления единства партии, постепенно превратилась в орудие расправы с теми, кто был неугоден Сталину, и способствовала установлению его единоличной власти.

Отказ от нового курса, начавшийся в экономике, вскоре распространился и на политику, и на идеологию. Весной 1926 года по инициативе Сталина Политбюро осудило расширение круга лиц, получивших избирательные права по инструкции ВЦИК. Летом, незадолго до июльского Пленума ЦК, был закрыт журнал беспартийной интеллигенции «Новая Россия», последовательно проводивший идею участия всех социальных групп в хозяйственном и культурном строительстве. В передовой статье первого номера за 1926 год, посвященной итогам XIV съезда партии, отмечалось: «В линии производительных сил первое место занимает человек, его инициатива, его активность. Человек, добровольно и осмысленно участвующий в трудовом коллективе, а не баран в стаде, не безличная стадностатистическая единица. Инициатива и активность, а не безответное рукоподымательское усердие, не законопослушное смирение. Только инициативно действующий человек есть по-настоящему производительная сила. В этом отношении оживление Советов и кооперации есть хозяйственная реформа». Наиболее полно позицию журнала выразил его редактор И. Лежнев в статье «Нэп — национальная экономическая политика», опубликованной к пятилетию нэпа в следующем номере: «Из двух расплавленных конусов слагается нэп — из индустриализующей воли государства и из развязанных производительных сил страны... Если бы мы были коммунистами, мы видели бы и верили бы в большее — нэп переходная форма к социализму. Но прямота фактов фатально оборачивается к нам кривизной проблем. Ведь мы только беспартийные интеллигенты. Для нас нэп расшифровывается: национальная экономическая политика. Различие оценок не мешает общности работы. Мы гребем в одну сторону, а куда приплывем — это уже будет там видно».

То, что закрыли журнал «Новая Россия» и осудили избирательную инструкцию ВЦИК, свидетельствовало о стремлении не допустить политического и идеологического влияния тех слоев, интересы которых, по мнению руководства страны, стали расходиться с интересами пролетариата. Фактически эти меры знаменовали отказ от установки 1925 года не разжигать классовой борьбы.

Рубежом для новой экономической политики стал июльский Пленум ЦК 1926 года. На нем потерпели поражение сторонники демократизации страны. Были отвергнуты требования оппозиции развивать внутрипартийную демократию, снять запрет на фракции и группировки. Теоретически эти требования обосновал сторонник оппозиции Я. Оссовский. В статье, опубликованной в № 14 журнала «Большевик» за 1926 год, он писал, что при многоукладности экономики нерационально, чтобы существовала абсолютно единая и единственная партия, выражающая интересы всех слоев общества: «Придерживаясь принципа абсолютного единства и единственности нашей партии, в организациях и парт. печати не допускается свободный обмен мнениями, несмотря на то, что в самой партии, в связи с разнообразием экономики страны, различие мнений фактически существует». Проявляется это различие в частных разговорах, главным же образом среди руководящих кругов.

Считая, что абсолютно единая и единственная партия не может эффективно управлять страной, Оссовский предлагал, как изменить положение: 1) единственная, но не абсолютно единая партия, то есть с фракциями и группировками; 2) абсолютно единая, но не единственная партия, то есть допускаются другие легальные партии, соблюдающие советские законы. Предпочтительнее, по его мнению, был первый вариант. Появилась в то время и другая концепция, согласно которой фракции и группировки не совместимы с однопартийной формой правления — нужна многопартийность. Сформулировал ее Мясников в письме, отправленном из тюрьмы Зиновьеву: «Вы вот ратуете теперь за внутрипартийную демократию и стоите на почве сельсоветско-бюрократического государства. Это внутреннее противоречие... Если критика не имеет точки зрения платформы, на которой хочет собрать большинство членов партии, чтобы повести иную политику в том или ином вопросе, то ведь это же не критика, а простой набор слов, болтовня. Нет критики без точки зрения, без платформы. Нет критики без группировок. Но ведь группировки это потенциальная возможность новой партии. А как же можно это совместить с однопартийной формой правления?» Для руководства страны обе эти концепции были абсолютно неприемлемы. Оссовского исключили из партии. Июльский Пленум ЦК подтвердил недопустимость фракций и группировок. Его решения положили конец попыткам демократизировать страну.

Во время работы Пленума скончался Дзержинский. Он с наибольшей остротой воплощал в себе противоречия нашей революции. С одной стороны, как председатель ВСНХ он всячески стремился наладить работу промышленности, создать нормальные условия для деятельности хозяйственников и специалистов. В ВСНХ на ключевых постах работали бывшие меньшевики, и Дзержинский защищал их от ОГПУ. Менжинский, заменивший Дзержинского на посту председателя ОГПУ, вспоминал в статье, опубликованной в годовщину его смерти: «Сплошь и рядом, когда работники ОГПУ приходили к нему с доказательствами на руках, что тот или другой крупный спец исподтишка занимается контрреволюционной работой, Дзержинский отвечал: «Предоставьте его мне, я его переломаю, а он незаменимый работник». И действительно, переламывал». Специалисты, в свою очередь, относились к нему с глубоким уважением и доверием.

С другой стороны, как руководитель органов ВЧК — ГПУ Дзержинский беспощадно преследовал активных членов других партий, в том числе и тех из них, кто готов был соблюдать советские законы. Он был убежденным сторонником принципа единственной и абсолютно единой партии. Честный, бескорыстный человек, идеалист по своей сути, он не хотел учитывать частнохозяйственные интересы буржуазных слоев, и если они приходили в противоречие с политикой государства, использовал против них чекистский аппарат.

Негативные последствия монополии власти стали особенно заметно проявляться после июльского Пленума ЦК. Усилился нажим на частников, началось перераспределение бюджетных средств в пользу промышленности за счет сель-

ского хозяйства. Крестьяне ответили массовыми требованиями организовать крестьянский союз для защиты их интересов. По данным ОГПУ, в 1926 году было отмечено 1662 случая агитации за крестьянский союз (против 543 в предыдущем году). В наказах делегатам районного съезда Советов их обязывали поставить вопрос об организации крестьянского союза, который обладал бы правом торговать сельскохозяйственной продукцией на кооперативных началах, в том числе экспортировать ее, а также импортировать нужные товары, в частности сельскохозяйственную технику. Свои требования крестьяне просили делегатов передать на более высокий уровень, вплоть до Всесоюзного съезда Советов. Эти требования были отвергнуты. Власти считали их контрреволюционными — потому они и регистрировались органами ОГПУ.

Монополия в политике усиливала монополистические тенденции и в хозяйственной области. Пользуясь поддержкой регулирующих органов, госпромышленность стремилась не допустить роста кустарно-ремесленной промышленности, а потребительская кооперация пыталась препятствовать не только частной, но и государственной торговле. Рыков отмечал на XV съезде партии: «Мы имеем систему всеобъемлющих гигантских организаций, которые часто являются монополистами в соответствующей отрасли не только хозяйственной, но и общественной жизни. Эти организации с величайшей ревностью относятся к какой-либо конкуренции с ними... На протяжении ряда лет в этих организациях неизбежно складываются элементы рутины и косности».

Бюрократизации хозяйственной жизни способствовала и все шире применявшаяся на практике теория о необходимости замены рынка плановым распределением. Руководствовался этой теорией прежде всего Наркомат торговли, распоряжения которого часто вступали в противоречие с требованиями рынка, в особенности сельскохозяйственного. Примером может служить история, которую рассказал в одной из своих статей нарком земледелия А. Смирнов: «Я напомню весну 1925 года, когда в связи со слабым поступлением зерна комиссия Наркомторга СССР выехала в Сибирь и там провела знаменитую меру — задержку расплаты с мужиком за молоко,— воображая, что потечет зерно. Однако никакого зерна не потекло, а животноводство получило величайший удар; началось разрушение и развал сельскохозяйственной кооперации, в заготовки проник частник, а московский рынок стал испытывать величайшие перебои с маслом, причем таким же ударам подвергся и наш экспорт. Пришлось отменить эту «разумную меру». Случилось это в период проведения нового курса. И даже тогда органы регулирования стремились не стимулировать, а принуждать. После июльского Пленума ЦК, когда Наркомторг возглавил А. Микоян, верный сторонник Сталина, эта тенденция усилилась.

Против негласно взятого в середине 1926 года курса на подрыв нэпа горячо протестовали ведущие экономисты, которые понимали, что он может привести к печальным последствиям. К примеру, в начале октября 1926 года на заседании коллегии Наркомата финансов В. Базаров говорил: «Сейчас наблюдается смешение двух проблем, когда говорится о частном капитале: проблема борьбы с частным капиталистическим сектором хозяйства смешивается с проблемой о методах хозяйствования на основе товарного хозяйства, рынка, денег, цен. Это смешение чрезвычайно вредно для нашей экономической политики. Очень часто, желая вести борьбу против частного капитала,— выступают против рынка, против приемов хозяйствования, базированных на рынке... Надо прежде всего добиться правильного понимания проблемы и не позволять демагогической ликвидации основ новой экономической политики под флагом борьбы с частным капиталом. Это одна из важнейших задач сейчас». Такую же позицию последовательно защищала «Финансовая газета», орган Наркомата финансов. Но противники были намного сильнее, и в конце октября газета была закрыта под предлогом убыточности. Это свидетельствовало и о поражении той линии, которую она защищала, и о дальнейшем ограничении свободы дискуссий в печати.

Еще более ожесточился режим, когда резко изменилась международная обстановка. В мае 1927 года Англия разорвала дипломатические отношения

с СССР. 7 июня русский эмигрант убил полпреда в Польше П. Войкова. Реальной угрозы войны не было, но Сталин решил использовать ухудшение международной обстановки во внутриполитических целях, ибо оно давало повод ужесточить режим по отношению и к «буржуазным элементам», и к оппозиции в партии. В середине мая были арестованы в качестве заложников многие потомственные аристократы, служившие в различных советских учреждениях. В начале июня сообщалось, что всего за несколько дней в разных городах были совершены террористические акты. В доме, расположенном рядом со зданием ОГПУ в Москве, была обнаружена бомба и, как утверждалось, предотвращен сильный взрыв. В Ленинграде в помещение, где проводился семинар по историческому материализму, были брошены две бомбы, одна из которых взорвалась и многих ранила. Под Минском сошла с рельсов дрезина, при аварии погиб помощник уполномоченного ОГПУ по Белоруссии. Во всех этих террористических актах были обвинены английские шпионы. На следующий день после убийства Войкова по решению коллегии ОГПУ без суда были расстреляны двадцать человек из числа заложников. Летом обнаружили и самих диверсантов. Начались аресты среди инженеров Донбасса — их обвинили во вредительстве. С того времени многие годы постоянно ловили террористов и шпионов, поддерживалась обстановка осажденной крепости.

С конца 1927 года возник острый дефицит продовольственных и промышленных товаров. К магазинам выстроились огромные очереди. На заседании ЭКОСО 24 декабря 1927 года сообщалось, что в одной из таких очередей на Урале задавили женщину с ребенком, что в Нижегородской губернии в очередях за мануфактурой скапливалось более чем по 700 человек. Представитель ВЦСПС И. Толстопятов отмечал: «В ряде районов создалось чрезвычайно тревожное настроение». На своих собраниях и стихийных митингах рабочие требовали улучшить продовольственное снабжение. Возникла необходимость что-то срочно предпринять.

Психологически руководящие партийные круги давно были готовы пойти на жесткие репрессивные меры. Об этом, например, свидетельствовала дискуссия на XV съезде партии в декабре 1927 года о соблюдении законности. Если на XIV съезде руководители ЦКК защищали доносительство, то на XV они фактически стали защищать произвол, нападая на работников органов юстиции за их требование неукоснительно соблюдать законы. Так, член коллегии ЦКК — РКИ М. Шкирятов заявил: «Кроме буквы закона должно быть пролетарское революционное чутье при разборе любого дела, а у них иногда закон выше всего».

В начале 1928 года было решено применить чрезвычайные меры — изъять хлеб у крестьян, причем не только у зажиточных, но и у середняков. Их отношение к Советской власти сразу же ухудшилось, в деревне начался разгул хулиганства и грабежей. В то же время в продовольственном снабжении городов, улучшившемся в результате чрезвычайных мер, осенью 1928 года снова начались перебои. Среди рабочих возникли и стали усиливаться антисоветские настроения. 5 октября 1928 года Калинин приехал на общее собрание рабочих и служащих Подольского механического завода. Многие выступавшие ругали Советскую власть, утверждали, что при царизме жить было лучше, требовали срочно улучшить положение. Один из рабочих, например, сказал: «Примите экстренные меры, т. Калинин, а то вам по шапке попадет». Коммунистам, пытавшимся защитить политику Советской власти, не давали говорить.

В условиях массового недовольства политикой даже те руководители, которые поняли ее ошибочность, не решились открыто выступить против. Бухарин, Рыков, Томский вели закулисную борьбу со Сталиным, не доводя дела даже до Пленума ЦК. Они опасались, что открытый раскол укрепит враждебные Советской власти силы и руководящая роль партии в стране окажется под угрозой. Их своевременное открытое выступление (не позже, чем на июльском Пленуме ЦК 1928 года) еще могло бы сплотить членов партии — противников сталинского курса. А такие были — об этом свидетельствует хотя бы то, что сняли

с постов многих партийных и советских работников за отказ применять чрезвычайные меры. Лидеры «правого уклона», вероятно, полагали, что им будет легче победить Сталина через некоторое время, когда еще отчетливее проявятся губительные последствия его курса. Однако они не учли психологии большинства членов ЦК, которые, по мере того как обострялось недовольство народа, все больше утверждались в мысли, что страну должен возглавлять лидер, способный навести порядок и удержать власть партии. Были и такие, кто пришел к выводу, что отстранить Сталина все равно не удастся, и поддерживал его из боязни потерять свое привилегированное положение.

В партии шла централизация власти — она концентрировалась в руках Сталина, который подавлял всех несогласных с ним. Весной 1929 года, завершив разгром «правого уклона», он получил возможность беспрепятственно проводить свою репрессивную политику. Одновременно и в народном хозяйстве сформировалась командно-бюрократическая система управления, не способная удовлетворять потребности населения, да и не нацеленная на это. Надо признать, что Сталин опирался на определенные исторические традиции,— ведь революция знаменовала не только разрыв с прошлым, но и сохранение преемственности. Но если Ленин при введении нэпа стремился использовать то прогрессивное, что было в дореволюционной России, то Сталин опирался на реакционные тенденции царского режима, стремившегося установить жесткий контроль над всеми сферами жизни государства и общества.

Перестройка резко поставила перед нами проблему сочетания изменений и преемственности. Конечно, не надо разрушать старые структуры, не подготовив им замены, но нельзя и цепляться за устаревшие формы, доказавшие свою неэффективность. Необходим механизм, обеспечивающий действенные обратные связи и создающий ответственность всех звеньев управления. Гласность, плюрализм мнений возможны и без этого. Но, не изменив политическую систему, трудно обеспечить «слышимость», покончить с практикой, когда руководящие органы могут пренебрегать мнениями, с которыми они не согласны.

Важно это и для повышения надежности всей общественной системы. В сложных технических системах уже давно признана необходимость «защиты от дурака», то есть разработка техники безопасности, учитывающей возможность тех нерациональных действий операторов, которые могут привести к катастрофе. В общественных системах также необходима защита от принятия решений, не выдерживающих критики даже с точки зрения здравого смысла, не говоря уже о критике научной. Надежность как технических, так и общественных систем обеспечивается возможностью альтернативных действий. Исторический опыт убедительно показывает, насколько важно создать условия, при которых народ имел бы реальную возможность демократическим путем выбирать между различными платформами. Конечно, единство действий легче обеспечить, когда отсутствует альтернативность, но в этом случае возникает опасность, что действия эти будут направлены не в ту сторону. Издержки при альтернативности меньше, чем опасность застоя, вызванного монополией.

Георгий Адамович

КОММЕНТАРИИ

Поэт, следовавший урокам строгого ремесла, преподанным в гумилевском «Цехе поэтов» (и, может быть, потому оставивший не более ста стихотворений), по определению Бунина, «лучший критик в эмиграции», Георгий Викторович Адамович (1892—1972) был еще и мыслителем, д у м ц е м, если вспомнить хорошее русское слово. Его «Комментарии» представляют собой философические рассуждения о России, о ее исторической судьбе, о христианстве, о столь любезных российской душе проклятых вопросах — рассуждения, осуществляемые главным образом через новое прочтение русской литературы. Философическое не есть философское, и автор оставляет за собой право на «невозможность ответа» — невозможность эта, по справедливости, представляется ему «все же бесконечно значительной, не менее полной смысла и духовного веса, чем любая метафизическая система».

Русская парижская эмиграция 30-х годов—фон, которому в значительной мере обязаны «Комментарии» своим появлением. Именно там возникло духовное содружество русских «монпарнасцев»: оно войдет в историю литературы как «парижская нота». Старшие «монпарнасцы», петербуржцы по преимуществу,— Мережковские, В. Ходасевич, Г. Иванов, поэт Николай Оцуп (основатель альманаха «Числа», где печаталась и часть «Комментариев»), писатель и издатель И. Фондаминский — были озабочены прежде всего проблемой сохранения и передачи унесенной из Петербурга культуры поколению литераторов, сформировавшихся в эмиграции. В подтверждение того, что им удалось это, назовем имена хотя бы поэта Бориса Поплавского, прозаика Гайто Газданова, поэта и критика Юрия Терапиано, писателя и философа Владимира Варшавского. Этический пафос монпарнасского сообщества воплотился полнее всего, наверное, в личности Матери Марии (Кузьминой-Караваевой); в середине 30-х годов она основала в Париже центр социальной помощи «Православное дело», ставший местом встречи русских литераторов. Интеллектуальное напряжение поддерживалось благодаря работе Г. Федотова, Ф. Степуна, С. Франка, Л. Шестова и других философов.

«Пребывание во Франции не могло не возбудить колебаний...— писал Г. Адамович.— Нас смутили резкие различия между устремлениями нашими и французскими, различия и формальные и волевые». И все же «монпарнасцы» сумели, «не впадая ни в западническое раболепие, ни в славянофильское бахвальство», извлечь из нового опыта нечто творчески плодотворное, отразить «минуты роковые» и России, и всего мира. «Комментарии» — результат не отвлеченного умствования (чуждого, впрочем, русской мысли вообще), а активной сострадательности человека, мучавшегося вопросом: «Что делать нам и как помочь?». И не случайно личные судьбы русских «монпарнасцев» не-

редко были трагическими и стоическими — в немецких концлагерях погибла Мать Мария, погиб Фондаминский... Сам Георгий Адамович в возрасте, далеко превышающем призывной, вступил во французскую армию, чтобы бороться против фашизма. Вот нравственный обертон «парижской ноты», и он слышен в импрессионистичных по духу и эссеистских по манере письма заметках, которые Г. Адамович писал на протяжении тридцати с лишним лет и печатал в разных эмигрантских изданиях под названием «Комментарии».

Публикуемые ниже фрагменты выбраны из книги: Георгий Адамович. Комментарии. Вашингтон. Издание Русского книжного дела в США. Victor Kamkin, Inc. 1967.

В. ШОХИНА

После всех бесед, споров, недоумений, надежд, гаданий, обещаний, после евразийства, после русского шпенглерианства, вспыхнувшего и погасшего в берлинских и парижских кофейнях, после всех наших крушений, когда, как ни разу еще в памяти нации, оставался человек один, наедине с собой, вне общества, и лишь с насмешливо-ядовитым сознанием, что вот и вне общества можно еще существовать, любить, думать, жить, — все-таки и после всего этого не поздно и не лишнее повторить, что главный для нас, общерусский вопрос, над личными темами, есть вопрос о Востоке и Западе, о том, с кем нам по пути и с кем придется разлучиться: Россия — страна промежуточная. И конечно, этот вопрос, будучи главным везде и всегда, остается главным и в литературе. Ответа еще нет, но все, что мы теперь предпринимаем, во всех областях, есть подготовка материала для решения, составление «дела», «досье», где время наведет порядок.

А все же, так или иначе, Россия должна бы остаться Россией, с единственными своими чертами, с тем, чему она нас научила и от чего не отречемся мы никогда. С тем, что должны бы мы передать нашим детям, внукам, правнукам.

Как долго, годами, десятилетиями, обольщались мы насчет Европы! «Дорогие там лежат могилы». Действительно — дорогие, этого забыть нельзя. Хорошо и верно, Иван Федорович, говорили вы об этом своему младшему брату, послушнику. В Европу, на запад, нас несло почти что на крыльях любви. И вот донесло. И после всех наших скитаний, без обольщения и слезливости, со свободной памятью, спокойно, уверенно, говоришь себе: сладок дым отечества. Все серо, скудно, и Боже мой, до чего захолустно. Но уверенно, ответственно, учитывая последствия и выводы, хочется повторить: сладок дым отечества, России.

Не потому, что это — отечество, а потому, что это — Россия.

Как бы об этом сказать? Бывало в рассказах, в одном из толстых журналов. Вечер. Станция, где-нибудь в средней полосе России. Поезд только что прошел. Станционная барышня еще гуляет взад и вперед, вполне традиционная: шестнадцать лет, косы, мечты. Пожалуй, еще и березки, непременно «чахлые», за палисадником, непременно «пыльным». Ждать больше нечего.

Это, разумеется, должно было быть в восьмидесятые или девяностые годы, в «безвременье». Знакомо так, что незачем и вглядываться, а кому незнакомо, тот действительно ничего «не поймет и не заметит». Здесь почти все пелены уже прорваны, жизнь наполовину призрачна. Это русская глушь, переходящая в елисейские тени. Все белое и черное, как в монастыре. (Сюда же: позднее, безнадежное народничество, безнадежная музыка Чайковского, выветривающиеся «идеалы»...)

Но долго длиться это не могло. Что-то должно было произойти — и произошло.

Конец литературы.

Книги, конечно, никогда не перестанут выходить, их всегда будут читать, разбирать, хвалить, критиковать. Но речь вовсе не о книжном рынке,

хотя бы и самом изысканном, самом «культурном», а о том, что может смутить сознание писателя.

По самой природе своей литература есть вещь предварительная, вещь, которую можно исчерпать. И стоит только писателю возжаждать «вещей последних», как литература (своя, личная литература) начнет разрываться, таять, испепеляться, истончаться — и превратится в ничто. Может убить ее ирония. Но вернее всего убьет ее ощущение никчемности. Будто снимаешь листик за листиком: это неважно и то неважно, это — пустяки и то — всего только мишура. Листик за листиком, безостановочно, безжалостно, в нетерпеливом предчувствии самого верного, самого нужного,.. которого нет. Есть только листья, как в кочане капусты. Едва пожелаешь простоты, как простота примется разъедать душу, серной кислотой, капля за каплей. Простота есть понятие отрицательное, глубоко мефистофельское и по-мефистофельски неотразимое. Как не хотеть простоты, но и как достичь ее, не уничтожившись в то же мгновение? Все не просто, простоты быть не может. Простота есть нуль, небытие. «Я, — конечно, я воображаемый, — еще могу написать то, что все вы пишете, но я уже не хочу этого. И пусть не намекают мне с сочувственной усмешечкой на бессилие: умышленно, сознательно предпочитаю молчание». [...]

В духовной биографии Пушкина кое-что именно так становится понятно. Пушкин ссыхался, затихал в тридцатых годах, и не только Бенкендорф с Натальей Николаевной были тут повинны. Пушкина точил червь простоты. Не талант его иссякал, вопреки предположению Белинского, — конечно, нет! Но, по-видимому, не хотелось ему уже того, чем этот талант прельщался раньше, мутило от неги и звуков сладких, претил блеск. Что было бы дальше, останься Пушкин жив, как знать? — но пути его не видно, пути его нет. В последних, чудесно зрелых стихах нет даже и попытки что-либо от себя и других скрыть. Оставалась проза. Но кто с таким даром уже соскользнул со ступеньки на ступеньку, мог бы докатиться и до конца. Это — к великой чести Пушкина, как и всех, кому мерещится «непоправимо белая страница», после чего еще можно жить, но уже нельзя писать. (Рембо, одна из снеговых вершин французской литературы, внезапно променявший поэзию на коммерцию, а вместе с ним, наверно, и другие, оставшиеся нам навсегда неведомыми, устоявшие перед соблазном литературной удачи и славы).

За что вы любите Толстого?

Вопрос задан был мне с оттенком недоверия в голосе. Ответив уклончиво, я задумался. За что? Узко эстетически, в плоскости «нравится», мне все-таки не все у Толстого нравится. Язык? Да, конечно, язык у него несравненный, но нельзя же любить Толстого за язык, это ведь не Лесков. Ощущение жизни? Да, но по давним декадентским воспоминаниям, от которых мне трудно отделаться, оно мне чуждо. (При всем желании не говорить о себе, этого не избежать, когда хочешь сказать что-нибудь не совсем общее. Убрать себя со своей дороги нельзя. Здесь «я» не цель, а средство, не объект, а призма. Приходится это объяснять во избежание «досадных недоразумений», устраивать которые всегда найдутся добровольцы-любители). Многое другое перебирал я, но признавая «да, и это», все же чувствовал, что главное обхожу.

Помогла случайность, мелочь. Конечно, это не было открытие: просто я по-новому понял то, что знал и раньше. Попался мне на глаза номер «России и Славянства», юбилейный, ко дню «русской культуры». Чудовищный номер по количеству торжествующе-самодовольной фальши, густо залившей его юбилейные страницы! О бальмонтовском переводе «Слова о Полку Игореве» не стоит говорить, да этот нелепый «перевод» и не относится к делу. Но рядом, со всех сторон, особенно на первой странице: русская культура, русская государственность, заветы Петра, традиции Сперанского, наша миссия в эмиграции, наш долг перед родиной, Пушкин, Достоевский и Суворов, даже Суворов... И ни разу, нигде — имени Толстого! Как это хорошо! Как хорошо, что имя его невозможно... нет, не в этом ряду, а в этом контексте! Как хорошо, что нельзя устроить ко «дню русской культуры» собрание в зале Трокадеро, посвященное Толстому, —

а если устроить, то получится такая ложь или такой конфуз, что горько придется устроителям раскаиваться. А ведь Толстой это все-таки Россия, только не такая, какой представляет ее себе редактор «России и Славянства». Что говорить, и Пушкин в действительности не тот, что у Петра Струве, и даже Достоевский не тот, но они беспрепятственно поддаются стилизации, они безропотно участвуют в сусально-патриотическом маскараде и даже соседству с Суворовым не очень удивляются. А в Толстом правдивость так сильна, что его не сломаешь. Он и после смерти «не может молчать», и поэтому на юбилейном торжестве с демонстрированием наших национальных слав лучше и благоразумнее сделать вид, что его в России никогда и не было.

Повторяю, это мелочь. Ну, что такое какая-то парижская газетка, что такое «день русской культуры» с речью профессора Кульмана и хористками в кокошниках? Но Толстой всюду таков, в великом и в малом.

Надо бы нам условиться, что без него русской культуры не будет,— хотя и не совсем еще ясно, как его в какую бы то ни было культуру включить. Но лучше хоть что-нибудь с ним,—и значит, без бутафории,—чем любое благоустройство, будто бы его «преодолевшее» и успокоившееся на Суворове.

В судьбе и деятельности Толстого одно обстоятельство смущает.

Им владела навязчивая идея, будто в каждом человеческом поступке, в каждом слове есть доля лицемерия. Он вскрывал это лицемерие с неутомимой настойчивостью, доходя до ясновидения и усматривая ложь там, где никто никогда ее не замечал. В сущности это его главный художественный прием, тот, которому он больше всего остального обязан репутацией «сердцеведа». Он и в самом деле знал людей, как никто. Но не случалось ли ему твердить будто по инерции, «ложь, фальшь, притворство!», когда никакой лжи не оставалось? Ему верили потому, что он обладал неотразимой, гипнотической убедительностью. Но это была скорей маниакальная подозрительность, чем зоркость.

В лицемерии он готов был заподозрить и Бога, каким представила его церковь. Он отверг обрядность, ибо «зачем это Богу нужно?». Неужели, если Бог есть Бог, требуются ему какие-то ухищрения, штучки, фокусы, неужели нельзя обращаться к нему просто, как бы «с глазу на глаз», без проводников и посредников? Цепь необходима в спиритизме, для вызова духов, но неужели нужна она и всемогущему Богу? Затем, неужели Богу не противны славословия, воскурения фимиама? Ведь вот даже ему, слабому человеку, Толстому, это противно, и лишь по слабости своей иногда этим наслаждаясь, он знает и чувствует, что наслаждаться нечем. Зачем нужна Богу вера в него? Богу должны быть нужны только дела. Религия Толстого вся вышла из этого ощущения, при всей своей прямолинейности чрезвычайно значительного, чрезвычайно серьезного, вопреки обличениям, большей частью малосерьезным. Есть вообще в облике Толстого,—как в позднем протестантстве,—какое-то глубоко человечное, очищающее и честное величие. Но требуя от Бога прямоты, он отдалил от него людей, подорвал веру в Бога. Толстовский Бог неуловим, и доступа к нему нет.

Так путь к правде оказался путем к небытию... Не ошибся ли Толстой в расчете? Не бросил ли он вызов вместе с «цивилизацией» и всему мировому строю, в котором доля условности должна быть допущена? Может быть, Богу нужны обряды? Может быть, Богу нужны догматы? Толстой с этим никогда не согласился бы, но как знать?—не остался ли он в ужасном и безысходном одиночестве, без опоры, без поддержки именно там, в тех высших, небесных духовных сферах, где он уверен был опору и поддержку найти?

Тайна писательства, по-видимому, заключается в ощущении веса слова. Не только в составлении фразы, где тяжесть имеет огромное значение и при даровитости пишущего интонационно приходится там, где поддержки

требует смысл. Не только в способности согласовать это распределение веса с естественным течением речи.

Но еще и в том,—больше всего в том,—что слово падает на точно предчувствуемом (нельзя было бы сказать «точно отмеренном») расстоянии, не давая ни перелета, ни недолета, описывая ту кривую, которая ему предназначена. Слишком близко—оно безжизненно, слишком далеко—оно пусто, и оттого, пожалуй, настоящие писатели так редко бывают многоречивы, что напрасное разбрасывание слов им претит. Безошибочность же первоначального «толчка», если и не всегда требует вдохновения, есть результат напряжения всего существа—ума, сердца, воли. «Набить руку» тут нельзя.

Сейчас почти никому не даются стихи. Два-три имени, и конец. Найдется ли и два-три? Если продолжить ту же метафору, похоже, что потеряна из виду линия, на которой слово должно падать. Линия стерта, затоптана, и ни талант, ни техника не помогают: слова падают то слишком далеко, то слишком близко. «Пишите прозу, господа»,— сказал когда-то Брюсов. «Пишите прозу, господа»,—говорит сейчас поэтам само время. Дайте стихам отдохнуть, как дают отдохнуть земле.

После доклада Бердяева.

Утверждение, что именно «красота спасет мир», что без красоты мир спасен быть не может.

А не сжимается ли сердце в сомнении и страхе оттого, что красотой, может быть, придется пожертвовать? Красота аристократична,—я едва не написал реакционна,—и по связям своим, в родственном своем окружении, она социально порочна,—и как остро, как безошибочно верно чувствовал это Константин Леонтьев, человек эстетически гениальный, но морально безумный, как остро, как безошибочно чувствовал это Толстой, человек морально гениальный и именно потому-то, именно в силу этого-то стремившийся к эстетическому нигилизму, принявший его, как вериги! Красота исключает равенство, и пускай Леонтьев вкупе с Достоевским сколько им угодно издеваются: не равенство, мол, а «всемство»,—от игры слов сущность дела не изменяется. Красота, создаваемая одним человеком, требует молчания, подчинения, невольной, бессознательной жертвы со стороны ста тысяч других, лежащих под ней навозным удобрением. Красота возникает от пестроты мира, от игры света и теней, от скрещения бесчисленных лучей в одной точке, а если свет распределить равномерно, она иссякает... «Анна Каренина»: Толстого сочли умственно ослабевшим, когда он отверг свое художественное творчество, а ему ведь было стыдно, что в то время, как обворожительная Анна в бархатном черном платье пляшет на московском балу, какие-то люди, такие же люди, как она, по тому же образу и подобию созданные, моют на кухне грязные тарелки. И на это, на праведность этого стыда нечего возразить. Красота? Дело даже не в бархатных платьях или подоткнутых грязных подолах, дело в том, что Анна не могла бы так изящно любить и мучить Вронского, не носи она этих платьев с детства. А если все равны, если все имеют право на то же самое, то бархата на всех не хватит, и придется нам остаться с грязными подолами, во всех смыслах, дословном и переносном.

Как трагичен этот вопрос. В какую глубь уходит он корнями. К каким отказам и отречениям мало-помалу ведет. Но можно ли без кощунства произнести слово «Бог», или хотя бы только слово «культура», если усомниться хоть на миллионную долю секунды, что все равны, что в доступе к духовным и жизненным благам все должны быть сравнены, какой бы ценой ни пришлось за это платить.

Как можно не видеть, что христианство уходит из мира!

Доказательств нет. Но ведь не все же надо доказывать. Достаточно вглядеться повнимательнее: позднее утро сейчас, солнце взошло уже высоко, и все слишком ясно для общих восторгов, испугов и надежд. Тайна оста-

лась на самых низах культуры, иногда на самых верхах ее, но в воздухе ее нет, и нельзя уже навязать ее миру. Будет трезвый, грустный день *.

Мережковский кричит: «Кем же надо быть, чтобы оставить Его в эти дни?» Увы, увы, это лишь полемический прием, один из тех, без которых в таких делах лучше бы обойтись. Ответ несомненен: кем надо быть? — подлецом. Возражающий посрамлен и умолкает. Но дело не в оставлении «Его», не в личном предательстве, о нет: можно быть верным, не надо быть слепым, можно ужаснуться грядущей пустоте в душах, бессмысленно все-таки ее отрицать. И честнее, мужественнее подумать: чем же пустоту заполнить? «Что делать нам и как помочь?» Мережковский брезгливо упирается, опасливо прячет голову в подушку, сочиняет как ни в чем не бывало новые догматы: старых ему очевидно мало. От уверенности, что обладает истиной, он-то, может быть, и предает ее: в темных углах, по одиноким душевным убежищам еще прячется она, отступая, бросая все за собой, и не до догматов ей! Страшно сейчас христианину в мире, страшнее, чем было на аренах со львами, — тогда все рвалось вперед, а сейчас впереди ничего. «Осанна сыну Давидову»: последние пальмы, последние слабеющие руки тянутся вслед Ему, и уж какие тут догматические увещания и споры, будто на вселенских соборах, если исчезает дух, тема, образ.

«Мы свой, мы новый мир построим». Лично — отказываюсь (не о себе: «я» предполагаемое). Остаюсь на той стороне. Но не могу не сознавать, что остаюсь в пустоте, и тем, другим, «новым», ни в чем не хочу мешать. Хочу только помочь. Удивительно, что Мережковский не захотел понять потустороннего риска христианства, и пристыдив подлеца-собеседника насчет «оставления Его», не заметил, что даже и в религиозном плане, с допущением проникновения во всякую мистику и метафизику, ставка христианства может быть проиграна. Ибо в конечном счете «подлец» говорит: «не люди, — Бог против Него, не может быть, чтобы сотворивший мир хотел испепелить его, не может быть, чтобы этот вызов всему всемирному здоровью или благополучию был в согласии со всемирной жизненной волей...» И так далее. И тут же евангельские цитаты: блаженны нищие, — отчего именно нищие? блаженны плачущие, — отчего только плачущие? отчего вообще блаженны неудачники? И непонятный, навсегда непонятный рассказ о блудном сыне, окончательно, если вдуматься, взрывающий все вверх дном! И богатый юноша, который не случайно же «отошел с печалью». И наконец — последнее: «кто не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником»! Одиночество Христа тут и обнаруживается вполне. Не люди оставляют Его: природа, мир отказываются подчиниться Ему. Последний, предсмертный стон на кресте: «Боже мой, Боже мой...» еще не утратил значения, и если уж быть Ему верным, то «нельзя в это время — то есть до конца дней — спать», как дрожащей от волнения и любви рукой писал Паскаль. Надо согласиться на все: даже и умереть с Умершим.

Не опровергнуто христианство, конечно. Но испускает дух, выдыхается, изошло за два тысячелетия всеми своими силами и всей страстью. Сейчас мы смотрим вслед ему, — смотрим и не можем оторвать глаз. «О, свет вечерний!» Единственный свет, никогда такого не было, надо бы на колени стать, провожая его.

Но слепота ничему не поможет. Даже и подумать нелепо, чтобы сейчас можно было опять вдохнуть его в кровь человечества и, например, поднять какие-нибудь новые крестовые походы. Кровь по-другому кипит теперь, о другом кипит. Сейчас люди лишь до-любливают это, до-веровывают, до-думывают, и если в некоторых душах христианство действительно будет (или должно бы) жить вечно, то лишь в разбитых и растерянных душах, таких, которых жизнь хорошенько потрепала перед этим. В выбывших из строя, словом. Тогда они вспомнят: «блаженны нищие» — и поймут. Удивительна в Евангелии именно эта победа над безнадежностью: нет положения, из которого, по Христу, не было бы выхода, нет «дна» вообще. В этом смысле — нет смерти.

* Это писано лет тридцать пять тому назад, и теперь, после долгожданного оживления Церкви, после папы Иоанна и второго Ватиканского собора, это может показаться ошибочным. Дай Бог, ошибочным это и было! Но не оттого ли Церковь и очнулась от забытья, не оттого ли содрогнулась, что опасность стала слишком уж очевидной и близкой? **(Прим. автора 1967 года).**

Кстати, у Мережковского приведено незаписанное, отвергнутое Церковью изречение — в дополнение к тому, известному, что «если двое соберутся во имя Мое...»: — Где и один человек, Я с ним.

Будто торопливая, запоздалая поправка, в ясновидящем и милосердном понимании того, что бывает иногда человеку нужно. Церковь должна была эту поправку отвергнуть: она подрывает самое ее основание. Но все очарование христианства в этих словах. Нечего больше сказать.

Веяния подлинности. — Наука, признавая существование Христа, почти ничего о нем не знает. «Он неуловим», — заметил недавно осторожный Рейнак. То же утверждает Луази. Но избыток осторожности умерщвляет самую возможность знания. Случается, перечитывая Евангелие, останавливаешься и, пораженный, говоришь себе: этого не могло не быть! Есть у всех четырех Евангелистов такие «проблески», в особенности у Марка. Читаешь в сотый раз, почти ничего уже не видя, и вдруг каждое слово становится по-новому ясно. Рассказ о Крестной смерти:

— В десятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лима савахвани!», что значит: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил!» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «вот зовет Илию».

То же повторено у Матфея.

Невероятно! Как мог я столько лет читать и знать это, ничего не замечая! Ведь если этого не было на самом деле, в простейшей и реальнейшей действительности, то кому же надо было сочинять эту подробность относительно «некоторых», может быть, тугих на ухо, которые не расслышали и сказали: «вот зовет Илию». Можно ли у литературно-простодушного Марка предположить такой профессионально писательский опыт, чтобы выдумать этот «штрих», ни для чего абсолютно не нужный, кроме как для беллетристической живости, которую он не мог же ценить! Ведь так сочинять впору умелому теперешнему бытовику, Тригорину какому-нибудь... Значит — было. Марк не заботится о картинности. Марк записал то, что знал: эпизод, почти анекдот, не имеющий никакого значения, как собирал и другое. Значит, было, все было: по одному слову убеждаешься в целом.

Он говорил с людьми решительно обо всем. Но Он ни разу не сказал им, что надо быть честными. Нагорная проповедь, заповеди блаженства. Представьте себе в них: «Блаженны честные». Невозможно! Будто какой-то барабан вторгается в райские скрипки: все меркнет, все проваливается и умолкает. Невозможно!

Но Рим и здесь одержал над Ним победу. От всяческих римских Муциев Фабрициусов, которые вместе с конем и, конечно, в полном вооружении бросались со скалы, если были «обесчещены», идет прямая соединительная нить к какому-нибудь нашему седоусому, грозноокому орлу-полковнику, который, не моргнув, подсовывает своему набедокурившему сыну револьвер:

— Иди, застрелись. Это твой последний долг.

И потом гордо и страдальчески, с облегченной совестью, смотрит «прямо в глаза» обществу, которое почтительно восхищено. Это Рим в чистейшем виде, в самом высоком виде его. От Христа здесь не осталось ничего, и хотя наш полковник, вероятно, ходит по воскресениям к обедне и лобызает золотой крест, выносимый его приятелем-батюшкой, все-таки он душой всецело с Цельсием, со всеми теми, кого ужаснуло когда-то христианство, как безумие и ужас. Если бы ему это сказали, он удивился бы, ибо привык чтить все установленное веками: как же ему враждовать с церковью? Глухой, длительный, кропотливый реванш Рима произошел негласно, «под самым носом» церкви, при ее попустительстве или, в редчайших случаях, под ее беспомощные, грустные вздохи. Надо было вновь укрепить и скрепить расшатывавшийся мир, нельзя было признать, что над идеалом общественно нужным вознесен идеал общественно неясный и опасный. «Долг выше всего, честь выше всего». Человек нашего времени по-

вторяет это как непререкаемую истину. Даже если он не в силах этим принципам полностью следовать, то не позволяет себе в них усомниться и в безмятежном неведении своем опять толкает забытого, мнимочтимого Учителя на «второе пропятие».

По Христу, все это не существенно. Он не против, но Ему некогда о таких вещах думать. «Воздадите кесарево...» Да, конечно. Но это, наверно, не выше всего. Разбойник, которому обещан был рай, честным не был.

Кто-то вполголоса запел в соседней комнате:

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была...

Вот услышал я эти строчки, и простите, друг мой, если сентиментально, едва не заплакал, застигнутый врасплох, не успев вовремя душевно защититься. Не могу без слез этого и читать, и слушать. Есть вообще в двух последних главах «Онегина» такая для меня пронзительная, улетающая и грустная прелесть, что не могу ее выдержать. «Пушкин, Пушкин, золотой сон мой». Но послушайте, вот, — это слишком хорошо, и поэтому жизнь уже не вмещается в это. Оттого и грусть. Не уверен, что правильно здесь сказать «поэтому». Но жизнь рвется мимо, мутным, тепло-рвотным, грязно-животворящим потоком, и я все-таки хочу быть с ней, несмотря ни на что, превозмогая иногда отвращение и зная, что обратно ее в былую стройную прелесть вогнать нельзя: уже другие элементы вошли в игру, уже явственно звучит другая музыка, и я хочу быть с ней! Поймите, мне иногда мечтается новый «Онегин». Для разума моего он еще невозможен, не могу себе представить его, но сердцем жду: опять все пронизать такой же гармонией, найти всему имя и место, упорядочить данные мира, одно к одному, — и не так, как теперь, не реакционно-музейно, жмурясь от одинокого наслаждения, вдыхая аромат полуувядшего цветка, а всем существом своим чувствуя влагу, еще идущую от земли.

Отсюда переход. Не удивляйтесь резкости скачка, но я всегда об этом, почти только об этом и думаю. Вернее, сразу думаешь обо всем, вместе с поэзией. Ну вот, скажу сразу, банальнее банального: «вперед без страха и сомненья». Или со страхом и сомнением, но все-таки вперед. И не то, что «да здравствует Москва», нет, о нет, — но да будет то, что будет, то, что должно быть. Не от пассивно-мечтательного безволия моего говорю это, а от морального — насколько оно мне доступно — ощущения времени и бытия. В прошлом было благолепие... Были ли вы когда-нибудь в Версале, зимой, в сумерках, бродили ли по пустым аллеям его? Это — как «Онегин», потому что здесь жизнь тоже достигла какого-то острия своего, какой-то завершенной формы, и исчезла. Но я от благолепия отказываюсь, отрываю от сердца любовь к нему, потому что, сколько ни вглядываюсь, не вижу других оснований к нему, кроме тьмы. Благолепие держалось на тьме: на выбрасывании всяких шестерок и двоек из колоды, на беспощадном, ювелирном выборе и просеивании материала. Защитники «прекрасного», эстеты истории хорошо это знают, и если революцию они ненавидят с оттенком презрения, то не столько за казни и грабеж награбленного, сколько за прорыв плотины. Но, друг мой: да будет то, что будет.

Когда-то Александр III заметил, что кухаркиных детей не следовало бы пускать в университеты.

По всей вероятности, с его стороны это было лишь брезгливое брюзжание: полвека спустя еще видишь всю сцену, хорошо знакомую по общей российской атмосфере, еще слышишь скрип тяжелого высочайшего пера, накладывающего «резолюцию». Но инстинкт самосохранения сказался здесь в полной мере, заменив проницательность ума.

Безошибочный, неумолимый расчет: увеличение знания, распространение его в ширину должно было неминуемо привести к «потрясению основ». Не только блекнул ореол царского помазанничества, священного уже только для некоторых чистосердечных чудаков или для толпы бессовестных публицистов (вспомните «Новое время» в 1917 году), но и вставал вдалеке, за всяческими свободами, призрак социального переворота. Всем все разделить поровну: едва только человек поймет, что он имеет на такой дележ право, — а не понять этого он рано или поздно не может, — как будет его требовать и к нему стремиться. Нельзя поровну разделить, так хоть владеть сообща: иначе всем по справедливости разместиться на земле невозможно. Усилия власти, которая этого страшилась, должны были быть направлены к тому, чтобы те, нежелательные, кухаркины дети, подольше ничего не понимали, — и потому-то русская монархия и была давно обречена, что у нее не было силы и смелости противостоять общей тяге века к образованию. Резолюция Александра III вызвала осуждение везде, даже у самых благонамеренных людей, которые наивно представляли себе светлое будущее в таком виде, что повсюду откроются школы, мужички будут по вечерам читать газеты при свете электрических лампочек вместо лучин и благодарить доброго царя. Монархия сидела на двух стульях — и провалилась в небытие. Тысячу доводов найдут вам в ответ, чтобы сбить с толку: не обольщайтесь, это именно так, в грубой простоте своей. Просвещение работает на левизну, неотвратимо.

Вообще свет, идущий от человека, — левый. Божий... ну, это не по моей части, на это есть специалисты, считающие себя главноуполномоченными Господа Бога на земле. Ничего бы я против них не имел, если бы только были они менее изворотливы и самоуверенны.

О советской России.

Множество недоумений. Хотелось бы задать множество вопросов, — но кому? Первое насчет того, что нам отсюда кажется притворством и бесстыдством: насчет полного исчезновения «фрондирования», насчет заведомого доверия к новым авторитетам и согласия всех со всеми. Затем об огрубении и опрощении, особенно ясном в литературе. Что было неизбежно и по-своему, значит, оправдано, что должно быть отвергнуто? Многое, многое и другое.

Наконец, последнее, самое важное. Сталин об этом, вероятно, не думает, не думал и Ленин... хотя, сидя в Кремле, когда-нибудь ночью, после докладов и совещаний, чувствуя все-таки ответственность за все, что было сделано, и за то, что будет сделано, неужели мог он ни разу не побеспокоиться, ну, ни на одну минуту, ни на одну секунду об этом, именно об этом? Неужели ни разу не спросил он себя: а что же дальше? Отлично, водворится коммунизм, бесклассовое общество, придет полное разрешение социальных проблем. А дальше? В планетарном, так сказать, масштабе? Что будет с человеком, что будет с миром? А если Бог все-таки есть? А если страдание неустранимо, и не стоило, говоря попросту, огород городить? И как говорил Толстой, «после глупой жизни придет глупая смерть», тоже в планетарном масштабе? Была пятилетка. Но есть ли тысячелетка? В смутных, смутнейших чертах существует ли истинный план, возможен ли он, или игра ведется вслепую?

Пишу и ловлю себя на мысли: в сущности, какое мне дело? «Смерть и время царят на земле». Умру, ничего не буду знать, значит — пей и веселись, пока можно. Но нет, мне не безразлично, что будет после меня, не стану же я сам себя обманывать. Вероятно, правда: жизнь одна везде, всегда.

Иногда думаешь: неужели это совершенно невозможно? Неужели все это исчезло навсегда, и нельзя никак, никаким способом все вернуть в России к тому состоянию, о котором многие в эмиграции так горько и бескорыстно мечтают?

Чтобы опять зазвенел валдайский колокольчик над тройкой, в темном, вековом лесу, и ямщик, ну, конечно, в «красном кушаке», насвистывал песню. Чтобы мужики в холщовых рубахах кланялись в пояс редким проезжим. Чтоб томились купчихи на перинах в белокаменной Москве под смутный, протяжный гул колоколов. Чтоб в сумерках, на глухой станционной платформе, шептались гимназистки, под руку, от поезда до поезда, с тургеневскими думами в сердце и тяжелыми косами, а вдалеке гасла узкая, желтая полоска зари. Чтоб свободно и спокойно текли реки, чтоб уто-

пали в прохладных рощах синеглавые, в звездах, монастыри и гостеприимные усадьбы. Чтоб воскресла «святая Русь», одним словом, и настала прежняя тишь да гладь, прежняя сонная благодать.

Надо было бы сжечь почти все книги, консервативные или революционные, все равно, закрыть почти все школы, разрушить все «стройки» и «строи», и ждать, пока не умрет последний, кто видел иное. Надо было бы на много лет прервать всякую связь с зараженным миром, закрыть все границы: это бред, конечно, это невозможно, но я говорю предположительно... После этого, когда улетучится всякое воспоминание об усилиях и борьбе человека, да, тогда, пожалуй, можно было бы попробовать святороссийскую реставрацию. В глубокой тьме, как скверное дело.

Блок: «Да, и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне». Верно: «и такой»! Как почти всегда, Блок прав. Но в сущности он еще любовался прошлым, а нам теперь труднее: то, новое, чуждое, нам незнакомое — будто уже и не совсем Россия. Что же делать! Оставим все-таки мертвым хоронить мертвецов.

[...] Проповедь Толстого — очень важное явление в духовной жизни России, не только сама по себе, во внутренней и абсолютной своей ценности, но и как «фактор» в нашей истории. По существу она и теперь так же важна, как прежде. От нее можно отмахнуться, «старик блажил», но разделаться с ней нелегко.

Однако эту несомненную, подлинную важность полностью уловить уже невозможно. Она уже не совсем «доходит», будто порвались какие-то провода. Ее только чувствуешь, воспринимаешь издалека, но она бездейственна.

Толстой проповедывал в России предвоенной, предкатастрофической, тихой и патриархально-провинциальной. Казалось, тишина водворилась навеки. Нечего стало делать, естественно было подумать о душе. Толстому страстно откликнулись современники: земские врачи, интеллигенты, даже генералы, растерявшие в общей спячке былую воинственность и безмятежно размечтавшиеся по всяким управлениям и интендантствам. Россия слушала Толстого: он давал ей выход, порыв, волнение, тему существования.

Но сейчас выходов, волнений, тем — хоть отбавляй. Тысячи возражений, тысячи случаев, когда в игру вошли совсем новые элементы... Человек оглушен. Надо бы снова стать земским врачом, но мы уже не земские врачи, и нам невозможно собрать то, что рассыпалось, воскресить былой душевный строй и стиль. Толстой со своей нужной правдой уходит в прошлое, а жизнь летит мимо, «без руля и без ветрил».

Искусственная, насильственная и потому призрачная — цельность: коммунизм и прочее. Ничто не разрешено, ничто не устранено, а сколько внутренних уступок и жертв! И какое оскудение! Литература есть одно из немногих человеческих дел, с которым несовместимы обольщения, обманы, иллюзии. Поэтому с такой цельностью ей нечего делать: она от нее бежит, если только не впала в детство.

В стороне, задумавшись, она спрашивает: уверены ли вы, что у вас, в разнообразных ваших строительствах действительно есть цель? Конечно, общество, которое как будто чего-то хочет и куда-то идет, всегда будет казаться богаче и творчески сильнее того, которое ничего скопом не хочет и никуда не идет. Но может ли общество иметь одну волю? Должно ли оно «идти»? Не мираж ли — общее дело, общая цель? В чем эта цель? Не снизу ли возникает творчество, чтобы затем, в единичных случаях, дорасти до общего понимания и признания во всей своей личной, неповторимой живой прихотливости, вместо коллективного равнения по правофланговому? И не окажется ли в конце концов, что больше движения было там, где как будто все стояло на месте, разлагаясь, «загнивая», но по крайней мере не играя в грубую, жестокую и финально бессмысленную игру с лучшими человеческими надеждами?

Это все, может быть, очень современно, органично, стихийно. Это увлекает «массы».

Но если говорить о творчестве... оставьте творчество, господа! Товарищи, оставьте литературу. Да, вы можете создать недурные, даже блестящие, «полнокровные» романы, отразить, описать, показать. В критических разборах вас будут хвалить, анализировать. Типы недоработаны, что же касается языка, то язык образный, «сочный» — и так далее.

Будем, однако, говорить серьезно: литература — не ваше дело. А если она у вас как будто много дает, то лишь потому, что вы от нее мало требуете. Устроить такой «расцвет», право, нетрудно, но ни вы ей, ни она вам не нужны. Литература возникает в «темном погребе личности», в вопросительно-лирических сомнениях, в тревоге, в мучениях, в безотчетной любви, и уж конечно — без барабанного боя. Кто бы ни победил в житейской борьбе, ваша книга рядом с другой, настоящей книгой будет всегда глупа и груба, и всегда найдется кто-нибудь, кто это поймет.

Вот стихи:

> Оставь меня. Мне ложе стелет скука.
> Зачем мне рай, которым грезят все?
> А если грязь и низость — только мука
> По где-то там сияющей красе?

Рифмы обыкновенные. Образы тоже не Бог весть какие оригинальные. Но после этого, после того, что человек нашел такие звуки, дослушался до такой музыки, все ваши типы и проблемы, все оптимистические полотна и идейно насыщенные романы, все, все — пустота, скука и ничтожество. Я едва не написал крепкое русское словечко, для печати непригодное... Впрочем, Пушкин его любил.

И еще: это мы говорим не в припадке безнадежного, декадентски-хмельного восторга, с готовностью тут же сдать позиции. Нет, с твердым сознанием торжества и победы.

А. когда-то заметил:

Есть понятия римские — и есть иерусалимские. Других нет.

И добавил: да не будет же Иерусалим побежден!

Он думал о христианстве, конечно: о том, почему «заповедь новая» была действительно новой, и о том, что без нее мир груб и пуст, — хотя бы никто ни во что уже не верил, хотя бы осталось у людей только немного чутья, понимания и памяти.

Да не будет же Иерусалим побежден! Загадочность «еврейского вопроса» в том, что вместе с мировым пожаром, который евреи зажгли, родилось и мировое сердце. Без их вклада мир не то что пресен — мир черств. Наша святая Русь в лучшие свои моменты перекладывала на мягкий славянский лад старые, чудные, вдохновенно-дикие еврейские песни и забывала, что сложила их не она.

«Ум ищет божества, а сердце не находит».

Как это странно сказано у Пушкина. Казалось бы, наоборот. Ум «не находит».

Христианство в догматической и метафизической своей части не то что невероятно: оно неправдоподобно. Если человек взглянет на мир как бы в первый раз, без всякой предвзятости и забывая все, чему его учили, он не может не покачать головой, со смущением, с грустью: едва ли, едва ли! Едва ли — это. Мир текуч, безграничен, расплывчат внешне и внутренне, а это слишком уж стройно, слишком уж складно, со вступлением, изложением и заключением. Природа не в ладу с христианством не потому, конечно, что изучение природы его отвергает, а потому только, что она к нему никак не ведет, никак не располагает. Нет связи: пропасть. Природа, как она открывается в опыте, не драматична, не мистериальна. Христианство создалось будто в каком-то воспаленном сознании, а природа возвращает к спокойствию... Кажется, именно это оттолкнуло Гете, так таинственно с природой сроднившегося, — хотя за два года до смерти он

и сказал канцлеру Мюллеру, что «это не может быть превзойдено». Но только морально.

Вероятно, и Льву Толстому его глубокая интуиция всего жизненного, животного, природного, помешала стать вполне христианином, — что отчетливо чувствуют даже самые ревностные его поклонники, не придающие значения разладу с синодом и другим недоразумениям. Звук, скрытая сущность толстовских писаний — вне христианства, как бы он к нему ни рвался. Толстому противопоставляют Леонтьева или Соловьева. Но им было легко, у них не было и сотой доли его чутья и опыта, им нечего было преодолевать. А Розанов, единственный, у которого был нюх, кое в чем не уступавший толстовскому, так всю жизнь и проколебался, чувствуя, как никто, все «да» и «нет».

Но все-таки — «это не может быть превзойдено». Беречь, хранить, охранять стоит только это, — если человек не окончательно еще отупел, не окаменел, не выродился, не сошел с ума.

Непротивление злу у Достоевского.

Тема, на первый взгляд, парадоксальная. Самое соединение слов звучит парадоксально и может даже вызвать предположение, что вместо одного знаменитого имени по рассеянности названо другое. Оба имени ведь постоянно сталкиваются, оба стали частями единого, почти нераздельного нашего целого.

Но нет, ошибки нет. А хочется мне сказать на эту тему несколько слов потому, что, перечитывая «Легенду о Великом Инквизиторе», внезапно я был поражен мыслью, никогда прежде мне в голову не приходившей: что такое в «Легенде» этот финальный поцелуй, в ответ на монолог, в котором «зла», злой воли, насмешливого и высокомерного мирского расчета более чем достаточно, — что такое этот поцелуй? Разве не непротивление в чистейшем его виде?

Конечно, можно возразить, что Достоевский, приписывая Христу поступок, с учением о непротивлении злу находящийся в полном согласии, личной ответственности за него не принимает. Суждения Достоевского почти всегда двоятся, и во всем том, в частности, что говорит или рассказывает Иван Карамазов, отчетливо отражен спор автора с самим собой. Достоевский предполагает, допускает многое такое, что, по-видимому, не решился бы утверждать.

Важно, однако, не это.

Важно то, что, по Достоевскому, Христос должен был именно так поступить, вместо всякого сопротивления, вместо всякого действия, — и значит, содержание и смысл евангельской проповеди он, Достоевский, истолковал в согласии с Толстым.

Все возражения, делавшиеся Толстому, возражения, в которых апелляция к Достоевскому, безотчетная или сознательная, чувствуется постоянно, сводились именно к тому, что Христос сказал не совсем то, что соответствует точному смыслу его слов: буква евангельского учения — будто бы одно, дух — совсем другое... Именно эту мысль развивал, и с полемической точки зрения блестяще развивал, с присущей ему, в нашей литературе почти беспримерной, находчивостью Владимир Соловьев, будто припертый к стене, принужденный изворачиваться, лишенный возможности отрицать, что о непротивлении злу в Евангелии сказано вполне внятно и ясно. Буква — одно, дух, видите ли, нечто совсем другое: более удобного довода нельзя и найти, ибо после того, как «буква» отброшена, поле свободно, и «дух» мы вправе выдумывать какой угодно, в соответствии с нашими потребностями, вкусами и взглядами. Несомненно, Достоевский не хуже Соловьева понимал страшный житейский риск, связанный с «буквальным» истолкованием Евангелия и практическим применением евангельской проповеди, что иногда и побуждало его высказывать мысли иного рода, — правда, охотнее и откровеннее в «Дневнике писателя», чем в романах, то есть в публицистике, чем в процессе истинного творчества.

Но Соловьев был гораздо последовательнее и логичнее, — что, впрочем, следует сказать при сравнении его не только с Достоевским, но и с другими нашими «государственно мыслящими» обличителями католичества. Соловьев — вопреки, например, Тютчеву, оказавшемуся в этой области в жестоком противоречии с самим собой, был если и не на деле, то в сознании и в душе католиком. Соловьев понял сущность, природу и побуждение грандиозного исторического дела, предпринятого католицизмом, вгляделся в источник его — и преклонился перед ним.

У Достоевского тут произошло недоразумение: вместо благодарности Риму, — признавшему, что вольная церковная традиция составляет столь же существенную часть веры, как и слова Христа, — он обрушился на него. Разгадка едва ли в близорукости Достоевского: уж кого-кого, а его упрекнуть в этом невозможно! Более правдоподобно предположение, что по совестливости своей, по чутью своей совести, более обостренной, чем у Соловьева, он отбросил доводы рассудка и в ужасе отшатнулся от основного римского стремления ограничить, обезвредить «безумие» евангельской проповеди *.

Да, Достоевский колебался. С одной стороны, тянуло его к тому, чтобы, вслед за Тютчевым, обозвать папу «ватиканским далай-ламой», а с другой стороны... с другой стороны — монархия, государство, армия, иерархический порядок, право, наконец — творчество, наконец — вся культура: как же все это могло бы существовать и уцелеть, если бы вечный Рим не устоял в схватке, начавшейся две тысячи лет тому назад, если бы не отстоял он от разгоравшегося пожара самые основания общественного устройства? Достоевский сомневался, колебался. Отважиться на то, чтобы «рискнуть миром» — как, по выражению Бердяева, сделал это Толстой, — он не решался.

Но что Христос сказал именно то, что хотел сказать, что «буква» и «дух» у Христа представляют одно и то же, что даже, не соглашаясь с Христом, мы не вправе слова Его перетолковывать, к чему бы они ни вели, — в этом Достоевский, очевидно, не сомневался. Или, вернее, не усомнился в минуту высокого своего просветления.

Иначе как истолковать поцелуй?

А если иначе истолковать его нельзя, то выходит, что обе наши «духовные вершины» могли бы и договориться и что, во всяком случае, были они друг с другом в согласии, хоть и скрытом, но более тесном, чем это иногда кажется.

Или чем утверждают те, кто с полувековым опозданием хотел бы и их поссорить.

Перечитывая Чаадаева.

Немного на свете книг, которые выдерживают второе или третье чтение без того, чтобы не вызвать разочарования. Казалось мне, чаадаевские «Письма» — одна из таких книг. Но нет, есть в них все-таки что-то «салонное», пусть и в самом высоком смысле этого слова. Есть что-то преувеличенно надменное, нарочито ледяное и леденящее, чуть-чуть декламационное. Обвинительный акт России надо было бы написать иначе, в более русском складе, возможном даже при том условии, что Чаадаев писал пофранцузски. Надо было бы написать его изнутри, а не в позе постороннего наблюдателя.

Но действует до сих пор, и неотразимо действует, глубокая грусть, которой письма проникнуты. Действует музыка, в них звучащая, — не совсем, может быть, русская, но настоящая, редкого качества... Это Чаадаеву зачтется, это останется за ним навсегда. После него все-таки мало кого из русских мыслителей можно вспомнить, не чувствуя падения, разве что Герцена, — да и то не целиком, а преимущественно те его страницы, где он не столько «борец за светлое будущее», сколько стареющий, чуть ли не во всем усомнившийся человек. Или Конст. Леонтьева.

Удивительно, что Россия становится тем ближе, чем суровее и притом

---

* Знал ли он фразу Ренана: «История церкви есть история предательства» (или измены — trahison — в «Апостолах»)? Впрочем, по существу, для Ренана все в этих делах было безразлично, и, не вдаваясь в обсуждение, кто прав, кто виноват, он под личиной исторического беспристрастия лишь «констатировал» со среднефранцузской антиклерикальной запальчивостью то, что Достоевского приводило в содрогание. **(Прим. автора).**

вернее суждения о ней. Русский «квасной» или какой бы то ни было иной патриотизм, русское бахвальство и самоупоение нельзя выдержать. От Батюшкова, с его постыдным сверхквасным афоризмом о Кремле, этом будто бы «прекраснейшем месте на земном шаре, в прекраснейшем городе, принадлежащем величайшему в мире народу», от Гоголя, с его злосчастной тройкой, до ныиешних советских вариаций на те же мотивы и темы, все это ничего, кроме тошноты, не вызывает, — тем более, что меры русский человек, как известно, ни в чем не знает, и уж если почудилась его расстроенному воображению удалая тройка, то должна она опрокинуть решительно все на свете. И наоборот, едва только услышишь отрицания, вроде чаадаевского или вроде полюбившихся Мережковскому печоринских строк:

— Как сладостно отчизну ненавидеть...

— хочется сказать: да, может быть, а все-таки... И эти «все-таки» уходят так глубоко, что упреки теряют значение. Защитительные доводы сталкиваются, дополняют, обгоняют друг друга, пока мало-помалу не добираются до самых начал человеческой жизни: да, верно, то плохо и это сомнительно, но черновик нации, культуры, общества был набросан, как, пожалуй, нигде больше, замысел был такой, как ни у кого другого, и в догадках о несостоявшихся реализациях есть все-таки основания для преданности и даже гордости.

Замысел провалился, что тут спорить! (или, по Бердяеву, всегда искажающему и как бы компрометирующему свои простые и верные мысли своим дурным стилем: «То, что Бог думает о России...»). Но было в замысле этом что-то широкое, свободное, вольное, доброе, не разрушительное, а только беспокойное, как бы от сознания, что нельзя достичь ничего, на чем стоило бы успокоиться. Чаадаев судит о России с высоты многовековой, величавой и по-своему удавшейся цивилизации. Но ему и в голову не приходит спросить себя: что в этой цивилизации, носящей имя христианской, осталось от христианства? И даже больше: возможно ли соединение понятий «культура» и «христианство» без того, чтобы одно не истлело в пламени другого? И возможен ли выбор?

Молодой человек, который в двадцать лет или даже раньше, прочтя Достоевского, не был бы потрясен «до мозга костей», не был бы ранен как будто в самое сердце, не ходил бы сбитый с толку, недоумевающий, измученный тысячью сомнений, такой молодой человек должен бы внушить недоверие. Конечно, не о всех молодых людях речь. Существуют прекрасные, добрые, честные молодые люди, так сказать спортивного склада, с которых никакие потрясения не спросятся. Но я говорю о тех, с которых «спросится». Нет писателя, который лучше, чем Достоевский, выразил бы и полнее дал бы почувствовать отсутствие правды в мире, боль жизни, все-таки порой слишком острую, чтобы с буддийским спокойствием отнести ее к явлениям естественным. Правда — слово расплывчатое: что есть правда, «что есть истина?» Что такое справедливость? Точного определения нет и быть не может... Что-то «не то» и «не так» в жизни, частью по вине людей, частью независимо от них и, значит, ни по чьей вине. Достоевский это уловил. От Достоевского сводит скулы, пересыхает в горле, и вовсе не после какого-либо отдельного его рассуждения, нет, а от общего ужасного неблагополучия представленного им мира. В молодости именно к этому неблагополучию сознание чувствительно: оно его не предвидело, оно еще не утратило своей детской доверчивости. Молодой человек останавливается в тревожном изумлении: как, неужели это и есть жизнь? Откуда все это? Как же мне в такой жизни участвовать? Как исправить, можно ли помочь? Да, это первое, ни с чем не сравнимое впечатление от Достоевского благотворно — и неизбежно, если только у молодого человека живая душа. Да, бесспорно...

Но...

Но тот, кто позднее не почувствовал бы, что и у самого Достоевского в его видениях и вымыслах что-то «не то» и «не так», что есть нечто глубоко произвольное в его основном творческом представлении, тот тоже может внушить недоверие. Недоверие другого рода: не к своей душевной отзывчивости, а скорей, к своей умственной требовательности, к способности отличить существенное от случайного, найденное от выдуманного, то есть к тому, без чего нет настоящей зрелости. До чего у Достоевского все преувеличено, до чего схематично, «умышленно», если воспользоваться его же выражением, и как шатко это грандиозное здание, как торопливо, в каком смутном, рассеянном вдохновении оно возведено, будто из огромных, невиданных камней, однако без фундамента!

Если у меня всегда было и теперь еще остается какое-то сомнение в отношении Андре Жида, одного из самых проницательных людей нашего времени, то в числе других причин и потому, что он до глубокой старости сохранил фанатическую преданность Достоевскому. Как он, казалось бы, все понимавший, во всем безошибочно разбиравшийся, мог тут сорваться и срыва не почувствовать? Андре Жид был чрезвычайно умен, и притом ум у него был не столько творческий, деятельный, полный своего содержания — что нередко приводит к тому, что в голове не умещаются чуждые, чужие мысли, и она отшвыривает их как вздор, — сколько восприимчивый, открытый. А на Достоевском он споткнулся. Он читал Достоевского всю жизнь, он питался им и все-таки его недопонял. Может быть, объяснение в том, что Жид не знал русского языка. Достаточно сличить две-три странички любого из французских переводов Достоевского с оригинальным текстом, чтобы убедиться, что главное, то непередаваемо «достоевское», улетучилось, и что в гладких, плавных фразах нет и следа знакомого нам, лихорадочного, вкрадчивого, назойливого, единственного, неповторимого, несносного говорка.

При всем том, что произошло в последние десятилетия, при тех сквозняках, которые дуют теперь во все щели нашего мира, Достоевский, может быть, и повлиял на душевный облик наших современников, но только потому, что время само подготовило ему почву для этого. Революции и войны расшатали умы и нервы, наполнили человеческие души отвращением к установившемуся укладу существования, создали тот тип анархически-мечтательного, раздраженного и как-то навыворот-эстетствующего интеллигента, которых в наше время хоть пруд пруди.

У него, у Достоевского, были свои причины быть больным. У его теперешних поклонников — причины совсем другие. Но в состоянии обнаружилось соответствие и нашлись черты, если и не вполне одинаковые, то сходящиеся, одна за другую цепляющиеся, и это-то и вызвало страстное, исключительное влечение. Осуждать нечего и некого, но и разделять всеобщие восторги не обязательно. Достоевский ответствен за очень многое в современных литературных и художественных настроениях, — не виноват, а именно ответствен, — и право, если хочется сказать «ответствен за порчу вкуса», то не в том значении слова «вкус», которое подразумевает любовь к изящным картинам и звучным стихам. Он ответствен за показную, непроверенную тревогу, возникшую в подражание ему, за опрометчивость в основных положениях, за новизну «во что бы то ни стало», провозглашенную, увы, Бодлером, но которую он, Достоевский, всеми своими открытиями и догадками, сам о том не думая, утвердил, ответствен за уверенность, что все что угодно можно вообразить и изобразить, раз мир, все равно, с каждым годом все больше уподобляется сумасшедшему дому. Короче, за коренную беззаконность тех или иных положений, за безумное метафизическое «все позволено», которое, раз прорвавшись, не скоро и не легко будет загнано обратно.

Достоевский, будто весь вытянувшись, глотнул воздуха, которым до него никто не дышал, и, собственно говоря, главный, даже единственно важный вопрос сводится к тому, был ли его опыт трагически никчемным экспериментом, с неизбежным финалом у разбитого корыта, или действительно был обогащением, расширением горизонта. Было прозрение или был бред?

Вопрос риторический, если отнести его к тем людям, которые теперь распоряжаются наследием Достоевского как своим неотъемлемым достоянием. Никаких нет просветов из нашей жизни в иную, крышка захлопнута плотно, окончательно, нравится нам это или нет! Достоевский-то сам, может быть, и в силах был в своей разряженной атмосфере жить, но у них,

у его последователей, закружилась голова, только и всего, и принялись они болтать лишнее, высокомерно поглядывая на тех, кто остался в стороне. Им-то что, им море по колена, и миражами своими они восхищены, — до тех пор пока не настанет утро, рассвет, и все опять водворится на свои прежние места. Скучные, бедные места, пусть и в скучном, бедном, плоском мире! Но других нет, и не стоит обольщаться, чтоб в конце концов опять стукнуться головой о крышку.

Все это должно было когда-нибудь обнаружиться. Достоевский заплатит, вероятно, за свое теперешнее влияние и славу долгим, на некоторое время даже преувеличенным, помрачением, не той умеренной, почтительной переоценкой, которая постигла Тургенева, а озлобленной, несправедливой, вроде как после выхода из ловушки. Кстати, Толстой, не любивший ни того, ни другого, сказал: «Тургенев переживет Достоевского» (у Бирюкова). Что это значит? Не мог же он не сознавать, что все-таки, во всех отношениях, Достоевский больше Тургенева, даже и как художник. По-видимому, Толстой о чем-то подобном и думал и, сопоставляя сравнительно скромную и однообразную кухню с другой, роскошной, но сильно приперченной, оказал доверие первой.

В сущности, Достоевский в русской и даже в мировой литературе — только эпизод.

Но революция, война — тоже эпизоды... И сразу вместе с этим внезапно мелькнувшим сопоставлением возникает, врывается другая мысль: как жаль, какое неповторимое несчастье, что он не дожил до наших дней! Никто в мире не в состоянии теперь сказать того, что сказал бы он — о человеке, об одиночестве, о потере всех прав и всех опор, о нищете, и не только нищете материальной, а об исчезновении всяких обязательств, о горестном счастье, с этим связанном, о грубости и безразличии окружающего, о тупой жестокости истории... Есть, правда, сейчас один писатель, который на эту тему набрел, писатель, у которого чутья больше, чем дарования, — Ремарк в «Триумфальной арке». Но Ремарк, увидев и наметив тему, лишь скользнул по ней, да если бы это и не было так, где же у него силы, чтобы с ней справиться?

Тут нечего было бы описывать, не о чем рассказывать. Нет, я представляю себе Ивана, который поговорил бы на эту тему с Алешей, и те слова, которые нашел бы Иван, чтоб растолковать все случившееся, раз навсегда, в предостережение будущему, как будто еще не к тому готовому. Достоевский оказался бы в области, где у него нет соперников, он один попал бы в верный, нужный тон, его горячечный пафос вырвался бы на этот раз из самых глубин его духа, а если бы будущее, по всей вероятности, и прошло мимо, «не моргнув», то все же осталось бы утешение, что хоть кто-то попытался его расшевелить, остановить, в уровень с веком, с ужасной темой века! Ну да, человек бывает в положении, когда он никому не нужен и не может никому принести пользы. Что же из этого? Для того ли была культура, развитие, философия, все прочее, дивная наша музыка, для того ли... ловлю себя на желании перефразировать незабываемую страницу Леонтьева об Александре Македонском «в пернатом своем шлеме» и о прочих величиях, кончившихся гражданином в «куцом пиджачке»... для того ли, чтобы прийти к заключению, что такой человек действительно только обуза и нечего с ним считаться? Для того ли две тысячи лет тому назад вспыхнул духовный пожар, чтобы при последних его догорающих угольках невозмутимо связывать мораль со статистикой и одно выводить из другого? И притом с передержками, с недомолвками и малодушной боязнью провозгласить во всеуслышание то, что таится в уме? Ну да, может быть, действительно есть «нисходящий» класс и есть «восходящий». Что же из этого? Если те, которые «восходят», хотят действительно до чего-то довзойти, не следовало ли бы им задуматься о цене и оборотной стороне восхождения? О том, что все-таки нет масс как неделимого целого, а есть миллионы отдельных воль, стремлений и страданий? О круговой поруке перед неизбежностью смерти и о том, как «бестиален» культ большинства, силы, молодости? О том, не разлетится ли при рубке весь лес в щепки? О том, стоит ли игра свеч?.. Я только начинаю бередить тему, и уже, как бирюльки, вопрос тянется за вопросом.

Человек до наших дней не отдавал себе отчета, что такое общество. Как неизменно бывает в благополучные времена, он жил среди декораций и, не имея случая испытать их прочность, не догадывался, что они из картона. Но декорации, очевидно, подгнившие, разлетелись при первой же буре, и истина обнаружилась, и притом не только в обнаженном, полном, трагическом виде, как в России, но и из-под еще державшихся обломков и лохмотьев, как здесь, на Западе. «И от судеб защиты нет». Нам, русским, это дано было узнать ближе, чем кому бы то ни было, и в этом смысле мы могли бы кое-что рассказать остальному миру. Но еще раз, еще раз, еще раз, как жаль, что нет Достоевского! История ошиблась, поторопившись выпустить его на полстолетия раньше, чем следовало бы. Он один нашел бы в наши дни вдохновенье для новых «записок» из нового «подполья», которые краской стыда легли бы на целую эпоху и на столь дорогое ей понятие прогресса.

Остракизм, которому подвергнут Достоевский в советской России, принято объяснять его реакционными взглядами. Но корень советской вражды к Достоевскому несомненно глубже. Из реакционера сделать передового, свободолюбивого деятеля в Москве, когда нужно, умеют, и недалеко ходить — Гоголя к юбилею там препарировали так, что от его реакционности, да и от всех его мучений и сомнений, не осталось и следа. Над Достоевским, во внимание к его всемирной славе, было бы проделано то же самое, если бы не этот беспокойный, взрывчатый его склад, который опаснее консерватизма. Удивительное замечание Толстого, — по-моему, самое проницательное, что о Достоевском вообще было сказано, — «в нем есть что-то еврейское» — вспоминается сразу как продолжение и подтверждение догадки. Евреи, до известной степени, были и остаются эмиграцией человечества, с теми же темами, теми же обидами и укорами.

Мережковский: «Они нас ненавидят, и они нас боятся».

Они — это, конечно, европейцы, Запад. Мережковский утверждает, что ему давно уже приходится сталкиваться с глухой неприязнью к России и что отношение это вовсе не ново и выходит далеко за пределы теперешней политики. По привычке своей он сгустил краски, «нажал педаль», притворно ужасаясь ненависти и боязни. Но за ораторской игрой было и верное чувство.

[...] В нашем мире было только два подлинных, несомненных первоисточника — Афины и Иерусалим, да еще, пожалуй, — но в меньшей все-таки степени, на более низком уровне, — Рим, откуда человечество взяло государственные и правовые идеи. Бесспорно, и английская, и французская, и итальянская культуры внесли что-то свое, неотъемлемое в общее достояние. Англии мир обязан высоким понятием гражданственности, истинного народовластья, — но даже и это, казалось бы, столь характерно британское по духу, британски-горделивое по складу, могло ли бы оно возникнуть без того, чтобы римские и палестинские веяния, скрестившись и смешавшись, не принесли плодов? А Франция? «Париж — новые Афины», как с видимым и понятным удовлетворением говорят сами французы. Действительно, это новые Афины, откуда в течение нескольких веков струился свет на весь остальной Запад. Но ведь те-то, настоящие Афины, маленький город на пыльных раскаленных скалах, чудо истории, никаких сравнений в памяти не вызывали? Ренан ездил молиться на ступенях Акрополя и был прав: если у него был Бог, то именно тот, который там впервые людям открылся. Паскаль, конечно, поехал бы молиться в другой город, дальше, на Восток, но и он чувствовал, что его «дом», его истинная «родина» — вне той земли, где приходится ему жить. В Британском музее хранятся обломки мраморов, когда-то украшавших Парфенон: на них поистине «без волнения смотреть невозможно», и вовсе не потому чтобы они действительно казались так исключительно прекрасны, — в этом разбирается один человек из тысячи! — а потому, что они «оттуда», что их видел Платон, видел Софокл... Все европейское пришло «оттуда», осложнившись в течение веков иными, христианскими мотивами. «Фаустовское», по Шпенглеру, томление о бесконечности — от христианства. Нет в новой европейской культуре ни одной великой книги, ни одного сколько-нибудь значительного явления

без этой двоящейся родословной, и, следовательно, оригинальность этой культуры все-таки условна, и в процессе ее ковки были переплавлены иные, не ей принадлежащие руды... Конечно, у нас, русских, все это было проделано слишком торопливо, и даже с каким-то механическим привкусом, что и вызвало нескончаемый, неразрешимый славянофильско-западнический спор. Конечно, мы многое получили в готовом виде, из вторых рук. Конечно, были мы не столько наследниками, сколько учениками. Но если бы древний римлянин взглянул на то, что сделали потомки презираемых им готов и галлов, он, пожалуй, тоже обвинил бы их в обезьянничанье,— и при этом тоже ошибся бы. В культуре почти все, что кажется подражанием, есть продолжение, обработка, усвоение общих сокровищ, а сказать, что Россия ничего в этом смысле не сделала, может только тот, кто склонен заведомо называть белое черным! Нас попрекают Византией, вернее византийством, темным, формальным, лукавым византийским духом,— но неужели русское христианство, например, у Нила Сорского, или более позднее, вплоть до Федорова, византийским и осталось? Или неужели сквозь «галломанию» не прикоснулась Россия и к другому, вечному источнику всяческой ясности и гармонии?

До известной степени, значит, и со всякими оговорками, и «мы», и «они» — в одном положении, и «мы» и «они» должны бы сознавать себя должниками. Разница есть. История оказалась к «ним» благосклоннее. Но и «мы» и «они» живем на чужой счет.

Спора не стоит начинать. Спор был бы пустым, а по нынешним временам, даже и тягостным. Спорить, в сущности, и не о чем, и будущее рано или поздно наведет во всех этих недоразумениях порядок. Но трудно оставить без возражений или хотя бы только примечаний все то несправедливое, что было о России сказано и написано.

Отчего мы уехали из России, отчего живем и, конечно, умрем на чужой земле, вне родины, которую, кстати, во имя уважения к ней, верности и любви к ней, надо бы писать с маленькой, а не с оскорбительно елейной, отвратительно слащавой прописной буквы, как повелось писать теперь. Не Родина, а родина: и неужели Россия так изменилась, что дух ее не возмущается, не содрогается всей своей бессмертной сущностью при виде этой прописной буквы? На первый взгляд — пустяк, очередная, глупая, телячье-восторженная выдумка, но неужели все мы так одеревенели, чтобы не уловить под этим орфографическим новшеством чего-то смутно родственного щедринскому Иудушке?

«Последнее прибежище негодяя — патриотизм», сказано в «Круге чтения» Толстого. Не всякий патриотизм, конечно, и сам Толстой основными чертами своего творчества, смыслом и сущностью явления «Толстой», опровергает этот полюбившийся ему старый английский афоризм. Дело, по-видимому, в том, что приемлем патриотизм лишь тогда, когда он прошел сквозь очистительный огонь отрицания. Патриотизм не дан человеку, а задан ему, он должен быть отмыт от всей эгоистической, самоупоенной мерзости, которая к нему прилипает. С некоторым нажимом педали можно было бы сказать, что патриотизм надо «выстрадать», иначе ему грош цена. В особенности — патриотизму русскому.

Отчего же все-таки мы уехали из России? Или точнее: раскаиваться ли в том, что уехали, считать ли это ошибкой, даже несчастьем, исторически, может быть, и оправданным, но все-таки несчастьем, тяжкой бедой, на нашу долю выпавшей?

Не могу удержаться от того, чтобы сразу, до всяких объяснений и разъяснений, не сказать: нет, нет, нет, не было ошибки, да и несчастья нет, поскольку всякие практические выводы, с бесправным положением беженца, со скитальчеством и неуверенностью в завтрашнем дне, с холодно вежливым безразличием иностранцев к самому факту эмиграции во всех ее проявлениях, поскольку все это искупается с лихвой,— с огромной, неисчислимой лихвой,— ощущением какой-то почти метафизической удачи, решения долго смущавшей задачи! Даже больше: освобождения,— как бывает после трудного, страшного шага, который наконец сделан. Произошло то, что должно было произойти. Исторический рисунок, долго оставав-

шийся бессвязным, внезапно оказался осмыслен, и линии его сошлись. Надо было, чтобы именно было так, и в этом великое наше удовлетворение, даже если признать, что на неожиданном для нас экзамене мы скорей спловали... Братья-беженцы, по всему свету рассеянные, одиночки-литераторы, поэты, известные и никому не известные, мысленно мне хочется пожать руку тем из вас, которые это чувствуют, и я уверен, что есть руки, которые протянулись бы в ответ.

Оттого мы уехали из России, что нужно нам было остаться русскими в своем особом обличии, в своей внутренней тональности, и, право, политика тут ни при чем или, во всяком случае, при чем-то второстепенном. Да, бесспорно, революция дала нашей судьбе определенные бытовые формы, отъезд фактический, а не аллегорический был вызван именно революцией, именно крушением привычного для мира. Разумеется, возможность писать по-своему, думать и жить по-своему, пусть и без пайков, без разъездов по заграничным конгрессам и без дач в Переделкине, имела значение первичное. Кто же это отрицает, кто может об этом забыть? Но не все этим исчерпывается, а если бы этим исчерпалось, то действительно осталось бы нам только «плакать на реках вавилонских». Однако слез нет и плакать не о чем. Понятие неизбежности, безотрадное и давящее, с понятием необходимости вовсе не тождественно: в данном случае была необходимость.

Есть две России, и уходит это раздвоение корнями своими далеко, далеко вглубь, по-видимому, к тому, что сделал Петр,— сделал слишком торопливо и грубо, чтобы некоторые органические ткани не оказались порваны. Смешно теперь, после всего на эти темы написанного, к петровской хирургической операции возвращаться, смешно повторять славянофильские обвинения, да и преемственность тут едва намечена, и, думая о ней, убеждаешься, что найти для нее твердые обоснования было бы трудно. Есть две России, и одна, многомиллионная, тяжелая, тяжелодумная,— впрочем, тут подвертываются под перо десятки эпитетов, вплоть до блоковского «толстозадая»,— одна Россия как бы выпирает другую, не то что ненавидя ее, а скорей не понимая ее, косясь на нее с недоумением и ощущая в ней что-то чуждое. Другая, вторая Россия... для нее подходящих эпитетов нашлось бы меньше. Но самое важное в ее облике то, что она не сомневается в полноправной своей принадлежности к родной стихии, не сомневается и никогда не сомневалась. Космополитизмом она не грешна: «космополит — нуль, хуже нуля», сказал, если не изменяет мне память, Тургенев в «Рудине». На что бы она ни натолкнулась, в какие пустыни ни забрела бы, она — Россия, дух от духа ее, плоть от плоти ее, и никакими охотнорядскими выталкиваниями и выпираниями, дореволюционными или новейшими, этого ее убеждения не поколебать.

Чего же мы хотели? Думаю,— по крайней мере надеюсь,— что нет никого, кто не понял бы беспредметности такого вопроса. Настаивать на нем можно только при предвзятом желании изобличить, вывести на чистую воду, во что бы то ни стало обнаружить наготу короля. Мы знали, чего не хотим, но чего мы хотим — не знали. Однако в плоскости исторической кое-что можно было бы объяснить, сославшись на тот литературный период, который принято называть декадентством или модернизмом. К 1917 году он как будто уже выдохся, однако не совсем, и вскоре ожил, правда, в уже ослабленном, почти что призрачном виде.

Было в русском модернизме много глупого, шарлатански-крикливого, ребячески-вычурного: это бесспорно. Но было и что-то незабываемое, редчайшее, и как никто другой чувствовал это Блок, «трагический тенор эпохи», по определению Ахматовой,— трагический потому, что безнадежно и беспомощно хотелось ему в мечте обнаружить правду.

С Блоком у нас счеты трудные, до сих пор не конченные. Но с каждым годом отчетливее вырисовывается то, что облик его возвеличивает. Блок дорог вдвойне: и тем, что он уловил в воздухе своего времени струйки, которыми никто прежде не дышал, и тем, что он отказался от них, подозревая — ошибочно или нет, как знать? — обман, иллюзию, «последнюю лесть горше первой». Блока измучила потребность этического оправдания

эстетики, и это дает ему среди даровитых и ученых современников, которые претендовали на учительство, место исключительное. Блоку чужда была беспечность, столь характерная для остальных деятелей и столпов русского Ренессанса. Блок — друг, верный спутник, и потому-то и учитель: чувствуется, что на полдороге он не заскучает и не бросит. Блок запутался, зашел в тупик, но потому-то и близок всякому, кто знает, что от тупика не застрахован. Замечание, которое, к сожалению, надо сделать, хотя бы ради беспристрастия: по-видимому, Блок, при всем своем чутье, при глубокой интуитивной мудрости, не был умен в смысле сметливости, в смысле быстроты и точности рассудка, в том смысле, в каком обаятельно умен, например, Пушкин, — что отчасти и объясняет его срыв к «Двенадцати» (с удивительной авторской записью в дневнике: «сегодня я — гений»), или некоторые замечания в письмах. Блок оказывался иногда беззащитен перед натиском той грошовой, лжемистической одури, которую культивировало его окружение. Но в главном, в основном он остался на высоте, никем в то время не достигнутой. По внутренней линии он восходит, конечно, гораздо вернее к Толстому, чем к Вячеславу Иванову или даже Соловьеву, — хотя помню, как Алданов, толстовец, так сказать, дословный, сердился и с взволнованным недоумением разводил руками, когда я ему об этом говорил. Блок — нищета, предпочтенная богатству, неизвестно каким путем нажитому, победа над себялюбивым удовлетворением под предлогом принадлежности к «элите», и в конце концов, именно в силу своей безупречной душевной честности, он залог того, что не все в догадках русского модернизма было досужей блажью и выдумками. Что-то действительно мелькнуло.

У нас было к этому «что-то» чувство верности, обостренное одиночеством и веяниями, доходившими из России. «Тень несозданных созданий...», — готовы были мы повторить как пароль. Нам представлялось, что надо бы это продолжить, и тут же мы останавливались, смущенные воспоминанием о Блоке, его «трагическим» примером. В глубине души, по складу своему мы, — придавая этому личному местоимению значение самое собирательное, расширяя его до включения анонимных, неведомых друзей, разбросанных волею судьбы по всему свету, — в глубине души, что же скрывать, мы были людьми толка скорей «достоевского», чем толстовского, воспринимая Толстого преимущественно как упрек. И конечно, те леденящие, сулящие короткое головокружительное блаженство, эфирные струйки, о которых я упомянул, конечно, проскользнули они в нашу литературу при содействии Достоевского или еще до него, но еле-еле уловимо, с Лермонтовым. Пушкин и Толстой — наши вершины, но беседа у нас легче налаживалась с Достоевским и Лермонтовым, они меньше нас стесняли, и в общении с ними мы были свободнее. С Достоевским в особенности, по меньшей его сравнительно с Лермонтовым загадочности. В вольных, произвольных, нередко плохо кончающихся умственных странствованиях Достоевский даже казался вожатым с Бедекером в руках. Только полюбопытствовать насчет маршрута, заглянуть в книжку, он нам не давал, — да и знал ли сам, что в ней, на последних ее страницах, содержится?

По Альберу Камю, мечта каждого подлинного писателя: «усвоив все то, что есть в „Бесах", написать когда-нибудь „Войну и мир"». Или иначе: «ценой смирения и мастерства найти путь к общечеловеческому искусству».

Замечательно, что Камю упомянул о смирении, о скромности, — «humilité» во французском тексте. Едва ли он знал, что Чехов сказал о Достоевском почти то же самое: «недостает скромности». Чехов о Достоевском говорил вообще неохотно, будто стесняясь признаться, что не любит его, — вроде того, как Чайковский стеснялся говорить, что не любит Шопена. Карамазовские бунты и неприятия мира были, по-видимому, ему не по душе: о чем тут толковать, все и так ясно, «пойдем лучше чай пить», как говорит старый профессор в «Скучной истории».

Сартр и Альбер Камю.

Эти два имени постоянно называются рядом, — вероятно, потому, что

когда-то их связывали общие темы, были они друзьями, затем резко и шумно разошлись, и это их расхождение вызвало долгие споры. Это одна из тех литературных «пар», о которых сам собой возникает вопрос: кто же из них больше, выше? Вопрос бессмыслен, все с этим согласны, но отвыкнуть от него трудно: Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, Корнель и Расин... примеры классические, а есть и множество других, помельче.

Вспомнил я Камю, однако, не для сравнения с Сартром, а потому, что им, его личностью, его писаниями отчетливо оттеняется то, что есть в Сартре особого. Сартр и Камю связаны, но и резко разделены: были разделены еще до ссоры. Два мира, друг другу противостоящих, два «мироощущения», чуть ли не две эпохи, причем эпоха, которую предвещает Сартр, еще не совсем ясна, и он сам как будто еще отвергает предназначенное ему в развитии культуры место.

Не думаю, чтобы по размерам своего дарования Камю был подлинно великим писателем. Но это — писатель, у которого ум, совесть и сердце еще находятся в естественном и нерасторжимом согласии, можно бы даже сказать — в сотрудничестве. Это — человек, в том смысле, в каком слово это действительно «звучит гордо» и в каком можно его отнести к великим писателям прошлого. У него в рабочем кабинете висело только два портрета: Толстой и Достоевский, — и кстати, уместно вспомнить, что, когда один из его советских посетителей стал жаловаться на недостаток внимания к России со стороны западной интеллигенции, Камю вместо ответа обернулся и молча указал ему на эти портреты.

Сартр необыкновенно умен. Ум, «острый галльский смысл» обнаруживается не только в его теоретических рассуждениях, но и в каждой написанной им фразе, в умении найти незаменимое, хотя порой и неожиданное, слово, в безошибочной расстановке слов, в точности, в исчерпывающей меткости малейшего эпитета. При чтении требуется усилие, чтобы уловить и оценить не стилистическое мастерство в обычном значении этого понятия, вовсе нет, а именно ум, сквозящий в этой суховатой, обманчивой стилистической простоте. Какого бы современного французского писателя после Сартра ни взять, чуть ли не все кажется вялой словесной канителью.

Но ум находится у Сартра в положении самодержавного, неограниченного монарха. Он всем управляет и раздела власти не признает. При читательской рассеянности может — и даже должно — возникнуть впечатление противоположное: в самом деле, нет сейчас писателя, который настойчивее твердил бы о морали и моральных вопросах. Сартр во всеуслышание заявляет, что стыдно заниматься сочинением романов и стихов, когда миллионы людей голодают и бедствуют. Сартр ратует за социальную и расовую справедливость, за равенство и прекращение войн, за уничтожение последних остатков колониализма, и не случайно Мориак назвал его «Толстым в миниатюре». Сравнение, однако, явно насмешливо. Не говоря уж о Толстом, трудно найти пример подобного отсутствия эмоциональной заразительности, подобной выхолощенности прекрасных призывов и порывов, подобного торжества «литературы» при ожесточенном отрицании ее. Все от ума, все под диктовку ума, и оттого все как будто впустую! Защита угнетенных внушена исключительно ненавистью к угнетателям: ни одного слова, в котором чувствовалась бы жалость к жертвам и боль за них. Симона де Бовуар, друг и подголосок Сартра, писала в «Силе вещей», что «Камю отстаивал буржуазные ценности, в то время как Сартр верит в правду социализма». Вздор, который стыдно читать, — если только не подводить под понятие буржуазности все то, что до сих пор называлось человечностью.

Надо все же без колебаний и с некоторой горечью признать, что Сартр гораздо значительнее, чем Камю, как явление, как голос из будущего. Сартр — это именно явление. Зловещие утопии, нарисованные Оруэллом, Хаксли, или у нас Замятиным в «Мы», всегда представлялись мне домыслами из разряда «он пугает, а мне не страшно». Есть в этих книгах что-то торопливое, плохо проверенное, да и чисто литературный их уровень не Бог весть как высок: оттого и мало было к ним доверия. Но как знать? Может быть, что-то в них угадано? От книг Сартра, написанных скорее в опровержение оруэлло-замятинских фантасмагорий, чем в их поддержку, веет тем же ветерком ледяной справедливости, ледяного и неумолимого ра-

венства. Ни одной оплошности в нравственно-социальных расчетах, ни одной уступки человеческим слабостям и мечтаниям. И человек задыхается. Сартр как будто — первый пришелец из неведомого «оттуда», первый несомненно большой писатель с каким-то кибернетическим привкусом в творчестве, первый, давший возможность почувствовать то, что, может быть, действительно ждет людей в далеком или близком будущем. Он не пугает, но читателю страшновато.

Теперь постоянно приходится читать и слышать, что реализм выдохся. И это верно. Не говоря уж о реализме «социалистическом», почти все книги, вышедшие за последние десятилетия и написанные «под Толстого», «под Бальзака», «под Диккенса», не вызывают ни малейшего сомнения насчет того, что былые открытия превратились в мелко-общедоступные, механизированные приемы. Почти все эти книги внутренне ничтожны. Это в сущности — «вагонное чтение», с подлинным творчеством имеющее мало общего. Их читают, чтобы «убить время», ни для чего другого.

Но если бы люди острее чувствовали неисчерпаемую таинственность повседневности, реализм мог бы продержаться еще века и века. Изменилась бы манера, но сущность осталась бы той же. Глупые теперешние романы, где все «совсем как в жизни», глупы потому, что жизнь в них и не ночевала. Повседневность фантастичнее всякой фантастики, сказочнее любой сказки, экзотичнее — если в нее вглядеться — самой изысканной экзотики. Достаточно растворить окно, выйти на улицу, сказать два слова со случайным встречным, — и при этом, конечно, заставить себя вдруг очнуться от привычного житейского забытья, — чтобы ощутить, до чего непонятно наше существование, даже в примелькавшейся своей оболочке. Что это все такое, вокруг нас? Где мы? Откуда мы? Есть какое-то малодушие в бегстве новых художников от непостижимости ближайшей, зримой, реальной во всевозможные сны и выдумки. От реализма к «сюрреализму», хотя бы в самых обольстительных и усовершенствованных его формах.

Алданов однажды сказал в присутствии Бунина:

— Великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате»...

Бунин покачал головой, поворчал:

— Что-то, Марк Александрович, стали вы чересчур строги! Были и после Толстого неплохие писатели...

Но мне показалось, что ворчит он скорее так, для виду, чтобы не сразу сдаться, а на деле с Алдановым согласен.

Русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате». Да, но было все-таки смутное, горестное, растерянное послесловие к ней — Блок. Сказать с уверенностью, что Блок был талантливее всех других писателей нашего века, нельзя. Но дело не столько в таланте, сколько в том, что поэзия Блока изнутри оживлена дыханием судьбы, присутствием судьбы. «Он весь — дитя добра и света...»

У Бунина, у Горького нет судьбы. Одно очень хорошо, другое, пожалуй, слабее, но за словами ничего не происходит. Нечему гибнуть, нечему торжествовать.

Есть величина таланта, и есть качество таланта: понятия далеко не совпадающие, по существу даже совсем разнородные. Мне никогда прежде не приходило это в голову, а когда внезапно пришло, — не помню, над какой книгой, — многое в литературном прошлом и настоящем сделалось яснее. Привычная, традиционная табель о рангах оказалась нарушена, но лишь потому, что обнаружилась условность или ошибочность мерила, на котором она держалась.

Есть писатели бесспорно очень даровитые и все-таки ничтожные. Читаешь и думаешь: зачем я это читаю? Блестяще? Да, блестяще. Остроумно? Да, в высшей степени остроумно. Но и при блеске, и при остроумии, и при стилистической виртуозности, это все-таки плохой писатель. Плохой, то есть как бы не питательный. Бумага, чернила. Нет воды и хлеба, без которых нельзя жить.

Кстати, о вопросе «зачем»?

Если писатель, как бы вдохновенен он ни казался, ни разу не остановился над своей рукописью, и неожиданно смущенный мыслями о суетности своего дела и об искажении первоначального видения, ни разу не спросил себя «зачем я пишу?», «какой смысл в том, что я пишу?», если он ни разу не был этими вопросами взволнован и озадачен, то едва ли это писатель подлинный, пришедший с чем-то своим, до него не сказанным. Пожалуй, плох именно тот писатель, который «творит» с неизменным удовлетворением, — как бодро хлопнув себя по ляжкам, в разговоре с уже больным, отступавшим перед всяческими «зачем?» Тургеневым, сказал Боборыкин: «А я, знаете, наоборот, пишу много и хорошо!» (Слышал удивительный этот рассказ от Мережковского).

Некоторая переменчивость оценок, мнений и суждений не есть результат общей их неустойчивости и еще менее «каприза», как нередко утверждают: для одних она непонятна, для других неизбежна [...]

Разве Герцен не двоится, не колеблется, не противоречит порой сам себе, в то время как Чернышевский неизменно долбит одно и то же, не удостаивая ни во что чуждое себе вдуматься? И разве не оттого это так, что Герцен бесконечно проницательнее, даровитее Чернышевского и видит в каждом явлении многое, чего тот и не подозревает? Я вовсе не хочу сказать, что все колеблющиеся, все, кому случается высказать об одном и том же явлении противоречивые суждения, — в частности, в литературной критике, — непременно умны и талантливы. Конечно, нет. Колеблющихся тупиц на свете много. Но заранее требовать на протяжении всей жизни строгого единства оценок тоже нельзя. Хорошо сказал Толстой: «Я не воробей, чтобы всегда чирикать то же самое».

Помимо того: в литературе, в искусстве, во всем, что объединено общим словом «культура», речь, в конце концов, идет как бы о возведении некоего общего храма. Возникает чувство ответственности: не ошибиться бы в расчетах. Действительно ли нужно то-то, не окажется ли никчемным и даже вредным другое? Годы, годы поисков, отступлений, самопроверок, на весь тот срок, который каждому из нас отпущен. А тут выскакивает какой-нибудь шалун и бойко всех расталкивает: позвольте, я здесь в два счета приделаю балкончик с резьбой, что это вы в самом деле то работаете без устали, то разбиваете только что сделанное и часами стоите в оцепенении!

У Карла Ясперса в его «Философской вере» сказано: «Человек не удовлетворен самим собой. В нем живет что-то несоизмеримое с его повседневным существованием, с его знаниями и его духовным миром».

Это — почти дословно то же, что говорит Толстой о князе Андрее, которому хочется плакать, когда он слушает, как поет Наташа: несколько удивительных строк, достойных того, чтобы поставить их эпиграфом ко всей русской литературе. Эпиграфом и предостережением: не идите дальше, не выдумывайте ничего другого, потому что будут это именно только выдумки, только пустые домыслы. Больше о самих себе мы ничего не знаем и никогда не узнаем.

Ну, а как же с интуицией, которую иные русские философы даже обосновали, как же с гениальными метафизическими построениями, по праву составившими за две тысячи лет славу и гордость человечества? Когда-то за воскресным чайным столом в Кламаре, у Бердяева, рассуждавшего с одним из гостей о том, чего Бог требует от человека, и авторитетно, очевидно, с полным знанием дела растолковывавшего непонятливому посетителю, в чем эти божественные требования состоят, я вполголоса спросил хозяина:

— Откуда вы все это знаете?

Бердяев обернулся, усмехнулся и ответил какой-то шуткой: «вопрос, мол, глупый, ребяческий». Приблизительно то же самое произошло у меня однажды со Степуном. Допускаю, каюсь, может быть, вопрос в самом деле глупый. Действительно, не было бы некоторых величайших, вдохновенней-

ших философских систем, если бы невозможность проверки и ответа принята была за преграду. Потеряны были бы великие богатства. Но каюсь и в том, что эта невозможность ответа представляется мне все же бесконечно значительной, не менее полной смысла и духовного веса, чем любая метафизическая система. Кстати, тот же Ясперс, человек религиозный, в той же своей книге полностью признает, что доказывать существование Бога можно было только до Канта, а теперь заниматься этим способны только мыслители мало добросовестные (к которым он с оговорками причисляет Гегеля). Вот именно! И не только доказывать существование Бога, а и логически рассуждать обо всем, что нашему разуму недоступно. (Лосский упрекает ненавистный ему пантеизм в том, что тот «не логичен». Как будто логика в этих догадках может иметь решающее значение, как будто заранее известно, что все беспредельное бытие нашей логике подчинено!) Уверенности нет, уверенности ни в чем быть не может, а «интуитивные» соображения и построения... что же, доступ к ним широко открыт всякому. Плохо, однако, то, что, сколько бы их ни было, как бы стройны и убедительны они порой ни казались, все они расходятся. Единство недостижимо. Его никогда не было и не будет. Каждый мыслитель предлагает свое, личное, произвольное, ни для кого другого не обязательное и большей частью противоречащее всему предложенному прежде.

И поневоле остаешься с князем Андреем и с одним только блаженно-мучительным сознанием невозможности самим собой удовлетвориться, чувствуя, однако, что в нем-то и таится «бессмертья, может быть, залог».

[...]В чем сущность поэзии и в чем ее смысл? Чем настойчивее и упорнее об этом думаешь, тем неотвратимее втягиваешься в области почти метафизические. Если бы в чем-нибудь метафизическом быть уверенным, ответ был бы ясен. По крайнему моему разумению, заключался бы он в том, чтобы служить единственно важному человеческому делу: одухотворению бытия, тому торжеству духа, которое, может быть, и свершится в далеких будущих веках... Но сослагательное «бы» при раздумии мало-помалу теряет значение, перестает быть препятствием. Даже если бы все оказалось иллюзией, даже если ты со своим мнимым «одухотворением» всего только разобьешь себе голову о стену, другой ставки у нас нет. Да и риска в ставке нет: как в «пари» Паскаля, выиграть можно, проигрывать нечего. Поэты, «надо дело делать». Но как его делать? Как?

Конечно, не рассудочно-дидактически, с постоянной, назойливой памятью о цели: рассудочность все засушила бы и убила. Нет, иначе. Не думая о воздействии на читателя, о впечатлении, которое будет произведено. Отказываясь от всего, от чего отказаться можно, оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы дышать. Отбрасывая все словесные украшения, обдавая их серной кислотой. Не боясь одиночества, ища в одиночестве — как бы сквозь себя — связи с миром и будущим, веря, что в одиночестве связь эта окажется прочнее и вернее, чем в рассеянном житейском общении. Будто бросая бутылку в море: кто-нибудь продолжит. [...]

Формула «делать дело» обманчиво совпадает с требованиями, предъявляемыми к поэзии в Москве, хотя внутренне ничего общего с ними не имеет: нельзя же смешивать дело с делишками и многовековую, молчаливую духовную работу, ощупью, приправленную бесчисленными западнями и внезапными пробуждениями в тупике, нельзя же отождествлять даже слабое подобие ее с одами, внушенными очередной партийной резолюцией и прочим. Не стоит об этом и говорить: лошади едят сено и овес.

Надо дело делать — и к великой чести Блока следует сказать, что он чувствовал это глубже какого-либо другого нового русского поэта. Чем был бы без него русский модернизм, этот столь теперь восхваляемый «серебряный век», похожий на пир во время чумы? «Век» был вызывающе беспечен и беспечность свою с гордостью противопоставлял наследию столетия предыдущего. «Век» бессовестно играл в тайны, многозначительно давая понять, что узнал что-то важнейшее, открыл что-то вещее, — и многие из нас, из тогдашнего декадентствовавшего стада, из тогдашней желторотой литературной молодежи, откликались, ловились на удочку и с дрожью ра-

скрывали «Весы» или даже поздний, уже обмельчавший «Аполлон», надеясь вот-вот прозреть, приобщиться, удостоиться посвящения.

Блок по природной честности своей не допускал обмана, верил не только Соловьеву, но и тем, кто на фальшиво-глубокомысленной интерпретации соловьевских трех видений бойко делал литературную карьеру. А когда догадался, что был одурачен, сделался навсегда угрюм и печален, вплоть до революции, которая его не оживила, нет, а только гальванизировала. Не в этом ли ключ к «Двенадцати»: обида, счет за духовное шулерство, поиски хоть какого-нибудь выхода и избавления? Блока возвышает не столько самый талант, сколько требовательная и настороженная серьезность таланта, отталкивание от комедиантства, слух к ошибкам и горечь от сознания их, в частности своих личных, к которым перед смертью причислил он «Двенадцать» как ошибку тягчайшую. Блок знал, что поэзия должна быть делом, но как никто другой чувствовал и пропасть, отделяющую «должна быть» от «становится», «стала». Он запутался, погиб, но погиб в столкновении с силами, которые навсегда в русской литературе облагородили его облик. Даже стоя на этом берегу, он обращен был к берегу иному и весь озарен был его далеким сиянием.

Нельзя быть поэтом, не помня о смерти. Не может быть поэзии без отдаленного ее присутствия. Это, конечно, не значит, что слово «смерть» должно в стихах постоянно мелькать. Не значит и того, что стихи должны быть мрачны, унылы, «морбидны». Но это значит, что они должны быть во внутреннем ладу со строками Платона о связи творчества и смерти, — строками, которые настолько поразили и околдовали Шестова, что он без конца их цитировал и на них ссылался. Правда, по Платону, смерть — источник и побуждение философии *. Но поэзии — тем более. Если бы не было смерти, о чем поэзия, к чему поэзия? Так, для забавы, для мимолетной услады. Только и всего.

Пушкин, удивительные в своей твердости и мужественности строки его: «И от судеб защиты нет», «И пусть у гробового входа...», — будто в подтверждение того, что он помнит, о чем всегда помнить надо, в поучение неисправным поэтическим весельчакам, готовым счесть его своим союзником. В одной малозамеченной, но умной книге о Пушкине, вышедшей где-то в Белграде или Софии лет тридцать тому назад — «Пушкин и музыка» Серапина, — есть определение тональности пушкинской поэзии: «трагический мажор». Как верно! Одно из редких, как будто творческих замечаний о Пушкине, — если не считать, конечно, полезных, кропотливых, интересных изысканий по вопросу о том, какая пушкинская строка по ошибке включена в такое-то стихотворение или с кем Пушкин в Москве, после свидания с царем, пил чай.

Во всем великом, что людьми было написано, смерть видимо или невидимо присутствует. Она — не всегда тема, но она — всегда фон, как и в нашем существовании. То, без чего искуснейшее повествование, размышление или стихотворение неизбежно остаются плоскими. То, что оттеняет каждое слово. Нестерпимая бездарность казенной советской литературы, при явном обилии дарований, коренится именно в том, что смерть в ней забыта. Будто не стоит о ней думать. Бессмертие, товарищи, в коллективе, в общей работе, в возведении нового общественного строя! Ни вызова, ни отчаяния, ни преодоления, ни света, ни мрака впереди, ничего из вечного человеческого достояния. Таблица умножения в отмену будто бы никчемных логарифмов.

Отчего застрелился Маяковский? Ответы даны были разные и, вероятно, в каждом из них есть доля правды. Люди редко кончают с собой

* Платон, как всем известно, был врагом поэтов и обрек их на изгнание из своего идеального общества. Но не произошло ли тут недоразумение? Не сузил ли он понятие поэзии до условного, хотя и самого распространенного о ней представления? Если бы ему возразили, что он, величайший поэт древности, осуждает самого себя, каков был бы его ответ? Пример недоразумения, — как у нас осуждение Шекспира Толстым. **(Прим. автора).**

по одной причине, одна причина, может быть, и была главной, но сплелась с другими, и все вместе они привели к самоубийству.

Маловероятно, чтобы мое представление о будто бы «главной» причине смерти Маяковского оказалось правильным. Очень мало надежды на это. Но как хотелось бы, чтобы это было так!

Маяковский мог покончить с собой от сознания, что свой огромный поэтический дар он не то что растратил, нет, а погубил в корне. Оттого, что будучи по природе избранником, он предпочел стать отступником. Оттого, что заключил союз с тайно-враждебными себе силами. Имею я в виду не большевизм, к которому он поступил на службу: объяснение упадка его творчества, дававшееся Пастернаком. Нет, дело не в этом, вовсе не только в этом. Маяковский с первых своих юношеских стихов принял нелепую, ребячески-наивную позу: громыхать, ругаться, поносить все без разбора. Мир подгнил, мир порочен, корыстен, темен, убог? Это не новость. Поэты как ни в чем не бывало пишут о ручейках и цветочках? Поощрять их не следует. Но есть другая поэзия, есть другой ее образ, и перед ним площадная демагогия ничем не лучше цветочков. Пожалуй, даже хуже, потому что претенциознее и заносчивее, оставаясь столь же уныло-банальной. Перевоспитать читателей? Ну, допустим, перевоспитает (что отчасти Маяковскому удалось), допустим, читатели начнут восхищаться посрамлением цветочков,— а что дальше? Допустим, будет «сублимировано» хамоватое панибратство с землей и небом, как в «150 000 000»,— а что дальше? Нет, не могу понять, как Маяковского до конца жизни не стошнило от собственных его од, сатир и филиппик.

Пастернак упрекал Маяковского в уподоблении какому-то футуристическому Демьяну Бедному, делая исключение для последней его вещи — «Во весь голос»: она, по его мнению, гениальна. Да, она могла бы оказаться замечательной. Трагическое, почти некрасовское дыхание, мощная ритмическая раскачка, какой-то набат в интонации: все это могло бы оказаться неотразимо. Но плоский, нищенский текст невыносимо противоречит ритму. Дыхание рвется к небу, а текст упирается в низко нависший потолок и под этой грошевой известкой отлично себя чувствует. На двухаршинный взлет он ведь всего только и был рассчитан! А слова, то есть дословное содержание текста, в поэзии все-таки имеют значение, поскольку она не «проста, как мычание». Приходится угадывать то, чего в стихотворении нет, с унынием перечитывая то, что в нем есть...

Как возвеличена была бы память о Маяковском в русской поэзии, если бы верным оказалось предположение, что он ошибку свою понял и не в силах был с ней примириться! До крайности мало вероятия, что это было так. А все-таки «тьмы низких истин нам дороже...»

В коммунизме загадочно то, что он до сих пор для тысяч и тысяч людей сохраняет свою притягательную силу. Даже после всех его российских метаморфоз.

А между тем многие, многие из этих людей твердо знают, что если бы в любой из теперешних буржуазно-либеральных стран произошел переворот, то житься им в ближайшем будущем, на их веку, стало бы гораздо хуже, чем жилось прежде,— как бы мало прежняя жизнь их ни удовлетворяла, сколько бы ни накопилось в их сердцах обиды, зависти и мстительности. «Les lendemains qui chantent», по слащаво-картинному выражению Вайяна-Кутюрье, то есть царство справедливости и равенства, может быть, когда-нибудь и наступит. Если и в высшей степени сомнительно, что это царство принесет человечеству счастье, то все же мечта о нем понятна. Исторически мечта о нем обоснована, счет предъявлен за долгое, долгое прошлое, так или иначе платить по нему приходится... Но в ближайшем-то будущем, после переворота, возникнет гнет, насилие, жизнь без отдушин, полицейщина, ограничения, все хорошо знакомое, все, по-видимому, неизбежное. Одно-два-три поколения окажутся принесены в жертву этому «певучему будущему», за исключением юркого меньшинства, вовремя прильнувшего к новым властителям. Остальным будет, наверно, хуже. Каждому отдельному человеку будет хуже, чем было прежде. И все-таки эти остальные, эти отдельные люди сочувствуют, помогают, стараются, стремятся, борются, будто жертвуя собой для проблематического обещанного рая. Что это, действительно жертва, внушаемая каким-то действительно существующим, многомиллионным, темным «я», которое пренебрегает единичными лишениями и страданиями? Или это просто слепота, наивность, иллюзия?

«Лес рубят — щепки летят»: самая бесчеловечная из всех пословиц.

У Бердяева, в его кламарском доме. Обсуждение книги Кестлера «Тьма в полдень» *. В прениях кто-то заметил, что любопытно было бы,— будь это возможно! —пригласить на такое собрание Сталина, послушать, что он скажет.

Бердяев расхохотался.

— Сталина? Да Сталин прежде всего не понял бы, о чем речь. Я ведь встречался с ним, разговаривал. Он был практически умен, хитер, как лиса, но и туп, как баран. Это ведь бывает, я и других таких людей знал. Ленин, тот понял бы все с полуслова, но не стал бы слушать, а выругался бы и послал всех нас... сами знаете, куда.

По утверждению Бердяева, основным побуждением Ленина была ненависть к былому русскому политическому строю и стремление к его разрушению. Что дальше, к чему все в конце концов придет?—об этом Ленин будто бы не думал, хотя свое безразличие к будущему скрывал. Действительно ли коммунизм даст людям удовлетворение и благополучие? Ищет ли человек равенства, хочет ли он его? Не был ли прав Герцен, предвещавший в далеком будущем неизбежность новой, уже индивидуалистической революции? Ленина, как утверждал Бердяев, это нисколько не интересовало.

— Ленин оттого и добился своей цели,—говорил он,—что признавал только цель ближайшую, а рассуждения, к ней ведущие или, тем более, задерживающие ее осуществление, презирал и отбрасывал, как занятие пустое и вредное.

Поразивший меня чей-то рассказ у Мережковских за воскресным чайным столом.

Захолустный городишко в Псковской губернии. Первые революционные годы. По стенам и заборам афиши: «Антирелигиозный диспут. Есть ли Бог?». Явление в те времена обычное.

Народу собралось много. Остатки местной интеллигенции, лавочники, бородачи-мужики, две какие-то монашенки, пугливо посматривающие по сторонам, молодежь. Выступает «оратор из центра».

— Поняли, товарищи? Современная наука неопровержимо доказала, что никакого Бога нет и никогда не было. Так называемый Бог определенно является выдумкой представителей капитала с целью эксплуатации рабочего класса и содержания его в рабстве. Коммунистическая партия во главе с товарищем Лениным борется с предрассудками, и нет сомнения, что вскоре окончательно их ликвидирует. Невежеству и суеверию пора положить конец...

И так далее... Доклад окончен. Председатель предлагает проголосовать заранее составленную резолюцию с единогласным упразднением Бога.

— Может быть, кто-нибудь просит слова?

Руку поднимает старик, одетый, как все, но с подозрительно длинными волосами, уходящими под воротник. Председатель иронически приглядывается к нему.

— Поднимитесь, гражданин, на эстраду... В вашем распоряжении три минуты, чтобы ознакомить собрание с вашим мнением по вышеизложенному вопросу.

На эстраде старик мнется, долго молчит, но наконец громко, на весь зал, восклицает:

— Христос Воскресе!

Поднимается шум. На эстраде, где сидят лица начальственные, суматоха, растерянность. Кричат, перебивают друг друга, кто-то предлагает

* В русском переводе — «Слепящая тьма». (Прим. редакции).

немедленно закрыть собрание, другой требует нового голосования... Но вот встает заведующий отделом Народного образования, солдат-коммунист, до тех пор молчавший, недавно вернувшийся с фронта. В ожидании пламенной и гневной отповеди зазнавшемуся пособнику буржуазии воцаряется тишина.

Солдат медленно, чуть пошатываясь, подходит к старику, кланяется ему и произносит всего три слова:

— Воистину Воскресе, батюшка!

Что было дальше, не знаю. Несомненно, коммунист этот был со своего поста смещен, вероятно, и арестован. Но нельзя ему не позавидовать. В эти секунды, собрав все свое мужество, предвидя последствия своего поступка, он должен был испытать огромное, редчайшее счастье, то, за которое заплатить стоит чем угодно. Львы, римские арены: здесь, пусть и в потускневшем виде, было, в сущности, то же самое.

Мережковский был и остается для меня загадкой. Должен сказать правду: писатель он, по-моему, был слабый, а мыслитель почти никакой. Но в нем было «что-то», чего не было ни в ком другом. Какое-то дребезжание, далекий, потусторонний отзвук, неизвестно чего. Она, Зинаида Николаевна, была человеком обыкновенным, даровитым, очень умным (с глазу на глаз умнее, чем в статьях), но по всему своему составу таким же, как все мы. А он — нет.

С ним наедине всегда бывало «не по себе», и не я один это чувствовал. Разговор обрывался: перед тобой был человек с прирожденным диковинным оттенком мыслей и чувств, весь будто выхолощенный, немножко «марсианин». Было при этом в нем что-то мелко-житейское, расчетливое, но было и что-то нездешнее. И была особая одаренность, трудно поддающаяся определению.

Оратора такого я никогда не слышал и, конечно, никогда не услышу. «Арфа серафима». У Блока в дневнике есть запись о том, что после какой-то речи Мережковского ему хотелось поцеловать его руку — «потому, что он царь над всеми Адриановыми». У меня не раз возникало то же чувство, и над всеми нашими «нео-Адриановыми» он царем бывал всегда.

И стихи он читал так, как никто никогда, и до сих пор у меня в памяти звучит его голос, будто действительно что-то свое, ему одному понятное, он уловил в волшебных лермонтовских строках:

И долго на свете томилась она...

Какой-то частицей своего существа он, должно быть, в самом деле «томился на свете».

А в книгах нет почти ничего.

Было это в Париже, ночью, незадолго до войны.

В дверях монпарнасского кафе «Дом» стоял, держась за косяк, поэт Верге или Вернье: не помню точно его имени, знаю только, что друзья считали его чрезвычайно талантливым, хотя и погибшим из-за беспутного образа жизни. Хозяин ругательски ругал его и выталкивал, а он упирался, сердился, требовал, чтобы его впустили обратно. Наконец его вышвырнули на улицу. Случайно я вышел вслед за ним.

Он стоял под дождем, без шляпы, в изодранном пальто и, опустив голову, еле слышно, совсем слабым голосом повторял:

— O, Dostoevsky, o, Dostoevsky! — взывая к Федору Михайловичу, как к последнему оставшемуся у него защитнику, покровителю всех униженных и оскорбленных.

На ту же тему: очень хорошо сказал о Достоевском английский поэт Оден (Auden) в статье, написанной к его юбилею, несколько лет тому назад.

«Построить человеческое общество на всем том, о чем рассказал Достоевский, невозможно. Но общество, которое забудет то, о чем он рассказал, недостойно называться человеческим».

Думая о том, что сейчас происходит в мире, о том, что сделало двадцатое столетие с мечтами и надеждами прошлого века, многие из нас, вероятно, с особой горечью вспоминают все написанное о «народе-богоносце».

Политические предсказания и догадки о судьбах человечества — дело исключительно сложное и рискованное: за редчайшими исключениями, — вроде лейбницевского описания грядущей французской революции, — все они оказываются плодами слепой фантазии. Очевидно, историческая закономерность не так сильна, как принято считать, или, во всяком случае, основана она не только на том, что поддается учету и анализу, но и на том, что остается неуловимым.

С «народом-богоносцем» нам очень не повезло. Как известно, некоторые из самых глубоких русских умов — Тютчев, Достоевский и другие — утверждали, что Россия призвана спасти мир: Запад будто бы подпал под власть дьявола, Россия служит Христу и должна, значит, озарить своим светом заблудившуюся, обезумевшую и грешную часть человечества. Это очень русская мысль, проходящая через почти все русские писания, окрашенные в славянофильские тона. В некоторых своих разветвлениях, — у Данилевского, например, — она почти доходит до нетерпения в ожидании неотвратимой будущей финальной схватки или, точнее, войны, этого «единственного достойного способа решения мировых вопросов».

Сейчас Запад с Россией как будто поменялись ролями, и об этом одинаково часто приходится и читать, и слышать: в наше время Запад будто бы представляет христианство и христианскую культуру, Россия представляет сатану и все сатанинское.

Долю истины, долю иллюзии в этих современных суждениях каждый определит по-своему, — на то ведь это и современность! Но вот что, однако, ни сомнению, ни спорам не подлежит: со всем строем прежней русской мысли, поскольку она нашла свое выражение у Достоевского или у Тютчева, соображения насчет обмена ролей не имеют ничего общего.

Тютчев как свидетель в данном случае ценнее и важнее, чем Достоевский, хотя бы потому, что последовательнее его. Знаменитая его статья о «России и революции» есть своего рода манифест или катехизис христианского призвания России, как отчасти и вторая статья, о «Римском вопросе», с ее величественным и картинным заключением: русский царь, благоговейно павший ниц в Соборе Св. Петра, а вокруг него, символически, вся Россия, тоже на коленях.

Тютчев, несомненно, признал бы, что в наше время Россия с колен встала и христианское свое служение отвергла. Но признал ли бы он, что на колени опустился Запад? Нет ни малейшего основания утверждать это.

Если бы Тютчев, Достоевский или такие славянофилы, как Хомяков, а еще лучше Ив. Киреевский, — менее блестящий в мыслях, конечно, но, пожалуй, более глубокий в чувствах, с мыслями связанных, — если бы вышли они из могил и взглянули на современный мир, то в соответствии со своими основными утверждениями должны были бы признать, что христианского лагеря, христианского «стана» на земле больше нет: осталось два сатанинских лагеря или, на крайность, один полностью сатанинский — в России, другой полусатанинский — на Западе.

По Тютчеву, по Достоевскому, по славянофилам, в неумолимом следственном согласии со всей этой линией русской мысли, сатана уже победил, и сейчас происходит нечто вроде «домашнего спора» между подвластными ему силами, без того, чтобы спор этот мог иметь решающее значение. Решающие события уже произошли, а что произошли они иначе, по-другому, чем хотелось бы и чем было предсказано, дела не изменяет.

Исчезла христианская, царская, православная Россия. Новая Россия неожиданно обошла Запад слева и заставила его для борьбы с ней, а то и просто для разговора с ней, сделать крутой поворот в сто восемьдесят градусов. Но при этом Запад остался таким же, как был. Поворот изменил его позу, то положение, в котором он стоял, но не изменил его сущности.

Все, что отвращало Тютчева, осталось или даже усилилось. Вспомним: народовластие, основной демократический принцип — для Тютчева принцип безбожный, ибо это «власть человеческого я, бесконечно умноженного в числе». А человеческое «я», предоставленное себе, в корне враждебно христианству, и французская революция была не чем иным, как «апофеозом этого я». Кого Запад признал своими духовными вождя-

ми? Папу Григория VII и Лютера. Никогда Россия не согласится счесть Лютера за подлинного христианина, да и католичество осталось ей чуждо именно потому, что оно Лютера в себе несло, было им беременно, поскольку с самого начала возвеличило разум и на нем основало свое здание. Лютер — плоть от плоти католичества и был в нем логически неизбежен (это, впрочем, мысль не Тютчева, а Ивана Киреевского, и мысль очень верная).

Об этом толковали русские мыслители сто лет тому назад, а с тех пор ничто не изменилось. Смирение, столь им дорогое, никого в западной культуре не соблазнило. «Эти бедные селенья, эта скудная природа» исчезли в России за всякими электрификациями и Днепростроями, и если то, о чем сказано в последней строке тютчевского стихотворения — навеки незабываемого, чудесно-одушевленного, будто насквозь светящегося! — если об этом глупо и кощунственно было бы говорить теперь в применении к нашей земле, то не менее глупо и кощунственно было бы и делать географические перестановки.

Для этих видений нет больше места в мире. По Тютчеву и по всем его единомышленникам, игра проиграна, темные силы восторжествовали, а если между собой они не ладят, то от исчадий ада и ждать нельзя мирного сожительства.

Не думаю, чтоб эта философия — в наши дни, по ходу истории, оказавшаяся столь скорбной, — пришлась кому-нибудь по сердцу. Не думаю, чтобы кто-нибудь попытался ее гальванизировать. Мысль приноравливается к обстановке, ищет в ней опоры, пищи и выхода... Но нельзя при этом искать какой-либо поддержки в великом русском религиозно-политическом вдохновении прошлого века. И нельзя на него ссылаться, говоря об изменении ролей.

В дополнение ко всему тому основному, необходимому и подчас проницательному, что было о Тургеневе написано, дождемся ли мы когда-нибудь иной статьи о нем, о том, что было в нем самого «тургеневского»?

Определить тему было бы нелегко, — потому, что сущность ее была самим автором тщательно скрыта под бесчисленными наслоениями. Некоторые из них исчезли, и о «певце русской девушки» или «поэте родной деревни» никто теперь не говорит. Но яснее от этого Тургенев не стал.

Забудем Рудина и скучнейшего Хоря с Калинычем вместе с их общественными заслугами, забудем даже Базарова, как бы ни было жаль с ним расстаться: уж очень он Тургеневу удался, да если и не в нем самом, то в некоторых особенностях рассказа о нем кое-что сквозит очень существенное... Забудем вообще все то боборыкинское, к чему Тургенев себя принудил: типы и образы сменяющих друг друга поколений, добросовестно уловленные и образцово обрисованные, со всеми их бесконечными разговорами. Тургенев оттого и остался холодным писателем, что скучновато ему было обо всем этом писать, и писал он почти что нехотя, сам того, вероятно, не сознавая.

Был он человек слабый и в себе неуверенный, как будто даже чем-то испуганный. Была, вероятно, оттого в его писаниях какая-то постоянная фальшь, не громоподобная, взвивающаяся к небу, как порой у Гоголя, а вкрадчивая, уклончивая, застенчивая, с усмешечками, вроде, например, упоминания о петухе незадолго до смерти Базарова, петухе, странную неуместность которого так верно и остро уловил покойный Бицилли. Да и не только в иронии тургеневской была тончайшая фальшь. Вспомним «Живые мощи», один из тех рассказов, который больше всего вызвал восхищения, как вещь несомненно классическая. Прекрасный рассказ, и все в нем кажется прекрасно, пока вдруг не смутишь себя вопросом: а мог ли бы такой рассказ появиться за подписью Толстого? И сразу «Живые мощи» становятся смешны, сразу обнаруживается их сусальная благостность, их слащаво-лубочная и декоративная нарочитость.

Но это, — эту фальшиво-дребезжащую струнку, — Тургенев, вероятно, в себе чувствовал. Как чувствовал, вероятно, и «прохладность» свою, прохладную, беспредметно-беспричинную свою грусть. Ну, конечно, он навсегда оттеснен на второй план своими двумя «сверстниками-гигантами», — о чем же тут спорить? Но слабый, легкий и тихий голос его никем все-таки не заглушен и до сих пор отчетливо слышен. Особенно если иначе, не так, как прежде, не с теми требованиями, что прежде, к нему прислушаться.

Тургенев только к концу жизни начал становиться самим собой, и только по его поздним вещам можно догадаться, чем должен был бы он стать. Ему, по-видимому, тягостно было жить. Все везде ему было чуждо. Одиночество с каждым годом усиливалось. Романы куда-то проваливались, в небытие, в неизбежное забвение, и, с его умом, мог ли он этого не сознавать, какой бы ни курили ему фимиам? Все проваливалось, он ни во что не верил, а главное — ничего не пытался изменить. Тут, в этой духовной скромности Тургенева, в отсутствии всякой самонадеянности, и уж тем более, всякой «гордыни», есть что-то неожиданно-христианское. «Смирись, гордый человек!» — вопиял, весь дрожа и задыхаясь от гордости, Достоевский, а Тургенев до него и без него это почти исполнил. Иногда, вдоволь намучившись над Толстым или Достоевским, спрашиваешь себя: а что, не ближе ли к тому, о чем с такой исступленной страстью и силой они кричали, не пробрались ли какой-то окольной тропинкой к недоступному для них состоянию, именно как «малые сии», которым все обещано, а не как самозваные пророки, которым не обещано ничего, словом, не лучшие ли христиане — самые тихие русские писатели, Тургенев и Чехов? Особенно Чехов. Но и Тургенев тоже, каким бы эллином он себя не считал.

В «Стихотворениях в прозе» еще много мишуры. «Как хороши, как свежи были розы» и все в этом роде, — Бог знает что, если наконец сказать правду, сплошная, нестерпимая патока! Но тут же рядом удивительные страницы, как, например, рассказ о бабе, которая, похоронив сына, молча хлебала щи. Будто проблески — вот, вот что надо было делать, вот как надо было писать! Если ты действительно грек, как о тебе говорят, в этих щах больше Греции, чем во всех роскошно увядающих букетах... Но поздно. Париж, старость, бесцельная и бессмысленная слава, огромная тень Толстого вдали, как упрек и угроза, и, вероятно, тревожные, разъедающие душу воспоминания о тщетных попытках самого себя уверить, что вовсе не так Толстой и хорош, что «Война и мир» — дрянь, что «Анна Каренина» еще хуже, а потом, уже совсем перед смертью, знаменитое письмо к нему, образец истинного и естественного человеческого благородства. «Песнь торжествующей любви», тоже с чрезмерным обилием всяких «роз», но уже бесконечно далекая от зарисовки общественных типов и с первым вторжением чертовщины, столь плохо с ними вяжущейся. Мучительная жалость к стареющей Полине и остатки любви. «Моя бедная подруга своим совершенно разбитым голосом поет у себя наверху...» А ей, этой бедной подруге, даже не присылают уже и билетов в Оперу, где она когда-то блистала. Совсем забыли ее, как забудут и его. Как забудут всех. Что она поет? «Нет, только тот, кто знал...», самую магическую из всех мелодий Чайковского, ту, которую поет и Клара Милич. «Ниэт, только тот, кто зналь...» Все проваливается, но Клара Милич придет с того света говорить о любви, обманывать, утешать, убаюкивать. Никакого нет бессмертия, и Базаров был прав, «лопух на могиле», но пусть это всегда только темное волшебство, а Клара Милич здесь, и говорит она о любви. А они? О чем они все шумят? Что им надо? Даже Толстой, ведь тоже немолодой уже человек, какими пустяками он занят! Рассказывает «в чем его вера», учит чему-то. Не все ли равно, по Толстому ли верить, или так, как верит какой-нибудь сельский попик, только и знающий что бормотать «Сусе, Сусе, Христе»? Раз ничего нет? Лучше остаться с попиком, проще, скромнее. Да, есть искусство, и о Пушкине на московском празднестве он воскликнет — именно «воскликнет», а не скажет: — «сияй же, благородный, медный лик...» — с такой трескучей риторикой, что хочется еще и теперь в стыде и растерянности закрыть лицо руками. Ему самому, вероятно, было стыдно. Но оттого и «сияй, медный лик», что нет о таких вещах настоящих слов и невозможно найти их. «Боязнь фразы есть тоже фраза». А люди этого не понимают и требуют от старика болтовни на юбилеях. [...]

«Люди не могли бы жить, если боги не дали бы им дара забвения».

Кому из великих древних поэтов, Эсхилу или Эврипиду, принадлежит эта глубокая и верная мысль? Вероятно, это — Эврипид, который вооб-

ще много сказал такого, что кажется сказанным не две с половиной тысячи лет тому назад, а вчера.

Дар забвения... Если мы теперь пишем, просматриваем журналы, ходим на литературные собрания, невозмутимо спорим о том, какова должна быть в наши дни поэзия и влияет ли кинематограф на литературу, если вообще мы «живем», в том суетливом, мелком, повседневном, ничтожном смысле слова, которого нечем заменить, если даже по мере сил, со «скудеющей в жилах кровью», еще влюбляемся и скучаем, то только благодаря тому, что наделены способностью забывать. Иначе мы должны были бы сойти с ума или сидеть в столбняке, недоумевая: неужели все это было?

Неправильно было бы сказать, что человек отгоняет от себя тревожащие его воспоминания. Не приходится и отгонять. Нечего отгонять. Воспоминания лежат под спудом, они не уничтожены, но вытеснены в прошлое и не влияют ни на мысли наши, ни на поступки. Иначе нельзя было бы жить. Внезапно, как молния, то или другое из них пронесется в сознании, взбудоражив его, а затем опять тьма, безразличье и привычные интересы или заботы. Двигало ли богами милосердие к человеку, было ли у них к нему скорей пренебрежение, как к созданию не совсем удавшемуся, с которым не стоит и возиться,— кто скажет? Но некое соответствие между существом и существованием, между нами и жизнью оказалось соблюдено.

Случается над этим задуматься. Попадется какая-нибудь газетная статья, вроде той, на которую хорошо, с верным указанием на «нерелигиозное использование религии», ответил недавно архиепископ Иоанн. Попадется роман, вроде «Хождения по мукам», книги столь же отвратительной, сколь и талантливой, книги, о которой хотелось бы сказать, что она слишком легковесно занятна для своей темы, слишком пестра, бойка, картинна, шаблонно-увлекательна, что в ней «хождений» много, а «мук» мало, что тему свою она погребла под всякими беллетристическими завитушками и виньетками, правда, прекрасно сработанными... Прочтешь, перечтешь что-нибудь такое, «бередящее старые раны»,— и задумаешься над благодатным бесчувствием и беспамятством человека. Не будь человек чурбаном, мы не находили бы себе места, выли бы от ужаса и стыда, усиленного еще и тем, что, по-видимому, «так было и так будет», пока стоит свет. Мы бросили бы запоздалые, мстительные, глупые взаимные обвинения, поняли бы, что все виноваты, каждый по-своему, что всем есть в чем упрекнуть себя, есть от чего внезапно покраснеть «до корней волос», что в судьи нас никто не ставил, что слепая жестокость истории воплощается в отдельных волях, которыми играет, как пешками, что какая-то общечеловеческая круговая порука должна бы восторжествовать над раздорами, над страшным и бессмысленным месивом последних десятилетий. Словом, мы не «жили» бы, а остановились бы в оцепенении, со внезапной остановкой всех бесчисленных мелких колесиков, на которых благополучно катимся от одного дня к другому, от года к другому году, и дальше, дальше к общему для всех нас финалу, с речами, венками или без речей и без венков, в яме... Но мы живем...

— Да, да, конечно, все это ужасно, да, поговорим об этом когда-нибудь в другой раз, да, совершенно верно, нельзя забыть, «человек человеку бревно», я сам так считаю... А знаете, завтра вечером г. Икс, только что прилетевший из Мюнхена, читает доклад с любопытнейшими, говорят, прогнозами насчет эволюции международных отношений. Наш г. Игрек рвет и мечет, говорит, что пахнет провокацией, собирается возражать. Надо бы сбегать за билетом, а то все разберут, при входе не останется. Но вы что-то морщитесь... Неужели вам не интересно?

— Нет, интересно. Возьмите, пожалуйста, и для меня билетик.

ПОСЛЕДНИЕ ПИСЬМА НЕМЦЕВ ИЗ СТАЛИНГРАДА

История этих писем такова. В дни, когда завершался разгром окруженной 6-й немецкой армии Паулюса, завершалась Сталинградская битва, одним из последних немецких самолетов была вывезена почта. Самолет благополучно приземлился в Новочеркасске, почты было семь мешков, и все они были конфискованы немецким командованием. До адресатов письма не дошли, более того, имена отправителей и адресатов в дальнейшем уничтожили. Осуществлялась пропагандистская акция: письма должны были не только свидетельствовать о том, каковы настроения солдат и офицеров, но в дальнейшем подымать дух немецкой армии. Одному из функционеров фашистского пропагандистского аппарата было поручено на основе этих писем написать документальное повествование о битве на Волге, и книга была написана и запрещена министром пропаганды как вредная для немецкого народа.

А предварительно письма рассортировали по содержанию и настроениям, составили статистическую сводку: оппозиционно относящихся к войне, не верящих, отвергающих войну оказалось свыше 60 процентов. Были сомневающиеся, индифферентные, одобряли войну в этих письмах 2,1 процента.

«...Мы тут стоим стражей на берегу Волги. Ради вас и нашей Родины. Если мы уйдем отсюда, русские прорвутся и все уничтожат... Но у Германии много солдат, и все они сражаются за Родину. Мы все мечтаем о том, чтобы поскорей наступил мир и чтобы мы победили, это самое главное. Пожелайте нам победы!»

Позже Эрих Кестнер напишет:

Когда бы мы вдруг победили
Под звон литавр и пушек гром,
Германию бы превратили
В огромный сумасшедший дом...

Когда бы мы вдруг победили,
Мы стали б выше прочих рас:
От мира бы отгородили
Колючей проволокой нас.

Когда бы мы вдруг победили,
Все страны разгромив подряд,
В стране настало б изобилье...
Кретинов, холуёв, солдат.

И заканчивает Кестнер свое стихотворение так:

Тогда б всех мыслящих судили,
И тюрьмы были бы полны...
Когда б мы только победили...

Но, к счастью, мы побеждены.

(Перевод К. Богатырева)

До такого осознания потребовалась целая война — и наша победа под Москвой, и победа на Волге — все 1418 дней Великой Отечественной, и столько жизней, отданных нашим народом.

Люди не рождаются врагами, врагами их делают. Пришло время услышать и тех, кто был по ту сторону фронта, кого сорок с лишним лет назад фашизм сделал нашими врагами.

Григорий БАКЛАНОВ.

1

...Жизнь моя превратилась в ничто, ей, как и десять лет назад, благоприятствуют звезды, но меня обходят люди... У меня не было друзей, ты знаешь, почему со мной не хотели иметь дело. Я был счастлив, когда сидел за телескопом и мог вглядываться в небо и звездные миры, я был счастлив, как ребенок, которому позволили играть со звездами.

Ты, Моника, была моим лучшим другом, не удивляйся, так оно и было. Слишком серьезное сейчас время, чтобы шутить. Этому письму понадобятся две недели, чтобы добраться до тебя. И до тех пор ты уже, наверное, прочитаешь в газете о том, что здесь произошло. Не ломай себе надо всем этим голову, в действительности все выглядело совершенно иначе, и пусть другие докапываются до истины. Какое нам дело до всего этого. Я мыслил всегда световыми годами, чувствовал секундами. Здесь я тоже имею дело с погодой. Нас здесь четверо, и если бы и дальше все шло так, как идет, мы могли быть довольны нашим положением. Наши обязанности очень просты. Измерение температуры и влажности воздуха, высоты облаков и видимости. Если какой-нибудь чинуша прочитает то, что я пишу, у него глаза на лоб вылезут: как можно, раскрытие служебной тайны! Но что значит наша жизнь, Моника, в сравнении с миллионами лет звездного неба? Сегодня прекрасная ночь, и прямо над моей головой Андромеда и Пегас, очень скоро я буду рядом с ними. Я доволен и спокоен, этим я обязан звездам, и среди них ты для меня самая прекрасная. Звезды бессмертны, а человеческая жизнь — песчинка во Вселенной.

Вокруг все рушится, гибнет целая армия, ночь и день в огне, а мы четверо заняты тем, что ежедневно сообщаем данные о температуре воздуха и высоте облаков. В войне я понимаю мало. Ни один человек не погиб от моей руки. Я ни разу не выстрелил из моего пистолета. Но, насколько я знаю, противнику это будет безразлично. Конечно, мне бы хотелось еще, ну, хоть лет двадцать посчитать звезды, только вряд ли это удастся.

2

...У меня в руках твоя фотография. Я долго в нее вглядываюсь. И вспоминаю чудный вечер в последнее мирное лето — мы вдвоем идем по цветущему лугу к нашему дому. Близость наша сначала говорила языком сердца, а потом зазвучала истинной любовью и счастьем. Мы говорили о нашем будущем, которое разворачивалось перед нами, как многоцветный ковер.

Ничего не осталось от того ковра. От того летнего вечера и цветущей долины. Мы в разлуке. И вместо яркого ковра бесконечное белое поле, и сейчас не лето, а зима, и нет будущего, во всяком случае, для меня его нет и потому, наверное, и для тебя.

Меня все время мучало какое-то необъяснимое чувство, я не понимал, что это, но теперь я знаю — это был страх за тебя. Я через тысячи километров ощущал, что и ты чувствуешь то же самое. Когда получишь это письмо, вслушайся в него и, быть может, ты услышишь мой голос. Нам говорят, что мы тут сражаемся за Германию, но очень немногие здесь верят, что нашей Родине нужны бессмысленные жертвы.

3

...В каждом письме ты пишешь, что хочешь поскорее увидеть меня. Ничего удивительного нет в том, что ты так тоскуешь. Я тоже очень жду встречи.

Беда в том, что между строк я угадываю твое страстное желание иметь рядом не только мужа и любовника, но и пианиста. Я это явно ощущаю. Но разве это не страшный парадокс — я должен был бы чувствовать себя несчастнейшим из людей, а я со своей судьбой примирился. Моя же жена вместо благодарности за то, что я вообще еще (пока) жив, клянет судьбу, меня постигшую.

У меня возникает подозрение, что ты в глубине души даже упрекаешь меня, будто я сам виноват в том, что больше никогда не смогу играть. Этой правды ты добивалась? Ты непременно хотела узнать из письма то, что мне легче было бы сказать тебе при встрече. Но, может быть, это к лучшему, потому что положение наше здесь таково, что какие-либо умолчания непозволительны.

Не знаю, смогу ли я когда-нибудь еще говорить с тобой, поэтому даже хорошо, что это письмо попадет в твои руки, и если я все-таки вернусь, ты уже будешь знать правду. Мои руки изувечены, и это произошло еще в начале декабря. На левой нет мизинца, но — что гораздо хуже — на правой обморожены три средних пальца. Кружку я могу теперь держать только большим пальцем и мизинцем. Я довольно беспомощен, ведь только когда у тебя нет пальцев, понимаешь, как они необходимы для самых простейших дел. Проще всего мне стрелять — при помощи мизинца. Руки пропали. Не могу же я всю жизнь стрелять, а ведь ни для чего другого я не гожусь. Может быть, смогу стать лесничим? Но это юмор висельника, и я пишу это, чтобы успокоить самого себя.

Курт Ханке — мне кажется, ты должна помнить его (по коллегии в 37-м году) — восемь дней назад на маленькой улочке играл на рояле «Аппассионату». Да, не каждый день случается такое, чтобы рояль оказался прямо на улице. Дом взорвали, но инструмент, вероятно, пожалели, вытащили на улицу. Каждый солдат, проходивший мимо, барабанил на нем, ну скажи мне: где еще можно увидеть рояль прямо на улице? Я, кажется, уже писал тебе про это, про то, как он потрясающе играл 4 января, я думаю, скоро он будет на самом передке.

Прости, что употребляю этот термин, так на нас повлияла война. Но если паренек вернется с фронта, мы о нем еще услышим. Я никогда не забуду этих минут. Одни его слушатели чего стоили! Жалко, что я не писатель, чтобы передать словами, как около сотни солдат сидели в шинелях, завернувшись в одеяла, стоял грохот разрывов, но никто не обращал внимания, — слушали Бетховена в Сталинграде, может быть, и не понимая его. Ну что, стало тебе легче, когда ты узнала всю правду?

4

...Избавьте меня от Ваших добрых советов. Вы что, не понимаете, в какое Вы меня ставите положение? Что Вы пишете! Вы бы этого не сделали, уж Вы бы знали, как надо было сделать! К чему все это? Вы же знаете, что я разделяю Ваши взгляды, и мы говорили об этом гораздо больше, чем нужно, но нельзя же об этом писать. Вы что же, других идиотами считаете?

А если я сейчас пишу так откровенно, то потому, что знаю, что со мной ничего не может случиться, я предусмотрительно не называю фамилию отправителя, и это письмо Вы получите известным Вам путем. А даже если бы и узнали, кто его написал, то нет для меня более надежного убежища, чем Сталинград. Легко сказать: «Сложи оружие». Вы что, думаете, русские нас пощадят? Вы же умный человек, почему же Вы тогда не потребуете от своих друзей, чтобы они отказались производить оружие?

Легко давать добрые советы. Но так, как Вы себе это представляете, не получится. Освобождение народов, что за ерунда! Народы останутся теми же, меняться будет только власть, а те, кто стоит в стороне, снова и снова будут утверждать, что народ надо от нее освободить. В 32-м еще можно было что-то сделать, Вы это прекрасно знаете. И то, что момент был упущен, тоже знаете. Десять лет назад речь шла о бюллетенях для голосования, а теперь за это надо расплачиваться такой «мелочью», как жизнь.

5

...Вчера на наблюдательном пункте Ханнес уговорил меня написать тебе. Я неделю колебался, писать или не писать это письмо, потому что думал: неизвестность хоть и мучительна, но все-таки оставляет искру надежды. То же самое я думал и по поводу своей судьбы. Каждый раз, засыпая, осознавал всю отчаянность нашего положения — между надеждой

и гибелью. Но я старался ничего не додумывать до конца. Я много раз мог погибнуть, но прежде это было бы внезапно, неожиданно, без подготовки. А сейчас все иначе, с сегодняшнего утра я знаю, что нас ждет, и мне стало легче, поэтому и тебя я хочу освободить от мук неизвестности.

Когда я увидел карту, я пришел в ужас. Мы совершенно покинуты без всякой помощи извне. Гитлер нас бросил в окружении. И письмо это будет отправлено в том случае, если наш аэродром еще не захвачен. Мы находимся в северной части города. Солдаты моей батареи об этом тоже догадываются, но не имеют таких точных сведений, как я. Значит, вот каков он, конец. В плен ни я, ни Ханнес не сдадимся; вчера после того, как наша пехота снова заняла наш опорный пункт, я видел четверых взятых русскими в плен. Нет, в плен мы не сдадимся. Если Сталинград падет, ты услышишь и прочтешь об этом, и тогда ты будешь знать, что я не вернусь.

6

...Восставать против этого не имеет никакого смысла, я обязательно нашел бы выход, если бы он был. Само собой разумеется, я сделал все, чтобы выбраться из этой западни, но отсюда есть только два пути — на небо или в Сибирь. Остается только ждать, все остальное бессмысленно.

Что ж, на родине кое-кто станет потирать руки — удалось сохранить свои теплые местечки, да в газетах появятся патетические слова, обведенные черной рамкой: вечная память героям. Но ты не дай себя этим одурачить. Я в такой ярости, что, кажется, все бы уничтожил вокруг, но никогда я еще не был столь беспомощен.

Я твержу себе только одно, я без конца твержу себе: останься живым и здоровым, тогда, быть может, удастся пережить самое тяжкое. Здоровье — залог возвращения, я не хотел бы, чтобы мое место на родине занял кто-то другой. Если встретишься с коллегами, скажи им об этом так, как здесь написано. Чем выше кресло, тем больнее с него падать.

7

...Ты жена немецкого офицера, и потому, я уверен, ты примешь все, что я скажу, с мужеством и стойкостью, как в тот день на платформе, когда провожала меня на Восток. Я не умею писать письма и никогда не мог написать тебе больше страницы. А сейчас мне так много нужно сказать тебе, но я приберегаю это на потом. Потом — это значит через шесть недель, если все будет хорошо, и через сто лет, если все кончится плохо. К этому ты должна быть готова. Если все будет хорошо, мы сможем еще долго обо всем говорить, — к чему тогда писать длинное письмо, тем более что я этого не умею. А если все кончится плохо, никакие слова не помогут.

Ты ведь знаешь, Августа, что ты значишь для меня. Мы мало или почти совсем не говорили друг с другом о наших чувствах. Я очень люблю тебя, и ты любишь меня, и потому ты должна знать правду. Ты найдешь ее в этом письме. А правда в том, что мы ведем тяжелейшие бои в совершенно безнадежном положении. Безысходность, холод, голод, самопожертвование, сомнения, отчаяние и чудовищная смерть. Больше я ничего тебе не скажу. Я ведь ничего не рассказывал и когда был в отпуске, и в письмах об этом ничего не писал. Когда мы бывали вместе — и в письмах тоже, — мы были только мужем и женой, а война это только неизбежный чудовищный фон нашей жизни. Правда — это знание того, что нам предстоит. Не нытье, не жалобы, а спокойная констатация фактов.

Я не могу отрицать и моей собственной вины в том, что происходит. Пусть ее пропорция — один к семидесяти миллионам, доля хоть и маленькая, но она есть. Я вовсе не собираюсь прятаться от ответственности, единственное мое оправдание в том, что, отдавая свою жизнь, я эту вину искупаю. Хотя в вопросах чести не может быть торговли.

Августа, ты сама почувствуешь тот час, когда тебе придется стать сильной. Не надо слишком страдать и горевать, когда меня не будет. Во мне нет страха, только сожаление о том, что доказать свое мужество я

могу лишь гибелью за это бессмысленное, чтобы не сказать преступное, дело. Помнишь, как говорил Х.: признать вину — значит искупить ее.

Постарайся не слишком быстро забыть меня.

8

...Сегодня я снова пишу тебе письмецо, хотя только вчера отправил два: одно тебе, второе Хансу Мюльнеру. На мое молчание ты не можешь пожаловаться. Я от всей души поздравляю бабушку с 74-летием и очень жалею, что не могу попробовать вашего именинного пирога. Есть у вас из чего испечь его? У нас тут, конечно, о пирогах и речи нет, но, когда выберемся отсюда, будет все, а пока приходится потуже затягивать пояса. Сходи в сберкассу, сними пятьдесят марок и купи для бабули хороший подарок. Пусть порадуется. У Бергеров наверняка есть кофе, ведь он работает в управлении порта. Если у них есть, они тебе обязательно дадут, ты только скажи, что для дня рождения. Они мне многим обязаны.

Прости, что пишу такую ерунду. Но лучше уж ерунда, чем совсем ничего. Никогда не знаешь, где тебя настигнет пуля. Но ты не бойся за нас. Мы непременно выберемся и сразу же получим все по 4 недели отпуска.

Тут очень холодно, а у вас снег лежит? Тут его столько, что надо следить, как бы он тебя не засыпал.

9

...Такая вокруг неразбериха, что не знаю, с чего начать. Может, лучше прямо с конца?

Дорогая Энне, ты, конечно, удивишься, получив такое странное письмо, но если ты внимательно вчитаешься, оно тебе не покажется, может быть, таким уж странным. Ты меня раньше всегда считала филистером и, наверное, была права. Я вот, например, вспоминаю, как укладывал в портфель свой завтрак: два бутерброда обязательно слева, два — справа, на них я клал яблоки, потом уже термос. Термос должен был всегда лежать на яблоках, чтобы масло на бутербродах не таяло. Ведь это было, как говорит наш дядя Херберт, упорядоченное время. Теперь я больше не филистер. Посмотрела бы ты, как я теперь хожу на свою «работу». В нашем бункере тепло. Мы разобрали несколько грузовиков и, что горит, отправляем в печку. Об этом никто не должен знать, но здесь сейчас других забот хватает.

Моя «работа» в двух шагах. Я тебе несколько дней назад об этом писал. Это бункер, в котором прежде жил какой-то капитан. Я тебе долго и подробно об этом рассказываю, а хотел бы написать совсем о другом. Не то чтобы хотел, но, наверное, я все-таки обязан это сделать. Не хочу нагонять на тебя лишнего страха, но дело наше, кажется, дрянь. Это все говорят. Мы в глубоком тылу, разве что изредка услышишь выстрел, а больше ничто не напоминает о войне. Такое можно выдержать хоть сто лет. Но не могу без тебя. Долго это не продлится, мы каждый день надеемся отсюда выбраться. Живем этой надеждой вопреки всем разговорам.

Уже семь недель, как армия окружена. И еще семь недель такое не может продлиться. Я должен был поехать в отпуск в сентябре, но не тут-то было, пришлось только тем утешаться, что и у других отпуск пропал. Вчера нам сказали, что в конце января треть из нас поедет домой. Один фельдфебель из штабной роты вроде это слышал. Но может быть задержка на несколько дней. Тут теперь никто не знает точно, что происходит. Я уже 8 месяцев не был с тобой, потерпи еще несколько дней. К сожалению, не могу тебе много привезти, но, может быть, удастся что-нибудь купить в Лемберге. Я заранее радуюсь отдыху, но еще больше встрече с тобой и с матерью. Когда получишь телеграмму, извести сразу дядю Херберта. Хорошо жить ожиданием радости, со вчерашнего дня я в нее поверил и начал вычеркивать дни в календаре — каждый зачеркнутый день приближает меня к вам.

10

...Ты свидетель, что я всегда этому противился, боялся ехать на Восток и вообще боялся войны. Я ведь так и не стал солдатом, только форму ношу. Ну и что я получил в итоге? А что другие получили, кто ничему не противился и не боялся ничего? Что мы все получили? Мы статисты воплощенного безумия. Что нам от этой геройской смерти? Я раз двадцать на сцене изображал смерть, а вы сидели в плюшевых креслах, и моя игра казалась вам правдивой. И теперь очень страшно осознавать, как мало общего имела эта игра с реальной смертью.

Смерть всегда изображалась героической, восхищающей, захватывающей, совершающейся во имя убеждения или великого дела. А как же выглядит реальность? Люди подыхают от голода, лютого холода, смерть здесь просто биологический факт, как еда и питье. Они мрут, как мухи, и никто не заботится о них, и никто их не хоронит. Без рук, без ног, без глаз, с развороченными животами они валяются повсюду. Об этом надо сделать фильм, чтобы навсегда уничтожить легенду «о прекрасной смерти». Это просто скотское издыхание, но когда-нибудь оно будет поднято на гранитные пьедесталы и облагорожено в виде «умирающих воинов» с перевязанными бинтом головами и руками.

Напишут романы, зазвучат гимны и песнопения. В церквах отслужат мессу. Но с меня довольно, я не хочу, чтобы мои кости гнили в братской могиле. Нечто подобное я написал профессору Х. Я непременно еще напишу ему. Но не удивляйтесь, если некоторое время от меня не будет никаких известий, потому что я твердо решил стать хозяином собственной судьбы.

11

...Сегодня мы с О. провели чудный спокойный вечер. В бункере никого нет. Русские молчат, и мы смогли сегодня раньше кончить. Бутылка «Кордон Руж» сделала этот тихий вечер еще более приятным.

Я прочитал в «Военном дневнике» заметки Биндинга и других. Как точно выражено там, а у него в особенности, то, что нас так волнует. Отсекается все второстепенное и несущественное. Только судьбоносное звучит в его мыслях, в его словах.

Мы сейчас ничего не ждем для себя от тех больших решений, которые рано или поздно придется принять наверху. И конечно, никто не может сказать, не обгонит ли быстро бегущее время эти решения. И все же это единственное, что вселяет в нас надежду. А пока идут ожесточеннейшие бои за высоту Х. и на окраинах города. Генералы и полковники носятся с мыслью, что именно эта высота Х. может стать поворотным пунктом в судьбах мира. И не только генералы!

Ежедневно отвоевываются какие-то позиции: мы вышвыриваем противника или он вышвыривает нас, смотря, кто эти позиции занимает. А захватывать позиции только в том случае, если можешь их удержать,—на такое решение пока не способны ни мы, ни противник.

И так и в малом, и в большом! Бесконечное отсутствие существенных результатов требует какой-то немыслимой безучастности или терпения, это стоит огромных усилий, потому что сводится только к одному—ожиданию.

Скоро десять. Пойду высплюсь, сколько могу. Ведь чем больше спишь, тем меньше чувствуешь голод. А голод—вещь очень тяжелая.

Вся моя любовь—вам!

12

...Ну вот, теперь ты знаешь, что я не вернусь. Пожалуйста, сообщи об этом нашим родителям как можно осторожнее. Я в тяжелом смятении. Прежде я верил и поэтому был сильным, а теперь я ни во что не верю и очень слаб. Я многого не знаю из того, что здесь происходит, но и то малое, в чем я должен участвовать,—это уже так много, что мне не справиться. Нет, меня никто не убедит, что здесь погибают со словами «Германия» или «Хайль Гитлер». Да, здесь умирают, этого никто не станет

отрицать, но свои последние слова умирающие обращают к матери или к тому, кого любят больше всего, или это просто крик о помощи. Я видел сотни умирающих, многие из них, как я, состояли в гитлерюгенд, но, если они еще могли кричать, это были крики о помощи, или они звали кого-то, кто не мог им помочь.

Фюрер твердо обещал вызволить нас отсюда, его слова нам зачитывали, и мы им твердо верим. Я и сегодня еще верю в это, потому что надо хоть во что-нибудь верить. Если это окажется неправдой, то во что же мне верить? Тогда я не хочу ждать ни весны, ни лета, ничего, что приносит радость. Оставь мне эту веру, дорогая Грета, я всю свою жизнь или по крайней мере восемь лет верил в фюрера и в его слово... Это ужасно, с какими сомнениями здесь относятся к его словам, и стыдно, что нечего возразить, потому что факты против них.

Если то, что нам обещают, не будет выполнено, значит, Германия погибла, потому что в таком случае никто не будет верен своему слову. О, эти сомнения, эти ужасные сомнения, если бы можно было поскорее от них избавиться!

13

...К сожалению, у нас Рождество, о котором я тебе пишу, выдалось невеселое, хотя было довольно уютно и тепло. Мы стоим прямо у Волги. На Рождество нам удалось раздобыть даже рому, не очень крепкого, но замечательно вкусного. Один мой приятель достал кое-что в дивизии—ветчину и студень. Конечно же, украл на кухне, но было очень вкусно, да у них там полно, иначе он бы украсть не мог. Хлеба было в обрез, поэтому мы пекли оладьи—снизу ветчина, а сверху мука, вода и соль. Это уже мое четвертое Рождество на войне и, пожалуй, самое грустное. Но когда кончится война, мы все это возместим сторицей. Я твердо надеюсь, что следующее Рождество мы будем праздновать дома.

Мы уже три месяца под Сталинградом и до сих пор совершенно не продвинулись вперед. Здесь довольно тихо, но на другой стороне, там, где степь, идут бои. Там ребятам приходится тяжелее, чем нам. Но, что поделаешь, им не повезло. Может, и наш черед придет—у них большие потери. Лучше об этом не думать. Но не можешь не думать, потому что все двадцать четыре часа ничем не занят, только ждешь. А все мысли о том, что на Родине. Думали ли вы обо мне в рождественский вечер? У меня здесь было странное чувство—так бывает, когда ты чувствуешь, что кто-то о тебе думает.

14

...Сегодня я опять пишу тебе и, пожалуйста, еще раз передай привет от меня дома всем родным.

Русские повсюду наступают. А наши части из-за длительного голода, не имея возможности хоть один день отдохнуть от тяжелейших боев, находятся в состоянии полного физического истощения, но тем не менее геройчески сражаются. Не сдается никто! Когда на исходе все: хлеб, боеприпасы, горючее и люди,—раздавить нас, ей-богу, не велика доблесть.

Нам ясно, что мы стали жертвой тяжелейших ошибок руководства и все это «раздувание» значения крепости Сталинград нанесет нашему народу и народам вообще тяжелейший урон. И все же мы еще верим в счастливое воскресение нашего народа. Об этом позаботятся люди с правдивым сердцем. Придется проделать после войны огромную работу, чтобы положить конец проискам всех сумасбродов, дураков и преступников. Те, кто вернется с войны, выметут их, как сор из квартиры. Мы—прусские офицеры и знаем, что надо делать, когда в нас нужда.

Оглядываясь сейчас еще раз на свою жизнь, я не могу не благодарить судьбу. Все было прекрасно, просто замечательно. Это было восхождение вверх по лестнице, и посл дняя ступенька в конце тоже прекрасна, я даже мог бы назвать это гармоничным завершением.

Ты должна сказать родителям, чтобы они не слишком горевали. Они должны вспоминать обо мне с веселым сердцем. Никаких нимбов, пожалуйста, я никогда не был ангелом! И не ангелом я бы хотел предстать пе-

ред Господом, а солдатом со свободной, гордой, рыцарской душой, настоящим хозяином. Смерти я не боюсь, моя вера дает прекрасную свободу духа. И за это я особенно благодарен судьбе.

Передай мое завещание тем, кто придет после нас. Воспитай детей хозяевами!! Строгая простота мыслей и действий! Никакого внимания к мелочам.

Окружи особой любовью родителей, чтобы помочь им пережить первую боль. И поставьте мне, как дяде Х., такой же красивый скромный деревянный крест на кладбище в парке.

Пожалуйста, сохрани З. как наше семейное гнездо. Это мое самое большое желание. В моей конторке лежит письмо, в нем я во время последнего отпуска написал о всех своих пожеланиях.

Еще раз обращаюсь с любовью ко всем вам, мои дорогие. Благодарю вас за все, и не опускайте головы! Всегда вперед!

Обнимаю вас всех.

15

...Если есть Бог, написала ты мне в твоем последнем письме, он скоро вернет тебя мне живым и здоровым. Ты писала: такого человека, как ты, который любит животных и цветы и никому не делает зла, любит своего ребенка и жену, Бог непременно сохранит.

Благодарю тебя за эти слова, письмо твое теперь всегда со мной в нагрудном кармане. Но если ты, дорогая, ставишь свою веру в существование Бога в зависимость от исполнения твоей надежды, ты окажешься перед очень тяжким решением. Я ведь религиозный человек. Ты всегда была верующей, но теперь это изменится, если мы будем исходить из нашей прежней позиции, ибо обстоятельства таковы, что выбрасывается на свалку все, во что мы верили. Я ищу слова, чтобы сказать тебе об этом. Или ты уже догадываешься сама? Мне показался странным тон твоего последнего письма от 8 декабря. Сейчас у нас середина января.

Это теперь на долгое время, а может, и навсегда, мое последнее письмо. Мой товарищ, которому надо на аэродром, захватит его, потому что завтра из нашего котла уйдет последний самолет. Положение уже стало неконтролируемым, русские в трех километрах от последней летной базы, и если мы ее потеряем, отсюда и мышь не вырвется — и я в том числе. Конечно, и другие сотни тысяч, но это слабое утешение, что делишь смерть с другими.

Если Бог есть... Там, на другой стороне, это тоже повторяют многие, и, наверное, миллионы в Англии и Франции. Я не верю больше в доброту Бога, иначе он никогда не допустил бы такой страшной несправедливости. Я больше не верю в это, ибо Бог прояснил бы головы людей, которые начали эту войну, а сами на трех языках твердили о мире. Я больше не верю в Бога, он предал нас, и теперь сама смотри, как тебе быть с твоей верой.

16

...Вечер накануне святого праздника мы, одиннадцать человек, встречали в еще не совсем разрушенной хижине с тихим благоговением. Было нелегко выбрать этих людей в огромной массе сомневающихся, разочарованных, утративших надежду, но те, кого я нашел, пришли с радостным сердцем, готовым к восприятию Божьего слова. То была странная община, собравшаяся в праздник рождения младенца Христа. Много алтарей в огромном мире, но нигде не найти столь нищего, как у нас. Вчера в этом ящике еще лежали гранаты, а сегодня я своей рукой повесил на него серый мундир павшего товарища, которому я в пятницу закрыл глаза. Я написал его жене письмо, полное утешений, да поможет ей Бог.

Я читал своим ученикам из Евангелия от христианина-язычника Луки историю Рождества, которая описывается во 2-й главе с первого по семнадцатый стих, и дал им черствый черный хлеб, как святые дары, как тело Господа нашего Иисуса Христа, и молил о милости и милосердии к ним. О пятой заповеди я не говорил[1]. А они сидели вокруг на табуретках

[1] «Не убий». (Примеч. переводч.)

и смотрели на меня своими большими глазами на исхудавших лицах. Все они молоды, только одному 51 год. Я был счастлив, что мог вселить в их сердца мужество и утешение, все мы под конец подали друг другу руки и дали друг другу обещание, если кто-нибудь останется жив, отыскать близких тех, кто погиб, и рассказать им, как мы праздновали Святую ночь в 1942 году.

Пусть Господь не оставит вас, дорогие родители, ибо сейчас наступает вечер и нам надо завершать все наши дела в этом мире. И мы уйдем в этот вечер или в эту ночь, если того захочет Владыка мира. Но перед нами не ночь без просвета. Мы вручили себя в руки Божьи, и пусть он будет милостив к нам, когда придет наш час.

17

...Говорить в Сталинграде о Боге — значит отрицать его существование. Я должен сказать тебе об этом, дорогой отец, и поэтому мне вдвойне тяжело. Ты меня воспитал, отец, потому что матери не было, и всегда заставлял обращать мои глаза и душу к Богу.

И я вдвойне сожалею о своих словах, отец, потому что они будут последними, после них я уже больше ничего не смогу сказать утешительного и примиряющего.

Ты, отец, духовный мой пастырь, и в последнем письме я могу сказать только правду или то, что мне кажется правдой. Я искал Бога в каждой воронке, в каждом разрушенном доме, в каждом углу, у каждого товарища, когда я лежал в своем окопе, искал и на небе. Но Бог не показывался, хотя сердце мое взывало к нему. Дома были разрушены, товарищи храбры или трусливы, как я, на земле голод и смерть, а с неба бомбы и огонь, только Бога не было нигде. Нет, отец, Бога не существует, или он есть лишь у вас, в ваших псалмах и молитвах, в проповедях священников и пасторов, в звоне колоколов, в запахе ладана, но в Сталинграде его нет.

18

...Можно сойти с ума, дорогой Хельмут, можно только писать об этом, но не знаешь кому. Тысячи несчастных в окопах на передовой и не помышляют о такой возможности — отправить письмо, они отдали бы за это все свое годовое солдатское жалованье. Всего год назад сидели мы с тобой в Ютеборге и зубрили «военную науку», а теперь вот я сижу в дерьме и вся та ерунда, которой нам забивали голову, мне совершенно ни к чему. Как и всем остальным. Если тебе вдруг в сводке встретится название «Царица» — может ведь так случиться, что когда-нибудь передадут правдивое сообщение, — то знай, что я там. Интересно, мы тут живем на Луне или вы там? Сидим 200 000 человек в дерьме, вокруг одни русские, и не можем громко сказать, что мы окружены окончательно и безнадежно.

Твое письмо я получил в понедельник, сегодня воскресенье — настоящий свободный день. Прежде всего хочу ответить тебе — ты поздравляешь меня с прибытием на фронт. Я только что прочитал Гнейзенау[1] (на что здесь отнюдь не у всех есть время) и хочу процитировать тебе одно место из его письма, которое он отправил в Кольберг Бегелину: «...Бывали дни, когда даже земля дрожала, и я обманывал себя, как игрок, который смело ставит свой последний луидор в надежде, что счастье ему улыбнется, потому что снарядов у меня оставалось всего на четырнадцать дней, а уменьшить огонь я не мог из боязни, что противник догадается о нехватке у меня боеприпасов. Просто позор, как плохо оснащена была эта крепость».

Да, дружище, то было еще золотое время! Послушал бы Гнейзенау грохот непрекращающегося минометного обстрела и 200 артиллерийских орудий на одном километре фронта. Но не только он, а и ты тоже, тогда бы ты не торопился так на передовую. Не обижайся, я нисколько не сомневаюсь в твоей личной храбрости, только здесь она не поможет. Здесь и трусы, и герои погибают в одном котле, не имея возможности сражаться. Если бы у нас хоть раз оказалось боеприпасов всего на четырнадцать

[1] Гнейзенау Август (1760—1831) — фельдмаршал и видный военно-политический деятель Пруссии. (Примеч. переводч.)

дней, это было бы одно удовольствие, а не стрельба! У моей батареи осталось только 26 снарядов, это все, больше мы ничего не получаем. Ты ведь тоже наш брат-артиллерист, и все поймешь. Но все-таки еще как-то держимся, существуем более или менее нормально, получили дюжину сигарет, позавчера даже суп, сегодня ветчину раздобыли из продовольственного контейнера (теперь приходится самим себя снабжать). И вот сидишь ты в подвале, топишь чьей-то мебелью, тебе только двадцать шесть, и вроде голова на плечах, еще недавно радовался погонам и орал вместе с вами «Хайль Гитлер!», а теперь вот два пути: либо сдохнуть, либо в Сибирь. Но самое скверное даже не это, а то, что понимаешь: все это совершенно бессмысленно — вот от чего кровь в голову бросается.

Ладно, пусть приходят, у нашей 3-й еще осталось 26 снарядов, а у ее командира — игрушка калибра 0,8 с шестью свинцовыми пилюлями. Мне пора кончать, вот-вот начнется «вечерняя месса» и надо поглубже зарыться в землю. Вот так-то, старина. Насчет ответа на это письмо можешь не беспокоиться, но недели через две вспомни обо мне. Не надо быть ясновидящим, чтобы предсказать конец. А каким он будет на самом деле, ты никогда не узнаешь.

19

...Сегодня на КП я услышал, что отправляют почту. Надеюсь, ты сумеешь разобрать мои каракули. Лучшей бумаги тут нет. Главное, чтобы ты прочитала то, что на ней написано. К тому же темнеет. Мне сейчас приказано водить машину и я бываю в самых разных местах. Иначе бы и не узнал, что еще можно отправить письмо. Мои дела пока совсем не плохи, надеюсь, что и твои тоже. Только раскатывать по снегу и льду маленькое удовольствие. Представь себе, кого я здесь встретил — сына торговца Грюнделя. Он тут окопался на продовольственном складе. Нашел себе теплое местечко. Я воспользовался знакомством и разжился у него банкой свинины и двумя большими хлебами. Сейчас мы не можем посылать посылки, а то я отправил бы эти консервы тебе. Но, конечно, я и сам их с удовольствием съем. Как поживает Марихен, как родители? Я уже давно не получал от вас писем. Последнее было две недели назад от Рихарда. Кончаю, потому что уже стемнело, а мне еще километров десять ехать.

20

...Двадцать шесть писем я уже отправил тебе из этого проклятого города и получил от тебя семнадцать. Пишу тебе еще раз, больше писем не жди. Да, вот так обстоят дела, и я долго думал, как сформулировать эту тяжкую фразу, чтобы все сказать и не причинить тебе слишком сильной боли.

Я прощаюсь с тобой, потому что сегодня утром все решилось. Я вовсе не хочу в письме касаться военной ситуации — она целиком в руках у русских, вопрос лишь в том, сколько мы еще продержимся. Это может продолжаться еще несколько дней или всего несколько часов. Я оглядываюсь на нашу с тобой жизнь. Мы уважали друг друга, любили, и вот уже два года в разлуке. Это хорошо, что нас разделило время, — оно усиливало напряженность ожидания, но и увеличивало отчуждение. Время должно залечить боль от моего невозвращения.

Тебе в январе исполнится 28 лет — это еще очень мало для такой красивой женщины, и я рад, что всегда мог сделать тебе этот комплимент. Тебе будет очень меня не хватать, но все-таки не отгораживайся от людей. Подожди несколько месяцев, но не дольше. Гертруд и Клаусу нужен отец. Не забывай, что ты должна жить ради детей, и поэтому не устраивай большой трагедии вокруг их отца. Дети все быстро забывают, особенно в этом возрасте. Внимательно всмотрись в мужчину, на которого падет твой выбор, особенно обрати внимание на его глаза и рукопожатие — помнишь, как это было между нами, — и ты не ошибешься. И прежде всего воспитай детей людьми прямыми и искренними, которые пойдут по жизни с высоко поднятой головой и спокойно смогут смотреть в глаза каждому. Я пишу тебе эти строки с тяжелым сердцем, да ты бы и не поверила мне, если

бы я написал тебе, что мне это легко, но ты не беспокойся, у меня нет страха перед тем, что меня ждет. Повторяй самой себе и детям, когда они подрастут, что их отец никогда не был трусом и они тоже ничего не должны бояться.

21

...Весь этот ужас продолжается здесь уже одиннадцать дней. И сегодня я наконец могу отправить тебе весточку. Надеюсь, ты получила все остальное. Мне тут пришлось пережить многое, но жизнь — такая прекрасная штука, что надо выстоять и спокойно пережить эти дни.

Нас уже полностью вытеснили в город. Этот проклятый город... Уж скорее бы конец! И я уже писал тебе: хоть бы еще разок пройтись по нашей улице...

Прощай!

22

...Моя самая любимая, я всегда думаю о тебе. И сегодня, когда получал еду, я тоже вспомнил о тебе. О том, как ты всегда замечательно вкусно готовила. Все мои носки разодрались, никак не могу избавиться от кашля. Может быть, пришлешь микстуру, но только не в стеклянной бутылочке. Ты-то сама не простужена? Одевайся, пожалуйста, потеплее. Хватает ли тебе угля? Сходи к Ал., я его всегда деревом снабжал для поделок. Пускай теперь за это даст уголь. Надеюсь, дядя Пауль уже законопатил на зиму окна, иначе будет в этом году слишком поздно. Рождество я здесь не праздновал. Я ехал на машине, мы сбились с пути и застряли, правда, скоро выбрались. Я решил, что в следующем году мы с тобой как следует отпразднуем Рождество и я сделаю тебе очень хороший подарок.

Не моя вина, что я не могу тебе сделать его в этом году. Вокруг нас русские, и нам не выбраться отсюда до тех пор, пока Гитлер нас не вызволит. Но ты об этом никому не должна рассказывать. Это военная тайна.

23

...Нам уже много чего пришлось хлебнуть, проглотим и это! Идиотская ситуация. Можно сказать, дьявольски трудная. И совершенно неясно, как из нее выбраться. Да это и не мое дело. Мы же по приказу наступали, по приказу стреляли, по приказу пухнем с голодухи, по приказу подыхаем и выберемся отсюда тоже только по приказу. Мы б уже давно могли выбраться, да наши стратеги никак между собой не договорятся. И очень скоро будет поздно, если уже не поздно. Но скорее всего нам еще раз придется выступить по приказу. И почти наверняка в том же направлении, что намечалось первоначально, только без оружия и под другим командованием.

Кемнер из соседней роты проигрался Хелмсу в... кости. Жалованье спустил, часы и даже рояль в родном доме — долговую расписку пришлось писать. Вот такой чушью тут занимаются. Интересно, как юридически решается вопрос с роялем, выигранным в кости? Часы и кольцо наш коротышка-толстяк отыграл. Может, завтра загородный дом выиграет. Вот только если оба погибнут, как вопрос о наследстве будет решаться? С удовольствием бы это выяснил, но времени не хватит. Я много чего не знаю, но придется с этим примириться. Я ведь еще в начале письма написал, сколько нам тут пришлось хлебнуть. Перескажи мое письмо Эгону. Заголовок: «Тяготы одного лейтенанта в Сталинграде». Что ж, если нам опять солоно придется, — а я думаю, что это будет очень скоро, — мы свое дело знаем. И умеем делать его лучше, чем в кости играть.

24

...Мне наконец все стало известно, и я возвращаю тебе твое слово. Это решение далось мне нелегко, но мы с тобой слишком разные люди. Я искал женщину с большим сердцем, но все же не с таким большим. Ма-

тери я написал и сообщил все, что ей следует знать. Пожалуйста, не утруждай себя выяснением свидетелей и обстоятельств, которые дали мне доказательства твоей неверности. У меня нет к тебе ненависти, я только советую: придумай подходящую причину и сама ускорь всю процедуру.

Я написал д-ру Ф., что согласен на развод. И если через шесть месяцев я приеду домой, я хотел бы, чтобы ничто больше не напоминало мне о тебе.

От отпуска, который мне полагается в феврале или в марте, я откажусь.

25

...Только что ротный фельдфебель сказал, что я не смогу поехать домой на Рождество. А я ему заявил, что он должен выполнять свои обещания, и он послал меня к ротмистру. Ротмистр объяснил мне, что другие тоже хотели поехать в отпуск на Рождество, тоже обещали своим близким и не смогли выполнить. Он-то никак не виноват в том, что мы не смогли поехать. Мы должны радоваться, что пока еще живы, сказал ротмистр, да и долгое путешествие холодной зимой — дело не безопасное.

Поэтому и ты, дорогая Мария, не должна сердиться на меня за то, что я не приеду в отпуск. Я очень часто думаю о доме и о нашей маленькой Луизе. Смеется ли она уже? Красивая ли у вас в этом году елочка? У нас тоже будет елочка, если не расквартируют в новом месте. О том, что с нами тут происходит, я много писать не хочу, иначе ты будешь плакать. Посылаю тебе фото, я на нем с бородой — это меня три месяца назад щелкнул один приятель в Харькове. Тут разное говорят, и я не знаю, что и думать. Иногда меня охватывает страх, что мы с тобой больше никогда не увидимся. Хайнер из Крефельда сказал мне, что мужчина не должен писать так — нагонять страх на близких. Но что поделаешь, если это правда!

Мария, дорогая Мария, я все хожу вокруг да около, но ротный сказал, что это последняя почта домой, потому что больше ни один самолет от нас не полетит. И я не могу больше лгать тебе. И с моим отпуском, видно, никогда больше ничего не получится. Если бы я смог тебя увидеть хоть один-единственный раз! Как это ужасно!

Когда вы зажжете свечи, думайте о вашем отце в Сталинграде.

26

...Хочу тебе рассказать, что в четверг мы смотрели кино. Конечно, не в настоящем кинотеатре, иначе вы еще подумаете, что мы тут не знаем, как убить время. Мы смотрели «Ястреба Валли», все сидели на полу на своих касках или как турки. Это очень хороший фильм. Ты мне написала, чтобы я держался подальше от девушек. Мария, тут нет никаких девушек. Кино смотрели двести мужчин. Фильмы привозит рота пропаганды и крутит каждый вечер в сарае, только вчера не показывали, я слышал, как в деревне стреляли русские. Я давно хотел посмотреть «Ястреба Валли» в Дрездене или в Ганновере, но все не получалось. А теперь вот в Сталинграде посмотрел. Смешно, верно? Когда приеду в отпуск, посмотрю этот фильм в настоящем кинотеатре. Надеюсь, что его еще будут крутить в Дрездене. Но он мне даже и тут в сарае очень понравился. Только звук был плохой, ребята вокруг отпускали шуточки, курили и такой дым стоял, что и разглядеть что-нибудь было трудно. Некоторые просто пришли в кино, чтобы погреться и поспать. «Ястреб Валли» — в Сталинграде! Я об этом всегда буду вспоминать.

27

...Какое несчастье, что началась эта война! Сколько прекрасных деревень она разорила, разрушила. И поля всюду не вспаханы. Но страшнее всего, что столько людей погибло. И теперь все они лежат во вражеской земле. Какое это огромное горе! Но радуйтесь, что война идет в далекой стране, а не на нашей любимой немецкой Родине. Туда она не

должна прийти, чтобы горе не стало еще большим. Вы должны быть благодарны, должны на коленях благодарить за это Господа Бога. Мы тут стоим стражей на берегу Волги. Ради вас и нашей Родины. Если мы уйдем отсюда, русские прорвутся и все уничтожат. Они очень жестоки и их много миллионов. Русскому мороз нипочем. А мы страшно мерзнем.

Весь день я лежу в снегу и только вечером могу несколько часов погреться в подвале. Вы не представляете себе, какое это счастье. Но мы тут, и поэтому вы не должны бояться. Только нас становится все меньше и меньше, и, если так пойдет дальше, скоро никого из нас не останется. Но у Германии много солдат, и все они сражаются за Родину. Мы все мечтаем о том, чтобы поскорей наступил мир и чтобы мы победили, это самое главное. Пожелайте нам победы!

28

...Это письмо мне очень тяжело писать, каким же тяжелым оно будет для тебя! К сожалению, в нем нерадостные вести. Я ждал десять дней, но ситуация не улучшилась. А теперь наше положение стало настолько хуже, что громко говорят о том, что мы очень скоро будем совершенно отрезаны от внешнего мира. Нас заверили, что эта почта наверняка будет отправлена. Если бы я был уверен, что представится другая возможность, я бы еще подождал, но я в этом не уверен и потому, плохо ли, хорошо ли, но должен сказать все. Для меня война окончена.

Я лежу в лазарете в Гумраке и жду, когда нас отправят самолетом домой. Я так этого жду, но транспортировка все откладывается. То, что я возвращаюсь домой, — огромная радость для меня и для тебя, моей дорогой жены. Но я вернусь домой таким, что это не будет для тебя радостью. Я прихожу в отчаяние, когда думаю о том, как предстану перед тобой калекой. Но я все равно должен сказать тебе, что у меня из-за ранения отняли обе ноги.

Пишу тебе все как есть. Правая нога была раздроблена и ее отрезали чуть ниже колена, а левую отняли до бедра. Старший врач считает, что на протезах я смогу передвигаться, как здоровый. Он хороший человек и желает мне добра. Хочется верить, что он окажется прав. Ну вот, теперь ты все знаешь. Дорогая Эльза, что ты об этом думаешь? Я тут целыми днями лежу, и все мои мысли только об этом. Я думаю о тебе. Сколько раз я жалел о том, что не погиб, хоть это тяжкий грех и нельзя произносить вслух такие вещи.

Здесь вместе со мной в палатке больше восьмидесяти человек, а снаружи еще бессчетное количество раненых. До нас доносятся их крики и стоны, но никто не может им помочь. Рядом со мной лежит унтер-офицер из Бромберга, он ранен тяжело — в живот. Старший врач сказал ему, что он скоро поедет домой, но я слышал, как говорил санитару: «Он дотянет только до вечера, пусть пока здесь остается». Наш старший врач — добрый человек. А с другой стороны у стены лежит один земляк из Бреслау, у которого нет руки и носа, он сказал мне, что ему теперь носовой платок больше не понадобится. «Ну а если заплачешь?» — спросил я, но он мне ответил, что нам тут всем, и мне, и ему, больше плакать не придется, о нас скоро другие заплачут.

29

...Это письмо за меня пишет Аксель. На самом деле он вовсе не Аксель, а Лахман из Кенигсберга. Но мы зовем его Аксель. Рука у меня на перевязи и перевязка очень толстая, поэтому я сам не могу писать. Капитан из медицинской роты сказал мне, что меня скоро отправят домой, и я этому ужасно рад. На руке не хватает маленького кусочка, это и врач сказал. Поэтому просто странно, что я не могу двигать пальцами. А я ведь садовник и пальцы мне нужны. Здесь земля жирная и мягкая, нам бы такую в Люнебурге. Но сейчас все покрыто снегом. Четыре дня назад я лежал в окопе — метр глубиной — и целый день разглядывал землю, хорошие здесь почвы для пшеницы. Конечно, никаких следов удобрений, степь сама их производит. Вот в этом окопе был момент, когда я сильно испугался. Сегодня мне смешно это вспоминать. Когда я вернусь домой, я еще больше буду над этим смеяться. И вы посмеетесь вместе со мною.

30

...Твой ответ у меня в руках. Думаю, ты не ждешь благодарности. Мое письмо будет коротким. Я должен был знать все заранее, прежде чем обратился к тебе за помощью. Ты был и всегда останешься «праведником». Мама и я это знали. Но все-таки можно было предположить, что ты не станешь приносить своего сына в жертву «справедливости». Я просил тебя вытащить меня отсюда, потому что эта стратегическая бессмыслица не стоит того, чтобы ради нее лечь в землю. Ведь тебе легко было попросить за меня, а уж соответствующий приказ разыскал бы меня. Но ты не понимаешь здешней ситуации. Ну что ж.

Это письмо будет не только коротким, но и последним моим письмом к тебе. Даже если бы я захотел написать еще, у меня не будет такой возможности. И нет надежды, что я когда-нибудь окажусь рядом с тобой и смогу сказать тебе все, что я думаю. Нет, я не смогу больше с тобой разговаривать и не отправить мне больше ни одного письма, поэтому вспомни слова, сказанные тобою 26 декабря: «Ты добровольно стал солдатом и помни, что в мирной жизни легко было стоять под знаменем, но очень трудно высоко нести его в войну. Ты должен быть верен этому знамени и с ним победить». В этих словах вся твоя позиция последних лет. Ты будешь потом вспоминать о них, потому что для каждого разумного человека в Германии придет время, когда он проклянет безумие этой войны, и ты поймешь, какими пустыми были твои слова о знамени, с которым я должен победить.

Нет никакой победы, господин генерал, существуют только знамена и люди, которые гибнут, а в конце уже не будет ни знамен, ни людей. Сталинград — не военная необходимость, а политическое безумие. И в этом эксперименте ваш сын, господин генерал, участвовать не будет! Вы преграждаете ему путь в жизнь, но он выберет себе другой путь — в противоположном направлении, который тоже ведет в жизнь, но по другую сторону фронта. Думайте о ваших словах, я надеюсь, что, когда все рухнет, вы вспомните о знамени и постоите за него.

31

...Сколько писем я написал до сих пор? Вместе с сегодняшним, по моим подсчетам, 38. Вы в августе писали мне, что ведете почтовую книгу, целую картотеку людей с их адресами и сведениями о том, как Вы познакомились с адресатом и как протекала Ваша дружба. Я очень веселился по этому поводу. Интересно, включили Вы в свою картотеку фотографию, которую я Вам послал? Мои подсчеты и крестики в карманном календаре наверняка окажутся неточными по сравнению с Вашей книгой учета. Но вообще-то совершенно все равно, сколько писем я Вам написал: 36 или 37. Я Ваш адресат под номером пять. Было бы интересно прочитать все письма, которые Вы получили. Ведь они приходят к Вам со всех фронтов войны. Когда война окончится, у Вас будет готов солидный том воспоминаний в форме писем. Мы хотели в это Рождество встретиться с Вами в первый раз в Карлсруэ, но из этого ничего не вышло. И будущее видится мне в совсем черном свете. Нет почти никакой надежды.

Слава Богу, я могу, наконец, перейти к главному. Не будет нашей встречи, не состоится наше свидание и в новом году. Да, девочка, вот такая неудача. Ничего не поделаешь, за всем происходящим можно только наблюдать, а это постепенно сводит с ума. И зачем я в сентябре, когда осколок попал в руку, не дал отправить себя на Родину? Хотел обязательно здесь быть, когда возьмут Сталинград. Потом я очень часто жалел об этом безумном шаге.

Вы получали от меня веселые письма, я всегда шутил, думаю, Вы с этим согласитесь, но теперь не до шуток, все пошло слишком серьезно.

Так что же Вы напишете в шестой графе Вашей почтовой книги? Только ради Бога не пишите: «Погиб за великую Германию» или что-нибудь в этом роде, потому что это неправда. Напишите лучше: «За Хаину тогда-то и тогда-то». Надеюсь, что мой тон не покажется Вам легкомысленным. Я уже писал о других Ваших друзьях по переписке. Из них Вы скоро тоже некоторых недосчитаетесь. Только обстоятельства будут ины-

ми. Они просто перестанут Вам писать. А я все сообщаю заранее. Фрейлейн Ханна, считайте, что это мое последнее письмо. Будьте счастливы, а наша надежда на встречу погибнет в этой бессмысленной бойне. Пусть у Вас все будет хорошо. На прощание я от всего сердца благодарю Вас за то время, которым Вы для меня пожертвовали. Сначала я хотел написать: «Зря на меня потратили», но потом подумал, что это была не пустая трата, потому что Ваши письма были для меня большой радостью.

32

...Сегодня я говорил с Германом, он находится на несколько сотен метров южнее меня. От его полка мало что осталось. Но сын булочника Б. еще там вместе с ним. Герман получил твое письмо, в котором ты сообщаешь нам о смерти отца и матери. Я поговорил с ним, ведь я старший, постарался утешить его, хотя я и сам на пределе. Хорошо, что мать с отцом не узнают, что мы оба, Герман и я, не вернемся домой, но так тяжело, что на тебя в твоей будущей жизни ляжет тяжесть гибели четырех близких людей.

Я хотел стать теологом, отец собирался построить дом, а Герман — соорудить фонтан. Из всего этого ничего не вышло. Ты ведь знаешь, как все теперь выглядит у нас дома, — в точности так же, как здесь у нас. Нет, ничего не вышло из того, что мы рисовали в своих мечтах. Родители погребены под развалинами их дома, а мы, как это ни тяжело звучит, с несколькими сотнями других солдат в оврагах в южной части котла. Очень скоро все эти овраги будут засыпаны снегом.

33

...Если вдуматься, я только здесь начал по-настоящему размышлять над окружающим, но без позитивного результата. Почаще надо было бы обо всем думать, но для этого требуется время. Правда, у меня никогда не было столько времени для размышлений, как во время войны, и особенно здесь, в Сталинграде. Несколько дней назад у меня был длинный разговор со священником, но мы никак не могли договориться, потому что страдания казались мне бóльшими, чем возможность утешения. Священник придерживался мнения, что мы тут добрались до той точки, где должна кончиться философия и начаться религия. Прав из нас, конечно, только один, но я спрашиваю себя: в том ли сейчас дело, кто из нас прав? Я часами сижу в бункере и все думаю, думаю.

Глубокоуважаемый господин тайный советник! Нам не нужно обсуждать мои личные проблемы, я рад, что в отличие от своих товарищей не обременен никакими семейными связями. Это ведь страшные и мучительные заботы, они могут довести человека до отчаяния. Этот постоянный непреходящий страх за жену и детей или других близких. Я ведь все время слышу, о чем тут говорят, и иногда кажется трагичным, а иногда смешным, с какой невероятной серьезностью относятся ко всему своему и каким важным и особенным кажется самому себе каждый человек. Они говорят о тех делах, которыми занимались в мирной жизни, волнуются, цел ли их дом, беспокоятся, дошли ли посылки, те, что посылают они, и те, что шлют им. Кстати, я думал о том, что может быть в посылках, которые шлют из Сталинграда? В моем бункере есть один (он из Люденшайда), так он в каждом письме спрашивает, как поживает его кошка. Какой абсурд! Деньги, профессия, положение, имущество. Но прежде всего страх за свою личную судьбу, и этот страх звучит в очень многих письмах, которые пишут здесь. Иногда я не могу без отвращения смотреть, как ведут себя люди.

Час назад меня спросил сосед по бункеру, капитан, слышал ли я, что русские уже прорвались на севере? Как будто это что-нибудь может изменить в нашей ситуации. Теперь все стремятся попасть поближе к штабу, и поспешность, с которой это происходит, заставляет думать, что здесь они надеются на спасение. Но никакого спасения нет. Страх отнимает у них рассудок, они теряют голову, если она вообще есть у них на плечах. И они даже не замечают, как глупо, как не по-мужски себя ведут.

Пространство, которое я тут могу обозревать, не больше ста метров, и в поле моего зрения около сотни людей. Все они похожи друг на друга. Все трусы. Тот, кто спустился сюда с какой-то высотки или прихромал с переднего края (это время от времени случается), только с удивлением качает головой, видя, что здесь происходит. С этими людьми мы не можем выиграть войну, тем более такую войну. Хорошо еще, что на фронте ведут себя иначе, чем эта жалкая кучка, состоящая из остатков самых разных штабов. Я спрашиваю себя, почему я веду себя иначе и какая роль отведена мне? Храбрость это или что-то иное? Но я не мечусь и не кудахтаю, как согнанная с насеста курица, не ловлю и не повторяю разных призывов и лозунгов, не произношу громких речей и сплю по ночам спокойно.

Господин тайный советник! Сталинград — хороший урок для немецкого народа, жаль только, что те, кто прошел обучение, вряд ли смогут использовать полученные ими знания в дальнейшей жизни. А результаты надо бы законсервировать. Я — фаталист, и личные мои потребности настолько скромны, что я в любой момент, когда первый русский появится здесь, смогу взять рюкзак и выйти ему навстречу. Я не буду стрелять. К чему? Чтобы убить одного или двух людей, которых я не знаю? И сам я не застрелюсь. Зачем? Что, я этим принесу какую-нибудь пользу, может быть, господину Гитлеру? Я за те четыре месяца, что нахожусь на фронте, прошел такую школу, которую, наверняка, не получил бы, даже прожив сто лет. Я жалею только об одном — о том, что вынужден закончить свои дни в столь жалкой компании.

34

...Что теперь с нами будет, этого никто не знает, я, во всяком случае, думаю, что все кончено. Это жестокие слова, но вы должны понять их правильно. Все изменилось с тех пор, как я попрощался с вами и стал солдатом. Тогда мы еще жили верой, тысячами надежд и ожиданий, верой в то, что все будет хорошо. И все-таки тревога таилась в наших прощальных словах, которые завершали наше длившееся два месяца счастье. Я помню твое письмо, в котором ты писала, чтобы я закрывал лицо руками и забывал все, что творится вокруг. А я тебе ответил тогда, что для меня это, и правда, необходимо, потому что ночи на Востоке гораздо темнее и страшнее, чем дома.

Темные ночи на Востоке стали гораздо темнее, чем я когда-то мог себе представить. В такие ночи очень часто вслушиваешься в глубинный смысл жизни, задаешься вопросами и порой получаешь ответы. Теперь нас разделяют пространство и время, и я собираюсь переступить ту черту, которая навсегда отделит нас от нашего маленького мира и уведет в большой, опасный, уничтожающий нас. Если бы я благополучно пережил дни войны, то только тогда я, наверное, бы понял, что значит быть мужчиной и женщиной в самом верном и глубоком смысле. И все же я и сегодня знаю это, потому что эти мои последние строки обращены к тебе.

35

...Я столько раз плакал в последние ночи, что мне самому это уже невыносимо. Один мой товарищ тоже плакал, правда, по другой причине. Он оплакивал свой уничтоженный танк, который был его гордостью. И насколько мне непонятна моя собственная слабость, настолько я могу понять, что человек может горевать о мертвой вещи — военной машине. Я ведь солдат и верю, что танк для него не был мертвой вещью. Во всем этом примечательно то, что двое мужчин вообще могут плакать. Я, правда, всегда был к этому склонен, волнующее событие или благородный поступок могли легко вызвать слезы на моих глазах. Я мог плакать над фильмом или над книгой, или когда видел, как страдает какое-нибудь животное. Я отделял себя от окружающего мира и поэтому очень сочувствовал тому, что видел и слышал. Однако потерю материальных ценностей я никогда не считал утратой. Поэтому я не мог бы плакать о танках, которые без горючего, в голой степи использовались как неподвижные артиллерийские орудия и потому их без труда уничтожили. Но то, что безупречный человек и храбрый солдат, твердый и несгибаемый, мог плакать над ними, как ребенок, вызвало ночью и у меня слезы.

Во вторник я на своей машине подбил две «тридцатьчетверки». Любопытство привело их за наш передний край. Это было великолепное зрелище. Потом я проехал мимо дымящегося железа. Из люка висело тело, головой вниз, ноги заклинило и они горели. Но тело жило, доносились стоны. Вероятно, боли были чудовищные. И не было никакой возможности его освободить. А даже если бы такая возможность была, он все равно через несколько часов умер бы в ужасных мучениях. Я застрелил его, и при этом по щекам у меня текли слезы. И вот уже три ночи подряд я плачу над погибшим русским танкистом, которого я убил.

Меня потрясают кресты перед Гумраком и многое другое, на что мои товарищи, сжав зубы, стараются не обращать внимания. Я боюсь, что, если вернусь домой к вам, мои дорогие, я никогда больше не смогу спать спокойно. Моя жизнь — чудовищное противоречие, психологический уникум.

У меня теперь тяжелая противотанковая пушка, и я организовал восемь человек, из которых четверо — русские. Мы вдевятером перетаскиваем пушку с одного места на другое. И каждый раз оставляем горящий танк. Их теперь уже восемь, а должна быть полная дюжина.

У меня осталось только три снаряда, а стрелять по танкам — это не играть в бильярд. Но каждую ночь я рыдаю, как ребенок. Что же из всего этого будет?

36

...Год назад Вы написали неизвестному Вам человеку, который был одинок в этом мире. Этим человеком оказался я. В длинные зимние ночи я прислушивался к биению сердца, которое слышалось в этом письме. К биению сердца людей и животных, к шороху растений, грохоту лавин и дыханию теплого ветра.

Вы всегда писали, что неизвестный солдат должен черпать из Ваших писем бодрость, силу, веру и мужество. Сегодня я хочу Вам сказать, что так оно и было: Ваши строки внушали мне бодрость, силу и мужество. Но теперь вера в правое дело мертва. Она погибла. Погибла, как в ближайшие тридцать дней погибнут сотни тысяч, и я в том числе.

Это письмо я посылаю Вам сегодня по двум причинам. Во-первых, неизвестный солдат, к которому Вы когда-то обратились, должен, как это принято у военных, доложить о своем отбытии, что я и делаю. Во-вторых, предполагаю, что Вы теперь обратитесь к какому-нибудь другому неизвестному солдату, чтобы из Ваших писем он черпал силу и мужество. И веру.

Вот это, фройляйн Ади, и есть самая важная причина. Потому что веру легко демонстрировать на бумаге, но если этого солдата, как нас тут, в разрушенном городе на Волге, будут предавать и продавать, если этот солдат, как мы здесь, поймет, что вся его вера в хорошее дело была просто бессмысленным времяпрепровождением, то надо предостеречь всякого, кто будет внушать солдату эту веру!

37

...Утром нам сказали, что мы можем написать домой. Я твердо знаю, что это в последний раз, другой возможности уже не будет. Ты знаешь, что я всегда писал в два адреса, двум женщинам, — тебе и «другой». И тебе я писал гораздо реже. Я был очень далек от тебя, и Карола в эти последние годы стала мне ближе. Не будем сейчас снова говорить о том, почему и как это вышло. Но сегодня, когда сама судьба поставила меня перед выбором, потому что я могу написать только одному человеку, я пишу тебе, ведь ты шесть лет была моей женой.

И, быть может, тебе станет легче, когда ты узнаешь, что последнее письмо человека, которого ты любила, обращено к тебе, потому что я просто не могу написать Кароле и попросить ее передать тебе от меня привет. Поэтому я обращаюсь к тебе, дорогая Эрна, в этот час с последней просьбой: будь великодушна и прости мне те обиды, что я причинил

тебе, пойди к ней (она живет у родителей) и скажи, что я благодарен ей за очень многое и через тебя, через мою жену, шлю ей привет. Скажи ей, что она много значила для меня в последнее время и я часто думал о том, что будет, если я вернусь домой. Но скажи ей, что ты значила для меня больше и что я хоть и глубоко грущу о том, что не вернусь домой, все же рад, что судьба сама продиктовала мне этот выход, потому что он избавит всех нас троих от ужасных мучений.

Так что же важнее, Бог или судьба? Я совершенно спокоен, но ты не можешь себе представить, как трудно высказать за один час все, что у тебя на душе.

О многом еще надо написать, о бесконечно многом, но именно поэтому надо не слишком долго водить пером по бумаге и найти нужный момент, чтобы выпустить его из рук. Точно так же, как я теперь выпускаю из рук свою жизнь.

Из всей моей роты осталось только пять человек. Вильмсен еще жив. Все остальные, остальные... слишком устали. Ну разве не прекрасная формула для этого ужаса? Но что пользы в том, что ты теперь все знаешь! Поэтому пусть в твоей памяти я останусь человеком, который под самый конец все-таки одумался и решил остаться твоим мужем и попросить у тебя прощения, более того, попросил тебя сказать всем, кого ты знаешь, и Кароле тоже, что я вернулся к тебе именно в то мгновение, которое навсегда отнимет тебя у меня.

38

...Я хотел написать тебе длинное письмо, но мысли мои рассыпаются, как дома́ под артиллерийским обстрелом. У меня еще десять часов впереди, а потом я должен отправить это письмо. Десять часов — это много, когда приходится ждать, но очень мало, когда любишь. С нервами у меня все в порядке. Вообще-то я тут, на Востоке, совершенно вылечился — ни простуд, ни насморков, — это единственное добро, которое принесла мне война. Нет, пожалуй, она подарила мне еще одну вещь: я понял, что люблю тебя.

Странно, что многие вещи замечаешь лишь тогда, когда можешь их потерять. Через любые расстояния прокладывается мост от сердца к сердцу. По этому мосту я посылал тебе весточки, рассказывал о наших буднях, о том мире, в котором мы живем.

Всю правду я хотел тебе рассказать, только если бы вернулся домой, а потом мы бы больше уже никогда не говорили о войне. Ну а теперь тебе придется узнать эту правду раньше, последнюю правду. Больше я написать тебе не смогу.

Пока есть берега, всегда будут существовать мосты, и мы должны иметь мужество вступать на эти мосты. Один такой мост ведет к тебе, другой в вечность, и это для меня в конечном итоге одно и то же.

На этот последний мост я вступлю завтра, это литературное выражение должно обозначать смерть, но ты знаешь, что я любил называть вещи описательно, просто из любви к слову и к звуку. Протяни мне свою руку, чтобы дорога не была так трудна.

39

...Дорогой отец! Наша дивизия «готова» к большой битве, но эта большая битва не состоится. Ты, наверное, удивишься, что я пишу тебе по твоему служебному адресу, но то, что я хочу сказать тебе в этом письме, может сказать лишь мужчина мужчине. Ты сам найдешь подходящую форму, чтобы объяснить матери. Сегодня нам было сказано, что мы можем отправить письма. Тот, кто знает положение, понимает, что мы можем сделать это в последний раз.

Ты полковник, дорогой отец, и сидишь в Генштабе. Ты понимаешь, что все это значит, и поэтому можешь избавить меня от объяснений, которые звучали бы сентиментально. Все кончено. Я думаю, что это может продолжаться еще восемь дней, а потом дверца захлопнется. Я не хочу сейчас заниматься поисками причин, которые можно было бы привести за или против нашей ситуации. Эти причины теперь совершенно неважны

и обсуждать их бесполезно, и если я все-таки хочу о чем-то сказать, то лишь о том, что вы должны искать причины и объяснения не у нас, а у вас, у того, кто несет ответственность за эту ситуацию. Не падайте духом. Особенно ты, отец, и те, кто разделяет твои взгляды. Но будьте начеку, чтобы еще большие несчастья не обрушились на нашу Родину. Пусть этот ад на Волге послужит вам предостережением. Прошу вас, помните об этом.

Ну а теперь наше положение на сегодняшний день. Из всей дивизии боеспособных осталось только 69 человек. Блейер еще жив, и Хартлиб тоже. Маленький Деген потерял обе руки, его, наверно, скоро переправят в Германию. Для него уже тоже все кончено. Расспросите тогда его о деталях, которые вам хотелось бы узнать. У Д. больше нет никакой надежды.

Мне очень хотелось бы знать, что он думает о положении и его последствиях. У нас еще есть два пулемета и четыреста снарядов. Один гранатомет и десять гранат. А в остальном только голод и усталость.

Берг с двадцатью солдатами покинул позиции без приказа. Лучше узнать, что тебя ждет через три дня, чем через три недели. Упрекать его не могу.

Под конец о личном. Ты можешь быть уверен в том, что все, вплоть до самого конца, будет как надо. Конечно, немного рановато в тридцать, но что поделаешь.

Не надо сантиментов. Пожми за меня руки Лидии и Елене. Поцелуй маму (поаккуратнее, старый вояка, думай о ее сердце). Поцелуй Герду. И привет всем остальным. Руку к каске, отец, старший лейтенант докладывает тебе о своем отбытии.

Перевод с немецкого И. Щербаковой

Владимир Потапов

СЕЯТЕЛЬ СЛОВО СЕЕТ

(О СОЛЖЕНИЦЫНЕ — НА ВОЗВРАТЕ ДЫХАНИЯ И СОЗНАНИЯ)

«...слово свободное, уже нестесненное, неугрожаемое,—то самое слово, которого всю жизнь не было у нас и которое так необходимо для прояснения и сплочения».

«Архипелаг ГУЛАГ».

В течение этого года в широкий круг чтения на родине должны войти основные художественные произведения А. И. Солженицына. Исключение пока составляет роман «Апрель Семнадцатого», работа над которым еще не завершена, но, надо полагать, и эту вещь ждать уже недолго. Возвращается сразу «весь» Солженицын и во всем своем особом, легендарном статусе. Что-то не вспоминаются случаи, когда бы писатель «дебютировал» сотнями печатных листов, целой книжной полкой; такой массив неизбежно изменяет наши устоявшиеся представления о современной литературе — то-то работы критике...

Однако явление Солженицына литературными рамками не ограничивается — раздвигаются наши духовные горизонты в целом. Именно с этой точки зрения попытаемся оглядеть перспективу из дня сегодняшнего, когда большинству из нас доступны лишь книжки «Нового мира» с главами из «Архипелага ГУЛАГ», когда Солженицын — еще на горизонте, а мы с надеждой ожидаем сближения с ним. И хотя попытка сейчас говорить о писателе будет скорее «моментальным снимком» этого ожидания, небесполезна и она ввиду предстоящей задачи — освоения нового идейно-художественного мира. Трудно рассчитывать на окончательные выводы, общеразделяемые суждения, у каждого из нас «свой» Солженицын, свой образ, и мы ищем «ключи» к нему, подходы. Скажу сразу, что меня интересует не политическая, а духовно-нравственная проблематика его книг.

Вряд ли освоение солженицынских идей будет бесконфликтным, трудно назвать фигуру более «еретическую», чем этот писатель. С «Одного дня Ивана Денисовича» он возбудил споры, увы, так и не развернувшиеся, пресеченные. Тем труднее и горячее будут они теперь. И неизвестно, сколько продлятся. Но несомненно, что споры эти должны послужить прояснению и сплочению.

Вспомним, как дружно, всем миром высказались за публикацию «Архипелага». Можно было бы только радоваться, что, еще не прозвучав, слово Солженицына на какое-то время послужило если не прояснению, то сплочению, но не был ли этот жест в чем-то символическим? В «Архипелаге» (глава «Социально-близкие») мнится такая параллель (наверное, она покажется излишне гротескной, но все же). Приводится рассказ Томаса Сговио о блатном, жестоко и беспричинно избившем его, а позже вступившем в яростный конфликт с лагерной охраной. Рассказчик заключает: «Что он меня чуть не зарезал — это ничто. Он для меня герой, и я люблю его — за то, что он ругал начальство». Надеюсь, меня не обвинят в превратных ассоциациях (Солженицын — и какой-то блатной), и не говорю о любви — как-то трудно представить, что горячим чувством к Солженицыну воспылало, например, многоопытное руководство Союза писателей (впрочем, любовь зла...). Но не совпали ли единодушно ратовавшие за публикацию Солженицына на том, что он «ругал начальство»? Вряд ли нужно доказывать, что такой «консенсус» обманчив и непрочен.

Возвращенное слово Солженицына падает на умственную почву, вспаханную яростными словесными баталиями. Ситуация, которую писатель предвидел в своей статье 1969 года: «...обратный переход, ожидающий скоро нашу страну,— возврат дыхания и сознания, переход от молчания к свободной речи, тоже окажется и труден и долог, и снова мучителен — тем крайним, пропастным непониманием, которое вдруг зинет между соотечественниками, даже ровесниками, даже земляками, даже членами одного тесного круга.

За десятилетия, что мы молчали, разбрелись наши мысли на семьдесят семь сторон, никогда не перекликнувшись, не опознавшись, не поправив друг друга. А штампы принудительного мышления (...) изуродовали всех нас, почти не оставили неповрежденных умов». И далее: «Трудно возвращается к нам свободная мысль, трудно привыкнуть к ней сразу сполна и со всего горька. Называть вслух пороки нашего строя и нашей страны робко кажется грехом против патриотизма» («На возврате дыхания и сознания» (по поводу трактата А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе)»).

Удивляться приходится не столько точности этого прогноза, основанного и на глубоком понимании людей, и на знании писателем нашей новейшей истории (в частности периода с начала столетия по 1917 год — но развивать эту тему нам предстоит, когда мы прочтем романный свод «Красное колесо»), сколько тому, что сделан он в 1969 году, когда никаким обратным переходом вроде бы и не пахло — скорее наоборот... Усвоим этот попутный урок духовной твердости, во все времена необходимой,— даже из этого можно заключить, сколь духовно «стойкого сорта» слово и мысль писателя, что это за посев...

Каковы-то будут всходы? Это уже зависит не от Солженицына, а от нас — каждого в отдельности и всех вместе. По крайней мере в литературных наших спорах мы не должны упустить шанс, воспользоваться тем объединяющим началом правды, которое несет в себе слово Солженицына, иначе нам предстоят тяжкие, едва ли не саморазрушительные для нашей культуры времена...

Но возможно ли это вообще, если свободное слово может показаться не только «грехом против патриотизма», но и грехом против вольномыслия, если достаточно «Архипелага ГУЛАГ»—и с выходом едва ли не каждого произведения Солженицына это чувство будет усиливаться,— чтобы не угодить сразу всем мыслительным штампам?

Одним — несокрушимой непримиримостью (а того пуще — сарказмом) к тому, что писатель ввел в наш словарь как «Передовое Учение», «Единственно Верное Учение».

Другим — неприятием, критикой парламентско-демократического пути общественного развития, который Солженицын явно не считает единственно возможным, непревосходимой вершиной мысли. В «Архипелаге» это проявляется большей частью в виде заочной, но оттого не менее бескомпромиссной полемики с гуманитариями Запада, которые столь охотно и цивилизованно общались с представителями сталинского режима, «не замечая» Архипелага. «Сторонники мира! Вы в тот год шумно заседали в Вене или Стокгольме, а коктейли пили через соломинки. Вам не приходило в голову, что соотечественники стихослагателя Тихонова и журналиста Эренбурга высасывают трупы лошадей? Они не объяснили вам, что по-советски так понимается мир?» (глава «Побеги с моралью и побеги с инженерией», эпизод «Побег Григория Кудлы»). Нравственный счет, предъявляемый писателем западному обществу, распространяется и обосновывается в его публицистике.

Третьим — своим видением национально-государственных перспектив. «Мы обязаны отдать решение им самим — федералистам или сепаратистам, кто у них кого убедит. Не уступить — безумие и жестокость. И чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше надежды восстановить единство в будущем.

Пусть поживут, попробуют. Они быстро ощутят, что не все проблемы решаются отделением» (глава «Ветерок революции»).

Четвертым — неупрощенным, несхематическим, не отводящим глаз ни от одной из непредсказуемо сложных человеческих судеб взглядом на власовское движение (примеров не привожу — они буквально невыделимы из общего контекста книги. Тут надо читать все, ничего не пропуская, не пытаясь разрубить этот узел одним сабельным взмахом. Именно этот мотив книги послужил в прошлом поводом для пропагандистской клеветы в адрес писателя, офицера-фронтовика: «изменник», «литературный власовец»... Но теперь мы можем прочесть не только «разоблачительное» сочинение профессора Н. Яковлева «ЦРУ против СССР», но и сам «Архипелаг»).

Пятым... Шестым... Седьмым...

Что и говорить — «негладкая» книга. Не размежует ли она нас еще больше (если возможно «больше»), и не начнется ли суетливая возня, которую уже предпринимала часть эмиграции в попытках перетянуть «на себя» авторитет писателя, воспользоваться им в интересах узкопартийной, групповой борьбы? Бывший наш соотечественник Б. Парамонов однажды удачно предостерег от таких попыток: имя Солженицына нельзя начертать на знамени того или иного идейного стана, Солженицын — сам знамя.

Художник такого ранга — явление самодостаточное и независимое, всегда «поверх барьеров». В нашей зашоренности, привычке все осмыслять в категориях политизированного сознания мы забываем, что как нельзя назвать «левым» или «правым» создаваемый писателем художественный мир, так и самого Солженицына бесполезно «располагать» в «лево-правой» («прогрессистской — фундаменталистской», «западнической — почвеннической» и т. д.) системе мировоззренческих координат. Не будем напрягаться и в попытках «примирить» взгляды писателя с идеалами коммунистического строительства — хоть в русле того, что сам Солженицын определяет как «национал-большевизм» (характеристика этого феномена дана в его статье «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни». И, заметку, любопытно с этой точки зрения взглянуть на направленность такого журнала, как «Молодая гвардия»), хоть в духе девиза «критика, но — конструктивная» (такое истолкование, на мой взгляд, предлагает в своей давней, перепечатанной «Правдой» статье об «Архипелаге ГУЛАГ» Р. А. Медведев).

Можно ли вообще надеяться на прояснение и сплочение в связи с солженицынским словом? Это зависит от того, что понимать под сплочением и *в какой плоскости* его полагать. И если мы всерьез, а не ради красного словца говорим о приоритете общечеловеческих идеалов над всеми прочими, то именно этот подход единственно уместен при разговоре о писателе такого склада, как А. И. Солженицын.

С Солженицыным в нашу литературу возвращаются подлинные масштабы, первоначальные смыслы многих понятий, обесцененные расхожей риторикой настолько, что к самому их звучанию относишься с недоверием. Ну, например, кто только у нас не ходил в ранге художника-мыслителя. Каждый второй юбиляр. Сочиняет? Значит, уже мыслит. И непременно: глубоко и народно. И непременно: создает свой художественный мир...

Многое «съеживается» в сопоставлении с Солженицыным. Действительно — целый мир, неохватный мысленным взглядом, и уже в пространстве «Архипелага ГУЛАГ» теряешься, тонешь и с отчаянием убеждаешься в собственной самонадеянности и беспомощности. Не просто *количество* (объем больше, чем «Войны и мира»), а, при невероятном удельном весе солженицынского слова, переходящее в *качество*. В качество великого произведения отечественной словесности. С какого краю подступиться?

И топчешься нерешительно: а тебе ли подступаться? В малой мере не пережив, не испытав того, о чем поведано, имеешь ли право голоса в таком разговоре — «Архипелаг» отторгнет суждение легковесное, необязательное. И хочется — с критической галерки откуда-нибудь — послушать тех, кто говорит «по праву памяти»...

Для наглядности выпишем, хотя бы редким пунктиром, темы, задаваемые писателем: от красного террора и подвалов «Чрезвычайки», военного подавления восстаний тамбовских и иных губерний крестьян, языческих по духу и жестокости гонений на церковь (в ее живой целокупности с верующими) и до сплошной коллективизации — **Великого Перелома русского хребта**, до «наших смердящих 30-х годов» (в этот емкий образ из «Раскаяния и самоограничения...» входит все, начиная с помпезной лжи официального, пропагандистского искусства и кончая пыточными застенками и в сознание не укладывающимися «гаранинскими расстрелами» на Колыме), до военных провалов первых месяцев войны, «ссылки народов», гулаговского пленения выживших в немецких лагерях фронтовиков, до Новочеркасска-62, «Режима Особого, полосатого» и мелькающего в Части Седьмой имени новомученика Анатолия Марченко...

Темы, сбивающие с привычной колеи «литературных» размышлений. «Рецензируемо» ли это в принципе, предполагает ли разговор о поэтике, композиции и т. д.? Все это настолько нелитературно, запредельно, на таких слезах, крови, растоптанных судьбах замешено, что в пору сбиться на крик...

...Но это тоже дань риторике, потому что кричать — бесполезно. И фальшивить не хочется, совестно было бы. Лучше выбирать нарочито скупые выражения, например, такие: каждый пункт в этом обвинительном списке тяжек и равнодушным оставить не может. И даже самые эти «неравнодушие» и, так сказать, филантропию лучше не переоценивать, не эксплуатировать, не «заводить» себя.

Потому что слишком это легко, *доступно* сегодня. Одно дело — дать беглецу-зеку хлеба (такие эпизоды — увы, редкие — есть в книге) или хоть человеческим словом с путешествующими в вагонзаке перемолвиться, как не убоявшаяся конвоя и благодарно за то вспоминаемая Солженицыным «беспугливая девка». Другое — вздыхать над «Архипелагом ГУЛАГ», да хоть бы и расстроиться и дурно спать эту ночь. Спросим себя придирчиво: не примешиваются ли к нашей духовной работе, сопереживанию «лагерной» прозе и спортивно-болельщицкие переживания? А ведь даже болельщик-«фанат» этой темы может быть весьма далек от ее подлинной сути, ее нерва.

«Архипелаг ГУЛАГ» требует от нас реакции не сентиментальной и не ритуального присягания на верность («никто не забыт, ничто не забыто!»), а отношения *нравственного*. А нравственность, по Достоевскому, категория взыскательная и предполагающая скорее сомнения, чем эмоции: «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же их одна — Христос. Но тут уже не философия, а вера, а вера — это красный цвет...

Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь **честность** (русский язык богат), но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня — Христос. Спрашиваю: сжег ли бы он еретиков,— нет. Ну так значит сжигание еретиков есть поступок безнравственный...» Цитируя рассуждение Достоевского, М. М. Бахтин пишет: «В этих мыслях нам важно не христианское исповедание Достоевского само по себе, но те живые *формы* его художественно-идеологического мышления, которые здесь достигают своего осознания и отчетливого выражения».

Воспользуемся и мы этой бахтинской формулой (хоть она и кажется сегодня скорее отвлекающим маневром) и по отношению к Солженицыну: не таковы ли и *его* формы художественно-идеологического мышления? Не есть ли и для Солженицына нравственный образец и идеал — Христос?

Ответ будет однозначным: творчество А. И. Солженицына находится в сфере христианско-православного мировоззрения. И адекватное, неискаженное восприятие «Архипелага ГУЛАГ», как и других книг писателя, предполагает учет именно этого факта. Иное — политическое, например,— прочтение этой книги обедняет ее смысл. Не читаем же мы «политически» «Преступление и наказание» («Бесов» сплошь и рядом читаем именно так — чем себя и обедняем). Параллель «Достоевский — Солженицын» (как и «протопоп Аввакум — Солженицын») практически неизбежна в наших последующих размышлениях, но это сложная и требующая отдельной разработки тема. Пока же заметим: как несводим к «петрашевству» Достоевский, так несводим и Солженицын к «антисталинизму». Искусство несводимо к политике, если, повторю, мы всерьез начинаем говорить об общечеловеческих духовных ценностях.

Сказанное, разумеется, не означает того, что глубоко прочесть Солженицына могут лишь верующие люди; слово его многозначно и многосмысленно, касается различных сторон нашей действительности и истории. Но нравственно-духовный план творчества Солженицына, на мой взгляд, преимущественно важен, и значение его с каждым днем будет возрастать. На эту волну нам нужно настраиваться.

Вернемся к политическому обвинению, предъявляемому Солженицыным нашему государственно-общественному устройству и идеологии. Закономерно спросить: какое *наше*, нашего поколения (то есть тех, кто, как я, родился не только что «после Сталина», но и «после XX партсъезда») слово способно послужить паролем, допуском к такому разговору? *Афганистан*? Да, это звучит весомо, тяжко... Но пусть его первыми произнесут сами наши «афганцы», их родители, близкие... Сочувствий и пристрастий, даже самых благородных, все же недостаточно, необходимо что-то более основательное, долговечное: если не судьба (твоя или твоих старших), то *свой* духовный опыт. Возможно ли его обрести, читая «Архипелаг ГУЛАГ»?

С позиций «реальной критики» литераторы моего возраста «Архипелаг», может быть, уже и не прочтут — не с чем соотнести. Что для людей судьбы Солженицына и вообще для старшего поколения *реальность*, для нас — *идеальность*. Когда они страдают, мы — сочувствуем, то, против чего они восстают, мы — осуждаем. Преимущества благополучной судьбы опасны забвением уроков прошлого. Как избежать на этом пути нравственной энтропии?

Иногда кажется, что в умах младшего поколения, прибегая к общепонятным символам, не просто уже «Сталин умер», но и самое «*дело* Сталина» безнадежно проиграно, сама идея никого уже не способна привлечь. Настроения, так сказать, антиутопические: «С этим все ясно».

Но прочитаешь в газетах что-нибудь из будней нашей пенитенциарной системы — например, как охрана зверски избивает нынешних зеков в наши, перестроечные дни («ЛГ» от 10 января 1990 года) — и убедишься: не разверзлась земля, не провалился Архипелаг в ее недра, в тартарары! А политика у нас ныне вроде бы не «сталинская», и молодые солдаты внутренних войск, обрабатывающие резиновыми дубинками заключенного, воспитывались не в кружках ворошиловских стрелков. Так в «политике» дело или в человеке? Мы виноваты или всегда — «не мы»?

В статье «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» А. И. Солженицын этот вопрос формулирует так: «Вот уже полвека мы движимы уверенностью, что виноваты царизм, патриоты, буржуи, социал-демократы, белогвардейцы, попы, эмигранты, диверсанты, кулаки, подкулачники, инженеры, вредители, оппозиционеры, враги народа, националисты, сионисты, империалисты, милитаристы, модернисты,— только *не мы* с тобой! Стало быть и исправляться не нам, а им. А они — не хотят, упираются. Так как же их исправить, если не штыком (револьвером, колючей проволокой, голодом)?»

Не для того, чтобы сгладить острые углы, и не ради абстрактного всепрощения следует сегодня читать «Архипелаг ГУЛАГ» неполитизированно, а потому, что не в этом непреходящий смысл книги. Можно сколько угодно «долбить Систему», благо сегодня для этого особой смелости не надо, не то, что в недавние еще времена, но как ни открещивайся, ни негодуй, «Система» — это мы. В той же солженицынской статье: «А общество — из кого же составлено, как не из нас? Это царство неправды, силы, бесполезности справедливого, неверия в доброе,— эта болотная жижа, она и была составлена из *нас*, из кого же другого? Мы привыкли, что надо подчиняться и лгать, иначе не проживешь (...) Но и: великий Архипелаг как бы иначе простоял среди нас 50 лет незамеченный?(...) И если мы теперь жаждем — а мы, проясняется, жаждем — перейти наконец в общество справедливое, чистое, честное,— то каким же иным путем, как не избавясь от груза нашего прошлого, и **только путем раскаяния**, ибо виновны все и замараны все? Социально-экономическими преобразованиями, даже самыми мудрыми и угаданными, не перестроить царство всеобщей лжи в царство всеобщей правды: кубики не те».

Думаю, именно на указанном А. И. Солженицыным пути **раскаяния и самоограничения** мы можем прийти к **прояснению и сплочению**. «Архипелаг ГУЛАГ» — книга, которая еще долго, дольше, чем может показаться, будет напряженно актуальной — даже и в те времена, когда времена самого Архипелага от-

далятся от нас в «синь веков», как террор Иоанна Грозного. «В этом — и книга моя: не памфлет, но зов к раскаянию», —сказал однажды Солженицын.

Что же получается: не нам отмщение, и не мы воздадим?

Нет, речь не об этом. Определяться относительно *форм* — конкретно-исторических, политических и прочих — нам придется неминуемо, и «Архипелаг ГУЛАГ» неопровержимо доказывает, что добро и зло несовместимы. Эта книга ставит нас перед историческим *выбором* во всей его неминуемости. И он обществом будет сделан. Но «Архипелаг» показывает не только формы, но и необходимость постижения духовного (экзистенциального, метафизического — назовите как угодно) *наполнения* идей выдающегося писателя. Главное в «Архипелаге ГУЛАГ» я бы сформулировал как внутреннюю взаимосвязь, триединство правды — свободы — веры. Здесь я опираюсь на высказывания Солженицына из одного интервью 1975 года: «...говорить правду — это значит возрождать свободу. Не считаясь ни с давлением, ни с интересами, ни с модами». И в том же интервью замечательный ответ на вопрос: «Что Вам кажется существенным? Свобода в понимании Монтескье или просто вера?» — «Я уже говорил, что они связаны. Истинная свобода — это как бы лестница Иакова. Она позволяет своим слугам взойти выше нее». Солженицын не раз подчеркивал главенство внутренней свободы над свободой внешней. Вся его жизнь и все творчество — пример такой воспитанной внутренней свободы.

И это нужно извлечь из его книги — воспитание в себе залогов «самостоянья», духовной независимости, иммунитета к ложным идеям, в какие бы словесные наряды, политическую фразеологию они ни были облечены. Недавний исторический опыт больше всего научил нас опасаться тоталитаризма. Но разве это *единственная* опасность? И в стремлении к свободе, и под демократическими лозунгами можно прийти к страданиям: межнациональные конфликты — только один пример. Вот что пишет Солженицын в той же статье «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни»: «Уж как наглядно, как дорого заплатило человечество за то, что во все века все мы предпочитали порицать, разоблачать и ненавидеть других, вместо того чтобы порицать, разоблачать и ненавидеть себя. Но при всей наглядности мы и к исходу XX века не хотим увидеть и признать, что мировая разделительная линия добра и зла проходит не между странами, не между нациями, не между партиями, не между классами, даже не между хорошими и плохими людьми: разделительная линия пересекает нации, пересекает партии, и в постоянном перемещении то теснима светом и отдает больше ему, то теснима тьмою и отдает больше ей. Она пересекает сердце каждого человека, но и тут не прорублена канавкою навсегда, а со временем и с поступками человека — колеблется.

И если только *это* одно принять, тысячу раз выясненное, особенно искусством,— то какой же выход и остается нам? Не партийное ожесточение и не национальное ожесточение, не до мнимой победы тянуть все начатые накаленные движения,— но только раскаяние, поиск собственных ошибок и грехов. Перестать винить всех других — соседей и дальних, конкурентов географических, экономических, идеологических, всегда оправдывая лишь себя.

Раскаяние есть первая верная пядь под ногой, от которой только и можно двинуться вперед не к новой ненависти, а к согласию. Лишь с раскаяния может начаться и духовный рост.

Каждого отдельного человека.

И каждого направления общественной мысли».

И если «Архипелаг ГУЛАГ» — великая антитоталитаристская книга, то что такое антитоталитаризм? Внутренняя, духовная свобода.

Эта книга — произведение великого русского писателя, а не речь великого прокурора, при том, что пафос обличения достигает в ней такой высоты, которой русская литература, видимо, до Солженицына и не знала.

Еще недавно верилось: стоит только обнародовать «Архипелаг ГУЛАГ», и — **Бирнамский лес пойдет!** Тогда взыщутся все обиды, от малой до великой, вся нагроможденная ложь, все закаменевшее зло рассыплются в прах и развеются перед лицом *такой* правды... Как трубный звук, призывающий на Страшный Суд истории,— таково было впечатление от «Архипелага», прочитанного потаенно.

На такую волну настраивало все, окружавшее эту книгу и ее автора: и судьба писателя («Блаженны изгнанные за правду...»), и почти катакомбная атмосфера таинства (прочел, заглянул *за завесу* — «молчи, скрывайся и таи»...), даже самый строй солженицынской речи, в которой раскатятся вдруг громово интонации библейского пророка... Прибавим сюда наши эсхатологические настроения, одними более, другими менее отчетливо предчувствуемая близость какого-то исторического завершения (и, соответственно, какого-то последующего исторического начала).

А главное, верить хотелось, вера нужна душе — в кого-то и во что-то. И такую веру многие из нас нашли в Солженицыне. Здесь речь о вере гражданской, что ли. Но дух времени и напряжение поисков создавали атмосферу вполне сакральную. Самое знаменитое произведение писателя, «Архипелаг ГУЛАГ», стал книгой легендарной, заветной, «глубинной» — порою и для тех, кто его не читал, а в лучшем случае вслушивался в солженицынское слово сквозь радиоглу-

шение. Удивительно ли, что от этой книги ждали *чуда*?

«Архипелаг ГУЛАГ» удивительно соответствовал и нашему характеру. Во что же и верить как не в правду? А здесь ее — через край, и она особая. Гонимая, утесняемая, сокровенная. Очень это прилегает к сердцу, очень «по-нашему»: прячут правду, утаивают, и вестимо — кто...

Не частная, не единичная, а миллионов умученных, страдавших. По праву сказано: «Я пишу за Россию безъязыкую...»

Наконец, такого накала правда, что никакая фальшь рядом не уцелеет. Тот же Н. Яковлев явно остерегался цитировать Солженицына.

С чем сравнить такое силовое поле?

Наши понятия о правде «Архипелаг ГУЛАГ» воплотил и количественно, и качественно. В этом измерении Солженицын не только равновелик современной российской литературе, а, быть может, его слово и весомее сегодня, чем ее, собирательное. Совершенно особое положение, беспримерный статус. Солженицын и «Архипелаг», «Архипелаг» и Солженицын — это превратилось в единый феномен нашего сознания, с которым связывались самые напряженные ожидания, от которого чаяли не литературных, а *жизненных* перемен. На «высшей точке» этих ожиданий и высказались за публикацию так дружно и единодушно.

И вот — опубликовали, а где же предполагаемый всеобщий разговор, великое взыскание? Растерянно молчим. Неужели устали душевно настолько, что покоя сегодня хотим больше, чем вчера хотели правды? Или в том дело, что и «освобожденный» «Архипелаг ГУЛАГ» требует от нас духовных усилий, возможно, больших, чем вчера?

Что же, признать преувеличения, согласиться со скептиками? Они и вчера урезонивали: бросьте романтизировать, носиться со своей *правдой*! Жизнь изменяют не слова, а поступки. Пошумите вы вокруг «Архипелага», а там переметнетесь к очередному «отвоеванию гласности» — так и *проболтаете* всю жизнь. А народ — он ваших книжек не читает, он хлебом насущным озабочен...

Много в этих словах и справедливого. Народ «самой читающей» страны в цеху наломался, на дойку затемно вставать, за прочим извинительным недосугом — впрямь не книжками в первую голову озабочен. Но впадать по этому поводу в нервическое беспокойство — темный он у нас, непросвещенный! — такая же крайность, как и романтические упования на чудо.

Не мало и того, что имеем: полуторамиллионный тираж «Нового мира» надо умножить вдвое (семейное прочтение). А знакомые? А библиотечный оборот?

Мы сегодня свидетели *посева*, и рано еще загадывать о *плодах*. Но я скорее поверю не скептикам, а писателю, как-то сказавшему, что результаты широкого и свободного чтения «Архипелага» на родине будут во многом необратимы. Жизнь действительно изменяют не слова, а дела, но и по евангельскому откровению и по данным психологии: вначале — Слово. Оно первопричина, импульс.

Горячность и нетерпеливость ничуть не лучше медлительности и косности. У Бердяева мелькает такое выражение: «метафизическая истерия русской души». По особенностям нашего характера нам вынь да положь сразу все — всю правду-истину и всю справедливость с ее торжеством, а на меньшее мы не согласны... Такой максимализм чреват опасными срывами; тот же Бердяев заметил, что русская вера и русский нигилизм глубоко взаимосвязаны и могут «перетекать» друг в друга.

Не бросаться искать еще более «глубинную» правду надо, а начинать совместно искать пути взаимопонимания. Ведь большей правды о нашей жизни и истории в этом столетии нам, быть может, никто не скажет. Пора не только другим учительствовать, но и на себя оглянуться, у самих себя поучиться. Пора начинать диалог.

Как бы ни раздирали нас политические противоречия, есть пути этого разговора: не все в нашей жизни, слава Богу, определяется политикой. Для такого разговора необходимо поистине свободное и нестесненное слово, какого до А. И. Солженицына у нас, согласимся, еще не было. Нужна и атмосфера если не согласия (где уж!..), то настроенности на поиск истины и друг на друга; не надо, заслышав «противное слово», впадать в буйство. Искать пути ко внутренней свободе — этому учит нас «Архипелаг», об этом говорит А. И. Солженицын.

Возвращаясь к вопросу о том, какие всходы даст слово Александра Исаевича Солженицына, повторю, что это зависит только от нас. Типологически же ситуация описана уже давно, в притче о сеятеле и о зернах, упавших при дороге, в места каменистые, в тернии и на добрую землю. «Сеятель слово сеет» (Марк, IV, 14); «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: ко всякому слушающему слово о Царствии и не разумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его; вот, кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен: так что иный приносит плод во сто крат, иный в шестьдесят, а иный в тридцать» (Мф, XIII, 18—23).

г. Саратов

Вл. Новиков

РАСКРЕПОЩЕНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ ЧИТАТЕЛЯ

1

Поезд приближается к станции «Белорусская». Что читают сегодня пассажиры — сидя, стоя? Журнальный колонтитул заметен издалека, на нем хорошо знакомой гарнитурой «Балтика», прописными буквами: «АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ»...

Да ведь именно здесь происходило описанное в этой книге: «А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро «Белорусская-радиальная», он залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам двумя параллельными эскалаторами поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня!.. А я — я молчу еще по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне все равно мало — мало! Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами?.. Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам...»

Вот и доходит этот крик до миллионов: публикация «Архипелага» стала кульминацией гласности восьмидесятых годов. Верим и надеемся, что под знаком правды пройдут и девяностые, а на этот раз хочется вспомнить читательский опыт доперестроечной эпохи. Недальнее это прошлое просится в разговор, что-то есть в нем такое, что может еще пригодиться.

2

Русский человек любит вставлять себя в историческую раму. Помните чеховского Гаева? «Я человек восьмидесятых годов... Не хвалят это время, но все же могу сказать, за убеждения мне досталось немало в жизни». Без приписки к какому-нибудь десятилетию, славному или бесславному, мы словно голышом себя чувствуем. «Когда я поступил на первый курс, хоронили Жданова. Когда заканчивал последний, хоронили Сталина»,— со значительной интонацией сказал мне как-то старший коллега. Что ж, у нас тоже были свои вехи: на первом курсе — процесс Синявского и Даниэля, в год окончания — разгром «Нового мира». Готовились мы в шестидесятники, а пришлось семидесятниками становиться. «Не хвалят это время»,— можно вслед за Гаевым сказать. Но дело не в хвале или в хуле, а в том, кто мы такие и зачем сюда пришли.

Много читали мы в то время. Говорили меньше. Перед выпуском госэкзамен предстоял по научному коммунизму. «А что это за предмет такой?» — спросил стажер-англичанин. — «Ну, scientific communism по-вашему». — «Communism and scientific?» («Коммунизм — и научный?») — улыбнулся иноземец. А после экзамена одна дама из комиссии радовалась: «Очень идеологически подготовленный курс. Я спросила одну девушку о самиздате, а она в ответ: «А что это такое?»

Действительно, считалось тогда, что лучшая подготовленность — это неведение. «Не читал» — спасительная уловка при разговоре на скользкую тему. А на самом-то деле... Привозные книги и журналы, раздерганные на листочки, прошедшие через сотни рук. Толстенные пачки мутных фотокопий. Машинописные фолианты. Наконец, совместное производство тамиздата и самиздата — переплетенные ксероксы зарубежных изданий: достойными наследниками Гутенберга и Ивана Федорова оказались дерзкие нарушители служебных инструкций, те, что на казенной технике прокатывали «Лолиту» и «Чонкина» вместо положенных протоколов и социалистических обязательств... «Нет ли чего-нибудь почитать?» — сразу понималось, что имеется в виду. Давали, как правило, на короткий срок, по ночам сиживать приходилось. Это ведь не то, что теперь: «Аргументы и факты» наскоро просмотрим, а журналы с возвращенными шедеврами складываем в стопку: дескать, надо прочесть. А вот когда не было «надо» — просто читали.

3

Совершенно не хотелось бы кичиться своим читательским стажем и опытом перед теми, кто лишь теперь открыл для себя Набокова и Солженицына, кто впервые прочел «Доктора Живаго» в «Новом

мире», а «Воспоминания» Н. Я. Мандельштам — в «Юности». Более того: наибольшие надежды в самом широком социально-духовном плане я возлагаю на то читательское поколение, которое начало формироваться уже после 1985 года. На тех, кому уже никогда не придется, наступив на ум и совесть, повторять: «Долой литераторов беспартийных!», зазубривать, стараясь не вдумываться в смысл, формулировки «Краткого курса», писать сочинения о «Малой земле». На тех, кто эпитет «антисоветский» будет воспринимать как элемент устаревшей лексики. У кого не уйдет полжизни на преодоление бессмысленных умственных ограничений, кто внутренней свободой сможет не втайне гордиться, а открыто пользоваться — в интересах своих и общественных.

И все же — есть что-то важное в опыте тех, кто прочел «Лолиту» и «Дар» при живом авторе, кто мировоззренческую эволюцию Солженицына успел хоть отчасти проследить в динамике, кто Аксенова, Бродского и Войновича воспринимал в двух ипостасях: до и после отъезда. А главное — что каждому из нас приходилось искать свои, индивидуальные аргументы в защиту каждого писателя, «оклеветанного молвой» тоталитаризма.

Существует такая удобная модель поведения, под которую мы охотно подстраиваемся: дескать, пока не знал правды, я думал так, а, узнав правду, стал думать по-другому. До сих пор схема эта выпирает даже в новейших официальных документах: ведь и события 1968 года осуждены только что «в свете ставших известными фактов». Будто бы без этих фактов кто-то искренне считал въезд танков на улицы Праги благим деянием! Но не будем придираться к дипломатичности официальных формулировок, ибо обусловлены они одной вечной особенностью человеческого сознания: «во многом знании — многая печаль». Тяжело нести с собою по жизни страшное знание, и есть две защитные реакции — либо молчаливый страх, либо ото всего отгораживающийся цинизм. По письменным свидетельствам времен «оттепели» как-то выходило, что все прозрели в основном после двадцатого съезда КПСС, что до него большинство людей «всего этого» не знало. А из неформальных разговоров с теми, кто жил в 30-е годы, вырисовывалась картина несколько иная: знали и видели предостаточно, но старались не суммировать факты, уходили от страшных обобщений. Потому и после 1964 года многие так легко начали «забывать» по новому кругу. Да и сегодня — все ли окончательно оттаяли от страха?

Вот и первая реакция на «Архипелаг Гулаг» была тогда — страх. Не сами факты поражали: удивить нас можно было не беззакониями, а скорее проблесками законности. Другое было ощущение: ну, зачем этот Солженицын взваливает на меня все это. Как я выдержу такой груз? Свидригайлов говорит о Раскольникове: «Сколько он на себе перетаскал!» Вот и автор «Архипелага» заставлял нас перетаскивать на себе непомерную тяжесть. Дело не в идеологических иллюзиях! В нашем кругу тогда сталинистов уже не было. Скажу более: и таких уж верных ленинцев среди своих ровесников мне встречать не довелось. Простое доказательство: того самого собрания сочинений Ленина, на которое Солженицын так часто ссылается, что-то ни у кого из людей своего возраста я дома не видел. Испытание «Архипелагом» не в том состояло, чтобы из «ортодокса» перейти в «диссиденты», а в том, чтобы вобрать в себя всю сконцентрированную этой книгой боль миллионов и не впасть в обезболивающий цинизм.

С тех пор и носишь в душе, постоянно помнишь всех персонажей «Архипелага». На Советской площади есть монумент, открытый в 1954 году, в художественном отношении абсолютно бездарный. Была с ним связана анекдотическая история насчет чересчур натуралистического изображения коня, на коем восседает основатель столицы. Солженицын придал этому сооружению другой смысл: «Всякий раз, когда вы проходите в Москве мимо памятника Долгорукому, вспоминайте: его открыли в дни кенгирского мятежа — и так он получился как бы памятник Кенгиру». И это было нами принято: с тех пор и доныне служит конная статуя напоминанием о женщинах, раздавленных танками Т-34.

Но не только мемориальную миссию выполнила эта книга — хотя документально-историческая основа ее сама по себе имеет колоссальное значение. Главный урок «Архипелага» в том, что он учит смотреть в лицо жизни и правде, в том, что страшная конкретность бытия важнее любых идеологических концепций. Гневный голос автора здесь не диктует нам, как должно воспринять изображенное, он помогает вобрать в себя как можно больше боли. Произведение без беллетристического вымысла оказалось мощной художественной структурой симфонического звучания. Когда Набоков в интервью по западному радио назвал Солженицына всего лишь «историком», это сразу вызвало несогласие. Впрочем, даже сам автор «Архипелага», как свидетельствует «Послесловие», не сразу осознал характер своего произведения: ему казалось, что эту книгу можно было писать коллективно, призывая всех дописывать ее и исправлять. Иначе говоря, главную роль книги понимал как документальную, информационную. Но уже в постскриптуме «И еще через десять лет» Солженицын признается в невозможности вписать в текст «Архипелага» новые факты и свидетельства: «...Книга отказывается принять в себя еще и все это». И можно объяснить почему: нервная, энергичная целостность замкнулась. Отпечаток авторского слова

и авторской личности оказался неповторимым. Это и называется искусством.

Теперь представилась возможность сравнить свои тогдашние читательские впечатления с теперешними. Книга ничуть не растеряла свою экспрессивность и динамику (извините за эстетизм, но он необходим для полной ясности). Ее можно открыть в любом месте — и она затянет, заставит себя читать, совершенно заново переживая уже известные нам трагические события.

И у художественной этой динамики («сильности» — если по-русски) есть нравственное значение. Современного человека не так-то просто заставить следить за страшными реалиями, он от них не прочь уйти, скрыться в незнание, в нежелание знать, в полное равнодушие. Иной раз приходится слышать, что это происходит с западным читателем. Но задумаемся лучше: не может ли вирус невосприимчивости коснуться и наших сограждан, пока еще осаждающих витрины «Московских новостей», «благо» в магазинных витринах смотреть нечего.

Не растерять бы этот интерес! И тут абсолютно нелепыми предстают сыторавнодушные разговоры о соотношении «художественности» и «публицистичности». Да что бы ни писал сегодня литератор — роман, очерк, трактат, стихотворение, пьесу, статью, памфлет,— ему в равной мере приходится искать действенное и точное слово. Чтобы услышали, поняли, почувствовали. Кого — художника или публициста — это уж потом как-нибудь разберемся!

Так вот, «Архипелаг ГУЛАГ» и как произведение художественное, и как произведение публицистическое гораздо шире своей непосредственной (и, повторю, важнейшей) темы. Он тренирует социальное зрение, укрепляет нравственное бесстрашие. Снова соприкоснувшись с этой книгой, живее воспринимаешь сегодняшнюю боль. Видишь, как те же кенгирские танки проходят по Праге, а потом по Кабулу. Без надрывов и истерик начинаешь понимать, что, хотя возмездие истории неотвратимо, преступность стала сегодня неотъемлемой чертой нашего общественного строя, каким бы «измом», он ни обзывался. Книга эта — не только дань «печальному прошлому», это и тревожное пророчество.

4

Три главных «кита» потаенного чтения 60—70-х годов — это Солженицын, «Доктор Живаго» и Набоков. Три испытания духа, три погружения в глубину. И, надо сказать, эти «три источника» высшего читательского образования в нашем сознании той поры спокойно и гармонично сочетались. Видимо, духовная жажда так сильна была, что страстно припадали к каждому ключу. И еще: сильным было отталкивание от господствовавших «моноструктур», от предписанных и готовых ответов на все на свете: птица — курица, фрукт — яблоко, поэт — Пушкин, самый передовой строй — ну и так далее... Не любили мы число «один» и превосходную степень прилагательных. Так что и теперь, слыша из весьма уважаемых мной уст что-нибудь вроде: «На мой взгляд, Бродский — лучший современный русский поэт»,— я не могу отделаться от аналогии с формулой «лучший, талантливейший». Думаю, что эстетика внутренне плюралистична, что начинается она, по крайней мере, с «двойственного» числа. Если перед нами великая культура, то в ней каждое творческое амплуа представлено как минимум двумя крупными художниками.

Короче говоря, столь непохожие друг на друга классики XX века не противопоставлялись нами друг другу, ибо каждый из них по-своему помогал раскрепоститься, вырваться за пределы идейных стандартов эпохи. Что же дал нам Набоков?

Встречу с ним упреждали два штампа: «сексуальный бестселлер» (это о «Лолите»), «пасквиль на Чернышевского» (это о «Даре»). Если не ошибаюсь, формулировки из Краткой литературной энциклопедии. Впрочем, тех, кто этим характеристикам поверил, ждало разочарование. «Сексуальность» «Лолиты» оказалась более чем проблематичной. Конечно, буквальный смысл ее фабулы надо было преодолеть, перешагнуть. Многие шли легчайшим путем, отгораживаясь от глубинного смысла романа оценками типа «художественно, но безнравственно». Другим, мне в том числе, казалось, что сюжет «Лолиты» принципиально расходится с ее фабулой, что эта книга не о причудливой страсти к «нимфетке», а о феноменологии страсти как таковой. Искусство не терпит тавтологии, и избирательность, «единственность» любовного чувства трудно показать на добропорядочном материале. Понадобилось нечто экстремальное, чтобы добраться до глубины того, что каждый из нас носит в себе. Попросту говоря, «Лолита» — продолжение того разговора «о странностях любви», что был начат русской классикой прошлого века. Сегодня, когда «Лолита» издана у нас массовым тиражом, она, похоже, не вызвала ни малейшего оживления в рядах любителей «клубнички». Гумберт Гумберт, заучивающий наизусть, как поэму, список класса, в котором учится Лолита,— это в эпоху видеотекса почти тургеневский герой.

И «Дар», оказалось, отнюдь не о Чернышевском (чей престиж неуклонно, увы, снижался независимо от иронии Годунова-Чердынцева), а о глубоком кризисе «идейности» как таковой, о торжестве живой жизни. Классика прошлого века с ее духовным максимализмом все время задавалась вопросом, не напрасен ли, не случаен ли этот дар. Классика века двадцатого сложилась в споре с теми,

кто решил принести «напрасный дар» в жертву отвлеченным идеям. Реабилитация природного и личностного в человеке (вспомним тут же солженицынские «В круге первом», «Раковый корпус»), отказ от всех форм стадной идеологии, возвращение к индивидууму как точке гуманистического отсчета — не это ли доминанта тех разных писателей и произведений, которые мы собираемся взять с собою в приближающийся двадцать первый век?

«Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании слов»,— прорывается вдруг сквозь неизменную иронию у Набокова. Долго нас учили, что эта свобода должна иметь пределы, что ее во имя высших целей надлежит обуздывать. Целый век ушел на опровержение подобных идей.

5

Но не на одних «китах» только держался наш читательский мир. Круг чтения был широк и потенциально неограничен. Мастера эпатажа Алешковский и Лимонов мирно соседствовали здесь с целомудренным Г. Владимовым, авангардисты Саша Соколов и Юрий Мамлеев с реалистами Шаламовым и Максимовым. «Иностранность» изданий не была единственным знаком качества. Имена Ахмадулиной и Тарковского, Искандера и Битова читательским мнением были поставлены в самый первый ряд еще тогда, когда официальное признание их было далеко, а сама мысль о присуждении им каких-то правительственных премий показалась бы просто неудачной шуткой. К концу семидесятых годов нам уже стало ясно, что понятие «русская литература» не может не включать литературную эмиграцию, хотя не было еще слова «зарубежье».

О писателях-эмигрантах говорили: «русская литература» (не советская же!). Так же говорили о настоящих русских писателях, живущих в СССР. Слово «русский», таким образом, звучало гордо и было исполнено объединительного смысла. Слово «советский», чего уж там греха таить, было совершенно обесценено, и мы не могли предугадать, что в конце восьмидесятых годов у этого слова появится шанс на новую жизнь в связи с возрождением старого лозунга «Вся власть Советам!». В неформальных наших беседах советскими назывались писатели конъюнктурного типа, а русскими — те, кто хорошо пишет на русском языке, вносит ценный вклад в русскую литературу. И уж конечно, выражение «русский писатель» никак не соотносилось с анкетными данными литератора. Нам в ту пору показалось бы диким называть русскими писателями буйных ораторов печальной памяти ноябрьского (1989 г.) пленума СП РСФСР, вроде Анатолия Буйлова. Чтобы носить звание русского писателя, необязательно быть русским по паспорту, но обязательно уметь писать. Нуждается ли это в доказательстве? Тогда не нуждалось, а сегодня, похоже, дело обстоит иначе.

Ладно, не о том речь. А о том, что, не избалованные изобилием полноценной духовной пищи, мы были внимательны к тому лучшему и ценному, что есть в том или ином произведении, в творчестве того или иного писателя. Сейчас же, в условиях журнально-издательского бума, повышенную роль начинают играть факторы репутации, рекламы, внелитературного успеха. Раньше главной проблемой для автора нетривиальной вещи было напечататься. Теперь новая проблема возникает — как быть прочитанным.

6

Господь бог охотнее терпит тех, кто его вовсе отрицает, чем тех, кто его компрометирует.

В. Шербюлье

Важная грань нашего тогдашнего запретно-сладостного чтения — религиозная тематика. Слово «верующий» в шестидесятые годы звучало как-то выделительно, как название признака, отличающего человека от остальных. Семьдесят лет принудительного атеизма, насаждавшегося сверху атеистического фанатизма — срок немалый. И все-таки выкорчевать корни христианского культурного самосознания не удалось: помешали традиции семейные, литературные, научные.

На филфаке МГУ мы занимались в семинаре профессора Г. Н. Поспелова «Братьями Карамазовыми». Недаром К. Воннегут сказал, что нет ничего на свете, что не было бы сказано в этом романе. Мы говорили друг с другом сплошными цитатами оттуда, и их хватало, чтобы обозначить все происходящее вокруг. Руководитель семинара, сам беспартийный, приучал нас к социологическому подходу, не совсем совпадавшему с общепринятым. «В нашем бюрократизованном государстве...» — ронял он между делом, когда речь заходила о современности. Материалистические постулаты не исключали необходимости добросовестного изучения евангельских истоков романа Достоевского. В университетской научной библиотеке Ветхий и Новый Завет выдавались в читальном зале. Пути веры и тупики неверия постигали мы вместе с героями Достоевского, и наше представление о христианстве потому, наверное, во многом сохранило черты беллетристической еретичности.

Не строгая обрядовость нас привлекала в то время, а потенциальная многозначность евангельских образов и сюжетов. В 1968 году Вяч. Вс. Иванов ухитрился втиснуть в комментарий к «Психологии искусства» Л. С. Выготского стихотворение Пастернака «Гамлет», сразу привлекшее наше внимание. В сознание навсегда впечатался неортодоксальный образ Гамлета-Христа. А потом разными путями приходил к нам полный текст

Евангелия от Пастернака. О романе «Доктор Живаго» бурных споров в неформальной среде семидесятых годов особенно не припомню. Просто, как точно написал Е. Б. Пастернак, «целое поколение сформировалось с глубоким внутренним учетом его текста». А для какой-то части этого поколения ассоциативная связь между Юрием Живаго и Христом, Ларой и Магдалиной оказалась чрезвычайно прочной.

Читали мы в ту пору и Соловьева, и Бердяева, и Флоренского, и новейших религиозных мыслителей, следили за «Вестником русского христианского движения». Спорили, как водится, о Боге, пускаясь в метафизические умствования. Со скорбью и негодованием узнавали о мучениках XX века, о преступном надругательстве режима над верой. С уважением относились к тем, кто блюдет обряды, но, повторяю, некоторая еретичность в религиозных вопросах в ту пору не считалась предосудительной: без нее, наверное, не могли бы сложиться в конце прошлого века и феномен русской интеллигенции, и русский философско-религиозный идеализм. Недаром все-таки слово «православие» на европейские языки переводится как «ортодоксия». Нам внутренне чуждо было то, что Бердяев называл «православием без христианства», в чинной церковности виделось иной раз чуть ли не сходство с правящей партийной ортодоксией.

Иное отношение к религии явили в то время пылкие неофиты, разочаровавшиеся в «шестидесятнических» социально-утопических идеалах и припавшие к вере, как к водке (да простится мне такая кощунственная аналогия, но она не выдумана, а почерпнута из жизни). Многие из них уже в довольно зрелом возрасте впервые узнали о Понтии Пилате от Булгакова (что, замечу, не принижает духовного и культурного значения романа: лучше поздно, чем никогда). Смущали в этом какая-то нецеломудренность, театральная экстатичность, показной надрыв. Припоминаю, как одна работающая в стиле «а-ля рюс» поэтесса возопила со сцены ЦДЛ: «Нужна нам вера, а не блуд!» За чем же дело стало? Веруй, а не...

И вот — твердыня догматического атеизма рухнула. По телевизору звучат воскресные проповеди, причем проповедники духовного звания свободно чередуются со светскими глашатаями вечных истин (приходится констатировать, правда, что вторые, а иногда и первые риторической техникой владеют слабо, беседуют вяло и однообразно, видимо, для восстановления культуры проповедничества еще потребуется время). Сегодня уже никого не уволят с работы за ношение креста, и даже глава государства не скрывает того факта, что при рождении был крещен. Казалось бы, все предпосылки для плюрализма в вопросах веры, для свободы совести.

Но странное дело: навыки тоталитарного мышления обнаруживают себя и в религиозных формах. Возьмем для прозрачного примера нашу орфографию. До революции Бог непременно писался с прописной буквы, потом его беспощадно «понизили», и, скажем, для поэта «протащить» в печати написание с большой буквы было определенной победой над цензурой. А что же теперь? Открываю газету со своей вполне светской театральной рецензией и с изумлением обнаруживаю в словах «один Бог ведает» прописную букву: то ли наборщик, то ли корректор «повысил» строчную. Конечно, я прежде всего сам устыдился, что употребил высокое слово всуе. Но интересно: возможна ли у нас в принципе свобода выбора в данном вопросе — или же неизбежна унификация — и орфографическая, и духовная?

Как-то грустно становится, когда наблюдаешь начетническое цитирование религиозных философов — без понимания, без диалогического с ними контакта — ну точь-в-точь, как раньше на классиков марксизма ссылались. Или читаешь слабенькие стихи, проходящие по линии «духовной поэзии» — как прежде по линии поэзии «идейной». Или в журнальном диалоге двух поэтов увидишь такую реплику: «Я тоже верю в Бога» — этак походя, как оглашение анкетных данных. Все-таки хочется, чтобы вопрос о вере мог оставаться интимной тайной. Приведу фрагмент из одного интервью Иосифа Бродского: «Каковы ваши религиозные убеждения? — Религиозные убеждения каждого человека — это его сугубо личное дело.— Именно поэтому я об этом и спросила.— Именно поэтому я ничего рассказывать не стану».

Церковь сегодня вновь обретает то место, которое она по праву должна занимать в цивилизованном государстве. Ответственные лица в белых клобуках все чаще выходят на авансцену общественной жизни. Менее заметны почему-то те «рядовые» служители церкви, которые в суровые годы бросали вызов тоталитаризму, чье слово было не только умиротворяющим, но и освобождающим.

7

Заметили ли вы, что в условиях гласности в литературе поубавилось смеха, меньше стало юмора и иронии? Нет, я далек от ностальгии по застою: просто перед нами факт, нуждающийся в объяснении. Почему это вдруг Михаил Жванецкий и Михаил Задорнов перешли от уморительных шуток к жестко-однозначному сарказму, к аналитическим, почти научным обобщениям и формулам? Почему так посерьезнели Фазиль Искандер и Валерий Попов? Почему Владимир Войнович не улыбается нам с экрана — теперь, когда «Чонкин» и «Иванькиада» опубликованы на Родине? И даже к анекдотам отношение серьезное: Юрий Борев самым академическим образом си-

стематизирует анекдотическую «сталиниану», Владимир Бахтин по ленинградскому телевидению дает сопоставительный разбор анекдотов о руководителях страны в разные периоды. Того и гляди появятся темно-зеленые «литпамятники» с золотыми надписями «Армянское радио», «Василий Иванович», после чего выйдут о них серьезные статьи социологов, политологов и экономистов.

Все закономерно: пришло время двусмысленный смеховой язык переводить на однозначно-серьезный, пришло время «рассекречивать» намеки. Не растерять бы только ту энергию остроумия, которая выработана предыдущими десятилетиями. Ведь как помогали нам отличить черное от белого, ложь от правды нескладный Чонкин и похожие на него персонажи песен Высоцкого, неувядаемо-юношеская ироничность Аксенова и замысловато-теоретичные гиперболы Зиновьева, зоркий юмор Довлатова и диалектическая игра смыслами Андрея Синявского... Следовало, наверное, сказать: Абрама Терца, поскольку книги за подписью «А. Синявский» (например, книга о В. В. Розанове) написаны на другом языке, академически-серьезном. Но дело в том, что некоторые истосковавшиеся по разгромам и проработкам члены писательского союза в своих печатных доносах стали употреблять псевдоним Синявского как «настоящую» фамилию (жива еще память о борьбе с космополитизмом) или же писать по той же ждановской модели «Синявский-Терц». Может быть, писателю придется принять это соединение фамилий. Прецеденты имеются: ну хотя бы Салтыков-Щедрин.

Я вспоминаю, как встречены были «Прогулки с Пушкиным» в середине семидесятых годов, когда некоторое число экземпляров этой книги добралось до Москвы. Естественно, впечатлениями о прочитанном тогда делились друг с другом, причем, как всегда это бывает в доверительных разговорах, высказывались достаточно размашисто. И не помню, чтобы кто-нибудь тогда обиделся за Пушкина. Все, в общем, понимали игровую условность «Прогулок». Понимали, что Синявский следует старинной традиции «хвалы через хулу», что фамильярный контакт с классикой — один из способов проникновения в ее глубины. На уже упомянутом писательском пленуме А. Турков пробовал объяснить залу, что сам Пушкин не был врагом шутки и пародии, что это Сальери у него оскорблен «искаженнем» Моцарта (помните слепого скрипача?), а сам-то Моцарт — ни в малейшей степени. Куда там! Шум, свист. Видно, слишком мало было в зале людей моцартианского склада. А какие остроты звучали в высоком литературном собрании! До сих пор не могу поверить, что туповатая шуточка, что, дескать, у наших руководителей, помимо «Правды», есть еще и «Пионерская правда», принадлежит писателю, автору «Живой воды». Вот что делает мертвая вода групповых амбиций даже с талантливыми людьми!

8

Мы — семидесятники. Не уточняю, кто входит в понятие «мы». Речь о каждом, кто сам согласится себя туда включить,— независимо от возраста. Наш читательский опыт богаче социального, и мы до сих пор, откровенно говоря, не знаем, как его использовать.

Главный смысл этого опыта — склонность и готовность к пониманию разных точек зрения, пусть взаимоисключающих. Мы живем без иллюзий, не верим никаким обещаниям и сами стараемся таковых не давать. Мы больше верим в человечески-индивидуальное, чем в общественное начало. Мы скорее скептики, чем энтузиасты. Многое в сегодняшнем оживлении нам кажется наивным: об этом мы уже читали. Слово «гласность» нам известно еще по спорам Герцена с Добролюбовым, а слова «к перестройке вся страна стремится» мы запомнили у Саши Черного.

Трудно нам быть оптимистами, но и пассивный пессимизм не менее банален. Мы не вычисляем, какова вероятность реальной победы перестройки, поскольку вопрос о будущем сопряжен сегодня с необходимостью решительного выбора и решительного социального перелома. К этой мысли подводят все книги, старые и новые.

9

Минута молчания.

Тяжелы потери восьмидесятых годов. Высоцкий. Трифонов. Тендряков. Некрасов. Андрей Тарковский. Каверин. Арсений Тарковский. Эйдельман.

Сеятели свободы. И вот теперь — первый из сеятелей Андрей Дмитриевич Сахаров. Мы еще почувствуем потом, как раскололось время на две части: до и после его смерти.

Будем искать утешение в написанном им. И помнить, что истина — не посередине, не там, где царят усталость, неверие, злоба, умственная лень. Истину всегда выталкивают на край, и за здравый смысл приходится платить жизнью.

10

«Великий русский читатель»,— сказал не склонный к патетике Набоков. Но и у читательского идеализма есть пределы. Предоставим иностранцам изумляться нашим странным квартирам, где, кроме книг, почти ничего нет, нашим страстным разговорам о глобальных проблемах при абсолютной нерешенности проблем элементарно-бытовых. Читать становится все трудней...

В городе Кирове (бывшая и будущая Вятка) из окна автобуса увидел я транс-

парант с каким-то текстом и подписью: «Академик Д. С. Лихачев». Автобус был так набит, что текст прочесть не удалось, заметил только, что о культуре речь идет. Поначалу наивно обрадовался: наконец-то вместо бессмысленных идеологических афоризмов на всеобщее обозрение выставляются разумные высказывания. А потом призадумался. Как-то странно смотрится призыв к культуре на фоне пустых магазинов, усыхающей реки Вятки, ядовито дымящего вдали Кирово-Чепецка...

Нет, все-таки недооцениваем мы виртуозность наших бюрократов. Как ловко и необременительно для себя боролись они семьдесят лет за подметание улиц! Кстати, дворников, говорят, не хватает, а откуда они возьмутся, если люди, созданные природой для этого ремесла, почти все находятся на руководящей работе? Так вот, теперь они за подметание уже не борются: безнадежный, видимо, вопрос, зато очень полюбили культуру. Дмитрий Сергеевич с болью и ужасом говорит о гибели музеев и библиотек, об утрате исторической памяти, а они его слова — на транспарант: вот и дело сделано, дешево и сердито.

А на съездах и сессиях они же еще так трогательно увещевают нервных радикалов: что же вы это, братцы, все о шмотках да о колбасе, а про культуру да про духовность позабыли? Сразу и не раскусишь эту игру, лишь потом сообразишь, что таким хитроумным способом они свою личную номенклатурную колбасу замечательно защищают. Нет такого слова, смысл которого нельзя было бы исказить и обесценить. «Культура» — не исключение.

Поэтому досадно, когда к такому обесцениванию невольно оказываются причастными и некоторые мастера культуры. Стремясь уберечь своих сограждан от «американизированной» бездуховности, они настойчиво рекомендуют им читать побольше книжек, не думая о колбасе и джинсах. С такими проповедями и спорить как-то неудобно, но надо. Давайте разбираться. Во все времена были, есть и будут люди, у которых духовные потребности счастливо доминируют, люди, равнодушные к комфорту и мелочам. Но никогда они не составляли и никогда не будут составлять большинства — не почему-либо, а по законам природы и здравого смысла. И не совсем честно со стороны литератора советовать читателям: «Делай, как я». Ибо нельзя не учитывать существенную разницу между человеком пишущим и человеком читающим, между, так сказать, homo scribens и homo legens.

Homo scribens при всем возможном драматизме и трагизме своей судьбы — человек изначально счастливый, по большому счету обеспеченный. Обеспеченный постоянно душевной и творческой занятостью. Забота о том, чтобы сказать свое слово и быть услышанным, естественное профессиональное честолюбие отлично освобождают от власти мелочей. Бессребреничество для литератора не доблесть, а норма (об отклонениях, о фанатиках миллионных сберкнижек мы не говорим). Но объявлять это нормой для всех и каждого литератор не имеет права. Да, мы готовы к тому, что до конца нашей жизни все будет в материальном аспекте примерно так же. Готовы стоять в очередях за предметами первой необходимости (хорошо, когда в таких случаях при себе есть интересная книга или корректура собственного сочинения), готовы считать большой удачей приобретение пакета гречневой крупы. И все же — нашего читателя нужно еще и накормить, и обогреть, и вылечить. Иначе разговорам о духовности — грош цена.

11

Нет, читателями-то мы, конечно, останемся. Но творимый на наших глазах текст нашей жизни очень нуждается не только в чтении, но и смелом дописывании, ибо «книга жизни подошла к странице, которая...»

Об этом нельзя забывать

Эту книгу Всеволода Остена я читал с особым чувством. Дело в том, что мы около трех лет вели переписку, а вот встретиться все не удавалось. В один из его редких приездов в Москву меня не было в городе, и вот он написал, что 11 августа приедет в дом творчества «Голицыно», и наконец-то наша встреча должна состояться, но... она не состоялась... Не увидел и Остен своей книги — трехлетнее пребывание в гитлеровских лагерях и все муки, принятые им там, укоротили жизнь этого достойного и талантливого человека. И, читая его книгу, не перестаешь удивляться, каким чудом он выжил в лагерях, и понимаешь, почему вконец было подорвано его здоровье.

Эта книга сегодня читается совсем по-другому, чем читалась бы несколько лет тому назад. Сейчас мы уже знакомы с лагерной литературой, прочли Шаламова, Гинзбург, Ларину, Жигулина, буквально сегодня широкой публике стал доступен «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, мы увидели страшную похожесть лагерей сталинских и лагерей гитлеровских, о которой впервые сказал В. Гроссман в книге «Жизнь и судьба». Но, кроме похожести, есть и различия, от которых становится не по себе: в гитлеровских лагерях сидели все же противники режима, а в наших — создатели и приверженцы его. Но способы и методы уничтожения людей были почти одинаковыми. И там и тут безысходность судеб попавших за колючую проволоку.

В общем-то и герой повести попал в лагерь уничтожения не просто как военнопленный. По законам рейха он совершил преступление. И здесь тоже видится какой-то парадокс: молодой лейтенант, почти мальчишка, безропотно выполняет все приказы начальства, а они в период нашего отступления были разные — и нужные, необходимые, а порой и бессмысленные, что в общем-то понятно и объяснимо в неразберихе отхода, отсутствия связи между разобщенными частями, но ему и в голову не приходит как-то критически отнестись к тому, что происходит. Но вот он попадает в плен. Ему везет, одна фрау забирает его к себе на ферму. Казалось бы, радуйся, работай, тебя плохо ли, хорошо, но все же кормят, ты в безопасности, по сравнению с лагерем, можно сказать, лафа. Ан нет, оскорбленный хозяином, этот мальчишка хватает доску и чуть ли не убивает обидчика, после чего убегает, проходит пол-Германии, и ловят его уже на швейцарской границе. Разумеется, суд и в результате — каторжный лагерь.

Парадокс в том, что послушный сталинскому режиму советский человек, который и подумать не может, не то что протестовать против несправедливостей (а не видеть их было невозможно), попав в плен, вдруг преисполняется чувством собственного достоинства, не может простить оскорбления и, зная, что может поплатиться жизнью, безоглядно идет на сопротивление. И вот он попадает в смертный лагерь, где выжить — чудо.

В книге В. Остена спокойный, как бы отстраненный тон повествования, точно выписанные характеры обитателей лагеря, достоверные события и детали. От этого ледяного спокойствия, с которым описывает писатель кошмары лагеря, читателю становится жутковато, потому что он понимает причину этого спокойствия: весь ужас и бесчеловечность существования людей в лагере смерти превратились в б ы т, стали обычным образом жизни. Ведь если реагировать на каждый случай — на жестокие избиения, издевательства, на постоянные казни, на дым крематория, то не выживешь, погибнешь раньше, чем наступит гибель физическая. Чтобы выжить в этом аду, надо было собрать в кулак все свои чувства, все свои жизненные силы, совладать с собой, не приходить в отчаяние от того, что видишь каждый день и что висит над тобой ежечасно. Ведь твоя жизнь зависит от каждого охранника, каждый из них (все зависит от его настроения) может убить тебя просто так, по случайной прихоти, из-за того, что ему не понравилась твоя физиономия, твой взгляд, твои слова. Какое нужно было иметь самообладание, мужество, чтоб в этом постоянном ожидании смерти продолжать жить и не

Всеволод Остен. Встань над болью своей. М., Советский писатель. 1989.

терять надежду. Какое хладнокровие, доставшееся, по-видимому, В. Остену от предков, финских переселенцев, одними из первых приехавших осваивать Дальний Восток. Помогли ему, наверно, и занятия боксом — в родном Владивостоке он занимал в турнирах первые места,— а ведь бокс не только развивает физически, но и делает человека смелым и расчетливым.

Поражает полная откровенность писателя и искренность. От первого лица писать трудно, нет-нет да дашь себе слабинку, обрисуешь себя чуть лучше, чем ты на самом деле. Повествование В. Остена свободно от этих недостатков. Автор не щадит себя и ни в чем не оправдывает и когда описывает, причем описывает потрясающе правдиво, первые дни войны, о которых, кстати, мы не так-то много знаем, и когда показывает круги лагерного ада. И пишет это настолько обнаженно, зримо, впечатляюще, что читатель просто-таки не может не поверить автору, а это дорогого стоит...

Удивляет в повести и жестокая память писателя. Скрупулезно и точно он описывает быт лагеря. Мне казалось, что все мы, воевавшие, вроде бы навсегда запомнили войну, но все же с удивлением обнаружил у себя какие-то провалы памяти. Когда я писал «Селижаровский тракт», совершенно забыл, что спустя время после нашей высадки в Селижарово на станцию обрушилась страшнейшая бомбежка. Мы стояли в полукилометре и благодарили судьбу, что вовремя высадились. Казалось бы, это навсегда должно было врезаться в память, но нет: напомнил мне об этом лишь через сорок лет мой однополчанин Миша Помогаев, когда мы встретились с ним в 82-м году. А В. Остен помнит все досконально: и какие шил рукавицы, и какую еду удалось достать, и другие совсем вроде бы незначащие мелочи. Видимо, он понимал, что если не расскажет об этом сам, то не расскажет никто. И его повествование приковывает, заставляя испытать и пережить все, что досталось на долю автора.

Гитлеровские лагеря, как и сталинские,— страшное порождение двадцатого века, порождение двух тоталитарных систем, и как важно, чтобы не ушли из памяти человечества эти дьявольские образования, создавшие в полном смысле этого слова а д на земле, в сравнении с которым меркнет дантово изображение ада небесного. Мы сегодня все надеемся и даже верим, что такие режимы безвозвратно ушли в прошлое, что такое повториться не может, но все же и все же мы не имеем права забывать, что они б ы л и. И книги о них, такие, как повести В. Остена, будут вечно тревожить нас и наших потомков, не давая пелене времени затуманить реальность и чудовищность того, что было, понуждая нас всегда помнить, к чему может привести «сильная рука», о которой, как это ни безрассудно, начинают теперь мечтать некоторые.

Одно замечание. Сегодня на читателей обрушился вал незнаемой ими прежде литературы. Не хотелось бы, чтобы книга В. Остена затерялась в этом потоке. Наше внимание сейчас больше привлечено к «белым пятнам» истории революционных лет, коллективизации, сталинских репрессий... Но мы почему-то забыли, что и в войне очень много таких же «белых пятен»: и первые дни войны, и судьба военнопленных, и гитлеровские лагеря; все это тоже малоисследованные, но очень важные моменты нашей истории.

В. Кондратьев

Коллективные мечтания, или Подход Кабакова

Когда летом прошлого года в журнале «Искусство кино» была напечатана повесть «Невозвращенец», имя ее автора Александра Кабакова мало что говорило читающей публике. Зато сама повесть говорила куда как многое: она материализовывала наши коллективные страхи, формулировала недоуменные вопросы, вглядывалась вместе с ними в тревожно зияющее будущее.

Разумеется, и это чтение можно было «поместить в рубрику»: назвать антиутопией, художественным предупреждением об опасности нового тоталитаризма. Впрочем, какого еще нового? Все, что можно было сказать на эту тему, сказано Оруэллом в его знаменитом романе, который приблизительно в то же время дошел к нам из анналов самиздата до официально набираемых журнальных страниц. Великий провидец назвал и точную дату. 1984 год — последний, когда еще незыблемо, хотя и из последних сил стояла Система. У Кабакова время действия — примерно десять лет спустя. И вот мы бредем вместе с его героем по улицам ночной Москвы, пережившей и распад империи, и терроризм, и диктатуру, и гражданскую войну.

Сила Оруэлла — в универсальности описанного механизма. Тоталитарная структура порождает подобие и нивелирует различия; можно не знать русских реалий, но опиши механизм — и детали сами выскочат с поражающей точностью. Сила «Невозвращенца» как раз в деталях, в том, что ужасы совершающейся катастрофы развертываются на московских площадях и бульварах, в подворотнях и дворах, которые знает каждый житель столицы да и тысячи приезжих тоже.

Публикация оказалась из числа сенсационных, о ней даже сообщили западные радиоголоса. А здесь, среди своих? Первой реакцией было с оттенком недоверчивости изумление: как это удалось никому не ведомому автору кожей прочувствовать и словами высказать то, что мы, такие чуткие и утонченные, лишь пугливо угадываем, прячем в подсознание. Поразила также дата написания повести — май 1988-го, когда многих расхожих тем нынешней интеллигентской «плюралистической» болтовни еще и в помине не было. Не было и вполне реальных саперных лопаток, обрушившихся год спустя на демонстрантов в Тбилиси, но зловеще поблескивающих рядом с мертвыми женскими телами у Кабакова.

Дабы покончить с аспектом политическим, замечу, что, кажется, в августе, уже после выхода «Невозвращенца» мне довелось присутствовать на встрече с редакцией журнала «Искусство кино». В числе почетных гостей — авторов журнала — оказался, кстати, и мгновенно вошедший в моду Александр Кабаков. Мое внимание привлекли в тот вечер выступления тех, кого принято называть «левыми радикалами» перестройки. Марка Захарова, например. С печалью горького прозрения он говорил о том, что нет, не получается в России быстрый и плавный переход к демократии, что исторически необходима, видимо, какая-то промежуточная стадия.

Кризис перестройки — именно это психологическое ощущение передает «Невозвращенец». Но не только этим он интересен. Сейчас кооператив «Копирайт» при издательстве «Книжная палата» выпустил — за счет средств автора — первую книгу прозы. Появился, таким образом, повод поговорить о том, что вообще привнес А. Кабаков в нашу литературную жизнь. «Книжное обозрение» (№ 49, 1989, дальнейшие цитаты даны по этому изданию) опубликовало интервью с Кабаковым «...Мои «заведомо ложные измышления», которое также дает пищу для размышления о новом типе писателя, востребованном, по всей видимости, нынешней общественно-культурной ситуацией.

Александр Кабаков родился в семье военного, с детства ощущал в себе гуманитарные наклонности, мечтал о кино. Но вместо этого окончил мехмат, работал на ракетной фирме, потом ушел в журналистику. 17 лет работал в газете «Гудок», сейчас — обозреватель «Московских новостей». Все это само по себе достаточно типично для поколения, заставшего шестидесятнический ренессанс уже на его излете, входившего в искусство через полусамодеятельные формы — капэзэны, джаз, юмористическую прозу. Апофеоз застоя отпечатался на их биографии полным разочарованием в официальных формах литературы; с начала 80-х Кабаков начал сознательно писать «непроходняк». Первой была напечатана самая свежая и, по общему мнению, самая непроходимая вещь. Теперь в первой книге появились и более ранние.

Название книги — цитата из формулировки статьи 190-«прим» Уголовного кодекса — «заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй». Таких «измышлений» в книге шесть, и они соединены по два в три раздела. Правда, первый раздел был деформирован внешними обстоятельствами: состоящий из трех глав роман «Подход Кристаповича» по цензурным соображениям вышел без последней главы (в будущем году ее печатает «Искусство кино»). Однако вынужденная симметричность (три по два), пожалуй, сделала структуру книги особенно прозрачной и логичной.

В каждом из трех разделов ощутимо развитие потенциальных возможностей авторского метода. Так, из «Двух джазовых легенд» (раздел номер два) первая — «Масло, запятая, холст» — замечательна главным образом стилизацией пьяного монолога эмигранта с Брайтон-бич. Сама же ностальгическая история о гениальном московском художнике, создавшем почти мифологический живописный образ нашего Вечного Города, несколько прямолинейна, в ней не хватает истории как таковой, а заодно жанровых красок, которыми блистательно владеет в иных случаях Кабаков.

Зато вторая «легенда», носящая название «Кафе «Юность», и чисто сюжетно, и в образно-стилевом отношении закручена виртуозно. Буквально дух захватывает от томительно-эротической атмосферы южного города, опьяненного джазом, пряными ночными запахами и молодыми страстями. Лирическая ретростихия с характерным для нее смешением нежности и иронии прекрасно соответствует эпохе, так сказать, позднего хрущевского декаданса (действие завершается сообщением о снятии Хрущева). Крах свободолюбивых идеалов шестидесятников, несколько истерическая раскованность провинциалов, жаждущих быть «на уровне мировых стандартов»,— все это собирается в образ конца и кануна. Уходит одно время, на пороге стоит другое, уже подернутое ледком застоя...

Что касается двух глав романа о Кристаповиче, и они построены по принципу нарастания объема и плоти внутри избранной формы. А форма выбрана остросюжетная: «До войны по-английски» и в фабуле, и в стиле слегка пародийно моделирует классический детектив; «Линда

А. А. Кабаков. Заведомо ложные измышления. Повести. М., Книжная палата, 1989.

с хлопками» — сочно, «по-американски» прописанный триллер. Характерна опять-таки связь с эпохой: в первом случае преступление из ревности, вычисленное юным подмосковным Шерлоком Холмсом, кристаллизует в себе кровавые тайны взрослого мира, где исчезают люди, страхи витают в воздухе и боятся довериться словам. Год 1938-й. Вторая повесть, из послевоенной ресторанно-блатной жизни, пропитана горечью и опытом вчерашних солдат-победителей, глотнувших свободы, а затем вновь очутившихся в сталинско-бериевском королевстве кривых зеркал.

«Все, что я сочинял,— говорит Кабаков,— это заведомо ложные измышления, как бы такая игра, когда берется совершенно реальная ситуация и к ней приспосабливается нереальное ее разрешение». Это в особенности относится к первой (вторая — «Невозвращенец») из двух «Фантазий на газетные темы» третьего раздела книги. Фантазия под названием «Салон» начинается с того, как вчерашний «афганец», старший сержант милиции Владимир Бойко совершает вечерний обход заштатной железнодорожной станции. А кончается тем, что, похоже, сам Горбачев, проездом оказавшийся тут же, благодарит сержанта за совершенный подвиг — за то, что перекрыл путь антиперестроечному салон-вагону, набитому сталинистами и почти булгаковской нечистью.

Вот здесь отчетливо бросаются в глаза плюсы и минусы «подхода Кабакова». Минусов, пожалуй, в данном случае больше, и здесь автора уже как-то не извиняет дата сочинения повести — январь 1987-го. Увы, вся эта наша доморощенная мистика, вся эта смесь соц-арта с сюрреализмом могла показаться эффектной, когда в новинку была лишь сама тематика расчета со сталинизмом, с демонами родной истории. Тогда потрясало «Покаяние», но уже «Город Зеро» (если говорить о кино) смотрелся спокойно. Так и кабаковский «Салон» — он устарел быстрее, нежели можно было ожидать от фантазии. Хотя и на газетные темы.

Однако в целом в подходе Кабакова гораздо больше плюсов. Причем совершенно нетрадиционных. С точки зрения «общечеловеческих ценностей», «гуманитарного мышления» и т. д. подобного рода литература как бы даже и не литература вовсе. Она не ставит глобальных философских задач. Она не учит жить и не занимается воспитанием чувств. Если это и литература, то в ином (может быть, более правильном?) понимании. «Единственное, что я могу сделать,— говорит Кабаков,— развлечь читателя на время чтения... Литература и не отражение, и не учебник, а одна из тех составляющих жизни, без которых человек жить не может. Как еда — естественная составляющая жизни и не больше... Мессианское отношение к искусству — сознание XIX века. Перенесенное в наш век, оно может стать ложью».

Кабаков не собирается ниспровергать высокие традиции русской литературы, сбрасывать с корабля современности Достоевского и Толстого. Просто для него они не писатели как таковые, а учителя жизни, которые использовали литературные приемы. Он не относится к своей писательской профессии с каким-то особым пиететом: достаточно, по его мнению, чтобы написанное не противоречило библейским заповедям, большего и требовать нельзя, ибо что, собственно, можно сказать после Нагорной проповеди...

Хотя Кабакова восхищают «Темные аллеи» Бунина, сам он готов признать, что не является большим стилистом. Он не умеет и не любит писать долго, потому и работает в коротких формах, которые читатель способен освоить за один вечер. Но это отнюдь не значит, что перед нами циничный представитель масскульта, пошлый беллетрист, манипулирующий вкусами толпы. То, что он сочиняет,— это, по его собственному определению, «утешительные сказки для взрослых», которые мне видятся также чем-то вроде коллективных мечтаний. Мечтаний на легендарно-исторические, ностальгические и — почему бы и нет? — перестроечные темы.

В этом подходе есть известный прагматизм, но гораздо больше честности. Даже в «Невозвращенце» Кабаков ценит не столько футурологические прогнозы, сколько современную — параллельно развивающуюся — часть, сатирически показывающую модель действия некой загримированной под редакцию «конторы глубокого бурения». Писателя интересует прежде всего судьба человека, делающего выбор не между плохим и хорошим, а между двумя вариантами плохого. Выбор, перед которым стоит современный человек, всегда достаточно страшен; должно смениться не одно поколение, прежде чем этот страх перейдет из социальной в экзистенциальную плоскость. Герой повести — беглец в будущее, невозвращенец в свое время, и смысл этого бегства и невозвращения как раз обратен тому, что нам внушали с детства. Мы ничем не обязаны ни своему обществу, ни своему времени, и единственный общедоступный способ освобождения от пут осточертевшей реальности — сладкотерпкие коллективные мечтания, которые провоцирует в нас литература типа кабаковской, а также кино.

Вот еще почему «Заведомо ложные измышления» — литература только наполовину. На вторую половину она, несомненно, уже готовое кино со всей его чувственной аурой, с намеренно вмонтированными экранными ассоциациями и клише — неотъемлемой частью коллективных мечтаний. Читая Кабакова, видишь то «Свадьбу» Роберта Олтмана, то сцены из американских боевиков, то еще что-нибудь далекое-близкое. Интересно будет все это увидеть воочию, когда выйдут первые картины по прозе Кабакова, которые уже снимаются на отечественных студиях.

Если же говорить о литературе, то пришедший в нее автор ассоциируется по крайней мере с двумя ее линиями, одна из которых тянется от Трифонова, другая — от Аксенова. Обоих Кабаков упоминает в числе прозаиков, так или иначе «имевших влияние». Да, разумеется, не он один, многие «сорокаслишнимлетние» могли бы засвидетельствовать, что все они вышли из «Звездного билета» и из повестей Трифонова, впитали от первого слегка сомнамбулическую поэтику, от второго — тончайше разработанную систему социальных знаков.

Дело, однако, в том, что Кабаков делает на этом пути шаг вперед, одновременно развивая знаковую символику и небрежно растворяя в ее брутальных сплетениях жанра, в откровенности живой, нецензурированной речи, в почти напоминающей лимоновский роман «Это я — Эдичка» обнаженной примитивности экстремальных реакций.

Лирическая энергия Кабакова, копившаяся долго и тайно, выплеснулась из сосуда психологического реализма, презрела эстетские формы и образовала коктейль, который мы рискнули бы назвать постмодернистским, если бы это модное слово не применяли сегодня к чему угодно и как угодно.

Андрей Плахов

В поисках самого себя

В море стихов, в котором мы плаваем без руля и без ветрил, теряя способность отличать хорошее от дурного, подлинное от поддельного, я определил для себя условный ориентир — делю поэтов на порядочных и непорядочных. Под порядочностью разумею справедливость и сострадание, отсутствие злобы, личной и социальной, великодушие, отсутствие претензий на монопольное владение истиной, способность понять и не судить другого, твердость в понятиях, правдивость, откровенность.

Порядочные оказываются и более талантливыми, ибо чаще всего перечисленные признаки сопутствуют таланту. Порядочность оказывается в наше время чем-то вроде эстетической категории. А может быть, и является таковой.

К порядочным, безусловно, принадлежит Геннадий Русаков.

Он из поколения детей войны, из его младшего крыла. «Летучий сор, опилки, горстка пыли», «золотушные дети», «крохоборное детство», «жизнь по сиротской разверстке», «развеянный род» — так определяет он свое детство. Похожие слова можно встретить в стихах многих поэтов этого поколения. Ощущение сиротства, тоска по родству во многом объединяют это поколение. Детьми войны не занимались ни семья, ни общество, отягощенные войной и послевоенной разрухой. Они делали себя сами. И многие сделали. А иные так и остались на уровне инфантилизма.

Для этого поколения естественны поиски родни, родства, рода, утраченные в раннем детстве. Боль памяти по ушедшим, не до конца знаемым. Эти поиски корней совпали со стремлением всего общества отыскать свои корни, исторические, социальные, национальные, что, может быть, свидетельствует об одиночестве нашего общества в целом. С прошлым либо рассчитываются, либо его идеализируют. Предкам либо предъявляют счет, либо возвеличивают.

У Русакова нет ни того, ни другого. Он не вершит суда над теми, от кого произошел. Он не судит их, а рассматривает себя на их фоне. Их жизнь, их понятия — для него точка отсчета удачам и неудачам собственной нелегкой жизни. «...Я сам после вас начинаю с нуля, очесок, дитя общепита»,— обращается он к утраченному роду.

Русаков — натура цельная. В истории семьи ищет он опоры для цельности. Но не только это. Его интересует преобразование, которое претерпело родовое начало в его собственной личности, то есть как из «того» происходит «другое». По существу это расстояние и есть мера своеобразия личности, ее самостоятельности. В прохождении этого расстояния — становление таланта. И чем больше расстояние от «того» до «не того», тем сильнее талант.

На восходе молодости поколение поэта было захвачено и окрылено идеями XX съезда. Оно почувствовало наконец возможность гражданского осуществления. Его подлинное воспитание происходило в неустойчивом воздухе оттепели. Затем время переменилось. Осуществление отложилось на два десятилетия. Но теперь происходит разброд, ибо за этот период происходило расшатывание единства поколения. Однако ему нужно было жить, и время предлагало несколько вариантов. Одни выбрали несогласие, другие — неприсоединение, а третьи — устроение жизни, уже не жизни общества, а своей собственной, ибо общие идеи все более отчуждались. От них устало общество, в них разочаровалось поколение.

И все же в этот период, неточно именуемый застоем, каждый становился са-

Геннадий Русаков. Оклик. Книга стихов. М., Советский писатель. 1989.

мим собой либо не становился ничем. В обоих случаях происходила затрата душевной энергии.

Геннадий Русаков по натуре принадлежит к устроителям жизни. Но из тех, кто понимает это устроение не как компромисс с совестью, а как естественную задачу человека, его конструктивную роль в жизни.

Задачу эту он называет просто: работа.

Ни женщина, ни знание, ни власть
не насыщают. Есть одно — работа.
Пока мы живы — насладимся всласть
порой земного севооборота.

Он выбрал для себя верный путь. Ибо несогласие или неприсоединение требуют некоего отталкивания от жизни, а иногда даже отвращения к ней. А Русаков жизнелюб. И мотив жизнелюбия не раз звучит в его стихах.

Ой, как жизнь хороша!

Так в наше время воскликнет не каждый поэт. А может, подумает, да не воскликнет в угоду литературному стилю. А ведь жизнь не больно баловала Русакова. Он не спихивает тягот существования на время.

Что — время? Я его себе не выбирал.
Оно других времен не лучше и не
хуже.

Ведь качество времени зависит от нас: «время — то, что уместилось в нас». И сам поэт «с этим временем насмерть повязан». Ему хочется «схватить и стиснуть, спрятать, удержать» время, как живое, подвластное ему существо.

Он любит жизнь страстно, азартно и целиком ей принадлежит:

Пригодилось мне тело для крепкой
работы,
пригодилась душа для веселых
утех:
жить — как будто впиваться в
горячие соты
и не ставить себе нетерпенье
во грех.

Или:

Пускай нас окатит и наземь
швырнет,
и кости азартом ломает!
Лишь крови да воли
наследственный гнет
душа на себя принимает!

И еще:

Лишь бы завтра проснуться
и встать —
и опять эту землю увидеть.

Он увлечен самим процессом жизни и утверждает,

что нужно жить, не помня
про потом
и только мерить жизнь
толчками крови.

Нет, это вовсе не «после нас хоть потоп». Это формула увлеченности. И уверенность, что «потом» образуется из «сейчас», из сегодняшнего усилия, если верно и интенсивно прожить сегодняшний день. Этому учит опыт века.

Любимый век меня так строго учит
и так пристрастно смотрит на меня.

Чему же так строго и пристрастно учит век?

Прежде всего — стать самим собой, самостоятельной личностью.

У Русакова это произошло не сразу. Он «стал самим собой — уже немолодым». У него была трудная жизнь, медленное восхождение. Он долго шел к тому периоду жизни, когда «возраст хочет расплатиться с самим собой и суд себе творить».

Мотив медленного, позднего вызревания постоянно звучит в «Оклике». Суд над собой поэт собирается вершить сам. Перед лицом времени. Он делает только одно замечание, и не в качестве смягчающего обстоятельства. Он только просит учесть, что

долго вырастал из тесной оболочки,
но вырос и пришел — куда меня
девать?

Позднее становление отразилось не только в чертах личности Русакова, но и в его поэтической биографии. Более двадцати лет назад он выпустил первую книжку стихов. Но позднее она перестала удовлетворять его. Потом последовал долгий период подспудного развития, накопления. И вот за последние годы вышли одна за другой три поэтических книги. Их он числит в своем багаже. Последняя из них — «Оклик».

Геннадий Русаков судит себя не для того, чтобы осудить, не для того, чтобы покаяться. Биение себя в грудь, свойственное иным прозревшим поздно, не свойственно ему. Он не столько судит себя, сколько обсуждает.

Свою неумышленную вину — позднее прозрение — он признал. Теперь он разбирается в себе. Вглядывается в ценности, которые обрел, и думает о том, чего недобрал, до чего только предстоит добираться.

Он всегда хотел стать самим собой. Но у него не было плана, как этого добиться. Его становление кажется порой странным, ибо слишком много было к тому противопоказаний, как субъективных, так и объективных.

Как странно вырастать
в большой стране
товарищем пространства
и раската...

Самооценку он начинает с простых констатаций: «я мало что успел и понял на веку»; «я всего лишь муж, работник и отец». Можно было бы судить о себе смелее и резче, а заодно и осудить время. Не позволяет чувство собственного достоинства:

Мне стыдно смелеть, если
разрешено...

Разрешенная смелость не в характере Русакова.

Смелость его в другом. Он сопоставляет свой опыт с миром, судьбой, гражданской отвагой, искусством. А главное — со временем и страной. «Большая страна неистового взмаха», «огромная страна» — постоянный образ его поэзии. Он не боится высоких слов, но не произносит их всуе.

Век кончается. Время подводить итоги — века и свои.

Отболевает век, с которым
мы дружили.
Как он умел пластать —
в замах и на убой!
А я врастал в него до скрипа
сухожилий
и привыкал к нему
с закушенной губой.

Просто ли было привыкать?

Хвала тому, кто с временем
на «ты»!
Хвала его душевному здоровью!
Я домогался этой простоты,
чтоб жить в ладах с моей
строптивой кровью.

В какой-то мере эта простота ему удалась. Порой ему казалось, что на любовь век отвечает ему взаимностью. Это черта врожденного оптимиста.

Еще одна особенность самопознания Русакова. Оно происходит не на форуме, не перед толпой, даже не в городе. Откровенный разговор с самим собой и с веком ведется на фоне природы, деревенского, часто подмосковного пейзажа, на фоне снегов, ветров и дождей, которых особенно много в книге. Стихи как будто написаны в отпуску.

Описания природы существуют в книге не только для поэтизации, создают ощущение отрешенной, напряженной, непоказной, самостоятельной душевной работы. «Россия, ночь, дожди, прощанье с веком...»

Четырехдневный дождь отморосил.
Пчела доутрамбовывает соты.
Для счастья нет ни времени,
ни сил.
Осталось только время для работы.

Неужели опять работа в результате потраченных сил самопознания? Да, и работа. Но есть еще одно, более существенное определение: настал «возраст совершенья дел». Между «работой» и «делом» лежит пространство духовной эволюции. Дело — это новое устроение жизни. Русаков не излагает своих планов, не произносит деклараций. Но из контекста книги ясно, что «дело» будет существенным и уже независимым от того, примет или не примет это «дело» «любимый век».

Несколько слов о стихе Геннадия Русакова.

Пишет он коротко. Стихи хорошо организованы. Нет длиннот. Стих крепкий, умелый, плотный. Иногда настолько плотный, что нет возможности передохнуть между строфами.

Из сотни стихотворений половина написана пятистопным ямбом. Этот размер дает пространство для выражения мыслей. Но слишком частое его употребление создает некоторое ритмическое однообразие. Впрочем, мелодия не придумывается поэтом, а приходит сама. Можно надеяться, что к Русакову придут и другие мелодии.

У него нет никакого поэтического зазнайства и самолюбования. Нет в его поэзии и «глуповатости». («Глуповатость» поэзии состоит в том, что она «ляпает» порой не к месту, не сообразуясь с обстоятельствами.) Русаков бьет точно в цель, не проявляет резвости и легкомыслия.

Он не воздвигает себе прижизненный памятник. Говорит сам себе:

По времени, просчетами греша,
ты жил один — тебе бы
дотянуться
до той строки, в которую душа,
оголодав, придет губами
ткнуться...

Д. Самойлов

Из почты «Знамени»

Кенгир, год 54-й

«...Нам в строжайшей форме воспрещалось вступать в контакт с осужденными. А возникавшие смутные сомнения в их «неблагонадежности» — уж очень они были другие, даже в тех, нечеловеческих, унизительных условиях оставались глубоко человечными, порядочными, интеллигентными — солдат старался прятать в себе. Можно было только тайно сочувствовать им и сострадать»,— это пишет не кто иной, как бывший работник ГУЛАГа Дмитрий Яковенко в своих записках, опубликованных в «Звезде Востока» (№ 4, 1989 г.) под заглавием «Осужден по 58-й».

Записки эти не столько об осужденных, сколько об истории сталинских лагерей и о работе гулаговцев. Сразу уточню, что в ведении ГУЛАГа (Главного управления лагерей) были осужденные не только по 58-й статье, но и те, кто совершал различные уголовные преступления, так что, на мой взгляд, заглавие записок притянуто искусственно. Не в качестве ли рекламы «горячей» темы? Сам автор был по другую сторону баррикад, и, как оказалось, подавлял лагерные «бунты», им же описанные.

Я не случайно решил обратиться к этим запискам — Д. Яковенко описывает события, участником которых и свидетелем я был лично,— восстания в лагере Кенгир весной 1954 года. Только, повторяю, мы были по разные стороны баррикад.

Д. Яковенко пишет: «Моя служба начиналась в Джезказгане Казахской ССР. Привезли нас туда в последних числах сентября 1953 года...» Я же в Джезказган попал раньше — в начале апреля 49-го. Привезли нас туда с этапом из Усольлага, где я, будучи осужденным по 58-й статье, валил лес. В то время я уже был человеком без фамилии, заключенным с номером, таким же, как когда-то в фашистском лагере для военнопленных, размещавшемся в деревне Малое Засово; из фашистской неволи попал я в отечественный лагерь.

Еще на пересылке в Соликамске опытные лагерники говорили, что для осужденных по 58-й статье есть четыре самых страшных лагеря, и названия этих лагерей произносились в рифму: Воркута — Магадан, Тайшет — Джезказган. Джезказган по-казахски означает «медная копь». Здесь, в безводной полупустыне, где на сотни километров не было жилья, за каменной лагерной оградой помещался особый лагерь № 4, Особлаг Степлаг.

Я получил номер СО 654. На одежде каждого из заключенных нашито было по четыре белых лоскута с черными номерами: на спине, на рукаве, выше колена и на шапке. Определили меня в бригаду укладчиков булыжника на руднике Джезказгана. На голодном пайке я ослаб, заболел дизентерией, попал в санчасть. Там меня оставили работать писарем, подкормили и с весны 1950 года отправили на добычу камня в карьере шахты № 47.

Клавдия Шульженко в песне о фронтовых друзьях-товарищах вспоминает о друге, который дал ей закурить. А я никогда не забуду Андрея Трубецкого, потомка известного князя-декабриста, который подарил мне очки-«консервы», защищающие глаза от каменных брызг при ударах ломом. После реабилитации бывший партизан Трубецкой вернулся в Москву, стал впоследствии доктором биологических наук.

Работа в каменном карьере довела меня до полного физического истощения. К счастью, мне удалось устроиться чертежником в проектное бюро. Когда-то, еще до войны, я поступил в Татарское художественное училище города Казани и уже в дни войны окончил 4-й курс. Черчение у нас преподавалось хорошо, и это пригодилось мне теперь на новой работе. Один из заключенных, работавший вместе со мной,— Лев Наумович Мейльман (по его проекту была построена водная станция московского стадиона «Динамо»), стал натаскивать меня в архитектуре. Мейльман умер уже после реабилитации, в городе Балхаше теперешней Джезказганской области.

Вскоре наше проектное бюро перевели ближе к управлению Степлага, к поселку Кенгир, в 3-е лаготделение, но это все предыстория, и теперь я приступаю к главной теме — кенгирскому восстанию.

Обратимся вновь к запискам Дмитрия Яковенко, который пишет: «Осенью 1952 года бунт вспыхнул в Кенгирском лаготделении. Во главе его стояли власовцы. В нем участвовало около 12 тысяч человек».

Всего несколько строк, однако сколько в них ошибок! «По Яковенко», получается, что «бунт вспыхнул» за год до мобилизации автора записок в лагерную охрану, и таким образом он, молодой солдат, якобы непричастен к расправе над заключенными. Однако Д. Яковенко предусмотрительно подстраховывается: «Все, о чем пишу, пишу по памяти, могу допустить незначительные неточности, документов у меня никаких не сохранилось, записей я не вел — наша работа не стоила того, чтобы ее документировать для потомков».

Бунта не было. Весной 1954 года в лагере была забастовка. Нас было 8000 заключенных: 2800 женщин и 5200 мужчин. И во главе забастовки стояли отнюдь не власовцы, но об этом речь впереди.

«Восставшие держались около месяца»,— пишет Д. Яковенко. Это неверно. «Восставшие держались» ровно 40 дней.

> Мы сорок дней встречались наяву,
> и Вы тогда воочию узнали,
> как выгляжу и чем и как живу,
> все радости узнали и печали,—

это после подавления забастовки писала о тех 40 днях Руфь Тамарина, миловидная хрупкая женщина, участница Великой Отечественной войны; в настоящее время она живет в Алма-Ате, член Союза писателей, автор восьми поэтических книг.

«Бунт вспыхнул»,— пишет Д. Яковенко, совершенно не вскрыв причин этих событий. А причин для бунта было много. Смерть Сталина вселила в наши души надежды на перемены, а расстрел Берии еще более укрепил эти надежды. В апреле 1954 года нам объявили, что наш особый лагерь переходит в категорию обычных лагерей, то есть с нас снимали ограничения в переписке, разрешены были приезды родственников, отменено было ношение номеров, введена зарплата и открыты в лагпунктах ларьки.

Яркие личности, репрессированные в 1937 году, состарились в лагерях, и, конечно же, на излете жизни они не собирались бунтовать. Старые интеллигенты, попавшие в большую волну арестов 1949 года, были самыми смирными людьми. Бывшие военнопленные с десятилетними сроками отбывали последние месяцы неволи, они вели себя безукоризненно, боясь спугнуть иллюзорную жар-птицу свободы. Прологом к забастовке можно считать прибытие этапа из 650 человек, в котором были осужденные за тяжелые преступления на бытовой почве,— за насилия, крупные кражи, убийства и бандитизм. Среди прибывших были и рецидивисты, и участники восстаний в других лагерях. Этап разместили в 3-м лагпункте. Длинный каменный загон лаготделения был разделен поперечными внутренними стенами на четыре отсека. В крайнем левом отсеке размещался 1-й лагпункт, женский. Смежный с ним отсек — нежилой. Тут был хоздвор со складами и мастерскими. Затем шел наш 2-й лагпункт с проектным бюро. Крайний правый отсек — это 3-й лагпункт.

«Воры в законе» из числа прибывших сразу же попытались установить в лагпункте свою диктатуру, но этому воспрепятствовали западные украинцы и прибалты, настроенные по-боевому. Одним из главарей «блатных» был «пахан» Витек — неунывающий тридцатилетний Виктор Рябов. Первую судимость он заимел в четырнадцатилетнем возрасте, приговорен был к трем годам тюрьмы. За последнее преступление его осудили на 25 лет. Сроки судимостей Рябова составляли в сумме 63 года; он-то и был инициатором «десанта» в женскую зону, с чего, собственно, все и началось.

Воскресным вечером 16 мая 1954 года во 2-м лагпункте крутили кино-

фильм о Римском-Корсакове. Жужжал кинопроекционный аппарат, мелькали кадры, и мало кто из нас обратил внимание на то, что к нам из 3-го лагпункта стали перепрыгивать через стену блатные. Мы решили, что и они захотели посмотреть кинофильм. Однако гости, не задерживаясь, прошли к хоздвору. Через десяток минут их силуэты уже были видны на гребне стены женской зоны, после чего нам стало ясно, что молодчики захотели развлечься с женщинами. Многие из нас имели свои привязанности к женщинам-заключенным. Иногда виделись на марше колонн, когда шли с работы или на работу. Встречались в стоматологическом кабинете 2-го лагпункта; женщин всегда сопровождали надзиратели. Иногда под конвоем посылали заключенных в женскую зону — что-нибудь строить или ремонтировать. Но вот каким образом успели побывать там блатные — было непонятно. Настораживало и то, что их привезли в лаготделение с женским лагпунктом, что водят их в женскую зону — зачем?

У нас, старожилов, существовала подметная переписка с женщинами. Нам эти письма заменяли духовную и личную жизнь, поэтому многие из нас, сочтя своим долгом вступиться за женщин, ринулись через стену вслед за блатными. На территории женского лагпункта возникла короткая потасовка; как раз этого и ждала охрана на вышках.

Мне скажут: а где у вас доказательства, что это именно так, что охрана ожидала этой стычки? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что перемены в обществе администрация Степлага встретила, мягко говоря, без энтузиазма. Разве хотелось ей терять свою власть, менять привычный образ жизни? Нужно было что-то срочно предпринимать, чтобы не допустить перемен. Надо было доказать необходимость всех этих особлагов, показать свою верность и преданность. Кроме всего прочего, подавление лагерного бунта сулило повышение в должностях, награды. Как же было начальству не уцепиться за это ЧП в лагере?

Вот что пишет о тех днях Д. Яковенко: «Беспорядки начались в одном лагпункте, а затем перекинулись в три других, в том числе женский, охрана растерялась, сразу не применили оружие, заключенные воспользовались нерешительностью, проломили заборы и соединились в одну массу, охватив все четыре ОЛПа, хотя лаготделение по периметру было сразу же окружено тройным кольцом охраны, были выставлены пулеметы не только на угловых вышках, но и в местах вероятного пролома основного охранного забора».

Нет, охрана не растерялась, и этому нашел подтверждение журналист В. Николаев, который недавно получил доступ к архивным документам. В газете «Джезказганская правда» от 2 августа 1989 года он опубликовал статью «Восстание в Степлаге», в которой цитирует обвинительное заключение, подписанное следователем, старшим лейтенантом режимно-оперативного отдела Степлага Дерягиным. Тот, делая акцент на факте неповиновения охранникам со стороны заключенных, пишет: «...вследствие чего военизированной охраной по ним был применен огонь, в результате чего было убито 13 заключенных и 5 заключенных от полученных ранений умерли в больнице».

Оставшихся в живых скрутили прибежавшие в женскую зону солдаты. Избитых нарушителей режима отвели в тюремный барак 3-го лагпункта, после чего охранники и надзиратели вообще покинули лагерную территорию.

Эти события послужили прологом Кенгирского мятежа.

В ночь с 16 на 17 мая лагерь не спал. Уголовники и «58-я» заключают договор — не обижать женщин, затем разбиваются лампочки на стене, и заключенные, разломав в темноте ворота, врываются сперва на хоздвор, а оттуда, протаранив рельсом стену,— в женский лагпункт. На женских бараках висят запертые замки. Арматурными стержнями заключенные ломают запоры и, войдя в женские бараки, приветствуют их обитательниц на украинском, литовском, латышском и русском языках. Женщины, поначалу перепугавшиеся, отвечают на приветствия, ищут земляков, а знакомые находят друг друга.

Тем временем в 3-м лагпункте одна из бригад срывает замок с тюремного барака, освобождая избитых заключенных, а вместе с ними и сидевшего под следствием бригадира Кузнецова. Кузнецов, который пользовался у заключенных большим авторитетом, берет на себя дальнейшее руководство мятежом, делает все, чтобы немедленно навести в лагере порядок, не дать охране нового повода применить оружие.

Лагерная охрана усиленно распространяла слухи о том, что Кузнецов был якобы майором власовской армии, однако архивныимн документами это не подтвердилось. Капитон Иванович Кузнецов, 1913 года рождения, был уроженцем Саратовской области, выпускником московской Военной академии имени Фрунзе, полковником Советской Армии. В 1949 году «Особым совещанием» был осужден на 5 лет. Срок заключения кончался в 1954 году, но в конце декабря 1953 года Кузнецов, который находился в Степлаге, вторично был взят под следствие — уже за «антисоветскую агитацию» — и до своего освобождения заключенными содержался в тюремном бараке.

По инициативе Кузнецова создавшееся положение решено было квалифицировать как организованную забастовку. Он же предложил выработать конкретные требования к начальству. Для дальнейшего руководства забастовкой избрали комитет самоуправления из 13 человек, в который вошел сам Кузнецов и еще двенадцать заключенных, среди которых были: вор Виктор Рябов, бывший военнопленный старший лейтенант Энгельс (Глеб) Слученков, учитель географии Алексей Макеев, учительница Супрун (она была тяжело ранена при подавлении забастовки и умерла), Мария Шиманская, Любовь Бершадская, литовский немец Юрий Кнопмус, бывший партизан Герм Келлер, Иозас Кондратас и Анатолий Задорожный.

Фамилии еще двоих членов комитета установить пока не удалось.

В понедельник 17 мая в ответ на расстрел наших товарищей восемь тысяч человек — все три лагпункта — отказались выйти на работу. К вечеру в зону прибыла группа офицеров во главе с генералом Бочковым и заместителем генерального прокурора Вавиловым.

Краткое изложение этой встречи — единственно верный абзац в записках Д. Яковенко: «Руководству лагеря был поставлен ряд требований, в том числе о прекращении избиений и других издевательств, самочинного применения оружия, злоупотреблений при начислении зачетов рабочих дней». Одним из условий было такое: по вечерам до отбоя разрешать общаться заключенным всех трех лагпунктов — и мужчинам и женщинам. Начальство это требование признало справедливым, пообещало встроить калитки в стены между лагпунктами, после чего нам было предложено выйти с утра на работу. Утром бригады трех лагпунктов выстроились перед проходной, причем по указанию начальства вышли и лагерная обслуга, и проектное бюро — все, кроме санчасти и пищеблока. Мы верили в искренность тех, кто пообещал выполнить наши требования, однако и в этот раз мы были обмануты...

Вечером, когда колонны вернулись в бараки, был зачитан приказ: за нарушение режима, за разграбление складов, за массовые драки и изнасилование женщин общение между лагпунктами запрещается. Мы молча выслушали эти лживые обвинения, узнав, что внутренние стены лагеря объявляются теперь запретной зоной с огневой линией. Проломы в стенах были заделаны. Бригады поочередно пошли на ужин, по лагпункту разгуливали надзиратели.

Вот тогда-то и началось то, на что, по всей вероятности, и рассчитывало лагерное начальство: новая волна неповиновения, спровоцированная начальством. Заключенные задержали офицера охраны, привязали его к доскам от разломанной крышки стола и, прикрываясь этим распятием от обстрела с вышек, пошли на таран лагерных стен, после чего все три лагпункта вновь объединились.

Весьма «красочно» описал это событие Д. Яковенко: «Лагерь не выходил на работу, заключенные возводили баррикады, отрывали окопы и траншеи полного профиля, как на фронте, готовясь к длительной обороне. Изготовляли самодельные ножи, сабли, пики, бомбы, взрывчатку для которых готовили в химлаборатории, находившейся в одном из лагпунктов,— пригодились знания и опыт бывших инженеров и докторов наук».

«Бывших»? Что ж, инженеры и доктора наук, хоть они и были бывшими, но специалистами оставались настоящими. Насчет бомб и взрывчатки Яковенко,

правда, преувеличивает. Из спичечных головок и киноленты заключенные изготовили не бомбы, а осветительные устройства; годились они и для фейерверков. Ножи оттачивали — это было, но оттачивали их уголовники. Глядя на воров, изготовили себе личное оружие и западные украинцы. Один молодой губошлеп отковал себе саблю, однако комитетчики запретили ему с ней щеголять. Это была забастовка, а не подготовка к штурму, как пишет Яковенко. Пики же изготовлялись для обороны.

Администрация обращалась к заключенным через репродукторы, установленные за зоной, призывая тех, у кого были небольшие сроки, не поддерживать бунтовщиков и выходить через проломы. Призывали и старых коммунистов покинуть лагерь. Отдельно обращались к украинцам, отдельно — к русским. Что-то иронизировали по поводу евреев. Короче говоря, нам стало ясно, что начальство хочет разобщить лагерь, посеяв среди заключенных национальную рознь, спровоцировать внутрилагерное побоище, а может, и еврейский погром, после чего можно будет вводить войска, «спасать» заключенных от взаимного уничтожения. Должен сказать, что в какой-то степени эти обращения подействовали. Через пролом в стене ушел Иван Николаевич Соболев, участник гражданской войны, а с ним полтора десятка человек. На дверях столовой 2-го лагпункта мы обнаружили листовку с антисоветскими и антисемитскими призывами, однако на них никто не откликнулся. Зато было собрано «толковище», на котором анонимному провокатору была обещана публичная порка, и, как видно, угроза возымела действие: подобных листовок больше не было, хотя, надо сказать, из проектного бюро после этого ушел через пролом мой хороший товарищ, еврей по национальности. Никто не осудил его.

В первые часы забастовки покинула лагерь и часть «стукачей»; оставшихся заперли в тюремном бараке и содержали их там под охраной, чтобы они не стали жертвами расправ со стороны тех, кто от них же и пострадал.

Хочу рассказать о контрмерах, которые принял комитет в ответ на радиообращения администрации. На складе, который возвышался над оградой и был виден издали, мы написали аршинными буквами: «Требуем правительственную комиссию!» В небо были запущены бумажные змеи с листовками, а потом у нас появился и свой радиоузел, который вел передачи,— для этого использовались телефонные трубки, электроаппараты физиолечения и усилители кинопередвижки. Как уж из этого всего можно было смонтировать радиоузел, я не знаю, но факт есть факт — передачи велись, и администрация, чтобы заставить замолчать лагерный радиоузел, отключила везде электричество. Инженеры-зэки, преобразовав старый электромотор в генератор, вывели на нужную высоту водопроводный кран, соорудив этакую электростанцию, питавшую радиоузел, однако она проработала недолго — не стало воды. Не знаю, отключили нам воду специально, или виной тому авария в гидроцехе, как это не раз бывало и раньше,— установить теперь трудно.

Над лагерем висел белый флаг. Мы спустили его, подняли черный. Из кальки, изъятой в проектном бюро, склеили четырехметровый аэростат. Соорудили гондолу, сделав приспособление, в котором горел огонь; аэростат, наполнившись теплым воздухом, взлетел, и ветер понес его в сторону города. Мы уже ликовали, когда высоко в небе вспыхнуло пламя — баллон наш загорелся. Правда, перед этим сработало специальное приспособление, которое разбросало листовки; собирать их отправили взвод солдат, опасаясь, что жители Кенгира, будущего города Джезказгана, смогут ознакомиться с их содержанием. В листовках мы обращались к парторганизации горно-металлургического комбината, который был хозяином медного рудника и обогатительной фабрики, просили вмешаться, после чего — случайно это или это стечение обстоятельств, не знаю, но в кранах появилась вода, которую мы поспешили запасти: никто ведь не знал, как долго нас будут морить.

2 июня нам было объявлено о прибытии комиссии из Москвы. По радио зачитали обращение заместителя министра внутренних дел СССР генерал-майора Егорова и начальника ГУЛАГа генерал-лейтенанта Долгих. Много было слов о пафосе выполнения величественных задач строительства коммунизма в нашей

стране, о долге заключенных перед Родиной, о введении для них разных льгот и о пересмотре их дел. И ни слова — о расстреле наших товарищей. Конечно, обращение это успеха не имело.

Начальство искало контакт с бастующими. В зону впустили подводу с посылками. Выездная сессия карагандинского областного суда освободила семнадцать заключенных, которые были больны. Вызвали тех, у кого окончился срок заключения, и тех, чьи дела подлежали пересмотру. Однако не все верили в искренность властей. Две женщины даже отказались выйти на свободу, остались дожидаться развития событий.

За эти сорок дней забастовки в лагере не было ни одного случая убийств, воровства или драк. Не было и насилий. В лагере среди заключенных оказался священник, ему сшили облачение, и он обвенчал какую-то пару. Когда в лагерной больнице умер старик, священник его отпел. Покойнику сделали гроб, проводили по ритуальному обряду до проходной. Как его хоронили за пределами лагеря, я не знаю.

12 июня начальник ГУЛАГа генерал-лейтенант Долгих лично выступил по радио, сообщив, что члены Президиума ЦК КПСС и секретари ЦК ввиду своей занятости приехать в Степлаг не могут. Однако, заявил он, все вопросы, в том числе и о применении оружия к заключенным, поручено рассмотреть специальной комиссии МВД и прокуратуры СССР. Вскоре уже от имени этой комиссии опять-таки по радио нам сообщили о том, что все вопросы рассмотрены и что комиссия считает неповиновение бессмысленным.

На складе кончались продукты, и комитету пришлось уменьшить норму питания. В лагере было тревожно, но заключенные не сдавались. И вот на рассвете 25 июня произошло то, о чем, как очевидец, сообщает Д. Яковенко: «...против по существу безоружных людей бросили около дивизии личного состава с четырьмя боевыми танками. А чтобы заключенные не услышали рева танковых моторов, при подходе к лагерю, за час до операции и во время ее, на железнодорожной ветке, ведущей в лагерь, курсировали несколько паровозов с товарными вагонами, лязгали буферами, подавали гудки, создавали какофонию звуков на всю округу.

Танки применили боевые снаряды. Вели огонь по траншеям, баррикадам, утюжили бараки, давили гусеницами сопротивляющихся. Один танк при штурме снес здание общественного туалета, провалился в выгребную яму и там застрял. Солдаты при прорыве обороны вели прицельный огонь по бунтовщикам. Таков был приказ командования, санкционированный прокурором.

Штурм начался внезапно для заключенных, на рассвете, продолжался около четырех часов. С восходом солнца все было закончено. Лагерь был разгромлен. Догорали бараки, баррикады и траншеи разрушены гусеницами. Вокруг валялись десятки и десятки убитых, раздавленных, обожженных заключенных, четыреста человек получили тяжелые ранения»...

Д. Яковенко не пишет, какую роль играл он сам в этих событиях. Не назвал он и фамилии палача-прокурора, давшего санкцию на расправу. Не рассказал о том, что после «операции» многие ее участники были повышены в званиях и должностях, награждены. Поскромничал автор? Не упомянул он и о том, что со стороны наступающих вообще не было потерь, да какое там потерь — никто даже синяка не получил!

А вот каков эпилог побоища с точки зрения Яковенко: «Сдавшихся загнали в бараки, обезоружили, а затем в течение месяца, по указанию МВД СССР, развезли по другим лагерям ГУЛАГа, где всех привлекли к уголовной ответственности». Но разве так все было на самом-то деле? Нас не нужно было обезоруживать, потому что тех, кто сопротивлялся, расстреливали. Сдавшиеся же выходили без оружия. Не загоняли нас в бараки, а выкуривали оттуда! Выходить из барака под гусеницы танков и стволы огнестрельного оружия не очень-то хотелось.

Существует лагерная легенда о молодой женщине Алле Пресман, которая, выбежав из барака навстречу танку, подняла над головой белый платок. Она верила, что водитель остановит машину, но этого не произошло.

Это легенда, а вот что видел я своими глазами... Не знаю, как в других местах, а в том бараке женской зоны, где я ночевал у своей подруги, кто-то забарри-

кадировал дверь изнутри. Мужчин здесь было почти столько же, сколько и женщин. Барак моей подруги был дальше других и от пролома в стене, и от ворот, поэтому его громили в последнюю очередь. Такого нервного напряжения, какое я испытал здесь, я не испытывал ни на фронте, ни в плену. На фронте вооруженная сила шла на вооруженную силу. В плену нас истребляли враги. Здесь же нас расстреливали свои, расстреливали безоружных, в мирное время, внезапно.

В бараках стояли двухъярусные спальные вагонки — вроде тех, что в плацкартных вагонах. Солдаты, выломав оконную раму против нашей вагонки, приказали заключенным выходить через окно. Они уже многих поубивали в соседних бараках, поэтому не спешили расстреливать этих последних женщин, заслонявших собою мужчин. Но за углом еще шла стрельба, слышалось рычание танков и грохот; мы не спешили испытывать судьбу, и тогда солдаты бросили к нам в окно что-то вроде коробки, после чего барак наполнился едким дымом. Полотенцами, смоченными в воде, мы закрывали носы и рты, а сами ложились под оконными проемами и в простенках, где было безопаснее при обстреле. Кто-то из наших, надев рукавицы, выбросил дымящуюся шашку наружу, однако тут же к нам влетела новая.

Мы решили разобрать баррикаду у дверей и выйти через нее, тем более что с той стороны дверь уже ломали солдаты, но здесь стояли какие-то фанатики с кинжалами, угрожая тем, кто к ним приближался. Им с двадцатипятилетними сроками, с ненавистью к Советской власти нечего было терять.

Моей подруге было 27 лет, мне — 33, до освобождения нам оставалось меньше года, и нам было что терять. Я шепнул ей, что надо закатать рукава, чтобы, когда мы выпрыгнем через окно, солдаты видели, что мы безоружны. Она согласилась, и я рванулся первым. Упасть на землю я не успел, меня подхватили солдаты, скомандовав: «Руки на голову! Марш!»

Заканчивался разгром мужских бараков, и разгром этот был более жестоким, чем в нашем. Сопротивлялся 3-й лагпункт — оттуда уголовники совершали свой налет на женскую зону, там был штаб комитета, и там заключенные пытались оказать сопротивление, выходя с пиками против танков и автоматов.

Обыскав, нас выводили из лагеря и приказывали ложиться у стены вниз лицом. Женщин мы больше не видели. Лежащих пересчитывали и, отсчитав сотню, поднимали и уводили в степь. Там, в отдалении от жилых построек, мы провели день, ночь и еще день. Сюда нам привозили еду и воду, а на ночь выдали одеяла. Тут же, в полевых условиях, выборочно производились беглые допросы, а в лагерь нас привели к вечеру второго дня. Проломы в стенах были заделаны, заштукатурены, побелены. Как обычно, перед входом в лагерь нас обыскали и только тогда впустили в зону. Стена, отделявшая хоздвор от женского лагпункта, была отстроена заново. В ней появилась крепкая дверная коробка с глухой однопольной дверью, запертой на замок. Траншеи были засыпаны. Оконные рамы, выбитые солдатами, вставлены.

Зачинщики беспорядка, комитетчики и некоторые из активистов к нам не вернулись. «Стукачей» и перебежчиков мы тоже больше не видели. Часть заключенных мужчин отправили в рудничное лаготделение, другую часть — в Тайшет. Через месяц-два отправили в Карлаг (карагандинский лагерь) беременных женщин. Основная же масса заключенных осталась в Кенгире — их не развезли по другим лагерям, как это утверждает автор записок, никого не наказали. Через новую дверь в стене приводили женщин из культбригады. После небольшой репетиции они давали для нас концерты в присутствии начальства...

Д. Яковенко не называет фамилий тех, кто подавлял беспорядки в Кенгире. Не назвал он даже фамилии начальника управления Степлага полковника Чечева, прямого виновника лагерного произвола. Не пишет о том, что бериевский дух, царивший среди администрации и в охране, усилил недовольство заключенных; оно-то и вылилось в забастовку. Но если бы администрация лагеря не направила в лаготделение, где содержались женщины, осужденных бандитов, уверен, не было бы и беспорядков. Из записок Д. Яковенко становится ясно, что подобная провокация была на руку ГУЛАГу: «В течение 2—3 лет во всех частях и подразделениях ВОХР Степлага и других лагерей ГУЛАГа эта штурмовая операция разбиралась в деталях как образец искусства усмирения заключенных, выдавалась как пример для подражания». Вот так — «пример для подражания»!

«Нас тоже бросали на штурм, правда, оружия не применяли, действовали штыком и прикладом...» — пишет Д. Яковенко. Активно ли действовали, гражданин начальник, хочется спросить его. И с каких это пор штык не является оружием? Или это невзыскательность стиля?

«Можно было только тайно сочувствовать им и сострадать»,— пишет бывший охранник о жертвах расправы. Спасибо за крокодиловы слезы! Кстати, «Крокодиловы слезы» называлась ироническая рубрика наших радиопередач для лагерного начальства...

Для бывшего охранника Д. Яковенко все то, что произошло в лагере,— это бунт. Вот выдержки из его записок «...бунт вспыхнул...», «бунт был весьма долгим и серьезным...», «переговоры между начальником Степлага и руководителями бунта...», «прицельный огонь по бунтовщикам».

Читатель, сопоставь все это с заглавием заметок «Осужден по 58-й», и ты поймешь, кем мы были в глазах автора записок,— обыкновенными бунтовщиками! И это, считаю, не случайно. Автор словно бы оправдывает расправу, оправдывает карательные меры против нас, туманно называя все это «операцией». Что ж, удобное слово, нечто вроде хирургической операции, вот только крови много было, да и летальных исходов — тоже. А каков стиль, какое пренебрежение к этим самым «бунтовщикам»! «Вокруг валялись десятки и десятки убитых...» В а л я л и с ь? Да неужели сотрудники журнала «Звезда Востока», публикуя эти записки, не чувствовали, что нельзя писать об убитых как о мусоре? И что означает «десятки и десятки убитых»? Десятки с десятками ведь складываются!

Так сколько же их было, погибших во время восстания?

Точных цифр нет по сей день. Свидетельствам прошлых лет верить нельзя — они были составлены во имя оправдания расправы. А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» приводит такие цифры: убитых и раненых было более семисот. Думаю, эти цифры самые точные.

Записки Дмитрия Яковенко занимают в журнале двадцать одну страницу. Лишь одна из них — о «бунте» в Кенгире. Остальные преподносят историю и события так же путано, поверхностно, извращенно, как и кенгирскую трагедию. Считаю, что этим запискам не может быть никакой веры, а сам факт этой публикации — вопиющая бестактность редколлегии журнала «Звезда Востока» по отношению и к своим читателям, и к памяти погибших в лагерях...

О событиях в Кенгире собирает сведения Николай Формозов, москвич, член общества «Мемориал». Мы встречались с ним, побывали в тех местах, где когда-то был лагерь. Все здесь застроено производственными комплексами, и мало что напоминает о событиях тяжелого прошлого. Поговорили мы с ним и о Капитоне Кузнецове, руководителе забастовки, о котором А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» написал такие строки: «Капитон Кузнецов! Будущий историк кенгирского мятежа разъяснит нам этого человека. Как понимал и переживал он свою посадку? В каком состоянии представлял свое судебное дело? Давно ли просил о пересмотре, если в самые дни мятежа ему пришло из Москвы о с в о б о ж д е н и е (кажется, с реабилитацией)? Только ли профессионально-военной была его гордость, что в таком п о р я д к е он содержит мятежный лагерь? Встал ли он во главе движения, потому что оно его захватило? (Я это отклоняю.) Или, зная командные свои способности,— для того, чтобы умерить его, ввести в берега?»

Будущий историк кенгирского мятежа Николай Формозов утверждает, что сестра одной из участниц восстания осенью 1955 года получила два письма от Кузнецова. Первое — с дороги в Краснодар, второе — уже из дома. Выходит, Кузнецова освободили сразу после суда?

Капитон Иванович, если ты жив, откликнись!

Юрий Грунин

г. Джезказган

Аннигиляция

Когда мне предложили ответить на читательские письма, посвященные моей статье о творчестве братьев Стругацких «Отвергнувшие воскресенье» (1989, № 5), я не представляла, что меня ждет. «Только, знаете, там есть р а з н ы е письма,— с оттенком сострадания попыталась подготовить меня сотрудница редакции.— Да вы не огорчайтесь. Когда мало-мальски дискуссионный материал, всегда так...»

Каюсь: предостережение показалось мне неуместным. Я отдавала себе отчет, что статья придется по душе не всем, возражения могут быть резкими и, чего доброго, обоснованными. Не имея претензий на обладание истиной в последней инстанции, нужно быть к этому готовой. Что с культурой полемики у нас не все в порядке,— тоже не новость. О чем же предупреждать?

Предупреждать было о чем. Некоторые послания оказались ошеломляющими. Не потому, что их авторы обнаружили в статье стиль, достойный комикса, «похоронную торжественность», легкомыслие и, о ужас, отсутствие чувства юмора. И даже не потому, что в одном из писем моя работа оценена как «полный провал», поскольку я не беру в расчет эволюцию Стругацких, упускаю из вида, что писатели не тождественны своим героям, что их произведения остры, неоднозначны и «побуждают к самостоятельному мышлению». Мне-то казалось, что я толкую о том же на всем протяжении статьи...

Но если бы это было все! Ленинградка Р. Баженова гневно отметает «придуманные» мною «чудовищные обвинения» в адрес писателей, которые «помогли выжить целому поколению 60—70-х годов». Москвич Ю. Ревич беспощадно уподобляет меня тем «охранителям святости культуры», что жаждут упразднить рок-музыку и даже Грина или Дюма способны привлечь к ответу за порчу нравов. Жители Казани А. и Е. Зеличенок советуют мне печататься в «Нашем современнике»: они поражены, каким образом автору статьи удалось вовлечь достойных людей, руководящих «Знаменем», в «грязную закулисную интригу», и требуют публикации своего письма, ибо в противном случае останутся опороченными «как доброе имя Стругацких, так и доброе имя целого журнала».

Напротив, в письме, подписанном «профессорско-преподавательским коллективом Куйбышевского государственного университета» (господи, неужели там был кворум?!), мою «писанину» клеймят, ссылаясь на «самые широкие круги читателей», которые «не принимают всерьез братьев Стругацких, нашедших для себя «золотую жилу», штампуя сомнительную в художественном и идеологическом аспектах бездарную фантастику». В своем гневе коллектив охотно прибегает к крепким выражениям, оправдываясь тем, что идут они «от души»: проза Стругацких — «дрянцо», я повинна в «клакеризме», то бишь в продажности, и в «удивительной наглости», ибо осмелилась «талантливейшего, умнейшего фантаста И. Ефремова» сравнить со Стругацкими. (Обидно за И. Ефремова, действительно талантливого писателя и к тому же интеллигентного человека. Будь он жив, даже коллективная душа, может быть, постыдилась бы использовать его имя в подобном контексте).

Скорбя о «неразборчивости уважаемого журнала», позволившего мне на своих страницах «натужно теоретизировать, одобряя и восхваляя» Стругацких, авторы письма теряются в догадках, почему «Знамя» пало так низко: «Что, Васюченко очень Нужный Человек? Конъюнктура? Связи? Личные или корпоративные интересы?»

На это, право, не придумаешь, что и ответить. Можно лишь посочувствовать студентам Куйбышевского университета. В учебном заведении, где преподавательский состав проявляет такую мощь и сплоченность, должно быть, атмосфера не из легких. Побуждения читателей, которые, не разобравши дела, бросаются на защиту Стругацких, понятнее и по сути человечнее. В памяти еще свежи разгромные кампании прежних лет — немудрено, если кто-то пугается малейшего критического замечания в адрес любимых авторов. Однако в результате поклонники Стругацких осерчали на меня за «невосторженный образ мысли»: ту самую провинность, что вызывала державный гнев дона Рэбы из повести «Трудно быть богом».

Здесь нет парадокса. Пока нам, словно бдительным пионерам из детских книжек, всюду мерещатся заговоры и закулисные интриги; пока в средневековом тумане угадывается знакомый силуэт мельницы врага, мы недалеко ушли от высмеянного Стругацкими арканарского правосудия. Плоха моя статья или хороша, как считают — спасибо им — Я. Быховский из Москвы, И. Хухров из Ленинграда, Р. Стенникова из Волгограда, О. Гольденштейн из Кишинева (впрочем, посвятивший добрый десяток страниц критике моих «спорных положений»),— это едва ли должно быть поводом для озлобления. Пускай наше общественное сознание не свободно от средневековых понятий, но и тогда, как говаривал персонаж той же повести, не вижу, почему бы благородным донам не сохранить хоть немного старинного вежества.

При таком условии я бы охотно и поспорила, и кое в чем согласилась со своими оппонентами. Но, увы: подобный разговор потребовал бы большей журнальной площади, чем сама статья. Поэтому я лучше отойду в сторону и предоставлю авторам писем послушать друг друга. Тем более, что столкновение их мнений оказалось поучительным.

Так, многих возмутило замечание, что мир Стругацких жесток. «Какая жестокость? — сердится, например, молодой читатель Г. Головчанский из Перми.— Какая жестокость, я Вас спрашиваю?» «Васюченко борется с ветряными мельницами, приписывая Стругацким апологию формулы «цель оправдывает средства»,— язвительно замечает Ю. Ревич. Между тем, когда речь заходит о коллизии повести «Жук в муравейнике», те же читатели рассуждают о средствах и цели так: «Вот вам идеальная (или почти идеальная) демократия, и вот нечто, что (пусть гипотетически) ей угрожает. Что с этим делать?» (Ю. Ревич). «Выстрел Сикорски (убившего героя повести.— Прим. И. В.) — подвиг, жертва, этого нельзя не понять, это лежит на поверхности» (Г. Головчанский). Им вторит Р. Баженова, убежденная, что нечего восставать против жестокости, раз возник «конфликт между тем, что полезно государству и отдельному человеку. Льва Абалкина убивают, потому что он несет в себе программу, опасную для Земли. Возможен ли другой выход?»

Как хорошо нас научили,— что невозможен! Мы даже забываем, что там, где подобный вопрос разрешается выстрелом работника спецслужбы, о демократии говорить смешно... Мне возразят, что бессудная расправа вроде той, какая описана Стругацкими, в экстремальной ситуации возможна и при самом гуманном правлении — мол, не на облаке живем. Пусть так. Однако, когда нравственное чувство цивилизованного народа не извращено, он не хочет, чтобы во имя его блага приносились кровавые жертвы К тому же и разум подсказывает ему, что подобные деяния оставляют в истории семена зла. А мы?.. Всегда готовы почтительно замереть, вытянувшись во фрунт перед государственной необходимостью!

Вымышленный мир Стругацких жесток потому, что отражает реальность — не столько нашего быта, сколько умонастроения. Демонстрируя в фантастико-приключенческом действии многие наши «почти идеальные» представления, эта проза дает возможность взглянуть на них новыми глазами, спросить себя, чего они стоят. Вот почему, вопреки подозрениям некоторых читателей, я не думала нападать на знаменитых фантастов. Это один из тех случаев, когда «неча на зеркало пенять...».

Кстати, читательские письма — лучшее доказательство «зеркальности» прозы Стругацких: просто удивительно, какие разные люди находят в ней отражение своих, подчас противоположных воззрений. Так, Р. Арбитман и В. Казаков недоумевают, зачем уделять внимание «первым, романтически приподнятым утопиям» фантастов, ведь каждому ясно, что они давно не занимают ни самих авторов, ни их аудиторию. А Г. Головчанский возмущен моей непочтительностью по отношению к этим утопиям, которые он вовсе таковыми не считает: «Несмотря на Ваше

утверждение, что мир коммунистического завтра, созданный воображением Стругацких,— неудача, тысячи тысяч поклонников этих произведений поставили цель — создание такого мира (что бы об этом ни говорили). Я требую, чтобы эти слова Вы взяли обратно».

Г. Головчанский настроен решительно. Для него, в отличие от В. Казакова и Р. Арбитмана, книги Стругацких не повод для «сомнения, рефлексии, поиска», а руководство к действию. Со всем азартом юности он готовится строить бодрый тоталитарный коммунизм, вычитанный из ранних повестей любимых фантастов. Общество, где все обретут счастье, отдаваясь делу без остатка. А кому не в радость суббота, по желанию передовых трудящихся превращенная в понедельник, пусть держит язык за зубами. Разве не так? Видите: Г. Головчанский ничего еще не построил, а уже велит мне помалкивать, раз против меня «тысячи тысяч».

Подобные разногласия в понимании идей и конфликтов прозы Стругацких встречаются в письмах поминутно. Едва ли не на каждое утверждение приходится отрицание:

— «Если герои (повести «За миллиард лет до конца света».— Прим. И. В.) не соглашаются с природой, то в том смысле, в каком мы не хотим примириться с землетрясением, извержением, наводнением. При чем тут ненависть к природе?»

— «А чем Вам не нравится фраза Ермакова «Мстить и покорять — беспощадно и навсегда!»? Именно так! Человек будет богом! И «матушка-природа, стихия безмозглая», падет к нашим ногам».

— «Богом быть не трудно, богом быть невозможно...»

— «Откуда Васюченко взяла, что Стругацких интересуют «приключения профессионалов»?.. Меньше всего их герои «люди действия».

— «Вы правильно отметили: герои Стругацких — профессионалы. А профессионалы, как правило, целеустремленны и должны принимать решения».

— «Хочу поблагодарить Васюченко за несогласие с С. Плехановым...»

— «Да еще задевает заметки настоящего интеллектуала С. Плеханова!..»

— «Кстати, о Плеханове. В наше время только слепой или сумасшедший может ставить в вину Стругацким «изничтожение зловредного арийско-славянского фантома» (Плеханов С.). Бороться с «Памятью» надо хоть так...»

На бумаге в мирном соседстве эти реплики кажутся записью нормального литературного спора. В жизни он пока невозможен: многие письма дышат нетерпимостью. Почитатели Стругацких, как и те, кто отрицает их творчество, не только встречают в штыки попытку непредвзятого анализа, но и спешат припугнуть оппонента мнением «самых широких слоев». Без опоры на авторитет масс обходятся в основном доброжелательно настроенные читатели. Ведь чтобы любить и размышлять, нет нужды чувствовать за спиной сплоченные ряды. Эта надобность возникает, когда дело пахнет расправой. Не зря Лавр Вунюков из «Сказки о Тройке» так любил повторять: «Народ не позволит...»

Там, где начинается стрельба из таких крупнокалиберных орудий, уж не до дискуссий о литературе. Признаться, трудно (а как хотелось бы!) вообразить, что мои оппоненты «справа» и «слева» захотят выслушать и понять друг друга хотя бы только в литературной беседе. Так и кажется, что при их встрече произойдет катастрофа. Аннигиляция. А если бы (говоря о фантастике, позволительно дать волю воображению) им удалось увлечь за собой сочувствующие массы, от имени которых они так уверенно возвышают свой голос?

Есть что-то глубоко болезненное в том ожесточении, что так легко охватывает даже людей читающих, думающих. Недаром Стругацкие — писатели, хорошо чувствующие свое время, сегодня с таким отчаянным упорством убеждают «отягощенных злом» опомниться, остановиться, подумать.

И. Васюченко

Обращаюсь к Вам в связи с публикацией в «Знамени» романа Камила Икрамова «Дело моего отца» (в №№ 5, 6—1989 г.) — об Акмале Икрамове, работавшем секретарем ЦК КП(б) Узбекистана, а затем репрессированном (вместе с моим отцом Зеленским И. А. на процессе «антисоветского правотроцкистского блока» в марте 1938 г.).

К сожалению, в тексте К. Икрамова ряд фактов, касающихся И. А. Зеленского, освещен неправильно. Считаю своим долгом восстановить истину.

Зеленский не был «эмиссаром» Сталина хотя бы потому, что, будучи секретарем МК партии до 1924 г., проявил свое несогласие с кадровой политикой Сталина («тройки»: Сталин— Каменев — Зиновьев), а также в вопросе с «рабочей оппозицией» еще в 1923—1924 гг., в связи с чем и был направлен из Москвы в Среднюю Азию. Этот факт разногласий известен, подтверждается документально и говорит о негладких отношениях, сложившихся между ним и Сталиным (см. документы Партархива Туркм. филиала ф. 1, оп. 4, д. 347, лл. 125 и др.).

Камил Икрамов неверно истолковал полученную им информацию о взаимоотношениях Зеленского с Акмалем Икрамовым — ведь сам он был тогда ребенком 1—3 лет и, естественно, не мог быть в курсе «враждебных» отношений отца — Акмаля Икрамова с Зеленским. Я старше Камила Икрамова на 8 лет и четко помню, что в нашей семье никогда не слышала неуважительных слов в адрес его отца.

Бестактно, с оттенком недоброжелательности, звучат слова Камила Икрамова о том, что «жена Зеленского в отличие от моей матери пережила все это (имеется в виду арест, лагеря, ссылка), после лагеря вернулась и похоронена на Новодевичьем. Коммунисты Узбекистана поставили памятник на ее могиле».

Жена Зеленского — Муратова Мария Федоровна — с июня 1927 г. по март 1931 г. работала заведующей Женотделом, а затем орготделом Средазбюро ЦК КП(б) Узбекистана. По возвращении из ссылки (всего 19 лет) и реабилитации в 1956 году бывшие ее товарищи по работе в Средней Азии, постоянно приезжая в Москву, гостили у нее дома, встречая радушный прием, искренне тянулись к ней. Она была очень общительной, доброжелательной, много помогала людям, чем могла. Коммунисты Узбекистана приезжали специально на ее похороны, а потом прислали надгробие.

Мне очень жаль, что тяжелая болезнь и внезапная смерть К. Икрамова не позволили выяснить все вопросы лично с автором. Этим и вызвано мое письмо в редакцию.

Зеленская Е. И.

ОТ РЕДАКЦИИ

Наряду с письмами, высоко оценивающими повесть К. Икрамова, мы получили письмо председателя Узбекского республиканского Совета войны и труда, народного депутата СССР Р. Гуламова и письмо И. Юсуповой, дочери У. Юсупова, в обоих этих письмах — несогласие с оценкой У. Юсупова в повести.

К предложению опубликовать в «Знамени» художественно-публицистический очерк об Усмане Юсупове редакция относится положительно.

В редакцию поступило также документальное свидетельство о том, что упоминаемый Камилем Икрамовым А. В. Станишевский к делу Рахимбека Шакирбекова отношения не имел.

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ»

Уважаемый Григорий Яковлевич!

В материале «Плановая анархия или баланс интересов?» (автор В. Селюнин), опубликованном в журнале «Знамя» № 11 (ноябрь 1989 г.), содержатся грубое искажение фактов и клеветнические обвинения в мой адрес.

Ссылаясь на публикацию Г. Медведева «Чернобыльская тетрадь» в «Новом мире» (№ 6, 1989 г.), где говорилось, что «активность в районе аварийного энергоблока составляла от 1000 до 15 тысяч рентген в час», автор, изменив эти слова на фразу «радиация в районе аварии достигала 15 тысяч рентген в час», утверждает далее, что «6 мая 1986 г., через десять дней после аварии, председатель Госкомгидромета Ю. А. Израэль заявил на пресс-конференции, будто радиоактивность там составляет всего лишь 0,015 рентгена в час». Далее: «...он исказил ее (цифру) в миллион раз, понимая, конечно, к каким последствиям приведет эта ложь».

Не проверяя никаких цифр и фактов, по-своему истолковав сказанное, В. Селюнин делает вывод: «Если гражданская и профессиональная добросовестность наказуема, то покладистость вознаграждается. Ю. А. Израэль опять вошел в состав правительства. Дело настолько обыкновенное, что никто из депутатов и не напомнил кандидату на высокий пост, как жестоко тот **проврался** в критической ситуации» (подчеркнуто мною.— Ю. И.).

Не касаясь более чем сомнительных измышлений, которые позволил себе автор упомянутого материала, не вдаваясь в полемику относительно цифр и терминологии, сообщаю:

— первое — что Госкомгидромет СССР не осуществлял измерений в районе энергоблока на ЧАЭС, на территории самой станции и в гор. Припять, здесь измерения осуществляли дозиметристы ЧАЭС, физики-атомщики и военные (Госкомгидромет СССР осуществлял и осуществляет измерения на всей территории СССР за пределами этих объектов), и —

— второе — что я вообще не присутствовал на указанной пресс-конференции, которая действительно состоялась в Москве 6 мая 1986 г. (в пресс-центре МИДа) и была посвящена Чернобыльской трагедии, а следовательно, не мог делать на ней каких-либо заявлений.

Начиная с 30 апреля 1986 г. я непрерывно работал в Чернобыле с выездами в Киев (где располагались самолеты-радиометристы Госкомгидромета СССР) и первый раз с коротким докладом выехал в Москву лишь 14 мая, после чего снова вернулся в Чернобыль.

В связи с этим я рассчитываю на соответствующую Вашу реакцию и публикацию моего письма в ближайшем номере журнала «Знамя».

Кроме того, оставляю за собой право защищать свое имя и другими действиями.

Председатель Государственного комитета СССР
по гидрометеорологии
Ю. А. Израэль

11 декабря 1989 года.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ»

В моей статье «Плановая анархия или баланс интересов?» есть ссылка на источник, которым я пользовался,— это публикация специалиста по безопасности АЭС Григория Медведева «Чернобыльская тетрадь». Привожу соответствующую выписку полностью:

«Подводя предварительные итоги, скажем, что активность в районе аварийного энергоблока составляла от 1000 до 15 тысяч рентген в час. Правда, были места в удалении и за укрытиями, где активность была значительно ниже.

Зампред Совета Министров СССР Б. Е. Щербина, председатель Госкомгидромета СССР Ю. А. Израэль и его заместитель Ю. С. Седунов на пресс-конференции 6 мая 1986 года в Москве заявили о том, что радиоактивность в районе аварийного энергоблока Чернобыльской АЭС составляет всего лишь 15 миллирентген в час, то есть 0,015 рентгена в час. Думаю, такая, мягко говоря, неточность непростительна.

Достаточно сказать, что только в городе Припяти радиоактивность на улицах весь день 26 апреля и несколько последующих дней составляла от 0,5 до 1 рентгена в час повсеместно, и своевременная правдивая информация и организационные меры уберегли бы десятки тысяч людей от переоблучения, но...» («Новый мир», № 6, 1989, стр. 36—37).

Между публикациями в «Новом мире» и «Знамени» прошло пять месяцев, и у Ю. А. Израэля было время, чтобы опровергнуть все, что он считает неверным. Однако он этого не сделал, и я считал себя вправе пользоваться статьей Г. Медведева как источником информации. Ю. А. Израэль подчеркивает в письме разницу между понятиями «в районе аварии» и «в районе аварийного энергоблока». Но это одно и то же, если точно не указано расстояние от места аварии.

В. Селюнин

8 января 1990 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

Думаем, что специалисты в конце концов разберутся в точности цифр и оценок последствий аварии на АЭС. Что касается таких выражений, как «ложь» и «проврался», они, безусловно, не украшают страницы нашего журнала. Мы считаем это недосмотром редакции и приносим Ю. А. Израэлю свои извинения. Увы, и письмо уважаемого Ю. А. Израэля содержит такие обороты, как «клеветнические обвинения», в деловой полемике, на наш взгляд, неуместные.

Советуем прочитать

Е. Криштоф. Для сердца нужно верить. Таврия, 1989.

Литература о Пушкине необозрима. Издание каждой новой книги о первом человеке нашей культуры всегда сопряжено с риском досадного повторения. Но при чтении книги Елены Криштоф не возникает ощущения досады, несмотря на то, что нового материала автор не вводит и новых концепций не предлагает. Писательница сумела найти свежий, редко встречающийся в нашей популярной пушкиниане ракурс — чисто человеческий взгляд на события бурной жизни поэта. О чем бы ни шла речь — о трогательном увлечении Марией Раевской или об отношениях с Бенкендорфом,— мы видим не «исторических лиц», которые ведут себя в соответствии с «исторической достоверностью» и «нравами эпохи», а живых людей, со всей неожиданностью и непоследовательностью душевных движений. Хотя и достоверность, и нравы присутствуют в должной пропорции.

Е. Криштоф старается без социальной предвзятости, без исторического отчуждения понять изнутри мотивы поведения всех близких Пушкину и окружавших его людей — будь то снедаемый обидами, уязвленным самолюбием и своеобразной манией величия Булгарин или жена поэта. Глава о вдовствующей Наталье Николаевне подкупает пронзительным сочувствием и психологической достоверностью. При том, что писательница не впадает в столь частую теперь крайность и не пытается изобразить Наталью Николаевну героической личностью под стать декабристкам. Несчастная женщина, тяжело искупающая свои роковые ошибки...

Не существует истории самой по себе. История — это совокупность человеческих страстей, желаний, устремлений. История — это люди и только люди. И главное в книге Е. Криштоф — понимание этой необходимой сегодня простой истины.

Борис Зайцев. Голубая звезда. Повести и рассказы. Из воспоминаний. Сост., предисл. и коммент. Александра Романенко. (Литературная летопись Москвы). М., Московский рабочий, 1989.

Творчество русского писателя Бориса Константиновича Зайцева, родившегося в Орле в 1881 г. и умершего в Париже в 1972 г., пока, к сожалению, мало известно советскому читателю. В этой книге после очень долгого перерыва напечатаны его рассказы и повести, отдельные главы из воспоминаний, в основном связанных с литературной жизнью Москвы начала XX в.

Истоки произведений Зайцева в «серебряном веке» русской литературы: он начал печататься в 1901 г., напутствуемый В. Короленко, А. Чеховым, и продолжал писать в течение семи последующих десятилетий. Современниками его были Леонид Андреев и Иван Бунин, Андрей Белый и Александр Блок, Константин Бальмонт и Вячеслав Иванов, Дмитрий Мережковский и Алексей Ремизов, Иван Шмелев и Вячеслав Ходасевич. На склоне лет он приветствовал в Париже советских писателей (К. Паустовского, В. Солоухина, Ю. Казакова), оставшись едва ли не последним хранителем заветов интеллигенции начала века, мастером незамутненного, чистого родного слова. «Родину я не предам нигде, ни под каким небом не забуду я русских полей, перелесков, Москвы, взгляда русской женщины»,— писал Зайцев, за полвека жизни во Франции так и не заговоривший по-французски.

Апокрифы древних христиан. Исследование, тексты, комментарии. М., Мысль. (Научно-атеистическая библиотека), 1989.

«...Он открылся великим как Великий... малым как Малый... ангелам как Ангел и людям как Человек. Поэтому его Логос скрыт от каждого». Так загадочно повествует о Христе одна из знаменитых христианско-гностических (гностики — религиозно-философское направление первых веков н. э.) рукописей — «Евангелие от Филиппа». Еще более загадочно начинается другой древнехристианский папирус из так называемой гностической библиотеки Наг-Хаммади, «Евангелие от Фомы»: «Тот, кто обретает истолкование этих слов — не вкусит смерти». Эти и другие апокрифы первых христиан, имевшие широкое хождение в Палестине, Малой Азии, Египте, не были признаны Церковью священными и не вошли в канонический Новый Завет, но продолжали и продолжают оказывать влияние на умы богословов и философов в последующие века. Предлагаемый сборник разделен на две части: «Апокрифические евангелия новозаветной традиции» и «Гностические апокрифы из Наг-Хаммади».

Первые являются свидетельствами периода становления христианства и вбирают в себя как представления ветхозаветного иудаизма, так и элементы устных народных сказок. Гностические евангелия, сенсационно обнаруженные лишь в 1945 году в Египте, представляют собой уникальные примеры сочетания христианской этики и эзотерических учений Востока. Отдельные места в древних коптских папирусах покажутся читателю удивительно близкими философским, космогоническим построениям двадцатого века.

В наши дни «воинствующий атеизм» без сомнения уступает в научном и общественном сознании место серьезному изучению и приобщению к религиозной проблематике. Свой положительный вклад в этот процесс вносит и данная книга. Симптоматично, что в серии «Научно-атеистическая библиотека» мы видим наконец не только сочинения материалистов, но и древние религиозные первоисточники Содержательные научные комментарии и обзоры известных христиановедов И. С. Свенцицкой и М. К. Трофимовой, надо надеяться, облегчат постижение памятников древней мысли.

Теодор Драйзер. Жизнь, искусство и Америка. Статьи, интервью, письма. Драйзер смотрит на Россию. Перевод с английского. Составление Ю. Палиевской. М., Радуга, 1988.

Многотомники произведений Драйзера, его публицистика и литературно-критические работы не раз издавались в Советском Союзе начиная с 20-х годов. Но тем не менее на страницах этого сборника нас ожидает немало открытий. Среди собранных здесь материалов много неожиданно зорких, неподкупно правдивых, неуступчиво резких по отношению к утвердившимся стереотипам нашей пропаганды, обществоведения, литературоведения и критики.

Главы «Драйзер смотрит на Россию» дополняются письмами — Дж. Стейнбеку, Сергею Эйзенштейну, Беле Иллешу, Бруно Ясенскому...

В 1934 году он пишет Анри Барбюсу: «Во время моей поездки в Россию... я радовался при виде того, как рабочие и крестьяне строят справедливое общество, общество для трудящихся, в котором нет места богачам, наживающимся за счет других. К сожалению, с тех пор, как известно, положение там изменилось».

Позже Драйзер просит известного литературоведа Сергея Динамова: «Я бы хотел, если возможно, получить небольшое высказывание Сталина в 500—700 слов, с его подписью, на любую тему по его выбору. Например, если бы он мог убедить нас в том, что он не живет в роскоши, а, наоборот, ведет скромный образ жизни, его не окружают охранники с пулеметами... такой материал был бы для нас бесценным». Конечно, Сталин такого материала не написал. А молодой талантливый критик и литературовед, один из первых советских американистов, ответственный редактор журнала «Интернациональная литература», член партии с 1919 г. С. Динамов был репрессирован «в условиях нарушения социалистической законности в период культа личности Сталина». Последнее из 27 писем Драйзера С. Динамову датировано 10 декабря 1937 года. В нем тревожное предчувствие: «Я так давно не получал от Вас вестей, что начал беспокоиться, не случилось ли чего с Вами»...

Валерий Есенков. Три дня в августе. Повесть. М., «Современник», 1989.

Автор повести дерзает прикоснуться к сокровенной творческой тайне — процессу зарождения и развития идеи бессмертного романа Ф. М. Достоевского «Идиот».

В обширном материале, связанном с этим романом, В. Есенкова привлек тот первоначальный момент, то почти неуловимое для науки мгновение, когда в сознании великого страстотерпца вспыхнула мысль впервые изобразить положительно прекрасного человека в художественной прозе.

В. Есенков строит свое повествование так, что житейские события оказываются для него лишь поводом для развертывания картины внутренней жизни художника. Автор исследует еще недостаточно глубоко изученный творческий метод писателя, особенности и приемы его творческого труда, он предлагает нетрадиционные характеристики отца писателя и второй жены его Анны Григорьевны, а также новые подходы к трактовке романа «Бедные люди».

Используя многообразный документальный материал, В. Есенков тактично переводит отрывки из мемуаров, писем и дневников в прямую речь, во внутренний монолог — читатель не может не видеть, что перед ним внутренний мир самого Достоевского, а не вымысел, не выдумка дерзкого автора. Автор вообще устраняет себя, выводит за рамки повествования, чтобы не мешать нам следить за раздумьями создателя «Идиота».

В повести есть кульминационный момент: Федор Михайлович, оказавшись проездом в Базеле, осматривает музей и впервые видит картину Ганса Гольбейна «Мертвый Христос». Взрыв страсти, негодование, озарение гения — и высвечивается идея, из которой вырастет роман.

Русская литература и Восток (особенности художественной ориенталистики XIX — XX вв.). Ташкент, издательство ФАН Узбекской ССР. 1988.

В коллективном труде, подготовленном сотрудниками Института языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР, исследуется идейно-художественное своеобразие русской ориентальной литературы различных исторических этапов — начиная с первой трети XIX в. и кончая современностью.

Книга состоит из шести разделов: «Некоторые особенности русской ориентальной поэзии первой трети XIX в. (формирование стилевой традиции)» (С. Каганович); «Реалистические картины мира и человека Кавказа в рассказах «Набег», «Рубка леса» и «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого» (П. Мирза-Ахмедова); «Ориентальная проза И. Бунина и духовно-эстетическое наследие народов Востока» (Т. Лобанова); «Революция — художник — материал (Библейские стихи Н. Тихонова и А. Ахматовой)» (П. Тартаковский); «Фазиль Искандер. Проблема национального характера и синтез русской и абхазской эстетической традиции» (И. Тёмкина); «Из наблюдений над восточной лексикой современной русской ориентальной прозы» (М. Расули).

Положив в основу книги хронологический принцип, авторы прослеживают творческие связи русской классической и советской литературы с Востоком, его культурой, историей, духовно-эстетическим опытом.

«Минувшее меня объемлет живо...». Воспоминания русских писателей XVIII — начала XX в. и их современников. Рекомендательная библиографическая энциклопедия. Научный редактор В. А. Ковалев. Авторы-составители: С. Гавин, Е. Сахарова, И. Семибратова, В. Смирнова. М., Книжная палата, 1989.

Мемуаристика — живое свидетельство очевидцев о времени и о себе, о культурной, литературной жизни прошлого — всегда с интересом читается наряду с художественной литературой. Известная пушкинская строка «минувшее меня объемлет живо» образно отражает содержание этой книги. В ней представлены воспоминания, автобиографии, дневники, письма русских писателей XVIII — начала XX века и их современников: Радищева, Карамзина, Аксакова, Пушкина, Белинского, Герцена, Фета, Л. Толстого, Лескова и др.— свыше 50 писательских имен. Материалы воссоздают живой образ того или иного художника слова в его неповторимой индивидуальности, рисуют взаимоотношения писателя с современниками, проливают дополнительный свет на творческую историю художественных произведений, имеющих автобиографическую основу.

Приводятся любопытные сведения о вышедших в 1960—1980 гг. советских изданиях мемуаров, автобиографических произведений, эпистолярного наследия, а также о книгах литературно-библиографического и мемуарно-краеведческого характера.

Олег Рисс. У слова стоя на часах... Второе издание с изменениями и дополнениями. М., Книга, 1989.

Проблема точности печатного слова, культуры издания стоит сегодня особенно остро. Потому «борьба за точность не просто одна из сторон литературной и редакционной работы,— замечает в обращении к читателю редактор книги А. Э. Мильчин,— а большая нравственная проблема, часть проблемы общей культуры издания и культуры в целом».

Ленинградский журналист Олег Рисс собрал в своей книге рассказы о процессе работы самых разных людей, имеющих отношение к литературному труду, в самые разные времена и эпохи, начиная с античности, кончая современностью. Насыщенность разнообразными фактами, мыслями выдающихся людей, умение автора анализировать опыт литературной и издательской работы особенно привлекают внимание. Великие ученые, историки, общественные деятели — философ-материалист Фрэнсис Бэкон, знаменитый хирург, педагог и мыслитель Н. И. Пирогов, легендарный вождь и законодатель Древней Спарты Ликург, римский оратор Цицерон, немецкий ученый XVI в. Теснер, прозванный «отцом библиографии», признанные классики русской и зарубежной литературы А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Жюль Верн, Джордж Байрон, Томас Манн, Чарльз Диккенс... Для этих людей точность была «нерушимым нравственным обязательством перед читателем».

Долгий путь проходят книга от рукописи до выхода в свет. Сколько людей принимает участие в этой работе — редакторы, наборщики, верстальщики, линотиписты, корректоры, переплетчики... Им посвящены художественно-документальные очерки в главе «Рассказы из типографии».

Главный редактор Г. Я. БАКЛАНОВ.

Редколлегия: С. С. АВЕРИНЦЕВ, Ю. С. АПЕНЧЕНКО, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ (зам. гл. редактора), Ю. В. ДРУНИНА, С. Н. ЕСИН, Г. А. ЖУКОВ, Е. А. КАЦЕВА (отв. секретарь), В. Л. КОНДРАТЬЕВ, В. Я. ЛАКШИН, В. С. МАКАНИН, В. Г. НОВОХАТКО, В. Д. ОСКОЦКИЙ, В. Ф. ТУРБИНА, Я. А. ХЕЛЕМСКИЙ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО, С. И. ЧУПРИНИН (первый зам. гл. редактора).

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 08.01.90. Подписано к печати 05.02.90. А 03014. Формат 70×108 1/16. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—355 030 экз.). Заказ № 1799. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.